ISSN 0130-6545

3.1997

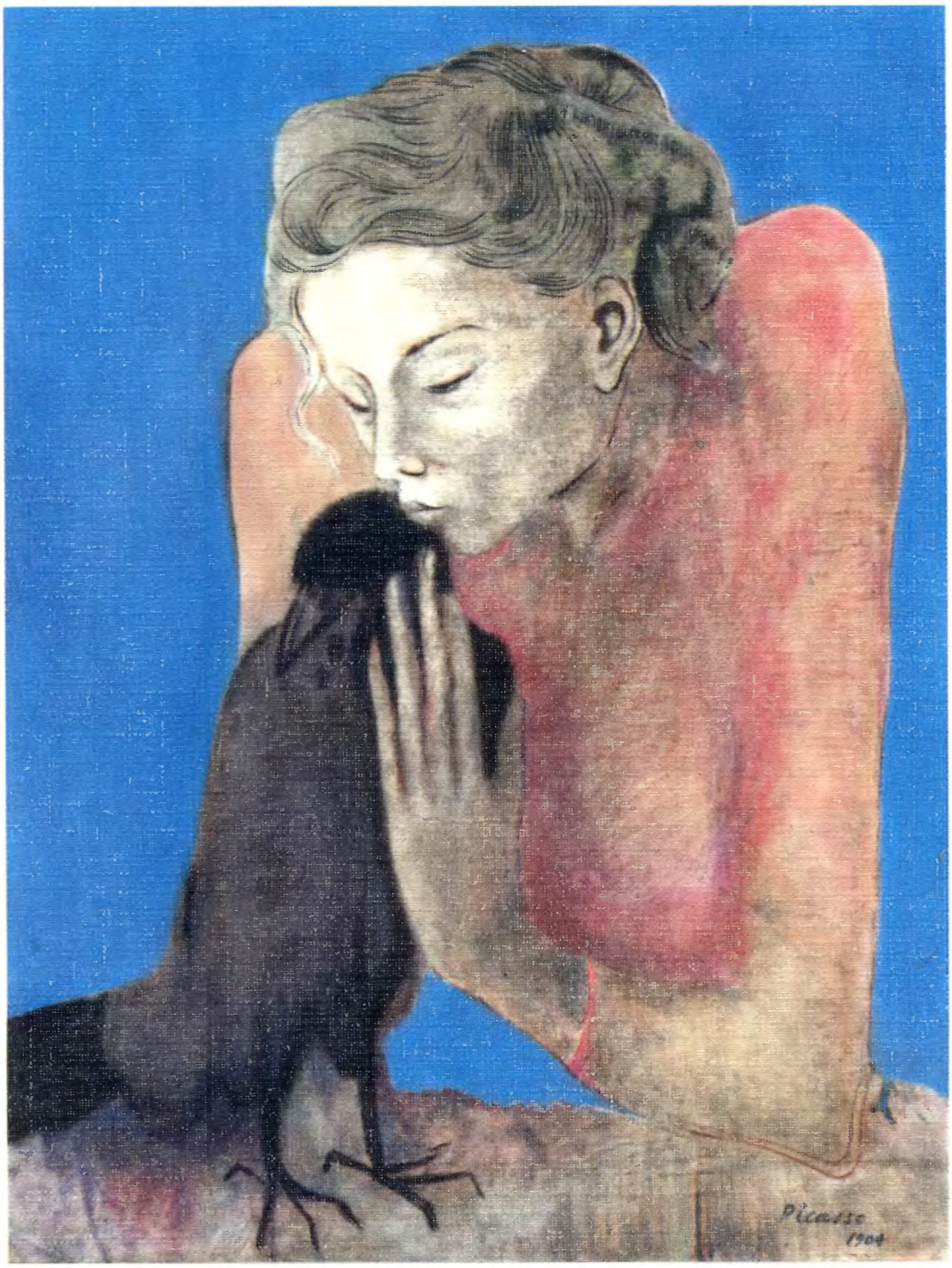
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА
Литума в Андах

ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС
Темная вода

НОРМАН МЕЙЛЕР
Портрет Пикассо в юности



МОСКВА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 15 500 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2051 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ,
П.Л. ВАЙЛЬ, М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

3 март 1997

СОДЕРЖАНИЕ

ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС — Черная вода (*Повесть. Перевод с английского В.Бернацкой*) 5

МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА — Литума в Андах (*Роман. Перевод с испанского Ю.Ванникова*) 50

ОЛИВ СИНИОР — Рассказы. Стихи (*Переводы с английского О.Варшавер и А.Кудрявицкого*) 180

Поэт и публика — в разводе? *Анри Делюи и Лилиан Жиродон в редакции «ИЛ»* (*Вступительная статья и перевод с французского Ирины Кузнецовой*) 197

Документальная проза

НОРМАН МЕЙЛЕР — Портрет Пикассо в юности (*Версия биографии. Главы из книги. Перевод с английского А.Богдановского*) 205

Среди книг

М.ДОБРОВОЛЬСКИЙ — Соль неба в хазарском горшке. Н.БОГОМОЛОВ —На стыке двух культур. Ю.ГУСЕВ — Растеряева улица в середине Европы 247

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1997

В следующем номере «ИЛ»

Роман блестящего стилиста, мастера черного юмора **Раймона Кено** «С НИМИ ПО-ХОРОШЕМУ НЕЛЬЗЯ». В центре повествования — ирландское восстание 1916 года в Дублине, предстающее в весьма неожиданном свете.

Роман самого читаемого чешского прозаика новой генерации **Михала Вивега** «ЛУЧШИЕ ГОДЫ — ПСУ ПОД ХВОСТ», в котором автор с типично гашековским юмором рассказывает о недавнем прошлом своей страны.

Герой невозможного, гений краха — писатель, актер, режиссер, реформатор театра **Антонен Арто** в воспоминаниях и эссе **Андре Бретона, Мориса Бланшо, Сьюзен Сонтаг, Жоржа Батая** на страницах очередного выпуска рубрики *«Портрет в зеркалах»*.

Цветные иллюстрации номера — работы ПАБЛО ПИКАССО:

На 1-й стр. обложки — «Женщина с вороной» (1904).
На 2-й стр. обложки — «Сумасшедший с собакой» (1903—1904).
На 3-й стр. обложки — «Женщина с веером» (1905).

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Анжелика» — Коровинское ш., д.20
«Гилея» — ул. Знаменка, д.10
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
Книжная лавка «19 Октября» — 1-й Казачий пер, д.8
«Книга Замоскворечье» — ул. Пятницкая, д.6
МКЦ «Надежда» — ул. Сретенка, д.9
«Эйдос» — Чистый пер., д.6

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://russia.agama.com/r_club/journals/inostran/soderj.htm

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎ 233-51-47; факс 233-50-61, E-mail edit@inolit.msk.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 23.01.97. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,85. Заказ №2340.

Тираж 15 500 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС

Черная вода

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского В.БЕРНАЦКОЙ

Всем Келли этого мира...

Часть первая

1

С лихой бесшабашностью Сенатор вел взятую напрокат «тойоту» по безымянному проселку, на поворотах автомобиль нещадно заносило, а потом по непонятной причине совсем выбросило с дороги, и он, накренившись на сторону пассажира, рухнул в темную быструю воду и стал стремительно погружаться.

Я что, умираю? Вот так?

2

Был вечер Четвертого июля[1]. Повсюду на Грейлинг-Айленде, особенно вдоль северного побережья, затевались вечеринки, длинные цепочки автомобилей вытянулись вдоль узких песчаных дорог, ведущих к пляжам. Ближе к ночи, когда основательно стемнеет, небо раскрасят фейерверки, некоторые по роскошеству и производимому шуму не уступят цветным сюжетам нашего телевидения из хроники войны в Персидском заливе.

Они же находились в пустынном, малопосещаемом районе острова и, скорее всего, сбились с пути.

У нее почти срывалось с языка «мы сбились с пути», но недоставало смелости произнести эту фразу вслух.

Все равно как с презервативом, который она уж не помнит сколько носит в сумочке. Сначала — в лайковой, а теперь — в нарядной, с цветочным узором, летней сумке от «Лоры Эшли». По правде сказать, точно такой же таскала она и в большой соломенной сумке, отделанной красной кожей, которая была у нее прежде и держалась так долго, что в конце концов просто развалилась от старости. От аккуратно упакованного презерватива шел целомудренный запах аптеки, в сумке он занимал мало места.

Ни разу за многие месяцы не довелось ей прикоснуться к нему, извлечь на свет, предложить тому мужчине, с кем ее свела судьба, — другу, сослуживцу или новому

---

[1] Четвертое июля, День независимости — праздник в США. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

© Penguin Books, 1992.
© В.Бернацкая. Перевод, 1997.

знакомому, — использовать его или хотя бы подумать над такой возможностью. Можно все рассчитать, быть ко всему готовой, но когда наступает момент, слова не идут с языка.

Они затерялись где-то в болотистом районе Грейлинг-Айленда (штат Мэн), расположенного к северо-западу от Бутбей-Харбор, откуда до острова можно добраться на пароме за двадцать минут. Они непринужденно переговаривались, от души смеясь, как старые добрые друзья, которые просто редко видятся, Келли осторожно придерживала руку Сенатора — не ту, что лежала на руле, а другую, в которой был пластиковый стаканчик, наполненный водкой с тоником, стараясь, чтобы его содержимое не расплескалось, и тут вдруг — как в кино, когда кадр начинает дергаться, словно на него напала икота, и изображение пропадает, — так внезапно, что она не успеет понять, насколько неожиданно все случилось, дорога вдруг выскользнула из-под колес рвущегося вперед автомобиля, а они, оказавшись в черной воде, мгновенно окутавшей темнотой ветровое стекло, боролись за жизнь, еще надеясь выбраться, а вязкая призрачная топь, окружившая со всех сторон автомобиль, будто вдруг ожила, полная решимости их поглотить.

Я что, умираю? Вот так?

3

Баффи обиделась, а может, только сделала вид. Как там на самом деле, кто его знает — Баффи большая показушница. Келли Келлер она сказала только: хорошо, но почему *сейчас*, разве нельзя задержаться еще немного, на что Келли в смущении пробурчала нечто неопределенное, не в силах ответить: нельзя, потому что он настаивает.

У нее язык не повернулся произнести: ведь если я не послушаюсь и не сделаю того, чего он хочет, *продолжения* может не быть. Ты сама это знаешь.

4

В воздухе стоял резкий солоноватый запах болота, запах сырости и гниения, запах черной земли и черной воды. Свежий и острый, несущий прохладу аромат Атлантики остался позади как воспоминание, лишь иногда сюда, в глубину острова, проникали слабые порывы восточного ветерка. И никакого шума прибоя. Только ночные насекомые. И слегка колышущиеся лозы, опутавшие низкорослые деревья. Вцепившись в пристежной ремень, Келли Келлер, ни капельки не пьяная, думала, улыбаясь: как все же странно быть *здесь*, не зная, где находится это самое *здесь*.

Они торопились, чтобы успеть на паром, который в 8.20 отчаливал от Брокденской пристани, направляясь на материк.

А предположительно в 8.15 взятая напрокат «тойота» рухнула (свидетелей трагедии не было) в воду — болото? ручей? речушку? — сразу же за крутым поворотом, чего не могли предвидеть ни Сенатор, ни тем более сидевшая на месте пассажира Келли.

Приблизительно в тридцати футах впереди находился узкий деревянный мостик из видавших виды, подгнивших досок, но никакие указатели не предупреждали о нем, так же как и об опасном повороте.

Только не теперь. И не так.

Ей было двадцать шесть лет и восемь месяцев — слишком мало, чтобы вот так умереть, она была ошеломлена и настолько потрясена, что даже не вскрикнула, когда «тойота», вылетев с дороги, коснулась еле различимой поверхности воды, так что на какое-то мгновение показалось, что у автомобиля есть шанс, скользнув по водной глади, избежать погружения, словно его могла спасти траектория полета и, пронеся над пучиной, опустить на противоположном берегу, в густых зарослях кустарника и низкорослых деревьев, опутанных вьющимися растениями.

Нельзя было ожидать в таком месте большой глубины — разве что обычную

канаву. Да и оградительный рельс мог быть более прочным. И уж, конечно, совсем невозможным представлялось оказаться вот так неожиданно, без всякой надежды на помощь извне, в черной, как навозная жижа, воде, источающей острый запах нечистот.

Только не так. Нет.

Она была потрясена и не верила самой себе, должно быть, те же самые чувства испытывал и Сенатор, ведь четвертого июля на вилле родителей Баффи Сент-Джон царила беззаботная атмосфера веселья, велись остроумные беседы, и сердце учащенно билось от невинного предчувствия того, что должно случиться (совсем скоро, а также в более отдаленном будущем — ведь одно определяет другое), и ничто не сулило таких резких перемен.

В жизни Келли Келлер и раньше случались неприятные неожиданности, ставившие ее в тупик, и каждый раз что-то удерживало ее от крика, и каждый раз с момента, когда она теряла контроль над собой и тело высвобождалось из-под власти разума, она переставала толком понимать, что же все-таки происходит на самом деле.

Ведь в такие минуты время ускоряется. А в критический момент достигает скорости света.

Сознание поглотила амнезия, растекшаяся по закоулкам мозга, словно белая краска.

5

Когда «тойота» врезалась в оградительный рельс, который проржавел, став похожим на плетеное кружево, и потому даже не сбил скорость автомобиля, она услышала изумленное восклицание Сенатора: «Эй!»

И тут взявшаяся неизвестно откуда вода хлынула на них со всех сторон. Обрушилась на капот автомобиля. На треснувшее ветровое стекло. Словно ожив и вмиг преисполнившись злобы, вода бурлила и клокотала вокруг.

6

Келли Келлер, полное имя Элизабет Энн Келлер, окончила с отличием университет Брауна, получив степень бакалавра в области американской политологии, ее дипломная работа на девяноста страницах была посвящена Сенатору.

Подзаголовок звучал так: «Джефферсоновский идеализм и прагматизм «Нового курса»: либеральная стратегия в период кризиса».

Над дипломом она работала с большим воодушевлением, изучив материалы всех трех кампаний Сенатора, и особенно подчеркнула его прочное положение в Демократической партии, дававшее ему шанс стать со временем кандидатом в президенты. За свои старания она получила высший балл «А» (как и по большинству других предметов) и удостоилась письменного разбора и похвалы рецензента.

Все это было пять лет назад. Тогда она была еще девчонка. А сегодня, встретившись впервые с Сенатором, энергично и с воодушевлением потрясшим своей огромной лапищей ее маленькую ручку, она приказала себе: ни при каких обстоятельствах не упоминать эту дипломную работу.

И она держалась. До поры до времени.

Когда отношения развиваются так стремительно, детали уже не имеют значения.

За день до этого она вместе с Баффи и Стейси прочла, хихикая, в последнем номере «Глэмера» прогноз на июль для Скорпионов. *Вы слишком осторожны и подчас не решаетесь открыто проявлять свои желания и чувства! Теперь самое время следовать ВАШИМ желаниям и реализовать их! Звезды благосклонны к вашим самым рискованным романтическим авантюрам. Итак, после периода разочарования, Скорпион, — смело вперед!*

Бедный Скорпион, такой ранимый. Такой неуверенный в себе.

И этот надменный взгляд исподлобья, раздражавший Арти Келлера, ее отца,

взгляд, говорящий о непрерывном самоедстве, что не могло не тревожить Мадлен Келлер, ее мать. *Я, конечно, люблю вас, но, пожалуйста, оставьте меня в покое.*

Бедный Скорпион, ей уже исполнилось двадцать шесть лет и восемь месяцев, а она еще не изжила подростковые кожные проблемы. Такой позор, она просто с ума сходила от бешенства. Эта по непонятным причинам возникающая сыпь, крапивница. Глаза, покрасневшие от аллергического воспаления, и ко всему прочему еще чуть заметные, но все же вполне узнаваемые прыщики вдоль линии волос...

Когда любовник любил ее, она была прекрасна. Когда она была прекрасна, любовник любил ее. Достаточно простая фраза, несколько отдающая тавтологией и все же не становящаяся понятнее.

Ну и не будет она ничего понимать. А просто окунется в новую жизнь, в новое приключение, *рискованную романтическую* авантюру, о, бесстрашный Скорпион!

7

Келли Келлер тактично намекнула Сенатору, что неплохо бы включить фары, и теперь, по мере того как они углублялись в район болот, двигаясь по заброшенному проселку, свет фар метался из стороны в сторону; нетерпеливый Сенатор, что-то бормоча себе под нос, гнал машину по ухабистой дороге, не обращая никакого внимания на то, что не допитая им водка с тоником выплескивалась из пластикового стаканчика на сиденье и на бедро Келли, прямо на хлопчатобумажное платье-рубашку. Сенатор принадлежал к числу тех, кого называют «агрессивными водителями»: в настоящий момент его противниками были дорога, сгущающаяся тьма, расстояние между ним и желанной целью, а также недостаток времени, постоянная утечка его, из-за чего Сенатор все сильнее и нетерпеливее жал на акселератор, так что «тойота» неслась со скоростью сорок миль в час, несколько снижал скорость на поворотах и затем вновь жал изо всей силы на педаль, отчего автомобиль заносило, а шины, издав протестующее ворчание, не сразу вновь укреплялись на вязкой песчаной почве. Потом все повторялось снова. Движение «тойоты» из-за этих головокружительных поворотов было сродни икоте или ритму соития!

Подобным образом, припомнила Келли с неприятным чувством, вел машину ее отец после таинственных размолвок с матерью — таинственными и раздражающими эти размолвки остались в памяти Келли, вероятно, оттого, что после них наступало долгое молчание.

Не задавай вопросов. Сядь прямо. Все в порядке. Ничего не случилось. Ты ведь моя маленькая девочка?

Позже они пообедают в мотеле. Конечно в номере. В зале нельзя — слишком опасно. Тем более в ресторанах Бутбей-Харбор в самый разгар туристического сезона.

Она не испытывала тревоги, полагая, что в решающий момент не испугается. Но была начеку. И абсолютно трезвая. Запоминая каждую минуту своего приключения.

Свет фар освещал пьяными зигзагами дорогу, узкую и для одной машины, и открывал взору такую красоту, что Келли не могла оторвать глаз от глади болот, протянувшихся с обеих сторон на много миль и казавшихся ей блестящими осколками зеркала среди густых зарослей.

Здесь, в глубине острова, тьма поднималась от земли — небо оставалось светлым. На нем серебрилась плоская, как монета, луна. На западе алели лохмотья облаков, казалось, их выкрасили специально, а на востоке, где простирался океан, небо потемнело, обретя цвет перезрелой сливы.

Она думала: *заблудились.*

И еще: *приключение.*

Оценивала она все трезво, хотя у самой дух захватывало, когда сидевший рядом мужчина жал на акселератор, тормозил, снова жал с еще большей яростью и так же яростно тормозил, и твердо знала, что на самом деле ничего не боится, а

просто возбуждена — выброс адреналина, и ничего больше, — как и днем на пляже, когда почувствовала нетерпеливое мужское желание и поклялась: ничего *не* будет.

А в то же время озорная мысль приятно щекотала воображение: а, собственно, *почему* бы нет?

Бедный Скорпион. Лукавый Скорпион.

Как же ей все-таки повезло, думала Келли, что она оказалась четвертого июля на Грейлинг-Айленде. Ведь у нее были и другие приглашения. А она не так уж и жаждала уехать куда-нибудь на этот длинный уик-энд. Но приглашение Баффи все же приняла, и вот она здесь, сейчас — *здесь*, не зная, где находится это самое *здесь*, хотя ночь уже на носу, сидит рядом с Сенатором, участница сумасшедшей гонки к Брокденской пристани, чтобы успеть на паром.

Ты Американская девушка. Ты имеешь право открыто заявлять о СВОИХ желаниях и поступать иногда как ТЕБЕ вздумается.

Перед тем как «тойоте» вылететь с дороги, Келли сморщила носик, принюхиваясь... что это, запах нечистот?

Перед тем как «тойоте» вылететь с дороги, Келли обратила внимание, что вцепилась в пристежной ремень с такой силой, что у нее побелели суставы пальцев.

Перед тем как «тойоте» вылететь с дороги, Келли наконец решилась заметить как можно тактичнее, слегка, совсем незаметно повысив голос, — Сенатор, похоже, был глуховат на правое ухо: «Боюсь, мы сбились с пути, Сенатор».

Еще девочкой Келли как-то, когда вся семья сидела за праздничным столом в День благодарения, громко обратилась к своему дяде, и хотя дядя Бэбкок вечно переспрашивал, жалуясь, что все бормочут себе под нос, на этот раз он оскорбился. Бросив в сторону племянницы ледяной взгляд, он сказал: «Орать не обязательно, мисс, я *пока* не глухой».

Может быть, Сенатор тоже обиделся, ведь он ничего не ответил, только неловко отпил глоток из пластикового стаканчика и утер губы тыльной стороной загорелой руки, напряженно всматриваясь в темноту, словно в отличие от Келли мог разглядеть сквозь призрачную болотную растительность океан, который, возможно, был от них всего в нескольких милях.

Но потом Сенатор, издав сдавленный смешок, похожий скорее на кашель, произнес:

— Это кратчайший путь, Келли. Здесь все дороги идут в одном направлении — сбиться с пути невозможно.

— Да, конечно, — вежливо отозвалась Келли, стараясь быть как можно более тактичной. То и дело облизывая запекшиеся губы, она тоже внимательно глядела вперед, но ничего не видела, кроме освещенной фарами узкой полосы дороги, густых зарослей и осколков зеркала, кое-где мерцавших во тьме. — Но дорога слишком уж разбита.

— Только потому, что здесь наикратчайший путь, Келли. Ручаюсь.

Келли! Сердце ее глупо екнуло, лицо вспыхнуло оттого, что мужчина произнес уменьшительное имя, присвоенное ей подружками в школе. И вырвалось оно так легко, прозвучало так интимно. *Как будто он давно знает меня и любит.* Как раз перед тем, как «тойоте» вылететь с дороги.

8

Келли. Тебе подходит это имя.

Да? Почему? Ветер трепал ее волосы.

Зеленые глаза? У тебя ведь зеленые глаза?

Какой он высокий, какой представительный. Ямочки от улыбки, крупные белые зубы. Он сделал шутливое движение, как будто собирался снять с Келли темные очки, чтобы удостовериться в своей догадке, но она опередила его и сама приподняла их на мгновение, встретив взгляд, полный неподдельного интереса — голубые глаза, яркая голубизна свежевымытого стекла. Улыбка на губах заметно дрогнула,

словно он неожиданно усомнился в своем мужском обаянии.

И пробормотал извиняющимся тоном, льстя этим Келли еще больше: правда, зеленые и *очень красивые*.

В действительности глаза у Келли Келлер были скорее серые, чем зеленые, сама она считала, что они у нее цвета гальки. Ничего особенного, глаза как глаза, только широко расставленные, большие, выразительные, словом, «то, что надо». А вот ресницы бесцветные, тонкие и короткие. Если не подкрашивать тушью, чего она терпеть не могла, их будто и нету.

Глаза Келли Келлер были одно время предметом беспокойства для ее родителей, а следовательно, и для нее. Вплоть до операции, после чего положение выправилось.

У Келли с рождения было нарушено равновесие между глазными мышцами, этот дефект (как ни старайся, а иначе не назовешь) именуется страбизмом или косоглазием; в случае Келли слабее были развиты мышцы левого глаза. Никто не догадывался, что в первые два года жизни у девочки все путалось перед глазами, в ее мозгу фиксировалось не одно изображение, как у всех нормальных людей, а два (каждое, в свою очередь, осложненное множественностью отдельных деталей), накладывающиеся друг на друга самым непредсказуемым образом; изображение в левом глазу часто расплывалось, и тогда девочка инстинктивно сосредоточивалась на картинке, видимой более «сильным» правым глазом, а левый зрачок блуждал в глазном яблоке как неприкаянный, пока не стало казаться (озабоченным родителям, Арти и Мадлен, папе и маме, бедняжкам, которые постоянно на протяжении первых двадцати четырех месяцев ее жизни всматривались в глазенки девочки, водили пальцами у нее перед носом, задавали вопросы, стараясь скрыть волнение, тревогу, подчас даже раздражение, последнее относилось главным образом к отцу: всякого рода «ненормальности» ужасно действовали ему на нервы — семейная черта, что со смехом признавалось; в семье был культ здоровья, физического совершенства, красоты, всего *«нормального»*), что Келли с упрямым злорадством смотрит постоянно влево, поверх головы собеседника, не встречаясь с ним взглядом, хотя ее «нормальный» правый глаз устремлен ему в лицо, как положено.

Один врач рекомендовал делать неукоснительно определенные упражнения, другой советовал как можно скорее сделать операцию — иногда даже с возрастом не удается справиться с дефектом, и тогда более слабый глаз постепенно атрофируется. Мамочка и бабушка Росс (мамина мама) предпочитали упражнения; решив, что упражнения помогут, они пригласили известного врача, молодую женщину, которая сама носила очки, та была настроена оптимистически, но проходили недели, месяцы, а зрение девочки не улучшалось. Отцу было больно смотреть на свою драгоценную крошку, ему хотелось бы оградить ее от тревог и забот, от всех напастей, и вот ведь ирония судьбы, говорил, смеясь, Арти Келлер, с негодованием разводя в стороны руки и как бы приглашая этим жестом, похожим на жест телевизионного ведущего, приглашающего к экрану миллионы анонимных зрителей, разделить с ним его недоумение и еще, конечно же, возмущение: вот ведь незадача, дела идут в гору, все просто замечательно! — начало шестидесятых — время как никогда благоприятное для экономики — объемы строительства, инвестиции — все растет, и вот ведь ирония судьбы — бизнес в полном порядке, а свою частную жизнь, семейные обстоятельства я *контролировать не могу!*

Он старался говорить убедительно и тихо (ведь где-нибудь поблизости могла быть Келли), мама подхватывала этот тон, но у нее дрожал голос и тряслись руки, — впрочем, это не бросалось в глаза, потому что руки были красивые, так же как и кольца на них, одно — усыпанное бриллиантами, а другое — нефрит в старинной золотой оправе, папа подчеркивал, что смотрит в будущее, а вдруг упражнения не помогут: напряги свое воображение, Мадлен, загляни в будущее, ведь когда-нибудь она пойдет в школу, и ты, черт подери, не можешь не догадываться, что дети будут дразнить ее, считать уродом или вроде того, ты что, этого хочешь? Этого? Тут мама

разражалась рыданиями. Нет! Нет! Конечно не хочу! Как ты можешь такое говорить?!

Поэтому однажды Арти Келлер не пошел утром на работу, а вместе с женой повез дочку в город, вся дорога туда из их местечка (Гованда Хайтс, округ Уэстчестер, штат Нью-Йорк) заняла сорок минут, и там в больнице Бет Израэл на тенистой Ист-Энд авеню «больной» глаз Элизабет Энн Келлер наконец-то прооперировали. Выздоровление наступило быстро, хотя послеоперационный период был не таким уж безболезненным, как обещали врачи, и с тех пор глаз, оба глаза, сама девочка стали по всем признакам совершенно нормальными.

9

— Заблудились, Сенатор? Дорога такая...

— Я же сказал, Келли, не волнуйся! — Искоса брошенный взгляд, легкая усмешка, тронувшая уголки покрасневших глаз. — Мы доберемся до места, и доберемся вовремя.

Жидкость выплеснулась через край пластикового стаканчика прямо на ногу Келли, прежде чем она успела что-либо сделать.

Сенатор был одним из трех основных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 1988 года, из конъюнктурных соображений он снял свою кандидатуру, отдав принадлежащие ему голоса губернатору Массачусетса, своему давнему другу.

Дукакис, в свою очередь, пригласил Сенатора баллотироваться с ним вместе в качестве вице-президента, но тот вежливо отказался.

Оставались, конечно, следующие президентские выборы, не поздно было подумать и о тех, что за ними. Сенатор, хоть и не молод, был, однако, далеко не стар: на одиннадцать лет моложе Джорджа Буша.

Мужчина в полном расцвете сил, можно было сказать про него.

Келли Келлер представила себя среди организаторов предвыборной кампании Сенатора. Впрочем, сначала она могла бы поработать и на предварительном этапе — выдвижении его кандидатуры на съезде Демократической партии. Сидя в салоне подпрыгивающей на ухабах «тойоты», Келли позволила разыграться воображению — такое случалось с ней нечасто.

Прошлым вечером она, словно предчувствуя грядущее приключение, всерьез занялась своими ногтями — подпилила, отполировала, покрыла лаком нежно-кораллового цвета, отливающего бронзой. Благородный, со вкусом выбранный оттенок. Как раз в тон помаде.

— Здесь все дороги идут в одном направлении, — говорил, улыбаясь, Сенатор со снисходительным видом человека, вынужденного оглашать очевидную истину.

Келли засмеялась. Сама не понимая почему.

Они познакомились только сегодня и вот уже мчались вдвоем в машине, как близкие друзья. Чужие, по существу, люди, хоть и улизнули потихоньку вместе.

Поэтому и не знала Келли Келлер, как называть ей мужчину, сидевшего за рулем «тойоты», потому и не сорвалось с ее губ его имя, когда черная вода обрушилась на автомобиль и растеклась по треснувшему ветровому стеклу и по крыше, когда тьма внезапно заволокла все вокруг, как будто сама топь восстала, предъявив на них права.

Приемник тут же смолк. Музыка, которую не слушал ни один из них, оборвалась, как если бы никогда и не звучала.

Они познакомились сегодня днем, часа в два. Случайное знакомство в доме мистера и миссис Эдгар Сент-Джон из Олд-Лайма, штат Коннектикут, вилла стояла на Дерри-роуд и выходила окнами на океан. Самих хозяев на вечеринке не было, гостей принимала Баффи Сент-Джон, подруга Келли, с которой та все годы делила комнату, учась в университете Брауна, — Баффи, самый задушевный ее друг.

Баффи Сент-Джон было тоже двадцать шесть лет, и она, как и Келли Келлер, сотрудничала в одном из бостонских журналов, хотя ее «Вечерний Бостон» разительно отличался от «Ситизенс инкуайери», где работала Келли; из них двоих Баффи была более светской, более опытной, более «авантюрной». Баффи красила ногти и на руках, и на ногах немыслимыми оттенками зеленого, голубого и алого цветов и постоянно возобновляла запасы презервативов в разных сумочках.

Баффи Сент-Джон пылко, словно подвергли сомнению ее собственную добродетель, отметет предположение, что ко времени несчастного случая женатый Сенатор и Келли Келлер были любовниками или хотя бы были знакомы ранее. Баффи голову даст на отсечение, что этого не было. И Рей Энник ее поддержит. Сенатор и Келли познакомились в тот самый день, на вечеринке по случаю Дня независимости.

Не любовники и даже не друзья. Просто только что познакомившиеся люди, которые, судя по всему, почувствовали взаимную симпатию.

Все близко знавшие Келли Келлер не перестанут настаивать: они с Сенатором не знали раньше друг друга, иначе Келли рассказала бы им.

Келли Келлер не была хитрой. И скрытностью не отличалась.

Мы знаем ее, мы знали ее. *Это совсем не в ее характере.*

Итак, они только что познакомились и, по существу, были почти чужими друг другу.

Никто не пожелал бы себе такого вот конца — утонуть запертой с незнакомцем в медленно оседающем на дно автомобиле.

Их не связывали и общие дела, хотя, нужно отметить, у них были одинаковые политические взгляды, схожие либеральные пристрастия. Ни в настоящем, ни в прошлом Келли не работала на Сенатора, не принадлежала к его окружению, не участвовала в проведении предвыборной кампании. Правда, после окончания учебы она работала у старого друга Сенатора, его политического соратника еще с 60-х годов, со времени головокружительной кампании Бобби Кеннеди — горячие денечки, теперь ностальгически вспоминаемые: тогда у Демократической партии были сила, цель, власть, надежда и молодость, тогда, несмотря на кошмар Вьетнама и волнения в стране, оставалась вера, что хуже не станет.

Когда в июне 1968 года убили Бобби Кеннеди, Келли Келлер не было еще и четырех. Честно говоря, она ничего не помнила об этой трагедии. Во всяком случае, ее шеф Карл Спейдер любил говорить: «*Если ты занимаешься политикой, значит, ты оптимист*».

Теперь ты уже не оптимистка, ты больше не занимаешься политикой.

Ты уже не оптимистка, ты покойница.

Приемник они включили, едва отъехав от дома, на ухабистой Дерри-роуд, откуда свернули на Пост-роуд (заасфальтированную улицу с двусторонним движением, одну из немногих благоустроенных дорог на острове), вскоре на стороне Келли мелькнул знававший лучшие времена указательный столб с неразборчивыми названиями, которые не успели толком разглядеть ни Келли, ни Сенатор, хотя оба уловили среди прочих нужное им: «Брокденская пристань, 3,5 мили». Сенатор, пребывавший в прекрасном настроении, весело насвистывал что-то сквозь зубы, крупные белоснежные зубы отменной формы, а потом произнес с сентиментальным вздохом: «Бог мой! Эта мелодия уносит меня в прошлое» — в это время из динамиков, расположенных у заднего сиденья, доносилась музыка, несколько заглушенная рокотом кондиционера, который Сенатор сразу, как только включил зажигание, перевел на полную мощность, это было звучавшее гнусаво-печально инструментальное переложение песни, которую Келли Келлер сразу не распознала.

Слегка тронув Келли локтем, Сенатор сказал — и это прозвучало не столько упреком, сколько дружелюбным поддразниванием:

— Думаю, ты этого никогда не слышала?

Келли прислушалась. Ей очень хотелось приглушить яростно гудевший кондиционер, но она не решалась: в конце концов, автомобиль принадлежит Сенатору, а

она всего лишь пассажирка. Арти Келлер определенно не одобрил бы, если бы его спутник начал возиться с переключателями на щитке управления.

Келли Келлер осторожно произнесла:

— Что-то знакомое. Только не помню названия.

— Старая песня «битлов» — «Все одинокие люди».

— Да, — радостно закивала Келли. — Конечно!

Это была уже музыка Нового времени, хотя и без слов. Синтезаторы, всякие акустические приспособления. Музыка выдавливалась, будто паста из тюбика.

— Могу поклясться, что ты конечно уж не поклонница «битлов»?! — произнес Сенатор все с той же дразнящей интонацией. — Слишком молода. — Это был не столько вопрос, сколько утверждение. Келли уже успела заметить, что все вопросы Сенатора звучат как утверждение, а его самого несет дальше, к чему-то новому, как и сейчас, когда он с возгласом «А вот и наш поворот!» резко затормозил и круто повернул руль, не обозначив эти свои действия никаким сигналом, так что разгневанный автомобилист, ехавший сзади, грозно прогудел, но Сенатор даже не обратил на него внимания: не из-за высокомерия, а прóсто не обратил — и все.

Эта скверная, изрытая колеями дорога, затерявшаяся в болотах, была известна местным как Старая паромная дорога, хотя это не подтверждалось никакими указателями, их здесь не было уже много лет.

Строго говоря, Сенатор не сбился с пути и перед тем, как случилась беда, ехал в правильном направлении, к пристани, хотя, сам не зная того, свернул на старую дорогу, ею не пользовались с тех пор, как проложили новую, асфальтированную, до поворота на которую оставалось три четверти мили.

К этому времени Сенатор опустошил свой стакан, и тогда Келли Келлер передала ему еще один, тот, что сберегла для него на дорогу.

Они только что познакомились и, по существу, совсем чужие друг другу. Но подумать только, какое взаимопонимание! Ты знаешь как это бывает твои глаза его глаза вспыхивают жаром внезапного узнавания вас окутывает нега словно вступаешь в теплую воду безупречно прекрасная женщина лежит раскинувшись в истоме словно в постели длинные волнистые рыжие волосы сладострастно разметались кожа само совершенство потрясающая кожа изящный алый.рот роскошное платье из шитой золотом парчи плотно обтягивает грудь живот шелестящие складки мягко обозначают область лона. Любовник напряженно склонился над ней глядя вниз его смуглое красивое лицо не совсем в фокусе женщина тоже смотрит на него и ей не надо улыбаться предлагая себя ведь ее нагота под парчой сама зовет ее стройные бедра нагие под платьем еле заметно подались к нему совсем чуть-чуть словно во сне иначе приглашение будет вульгарным духи в поблескивающем флаконе называются ОПИУМ духи называются ОПИУМ называются ОПИУМ — они сведут тебя с ума они превратят тебя в наркомана их продают в шикарных магазинах...

Во время их прогулки по пляжу ветер трепал ее волосы, чайки слепили глаза белоснежными крыльями, а волны бились бились бились о берег, и в такт приливу пульсировало ее лоно, его руки так уверенно обхватывали ее обнаженные плечи, а она робко тянулась к нему, не в силах сопротивляться этому естественному порыву, и думала: «Все это невозможно! Этого просто не может быть!» — и тут же: «Что-то произойдет, не может не произойти».

10

...маленькая красная стрелка показывала более сорока миль в час, когда «тойоту», подскочившую на песчаном бугре, вдруг повело в сторону, как будто сдуло, а в это время Сенатор жал изо всех сил на тормоза, бормоча что-то себе под нос, но автомобиль все больше заносило, все решительнее и целенаправленнее, словно само

нажатие на тормоза рождало в машине упрямое противодействие, в машине, казавшейся до сих пор такой послушной, чем-то вроде игрушки, вроде санок, бешено мчащихся с горы, отчего холодело в животе, и вдруг, как же это могло случиться, автомобиль выбросило с дороги, его занесло, правое заднее колесо крутилось вперед, а левое переднее — назад, оградительный рельс больше не сопровождал их сбоку, проступая из темноты, — он развалился на куски, а обломки посыпались с глухим ворчанием на стекло, и хрясть! хрясть! — паутиной поползли трещины! их болтало и швыряло в машине, будто началось землетрясение, а потом машина оказалась в воде, и не в канаве, как можно было ожидать, не в какой-нибудь луже, она пошла на дно, кто бы мог вообразить такое, а черная вода пузырилась и бурлила, заливая смятый складной верх автомобиля и ветровое стекло, «тойота» резко пересилась на сторону пассажира, дверь заклинило, и она прогнулась с легкостью алюминиевой банки фирмы «Миллер лайт» под ногой какого-нибудь парня на пляже, а Келли никак не могла набрать в легкие достаточно воздуха, чтобы закричать, впрочем, она и так не знала, как ей обращаться к нему, — имени, которое могло бы легко сорваться с ее губ, просто не было.

11

С того самого момента, когда четвертого июля в середине дня адвокат Рей Энник, любовник Баффи и друг Сенатора, учившийся с ним в Андовере, познакомил их, Келли Келлер держалась настороже — тише воды, ниже травы, словом, вела себя сдержанно, отнесясь к новому знакомству весьма скептически. Глядя со стороны, как этот известный человек крепко и с видимым удовольствием пожимал всем руки, проявляя при этом немалый энтузиазм и как бы заявляя всем своим видом, что преодолел сотни миль только для того, чтобы иметь эту возможность: пожать руку тебе, и тебе, и тебе, она думала: «Он один из них, *из тех, что ведут вечную кампанию*».

Но в последующие часы Келли пришлось радикально изменить свое мнение о Сенаторе.

Мы не рискнем утверждать, что в оставшиеся шесть часов Келли Келлер влюбилась в Сенатора, точно так же как не будем настаивать, что Сенатор увлекся ею, вещи это сугубо личные и покрыты тайной, а что сулило им будущее (не случись того, что случилось на самом деле), теперь уже не узнать. Известно только: Келли изменила свое мнение о Сенаторе.

Думая при этом, как поучительно, как полезно для души (и улыбалась своему отражению в зеркале ванной, примыкающей к гостевой комнате, которую Баффи предоставила ей и которая осталась бы за ней и в ночь четвертого июля, если бы не ее поспешное решение сопровождать Сенатора на материк) признать, что ты тоже можешь ошибаться, что в данном случае ты оказалась не права.

Даже если это признание делается втайне.

Даже если тот, о ком ты так опрометчиво и неправильно судила, никогда об этом не узнает.

Келли? Правильно? Келли? *Келли.*

Ужасно глупо, не правда ли, что сердце у нее забилось как у школьницы, когда она услышала, как он произносит ее имя, а ведь Келли Келлер была уже достаточно зрелая молодая женщина, и у нее было много любовников.

Несколько, уж точно.

Во всяком случае, со времени окончания университета Брауна у нее было одно серьезное увлечение, об этом романе она никогда никому не рассказывала.

(Почему ты никогда не говоришь о Г., интересовались подружки Келли — Баффи, Джейн и Стейси — вовсе не из праздного любопытства, а потому что тревожились за Келли, видя в этом молчании симптом разбитого сердца, в циничном отношении к мужчинам — знак начавшейся депрессии, угнетенности духа, а в том, что изредка она замыкалась в себе, не отвечая на записанные автоответчиком настой-

чивые просьбы позвонить, — суицидные наклонности — об этом они никогда не осмеливались говорить с Келли, только обсуждали это между собой.)

Но Сенатор был действительно мужчина хоть куда! Легко и непринужденно вылез он из машины, подвижный как ртуть, сияя улыбкой, и тут же начал здороваться со всеми, а среди гостей побежал шепоток — *это он... Неужели правда он?* Сенатор искрился молодым задором.

Его пригласил на Грейлинг-Айленд Рей Энник, о чем Баффи осторожно сообщила своим гостям: я не очень-то верю, что он выберется. Скорее всего, его не будет.

Он был более живым, более неотразимым (существует такое затасканное определение), более вдохновенным, чем выглядел на экране телевизора. Начать с того, что это был крупный мужчина: метр девяносто три — рост, вес — восемьдесят шесть килограммов. Для мужчины за пятьдесят с тяжелым телом бывшего спортсмена выглядел он прекрасно, двигался мягко, словно крадучись; даже когда он стоял (в своих удобных, слегка потертых бежевых летних туфлях на пробковой подошве от «Л.Л.Бина»), то, казалось, просто медлил, прежде чем сделать очередной упругий шаг. Широкое, все еще красивое лицо, светло-голубые, прозрачные глаза, прямой, с еле заметными красноватыми прожилками нос, крепкий, твердо очерченный подбородок, всем знакомый профиль.

Оттянув галстук, ослабил воротничок белой хлопчатобумажной рубашки с длинным рукавом — «Вижу, здесь уже гуляют без меня, а?».

Он оказался доброжелательным, по-настоящему приятным человеком, а не просто вежливо-снисходительным, и Келли Келлер мысленно представила себе, как будет рассказывать об этом памятном четвертом июля на Грейлинг-Айленде — *он говорил с нами как с равными и, более того, как с добрыми старыми друзьями.*

А еще он поцеловал ее. Но это случилось позже.

12

Келли Келлер совсем не была дурочкой и знала, что из себя представляют люди, занимающиеся политикой. И не только из курсов американской истории и политики, которые им читали в университете.

Ее отец, Артур Келлер, еще со школьных лет был близким другом и постоянным партнером по теннису Хэмлина Ханта, конгрессмена-республиканца, и даже когда дела мистера Келлера шли не очень хорошо (к слову сказать, со времени разразившейся несколько лет назад катастрофы на бирже они так и не поправились), он все же оказывал посильную материальную помощь кампаниям Хэма Ханта, выступал в качестве распорядителя обедов в клубе «Гованда Хайтс», на которых собирались средства в фонд очередной кампании, и по-детски радовался, когда его приглашали на собрания республиканского актива — местного, а также на уровне штата. В последнее время о Ханте, которого Келли знала еще с начальной школы, стали все чаще говорить, он превратился в «одиозную» личность, известную всей стране, постоянно мелькал на телеэкране, давал интервью в теленовостях, где выглядел чуть ли не диссидентом, бунтарем, у которого любой пункт либеральной программы вызывал протест, *кроме* абортов... тут Хэм Хант был полностью солидарен с либералами.

(В глубине души Хант искренне верил, что именно аборты — залог спасения Америки, аборты в определенных демографических районах — среди черных, испаноязычного населения, матерей-одиночек, всех тех, что начинают плодиться, едва достигнув половой зрелости, да, что-то нужно делать, что-то обязательно с этим нужно делать, здесь могут помочь лишь узаконенные аборты, только они позволят контролировать рождаемость, белое большинство должно поддержать этот пункт, пока не поздно, — «Я знаю, о чем говорю, побывал и в Калькутте, и в Мехико. И кое-где в Южной Африке тоже».)

Однажды Келли крикнула в лицо изумленному отцу:

— Как ты можешь голосовать за этого типа?! Это же фашист! Нацист! Он исповедует геноцид во славу Господа!

У мистера Келлера был тогда такой вид, словно она влепила ему пощечину.

— Как он может, мама? Как *ты* можешь? — задала Келли вопрос матери в более спокойную минуту, и тогда миссис Келлер, гордо глянув в лицо разгневанной дочери, взяла ее за руку и спокойно произнесла:

— Келли, дорогая, ответь мне, пожалуйста, ну откуда ты знаешь, за кого я голосую?

Во время последних президентских выборов Келли оказывала на добровольных началах поддержку обреченной на поражение кампании губернатора Дукакиса. Она не понимала, что кампания обречена, до самых последних недель борьбы, потому что всякий раз, видя или слыша Джорджа Буша, полагала, что каждый, кто хоть раз увидит или услышит его, ни за что не поверит этому лицемеру! А его корыстолюбие, а непроходимая глупость, невежество, *цинизм*, наконец! Играет на страхе белого населения перед неграми! А его связи с ЦРУ! А показное благочестие! Мелкая душонка! Ее единомышленники в штабе кампании (в Кембридже) тоже не верили до самого последнего момента, что кандидат от Демократической партии проиграет, хотя об этом ясно говорили предварительные прикидки и сам Дукакис стал держаться совсем не так уверенно, как прежде.

«Келли, боже мой, ну как ты можешь тратить свое время и энергию на это дерьмо?» — кричал ей в трубку Арти Келлер.

Когда объявили результаты голосования и не осталось сомнений, что республиканцы победили, а то, что казалось немыслимым, стало уже историей, как становится историей, а следовательно, возможным многое из того, что кажется немыслимым, Келли практически перестала есть, несколько ночей кряду не смыкала глаз, впала в отчаяние и бродила бесцельно по улицам Бостона — растрепанная, ничего не понимающая, бессмысленно улыбаясь и чуть не падая в обморок от голода и мучительной тошноты, она видела перед собой не человеческие фигуры, а смутные контуры, что-то относящееся к животному миру, состоящее из плоти, пребывающее в вертикальном положении и пользующееся одеждой... В конце концов она разревелась и помчалась звонить матери, умоляя ее: поскорее приезжай, забери меня, я не знаю, на каком я свете.

13

Она была той самой девушкой, той, которую он выбрал, той, с которой это должно было случиться, — пассажиркой взятой напрокат «тойоты».

Она вцепилась во что-то, крепко ее зажавшее, а черная вода поднималась меж тем все выше, клокоча, бурля и заливая глаза, и она, силясь закричать, судорожно глотала воздух, пока не закричала наконец, зайдясь кашлем и захлебываясь слюной, а «тойота» тем временем опускалась в темной пенящейся воде на дно тем боком, где находится место пассажира.

При крещении ее нарекли Элизабет Энн Келлер. В выходящем два раза в неделю «Ситизенс инкуайери» на той странице, где перечислялись сотрудники издания, ее имя значилось именно так — Элизабет Энн Келлер.

Друзья ее звали Келли.

Ты знаешь, как это бывает — мгновенный жар взаимного узнавания. Как удар молнии.

Он счастливо улыбался, сжимая ее руку, стискивая ее слишком сильно, бессознательно, как это делают иногда мужчины, некоторые мужчины, которым просто необходимо видеть и ощущать вспышку боли в твоих испуганных глазах, сужение зрачка.

Вот так и Г. в минуты близости иногда причинял боль. Бессознательно.

Она вскрикивала пронзительно и коротко, задыхаясь и всхлипывая, и одновременно слышала себя как бы со стороны: из всех углов темной комнаты доноси-

лись исступленные молящие крики — я люблю тебя, о, я люблю тебя, я люблю, люблю тебя, люблю, люблю, люблю, люблю тебя, тела их бились друг о друга, хлюпали, пропитанные потом, волосы слиплись, *ты — моя маленькая девочка, да, так ведь?*

Тяжесть его тела, мужские руки, обнимающие ее, дрожь ее ног, оседлавших его бедра или неуклюже задранных к плечам, чтобы он мог глубже войти в нее, дрожащие коленки — так! да! так! О боже! — и знать, что в решающий миг губы Г. искривит знакомая гримаса — ликующий череп, — которая не будет иметь к ней никакого отношения.

Перед окончательным разрывом он сказал ей спокойно: «Я не хочу причинять тебе боль, Келли, надеюсь, ты это понимаешь», и Келли, улыбаясь, подтвердила: «Да, понимаю», словно это был обычный разговор, непринужденный дружеский треп, ведь они были не просто любовниками, но и лучшими друзьями; она его поцеловала, он, обняв ее, уткнулся жарким лицом ей в шею, а она все еще соображала: «А я? Могу я причинить тебе боль? Разве не в моей власти сделать *тебе* больно?» Зная, что теперь такой власти у нее больше нет.

Зимний день был на исходе. Из углов ползли тени, комната становилась все мрачней — такой ее Келли не знала. Они сидели, соприкасаясь головами, и Г. сказал: «Не сомневался, что ты все поймешь. Но хотел удостовериться».

Что же так крепко держало ее? Ремень?.. Несколько ремней: они впились в ее грудь и бедра, левая рука запуталась в одном из них?.. она больно ударилась лбом, не видя в кромешной тьме, обо что именно, судорожно моргала, щурилась, пытаясь хоть что-то разглядеть, но тщетно, только в ушах стоял гул, словно ревел мотор реактивного самолета, и слышался растерянный мужской голос: «О боже. О боже. О боже».

Она оказалась той девушкой, которую он выбрал, той самой, пассажиркой, той, что запуталась в пристежных ремнях, нет, ее заклинило между дверцей и крышей и, наверно, перевернуло вниз головой? прижало правым боком? но где верх? и где низ? где воздух? она ощущала вес его тела, он бился рядом с ней и, уже задыхаясь, молил с рыданием в голосе — О боже! — мужской голос, голос незнакомца, разве можно умереть вот так — взять и утонуть в черной как ночь воде с незнакомым человеком, правую ногу зажало словно в тисках, правое колено вывернуло, но боли не ощущалось, как будто она была в шоке или уже умерла, — так скоро! так скоро! — черная вода проникала в ее легкие, заливала их, значит, кислород перестанет поступать в мозг и она не сможет думать, пока же мысли ее были трезвыми и даже логичными: все это происходит не со мной.

Этот человек, этот навалившийся на нее всем телом мужчина, кто он такой? — она не помнила. Он тоже цеплялся, царапался, яростно брыкаясь, рвался наружу из опрокинувшейся машины.

Этот отчетливый голос, чужой и незнакомый: «О боже!»

Не проклятье, а смиренная мольба.

Если бы «тойота», мчавшаяся со скоростью сорок миль в час, не вышла из повиновения на крутом повороте, подпрыгнув на ухабе, что привело к многочисленным повреждениям, она, скорее всего, врезалась бы в перила узкого моста чуть впереди и все равно свалилась в воду. Во всяком случае, это представляется наиболее вероятным.

Эта быстрая речушка звалась Индиан-Крик. В голову не могло прийти, что у нее есть название. Затерянная среди болот, в непролазной топи... Над ней кишели москиты и прочие ночные насекомые, они звенели в тишине, охваченные безудержной жаждой размножения. Вам также не пришло бы в голову, что кое-где глубина тут достигает одиннадцати футов, а ширина — двадцати, подумать только — в этой речушке, бегущей на северо-восток и изливающейся в бухточку Атлантического океана, пустующую во время отлива, а следовательно, и в сам Атлантический океан, примерно в двух милях к востоку от Брокденской пристани.

Я что, умираю? Вот так?

И никаких свидетелей. Автомобили не ездили по этой старой дороге.

Как будто ее хотели наказать за плохое поведение, за то, что она повела себя *не так, как обычно, не так, как привыкла себя вести Келли Келлер*, но она тут же отбросила эту мысль, не будучи суеверной, она даже не верила в англиканского Бога.

Он избрал ее. Это было ясно с самого начала. Мгновенно протянувшаяся нить! Непринужденность улыбок! Ровесница его дочери!

Да уж, ничего не скажешь, гостей они удивили, во всяком случае некоторых. Тех, кто все смекнул. И разочаровали Баффи Сент-Джон, сказав, что уезжают, чтобы успеть на паром, отходящий в 8.20 на Бутбей-Харбор.

На самом деле, как будет вспоминать Баффи, Сенатор хотел успеть на предыдущий паром... но как-то вовремя не собрался... пропустил еще рюмашку... или две.

Сенатор и его попутчица Келли Келлер покинули вечеринку в доме 17 по Дерри-роуд приблизительно в 19.55. Следовательно, в их распоряжении оставалось двадцать пять минут — вполне достаточно, чтобы успеть на паром, если ехать быстро и в правильном направлении.

Ошибкой был выбор старой дороги, ошибкой объяснимой, если учесть, что уже смеркалось, дело здесь не обязательно в воздействии алкоголя.

Власти Грейлинг-Айленда, переставшие заботиться о благоустройстве старой дороги, должны были официально закрыть ее и поставить ограждение с вывеской: дороги нет.

Триста акров болот объявили на Грейлинг-Айленде заповедной зоной, взятой под охрану государством. И птицы: плавунчики, козодои, стрижи, речные утки, не способные нырять, которые кормятся на мелководье или на суше, и нырки, белые и большие голубые цапли, крачки, разные виды дятлов, дрозды, танагры, а также прочие распространенные на северо-востоке породы. И некоторые виды болотистой растительности: рогоз, осока, понтедерия, десятки разновидностей камыша и тростника, аризема, триллиум, болотные ноготки, стрелолист, арум кукушечный. И животные... Келли Келлер пробежала глазами путеводитель по острову для туристов, который нашла у Баффи, там-то она и прочла о заповеднике, находящемся всего в нескольких милях от виллы, Баффи ездила туда много раз в детстве, когда проводила здесь лето с родителями, но уже давно там не бывала, может, завтра, если Рей будет в настроении, туда махнуть, красота там необыкновенная, конечно, если у них не будут трещать с похмелья головы, если у Рея не окажется других планов и если солнце жарить не будет, а Келли тем временем думала: уж она-то точно поедет, пусть и в одиночестве, возьмет чью-нибудь машину или, если это не очень далеко, позаимствует у Баффи велосипед — новехонький, предназначенный для горных дорог.

Ты ездила когда-нибудь на таком? Нет? Тогда попробуй.

Вцепилась в руль, ноги на педалях, не опускаясь на сиденье и выгнув спину и ягодицы, длинные рыжеватые волосы полощутся на ветру, радостная детская улыбка — оттого что мчится по берегу моря, толстые рифленые шины рассекают с хрустом песок, какая бешеная скорость, вот счастье-то, маленькая Лиззи несется как ветер на глазах у мамочки, папочки, бабушки и дедушки, осторожней, дорогая! Осторожней! А она смеется и мчится вперед, исчезая из поля их зрения, и вот уже голоса их замерли вдали.

А здесь, у Баффи, на ней был новый купальный костюм, обтягивающий стройное тело плотно, как перчатка, белый, с дразнящими воображение маленькими перламутровыми пуговками, укрытые от глаз чашечки лифчика на одной лямке поддерживают грудь, в центре соблазнительная затемненная ложбинка, она видела, как его глаза автоматически скользнули туда, да и в дальнейшем незаметно ощупывали взглядом ее лодыжки, бедра, грудь, плечи, которые не могла скрыть бледно-желтая вышитая блуза, она стыдливо набросила ее, полагая, что сильно уступает Баффи в шелковом черном бикини, а еще этот вызывающе поблескивающий зеленый лак ногтей на руках и ногах, ох уж эта Баффи с ее безупречной кожей, залихватски за-

крученным «конским хвостом», такая дерзкая и самоуверенная, что в присутствии Рея шлепнула себя по бедрам, вскричав: обгорела! вот это да — вся красная! Но, черт побери, это не от стыда!

Все рассмеялись. И *он* тоже. Баффи Сент-Джон, такая красивая. От ее умащенной кремами, разогретой на солнце кожи исходили флюиды самоуверенности.

Еще будучи первокурсницей в Брауне, Келли выработала привычку подолгу голодать — для дисциплины, чтобы установить строгий контроль над собой, а еще чтобы облегчить тяготы менструального периода, после же разрыва с Г. она таким образом наказывала себя за то, что любила мужчину больше, чем он ее, но в последний год приняла решение стать *здоровой, нормальной* и потому заставляла себя есть регулярно и уже набрала одиннадцать из двадцати сброшенных фунтов, теперь она спала без снотворного, ей даже не приходилось выпивать на ночь стакан красного вина, что стало у них с Г. своеобразным ритуалом за те три месяца, что они прожили вместе, -- да, даже это было не нужно.

И вот она добилась своего, стала *здоровой, нормальной*. Стала настоящей американской девушкой, *ты хочешь выглядеть как можно лучше и радоваться жизни.*

И все же она избегала появляться в Гованде Хайтс, родном доме. Испытывая острое чувство вины перед матерью, которая беспокоилась о ней, и перед отцом, с которым постоянно грызлась из-за «политики», а по существу из-за того, что таланты отца остались невостребованными, но постепенно отношения между ними улучшились, Келли была теперь в хорошей форме и осмотрительно избегала некоторых друзей — разочарованных идеалистов, гневных сторонников регулируемой рождаемости и даже самого мистера Спейдера, который после недавнего развода (третьего) ходил небритый, отрастил брюшко, его рыжеватые волосы заметно поредели, он был постоянно под мухой, а когда улыбался, обнажал неровные зубы, на его лице — лице шестидесятилетнего младенца — обозначались ямочки, как-то в офисе она жутко смутилась, почувствовав на себе его взгляд и слыша учащенное хриплое дыхание, из его ушей и ноздрей торчали жесткие волосы, бедняга Карл Спейдер, а ведь когда-то его имя не сходило с первых полос газет — имя златоуста, красноречивого белого сторонника Мартина Лютера Кинга и Джона Фицджеральда Кеннеди, а что теперь? — полутемный офис на Бриммер-стрит, обращенный окнами на складские помещения, да «Ситизенс инкуайери» с тиражом всего 35—40 тысяч, а ведь в годы расцвета тираж достигал 95—100 тысяч, не уступая «Нью рипаблик», но упаси вас бог в разговоре с Карлом Спейдером упоминать «Нью рипаблик», где, кстати, сразу после колледжа он несколько лет работал, и упаси бог затрагивать в беседе тему нынешнего торжества консерватизма, жестокого разочарования, трагедии, разрушения концепции Кеннеди—Джонсона, утраты Америкой души, нельзя его заводить! — Келли осторожно отвечала на расспросы Сенатора, касающиеся его старого друга Спейдера, Келли Келлер была не из тех, кто любит посплетничать, и не принадлежала к тем, для кого несчастья ближних — повод для беззаботной болтовни, никогда не говорить за спиной человека того, что не можешь сказать ему в лицо, — таков был ее принцип.

Сенатор несколько раз возвращался в разговоре к Карлу Спейдеру, которого, по его словам, не видел тысячу лет. При этом в его тоне звучало сочувствие с легким оттенком осуждения.

Да, конечно же, он читает «Ситизенс инкуайери», конечно же.

Журнал регулярно приносят в его вашингтонский офис. Конечно же.

Он спросил Келли, что она делает в журнале, и Келли рассказала, упомянув свою недавнюю статью «Смертная казнь — позор для Америки», а Сенатор сказал, о, конечно, как же, он читал статью, да, да, она произвела на него сильное впечатление.

Так же как и ее вид на новеньком великолепном велосипеде Баффи — она кожей чувствовала, что он с нее глаз не сводит.

Политика — упоение властью.

Эрос — упоение властью.

Обняв своими сильными руками ее обнаженные под вышитой блузой плечи, он

крепко поцеловал ее в губы, в то время как беззаботный ветер шаловливо овевал их, еще теснее соединяя, связывая. Поцелуй был внезапным, но не неожиданным. Они бродили в дюнах за домом Сент-Джонов, над их головами стремительно рассекали воздух белые чайки — крылья словно ножи, смертоносные клювы, резкие крики. Равномерный шум прибоя. Волны бьются о берег — удар, еще удар. Она помнила этот шум с прошлой ночи, когда лежала без сна, слыша сдавленный смех, доносившийся из комнаты Баффи и Рея, занимающихся любовью, крики снизу, шум прибоя, начало прилива, кровь, пульсирующая в ее жилах, мужское нетерпеливое желание, между ними все было ясно без слов, он, конечно же, еще не раз поцелует ее, и то, что Келли неожиданно решила ехать с ним, чтобы успеть на паром, и не осталась еще на одну ночь — четвертого июля — у Баффи, было публичным признанием этого факта.

Она была той девушкой, которую он выбрал. Той, что сидела в мчащейся вперед машине. Пассажиркой.

Скорпион, не робей, бедный глупенький Скорпион, *звезды благосклонны* к твоим самым безрассудным любовным приключениям. Диктуйте ваши желания. Они обязательно исполнятся.

Она так и поступила. И будет поступать впредь. *Ее* избрали.

14

Она еще ощущала на своих губах вкус слегка отдающего пивом поцелуя Сенатора, а во рту — глубоко просунутый язык.

Пусть «тойота» даже сорвется с безымянной дороги, этого у нее уже не отнять. И она скривила в улыбке рот, вспоминая, сколько раз доставшиеся ей поцелуи приносили с собой вкус пива, вина, спирта, табака, наркотика. Множество ощупывающих тебя изнутри языков. *Готова я к этому?*

Она засмотрелась на луну из подскакивающего на ухабах автомобиля. До чего забавная, плоская, как блин, и так ярко светит. Кажется, что не просто отражает свет, а раскалена изнутри, действительно так кажется, но это ошибочное впечатление, все эти собственные расчеты и домыслы иногда подводят, бедный Скорпион.

Келли Келлер, конечно же, не верила в такую чушь, как астрологические гороскопы. В глубине души она, несмотря на то что на добровольных началах помогала Национальному фонду по борьбе с неграмотностью, испытывала невольное презрение к безграмотным людям, не только к черным, конечно (хотя все ее ученики были чернокожие), но и к белым: к тем мужчинам и женщинам, которые не поспевали за безжалостным прогрессом, их ограниченный интеллект не мог постичь некоторые аспекты современной жизни; Арти Келлер, Хэм Хант и вместе с ними вся консервативная Америка, несомненно, считали, что все это неизбежные издержки цивилизации и лучше позаботиться о своей белой шкуре, но Келли Келлер яростно отвергала такой эгоизм, недаром она в конце концов сочинила на компьютере в колледже безобразное письмо к родителям, и, внимательно его перечитав, подписалась полным именем — Элизабет Энн Келлер, и отправила письмо в отчий дом, в Гованду Хайтс, штат Нью-Йорк, в нем она частично объясняла, почему в этом году не едет на праздник Благодарения домой, а вместо этого отправляется с соседкой по комнате в Олд-Лайм: *Мама и Папа, я всегда буду любить вас, но для меня совершенно ясно, что ни за что на свете я не соглашусь жить так, как вы, пожалуйста, простите меня!*

В то время Келли было девятнадцать лет.

Самое удивительное, что родители простили ее.

Сенатор принадлежал к тому же кругу, что и Келлеры, он поступил в Андовер в тот самый год, когда Артур Келлер окончил его, потом учился в Гарварде, там получил степень бакалавра и диплом юриста, а Артур Келлер тем временем побывал в Амхерсте, а потом в Колумбии, наверняка у Сенатора и Келлеров было много общих знакомых, но в тот день, сбивчиво и возбужденно беседуя, ни Сенатор, ни Келли Келлер не заговорили об этом.

Она знала, что у Сенатора есть дети ее возраста — сын? сын и дочь? — но расспрашивать, конечно, не стала.

Она знала, что Сенатор жил отдельно от жены, Сенатор сам мимолетно коснулся этой темы.

Улыбаясь, он произнес: этот уик-энд я провожу один, моя жена со своей семьей уехала в наш дом на Кейп... голос его звучал нерешительно.

Вкус его губ. И еще раньше, в этот же день, когда Келли сидела за столом, подперев голову руками, в стороне ото всех, сонная, и осовелая, и даже чуть-чуть больная (ну *почему* она пила? когда еще вино действовало на нее так непредсказуемо? или на каждой вечеринке полагается кому-то напиться — как в колледже? значит, это просто случайно, как в колледже?), и кто-то крадучись подошел к ней, сквозь полуопущенные ресницы она видела, что человек этот босой, видела крупную белую жилистую ступню мужчины, неровные ногти, а потом ощутила на своем обнаженном плече нежнейшее, почти воздушное прикосновение, оно пронзило ее словно током, ведь она мгновенно осознала, что это были его губы... его теплый мягкий влажный язык коснулся ее открытой кожи.

Тогда она взглянула ему прямо в лицо. Его глаза. Слегка желтоватые, словно от усталости, с красноватыми прожилками белки, зато радужная оболочка поразительной голубизны. Будто цветное стекло, за которым ничего нет.

Никто из них не произнес ни слова, хотя им показалось, что прошло довольно много времени, хотя губы Келли дрогнули, она пыталась улыбнуться или отпустить какую-нибудь модную молодежную шуточку, чтобы как-то разрядить обстановку.

Ты знаешь, что ты моя маленькая девочка, о да!

Все это вспомнилось, когда они мчались по безлюдному пространству к юго-востоку от Брокденской пристани, сумрак тем временем сгущался, и казалось очевидным (Келли, во всяком случае), что они не успеют на отходящий в 8.20 паром.

Воздух кишел москитами, кое-где вспыхивали светлячки, а белевшие во тьме стебли тростника, покачивающие на ветру тяжелыми султанами, мерещились громадными фантастическими безликими фигурами, на которые Келли не могла смотреть без содрогания. Странно, не правда ли, сказала она Сенатору, что многие деревья здесь, в районе болот, выглядят мертвыми... они что, действительно мертвые?.. торчащие поодаль друг от друга, без ветвей и листьев, только сероватая кора мягко поблескивает, словно кожа на старом шраме.

— Надеюсь, их погубило не загрязнение окружающей среды.

Напряженно склонившийся над рулем Сенатор, нахмурив брови, изо всех сил жал на педаль и никак не отреагировал на ее замечание.

С тех пор как они свернули на эту треклятую дорогу, подумала Келли, он с ней словом не перемолвился.

С тех пор как в прошлом июне они окончательно разошлись с Г., она не спала с мужчиной.

С тех пор как они разошлись с Г. и она хотела умереть, прикосновение мужчины не рождало у нее желания или хотя бы намека на него.

Готова ли я? готова? готова? — вопрошал внутри насмешливый голосок. В воздухе стоял пронзительный звон насекомых, охваченных неукротимой жаждой совокупления, продолжения рода. В ушах гудело — она поежилась, ее раздражал этот шум. Как их много! Зачем Богу понадобилось создавать такое множество? Истошный писк в самом разгаре лета как бы говорил, что они предчувствуют неизбежное, неминуемое отступление тепла, уступающего место ночи и холодам, — из будущего навстречу этим крошечным тельцам летела смерть. Келли Келлер судорожно сглотнула, чувствуя ком в горле, и пожалела, что не захватила с собой чего-нибудь выпить. И все время думала: *готова я?*

Сверкая кусками разбитого зеркала, болота тянулись миля за милей. Келли не сомневалась, что они сбились с пути, но вслух об этом не говорила, боясь вызвать неудовольствие Сенатора.

Готова я? — это авантюра.

Казалось, ничто не угрожало им в этом тряском автомобиле, и уж конечно не авария: Сенатор хотя и вел машину с дерзкой бесшабашностью, но алкоголь сказался разве что на его суждениях, никак не отразившись на искусстве вождения — что у него было, то было, и Сенатор управлял этим небольшим компактным автомобилем как бы между делом, с видом горделивого презрения, и Келли подумала, что, хотя они сбились с пути и, конечно же, не успеют к 8.20 на паром, ей все-таки повезло, что она находится здесь, и ничего плохого с ней не случится, как с любой принцессой из волшебной сказки, в которую она недавно попала, может, эта сказка кончится не так уж быстро, может быть.

Яркая плоская луна, мерцающие, словно зеркала, болота. Ритмы джаза, звучащие по радио, и плеск, плеск, плеск волн, шум прибоя, который Келли, казалось, слышала наперекор всему, закрыв глаза и вцепившись в ремни у плеча с такой силой, что у нее заболели суставы.

И еле заметно повысив голос:

— Кажется, мы сбились с пути, Сенатор.

«Сенатор» прозвучало у нее немного иронически, игриво. Легкое проявление нежности.

Он просил звать его по имени, но у Келли почему-то язык не поворачивался.

Находиться вдвоем в тряском, подпрыгивающем на ухабах автомобиле — это была уже близость. Голову кружил резкий запах алкоголя. Поцелуй с привкусом пива, язык, такой громадный, что можно задохнуться.

Чего ей было бояться — ведь рядом сидел он, один из самых могущественных людей мира, человек большого личного мужества, сенатор Соединенных Штатов, знаменитость, человек сложной судьбы. Он не просто жил в историческом отрезке времени, он делал историю, контролировал ее, приспосабливал к своим нуждам. Это был старомодный либеральный демократ-шестидесятник, настоящий светский лев, упрямый и страстный приверженец концепции социального реформирования; растущее неприятие гуманистических идей в Америке конца двадцатого столетия, очевидно, не сломило его, не исполнило горечи и даже не очень удивляло: ведь политика была его жизнью, политика, которая по сути — искусство компромисса.

А может ли компромисс быть искусством? Да, но только второго сорта.

Келли решила, что Сенатор не слышал ее вопроса, но тут он сказал с невеселым смешком, больше похожим на откашливание:

— Это кратчайший путь, Келли. — И добавил, произнося слова медленно, будто говорил с малым ребенком или с молодой женщиной под хмельком: — Здесь все дороги идут в одном направлении, сбиться с пути — невозможно.

Как раз перед тем, как машину выбросило с дороги.

15

Когда автомобиль стало заносить и повело в сторону оградительного рельса, она услышала одно только восклицание «Эй!», правое заднее колесо крутилось в какой-то сумасшедшей нелепой пляске, она стукнулась головой о стекло, из глаз посыпались искры, но закричать не было сил, инерция движения повлекла их вниз по невысокому, но крутому склону, под колесами что-то захрустело, будто машина ломала сухие палки, но и тут Келли не успела крикнуть: автомобиль рухнул в какую-то яму, заводь, стоячее болото, глубина здесь не могла быть больше нескольких футов, но черная вода пенилась и кипела, поглощая их, автомобиль, накренившись, падал набок, и Келли перестала что-либо видеть. Сенатор навалился на нее всем телом, головы их бились друг о друга, оба отчаянно боролись за жизнь, ошеломленные, потрясенные, они потеряли самообладание и рассудок, только ужас и мысль: *это не может быть правдой, неужели я вот так умру?* сколько прошло времени — секунды? минуты? прежде чем, освободившись от ремня, Сенатор, простонав: «О боже», дернулся что было силы, вывернувшись наконец из-под сломанного

руля, мощно оттолкнулся и выбил дверь, преодолев сопротивление черной воды и земного притяжения, дверь, которая находилась теперь в странном месте — наверху, прямо над головой, словно земля в безумном порыве сместилась с оси и невидимое сейчас небо было где-то там внизу, за черной грязью, — на вопрос, сколько прошло времени, охваченная смятением и ужасом Келли Келлер не смогла бы ответить. Она тоже рвалась из воды, цепляясь за сильную мужскую руку, но он отпихнул ее, и тогда она ухватилась за ногу в брючине, потом за ступню, и ступня, обутая в туфлю на пробковой подошве, с силой оттолкнула ее, ударив по голове, эта туфля на пробковой подошве осталась у нее в руке, а она рыдала, умоляя: «Не оставляй меня! Помоги! Останься!»

Черная вода обрушилась на нее, заливая легкие, а она так и не сумела выговорить его имя.

Часть вторая

16

Его нет, но он обязательно вернется и спасет ее.

Он выбрался на берег, чтобы позвать на помощь... а может, он лежит плашмя на поросшей травой насыпи, исторгая из себя в мучительных спазмах воду, и тяжело дышит, стараясь вернуть силу и мужество, и готовится вновь погрузиться в черную воду, нырнуть туда, где затопленный автомобиль, словно попавший в беду жук, беспомощно и опасно покачивается, зарывшись боком в мягкий ил, а в автомобиле ждет от него помощи обезумевшая от страха, попавшая в западню пассажирка, она ждет, что он вернется, откроет дверцу и вытащит ее: может, именно так все и произойдет?

Я здесь. Я здесь. Здесь.

17

Четвертого июля гости съезжались на виллу Баффи Сент-Джон всю вторую половину дня вплоть до самого вечера, одни были незнакомы Келли Келлер, но некоторых она знала: Рея Энника и Фелицию Чьен, новую подружку Баффи, умопомрачительную красотку с блестящими темными волосами, обладательницу ученой степени по математике — постоянного автора «Бостон глоб» по вопросам науки; Эда Мерфи, экономиста из Бостонского университета, который консультировал Бостонскую брокерскую контору; конечно же, Стейси Майлс, с которой Келли, учась в университете, снимала вместе квартиру; Ренди Поста, архитектора, с ним Стейси жила в Кембридже; бывшего любовника Баффи по имени Фриц, с которым Баффи сохранила добрые отношения, тот несколько раз приглашал Келли Келлер в разные места, надеясь с ней переспать, что Келли расценивала как своеобразную месть Баффи, но той на самом деле было на это глубоко наплевать; еще был там высокий и широкоплечий, слегка лысеющий светлокожий негр лет тридцати пяти, он чем-то занимался в Массачусетском технологическом институте, Келли встречала его раньше, у него было какое-то необычное, экзотическое имя, кажется, Люций? Он был не коренным американцем, а выходцем из Тринидада; Келли он всегда нравился, и она чувствовала, что тоже нравится ему, что его тянет к ней. Келли обрадовалась, увидев его, она боялась, что ей будет неуютно здесь: она всегда чувствовала себя не в своей тарелке на таких вечеринках, где слишком много пьют, слишком много острят, слишком шумно веселятся, слишком откровенно демонстрируют половое влечение, все это ставило ее в невыгодное положение -- со времени разлуки с Г. ей казалось, что с нее содрана кожа; стоило мужчинам взглянуть на нее с интересом, она сразу же напрягалась, чувствуя, как каменеют челюсти и кровь начинает от страха бешено пульсировать, но если мужчины равнодушно проходили мимо, если их взгляды не останавливались на ней, словно она была невидимкой, страх ее уси-

ливался: она воспринимала это не только как женское, но и как человеческое поражение.

Но тут был Люций. Ученый, занимавшийся плазменной физикой. Подписчик «Ситизенс инкуайери», горячий поклонник Карла Спейдера, того Спейдера, каким он его воображал.

Здесь был Люций, Келли было приятно его присутствие, и если бы в начале третьего черная «тойота» не свернула к дому Баффи, вызвав волну негромкого шепота: «*Это что, он? Он? Боже правый!*» — эти двое могли бы со временем стать очень большими друзьями.

18

Она не верила в астрологию, в захватывающие дух предсказания астрологов, в гороскопы, печатавшиеся в журналах, не верила она и в англиканского Бога, в вере которому — почему? зачем? — она сызмальства воспитывалась.

Когда умирал дедушка Росс, от него остались только кожа да кости, но глаза, все такие же живые, светились любовью к той, которую он знал не как «Келли», а как «Лиззи», самой любимой из всех внуков и внучек, он обозначил ей путь в жизни, сказав, будто поделившись измучившей его тайной: «*То, что ты делаешь со своей жизнью, та любовь, которую ты вносишь в нее, — это и есть Бог*».

19

Она осталась одна. Он был рядом, но покинул ее, и она осталась одна, хотя, конечно же, он бросил ее, чтобы поскорее вызвать подмогу.

Пребывая в шоке, она не понимала, где находится, почему стало так тесно, откуда взялась эта темнота, не понимала, что же, собственно, случилось, ведь все произошло стремительно — так проносится за окном мчащегося автомобиля смазанная картина, кровь застилала ей глаза — широко распахнутые, удивленные и невидящие, там, где треснул череп, яростно пульсировала боль, она знала, что кость треснула, и боялась, что черная вода воспользуется этой трещиной, чтобы просочиться внутрь и лишить ее жизни, *если она не сумеет раньше выбраться, если он не вернется и не поможет ей.*

Он действительно утешал ее, улыбаясь, озабоченно хмуря брови и бережно обнимая за плечи. *Не сомневайся во мне, Келли. Никогда.*

Он знал ее имя, он звал ее по имени. С любовью смотрел на нее, она это чувствовала.

Он был ее другом. Она его совсем не знала, но он был другом, это она понимала. Еще минута, и она вспомнит его имя.

Это автомобиль стал для нее ловушкой, ее зажало на переднем сиденье, там было очень мало места, потому что и крыша, и щиток управления, и дверца — все прогнулось внутрь, придавив ноги и раздробив коленную чашечку правой ноги, оказавшейся словно в тисках; с той же, правой, стороны у нее были переломаны все ребра, но боль еще не чувствовалась, витала где-то, словно несформулированная мысль, и Келли думала, что все будет хорошо, стоит ей лишь приподнять голову над этой просочившейся в машину черной водой, остро пахнувшей нечистотами и холодной, очень холодной для такого теплого летнего вечера.

Она ухитрялась дышать, даже заглатывая воду, особым способом, отфыркиваясь и тряся головой, и, насколько позволяли силы, старалась отодвинуться от расплющенной дверцы, правое плечо, видимо, сломано, но об этом сейчас не надо думать, в больнице о ней позаботятся, ее подруге как-то спасли в больнице жизнь, они учились вместе в школе, но имени ее она не помнит, помнит только, что это случилось не с ней, Келли, она продолжала звать на помощь: «*Помогите! Помогите мне! Я здесь!*» — не понимая толком, где теперь верх, где небо? — он так яростно пытался выбраться наружу, что лез прямо по ней к дверце, оказавшейся наверху, там, где

ее быть не должно, распахнул эту дверцу, преодолевая сопротивление того, что на нее давило, и протиснул свое ширококостное тело в отверстие, куда с трудом пролезла бы Келли Келлер, но он был очень сильный, он брыкался и толкался, как огромная взбесившаяся рыба, инстинктивно рвущаяся к спасению.

А что ей осталось от него, бог мой, какую награду сжимали ее глупенькие пальчики со сломанными ноготками, которые она так усердно полировала прошлым вечером, взяв у Баффи ее маникюрный набор, какую же, бог мой, — туфлю?

Пустую туфлю?

Но нет: тут только одно направление, и он вернется к ней с той стороны. Она это твердо знает.

Она понимала еще и то, что автомобиль находится полностью в воде, не зная точно, на какой глубине — может, всего в несколько дюймов, — понимала той частью сознания, которая сохраняла ясность, и понимала, что, хотя воздух в салоне — пузырек или пузырьки воздуха — еще оставался, постепенно салон наполнится, не может не наполниться, водой: тоненькие струйки протекали сквозь множество дырочек, щелей, трещин, вроде той, что расползлась паутиной по ветровому стеклу, уровень воды будет понемногу расти, должен расти, ведь автомобиль лежит на дне, она слышала, что иногда жертвы несчастного случая проводили в затопленных машинах до пяти часов и оставались живы, ее тоже спасут, если она будет сохранять выдержку, не поддастся панике, а по мере того как грязная черная вода станет подниматься, заполняя ее рот, горло, легкие, хотя она не сможет видеть ее и даже слышать, как она капает, сочится, льется тонкой струйкой ей на голову, по мере того как звон станет нарастать в ушах, тело сотрясать кашель и она станет задыхаться, ей нужно будет постоянно выплевывать из себя жидкую черную грязь.

Но разве он не обещал ей, что все будет хорошо? Обещал.

Разве он не сжимал ее в объятиях, не целовал? Целовал.

Разве не просовывал в ее сухой, растревоженный рот свой огромный язык? Просовывал.

Никакой боли! Никакой боли!

Она могла бы поклясться, что не испытывает боли и вообще ни за что ей не поддастся, недаром ее хвалили в больнице, Элизабет, храбрая девочка, когда перевязали ей глаз, она и была такой, он в этом убедится, как только поможет ей выбраться, она сама всплывет, она хороший пловец. *Я здесь.*

20

Дважды в неделю, по вторникам и четвергам, в том числе и в летнее время, Келли Келлер совершала изнурительные поездки в подержанной «мазде» из своего бостонского кондоминиума, расположенного сразу за Бикон-хилл, в Роксбери, где в душном помещении Центра социальной службы она учила или, скорее, добросовестно пыталась учить взрослых неграмотных негров читать тексты из учебника. Занятия начинались в семь часов вечера и продолжались приблизительно до восьми тридцати. Когда ей задавали вопрос, как идут дела у ее учеников, Келли отвечала: «Помаленьку».

Келли всего лишь несколько месяцев числилась добровольным помощником Американского национального фонда по ликвидации неграмотности, она относилась с большим энтузиазмом к своей работе и вкладывала в нее душу... не без некоторого самодовольства и снисходительности представительницы белой расы в сочетании с острым животным страхом перед угрозой нападения, насилия — не в самом Центре, а на прилегающих к нему улицах безлюдного Роксбери и на замусоренной автостраде, где белую кожу можно смело причислять к факторам риска.

Отношение ее к этому виду деятельности было настолько двойственным, что она до сих пор ничего не рассказала родителям и редко говорила на эту тему с друзьями.

Не сказала она о ней и Сенатору, с которым несколько раз в тот день беседовала на вилле у Баффи... почему? — она и сама толком не понимала... возможно, не хотела казаться эдакой ярой *общественницей* из «Американских добровольцев», такой тип женщин Сенатор, как любой преуспевающий политик, конечно же, хорошо знал и наверняка относился к ним со снисходительным презрением, нет, она хотела, чтобы он видел в ней совсем другую женщину.

Кто такой «американский доброволец»? Особенно женщина-«доброволец»? Женщина, понимающая, что на этом не сделаешь себе рекламу.

А тем временем черная вода заползла в укромное местечко, где уютно располагалась ее матка.

И еще: Баффи была так мила, что предоставила ей комнату маленькой сестренки — одну из пяти спален виллы на Дерри-роуд, расположенную на юго-восточной стороне; Келли Келлер всякий раз, приезжая сюда, занимала ее, там стояла утопающая в белой кисее и отделанная желтой медью целомудренно-девственная кровать, островерхая мебель, повсюду лежали плетеные коврики, а в цветочном узоре обоев преобладал земляничный тон, как и в любимой комнате бабушки Росс в большом старом гринвичском доме; дрожащими руками Келли ополоснула лицо, тщательно промыв покрасневшие от солнца глаза, и быстрыми нервными движениями расчесала волосы, улыбаясь своему отражению в зеркале, висевшем в ванной, и думая, *нет, нет, это невозможно, этого не может быть.*

Но это случилось. Келли Келлер избрали.

Сначала Сенатор общался со всеми, никому не отдавая предпочтения. Высокий и широкоплечий, темпераментный и радостно-возбужденный оттого, что находится здесь, на прекрасном Грейлинг-Айленде, который был ему, по существу, незнаком, ведь он редко бывал в Мэне, лето они проводили обычно на Кейп-Коде, в родовом гнездышке, стараясь не видеть, как изменился полуостров за последние годы, сколько там всего понастроили и сколько понаехало народу... «Иногда не хочется чего-то *замечать* в своей жизни, пусть это касается даже лично тебя».

Держался Сенатор приветливо и открыто. Счастливое стечение обстоятельств, симпатичные молодые люди, у него был вид человека, настроенного от души повеселиться.

Он и Рей Энник: двое зрелых мужчин, решивших развлечься.

Кстати, поприветствовав хозяйку дома, Сенатор первым делом затащил Рея Энника в угол, чтобы что-то обсудить наедине, потом спросил у Баффи разрешения привести себя в порядок и позаимствовал у Рея бритвенный прибор — по его словам, последний раз он брился сегодня в шесть утра в Вашингтоне.

Он сменил свою белую хлопчатобумажную рубашку с длинным рукавом, которая выглядела бы здесь неуместно официально, на темно-синюю тенниску. Короткие рукава плотно обтягивали мощные бицепсы, в треугольном вырезе на груди курчавились седоватые волосы.

На нем были светлые полосатые брюки.

Отменно свежая летняя одежда.

И еще бежевые спортивные туфли на пробковой подошве, фирма «Л.Л.Бин».

Напитки подавались на овеваемой ветром террасе, все говорили одновременно, и среди гула голосов — спокойный, дружелюбный, ровный голос Сенатора; его осанка, строгий строй мыслей, интонация как бы говорили: *вы изучаете меня, я понимаю, но не судите строго*; речь шла о грубом нарушении последних решений Верховного суда, об идеологически санкционированном эгоизме и жестокости богатого общества, о том, как систематически сводятся на нет завоевания движения за гражданские права, об отставке судьи Тергуда Маршалла, о конце целой эпохи.

Сенатор вздохнул, поморщился, собрался что-то добавить, но передумал.

У Баффи всегда был наготове какой-нибудь сюрприз.

Вот и сейчас, с приездом новых гостей, возникла перспектива импровизированного теннисного турнира.

Пожимая тонкую руку Келли Келлер, он сильно стиснул ее: «Келли? я правильно говорю? Келли? *Келли*».

Она рассмеялась. Было приятно услышать из уст сенатора Соединенных Штатов свое детское прозвище.

Он совсем не такой, каким я его себе представляла, он оказался по-настоящему теплым, приятным человеком и держался вовсе не снисходительно...

Старалась запомнить как можно точнее сказанные им фразы, чтобы они отложились в ее памяти, ведь она будет повторять их друзьям, может, самому мистеру Спейдеру, дружившему с Сенатором много лет назад, но теперь отдалившемуся от него.

Как он любезен, как неподдельно доброжелателен, как живо интересуется всеми нами и нашей реакцией на его предложения в сенате: по медицинской помощи, социальному реформированию, да, и еще он — мечтатель, думаю, что можно без натяжки так его называть...

Как опасно проигрывать свое будущее в словах.

Нисколько не сомневаясь, что доживешь до того времени, когда сумеешь их произнести.

Нисколько не сомневаясь, что расскажешь свою историю.

И про несчастный случай тоже, когда-нибудь она переложит этот кошмар в слова, весь ужас заточения в затопленной машине, пребывание на грани смерти, спасение. *Это было жутко — чудовищно. Я не могла пошевелиться, а вода сочилась и сочилась, он тем временем искал подмогу, к счастью, в машине можно было дышать, окна были плотно закрыты, работал кондиционер, да, я знаю, это чудо, если верить в чудеса.*

21

Угри могут высыпать в любом возрасте, а не только в подростковом. В кожном покрове образуются лишние клетки, которые сдерживают жироотделение и способствуют накапливанию жировых отложений и разных бактерий. Так образуются угри с беловатыми и черноватыми головками, а в особо тяжелых случаях и прыщи. Рекомендуется применять перекись бензоила, бактерицидные средства и салициловую кислоту для очищения и излечивания пор. Также рекомендуется косметическая основа зеленоватого оттенка, чтобы замаскировать красноту, которую затем надлежит покрыть тонким слоем крема и припудрить.

Никогда не наносите косметику на воспаленные места без предварительной их обработки, это может привести к заражению крови.

Я хочу его. Его глаза, руки. Его рот... Не пялься так на него.
Ее волосы, глаза, губы... Что это за духи у нее?

Белый купальный костюм с крошечными перламутровыми пуговками — очень женственно. Всего одна бретелька, ГЛУБОКИЙ вырез на бедрах, чтобы золотистый загар был повсюду.

И бледно-желтая кружевная блуза, которую можно носить все лето — с легким платьем, с джинсами, на пляже поверх купальника: модно, практично и очень СЕКСУАЛЬНО.

ОСТОРОЖНО: ультрафиолетовые лучи, купание в соленой воде и неумеренное пользование феном портят КРАСИВЫЕ ВОЛОСЫ.

ОСТОРОЖНО: более 100 000 американских женщин заражены вирусом СПИДа.

ОСТОРОЖНО: не попадайтесь на удочку школ моделей с дурной репутацией, которые обещают вам после двенадцати месяцев учебы престижную работу в одном из журналов мод.

ОСТОРОЖНО: духи, лак для волос и дезодоранты, содержащие спирт, могут испортить одежду из шелковых или ацетатных тканей. Распыляйте их до того, как оденетесь, или прикрыв плечи полотенцем.

ТАЙНА СКОРПИОНА: Плутон, бог подземного мира, изначально был не мужчиной, а женщиной — дочерью матери-земли Реи. Плутон — мускулинизированная богиня! Существует поверье, что на заре новой эры подавляемые до поры силы Скорпиона наконец проявят себя и Скорпион выйдет на качественно новый уровень — ВОЗРОЖДЕННЫЙ ФЕНИКС.

22

Она не кричала и не рыдала, понимая, что в этой темноте надо экономить кислород, а только громко и отчетливо, хотя горло драло отчаянно, произносила: *я здесь я здесь Я ЗДЕСЬ.*

Она не впала в истерику. Страх не парализовал ее.

Она слышала его голос... где-то наверху. Здесь неглубоко. Он осторожно продвигался по мелководью, нырял, плыл, пытался спасти ее, вытащить из этой темной западни, а ей, чтобы помочь, нужно указывать направление: *я здесь я здесь Я ЗДЕСЬ.*

А тем временем черная вода поднималась все выше, норовя забраться в ее легкие.

Черная вода прибывала незаметно, просачиваясь, проникая внутрь тонкими струйками, и капли, стекающие по лицу, казались ей слезами, а еще сотнями мягких, облепивших ее пиявок, ищущих вслепую, куда бы присосаться, нет, это всего лишь вода, она сидит в воде, дрожа всем телом, в воде, которая пахнет нечистотами, бензином, нефтью и ее собственной мочой. *Не бросай меня. Я здесь.*

Кажется, только что они мчались по тряской дороге, луна вовсю светила над головой, а он крепко поцеловал ее в губы, и вдруг они уже борются за жизнь, он отталкивает ее ногами, охваченный ужасом, с единственной мыслью — спастись любой ценой, он не ведал, что творит, он был охвачен паникой, она все понимает.

Она понимала. Она верила.

Теперь она вспомнила, кто он такой: Сенатор.

Она чувствовала его пальцы на своем обнаженном плече, его дыхание, отдающее пивом, алкоголем... она хорошая девочка и потому оправдывала его поведение, каким оно выглядело или действительно было, находя его вполне предсказуемым и банальным.

И все же после того, как их познакомили, после того, как они поговорили — легко и непринужденно, найдя много общих тем, взять хоть Карла Спейдера, Келли переменила свое мнение об этом человеке.

...неподдельно доброжелательный, любезный. Искренне интересуется людьми. И, несомненно, очень умен.

Репетиция будущего в словах. Твои слова. Твоя история.

Ведь ты никогда не должна сомневаться, что у тебя есть будущее.

А какое замечательное чувство юмора!

Рассмешить, позабавить *его*... усталого пожилого мужчину с чуть наметившимся брюшком и стальной сединой курчавых волос, редеющих на макушке; в январе, играя в сквош, он повредил левое колено, поэтому, черт возьми, он легкая добыча на корте для Рея Энника, энергичного Рея с его смертельной подачей, пожалуйста, рассмешите меня, развлеките, мне так хочется быть счастливым, все это вдохновило Келли Келлер, и она рассказала (Баффи давно знала эту историю, но, истинный друг, притворилась, что слышит ее впервые), как в Гованде Хайтс начались распри, бо-

лее того, открытая война, в которую вступили все городские владельцы недвижимости, разделившись на два лагеря, и все это на полном серьезе: либо вы были с теми, кто горой стоял за немощеные улицы, поддерживая сложившуюся «традицию» Гованды Хайтс (это, как ни странно, влетало в копеечку, на поддерживание в должном состоянии немощеной улицы уходило на 40 000 долларов больше, чем мощеной), или вы примыкали к сторонникам «модернизации». Эмоции захлестывали обе противоборствующие стороны, особенно неистовствовали традиционалисты... вроде Арти Келлера, верившего, что ценность его собственности уменьшится, если дорогу замостят, он разругался напрочь со своим старым другом, который выступил против него на городском собрании, и мать Келли боялась, как бы его не хватил инфаркт. Рушились добрые отношения, соседи переставали друг с другом разговаривать, грозили подать в суд, возникло подозрение, что по меньшей мере одну собаку отравили... и все из-за — здесь Келли выдержала паузу, ожидая смеха слушателей, — все из-за грязных дорог!

Сенатор тоже смеялся, но, видите ли, да, он думает, что понимает этих людей, нужно знать человеческое сердце, знать, как дороги этому сердцу милые пустяки, политики должны с такими вещами считаться, как говорил Томас Манн, пусть это представляется нейтральному наблюдателю чем-то малозначительным, эгоистичным и неинтеллигентным, Келли, наверное, просто слишком молода, чтобы такое понять.

— Молода? Но я вовсе не молода. И совсем не ощущаю себя молодой.

Неожиданно вырвавшиеся пылкие слова и сопровождавший их громкий смех заставили всех посмотреть на нее, и *он* посмотрел тоже.

Она не собиралась говорить: Сенатор, я писала о вас диплом, разве что подвернется момент, когда это признание прозвучит непринужденно и забавно.

23

Она пыталась подняться, используя руль как рычаг. Дрожа от этого усилия и хныча, как маленький ребенок — больной, испуганный.

Как ребенок, молящий: *Помоги мне. Не забудь про меня. Я здесь.*

Сколько минут прошло с тех пор, как автомобиль выбросило с дороги, пятнадцать?.. сорок?.. этого она не знала, она была в полузабытьи, иногда вдруг приходя в себя и с ужасом ощущая, как нечто змееподобное скользит по ее лицу, шее, увлажняет волосы, нет, не змея, и вообще это не относится к живому миру — просто стремительные струйки черной воды проникают в балансирующий на боку автомобиль, готовый вот-вот под напором воды опрокинуться совсем.

Оказаться в ловушке здесь, не зная даже, где находится это *здесь*, не зная, где сейчас *он*, ее попутчик, корчиться и извиваться, задыхаясь, вниз головой, в полной темноте, и пытаться выбраться, нащупав... что?.. руль... негнущиеся пальцы впились в сломанный руль, пытаясь использовать его как рычаг, — так сделал он, чтобы освободиться.

Найдя руль, она могла теперь представить свое положение в автомобиле. Пусть она ничего не видит, зато можно прикинуть, какое расстояние отделяет ее от дверцы водителя, она, конечно, откроет ее, она не сомневалась в этом, ведь открыл же ее *он*, она не хотела думать, что дверца могла распахнуться при столкновении с оградительным рельсом, а потом захлопнуться под давлением воды, быстрой бурлящей воды, которую она не видела, а лишь ощущала, слышала, обоняла, чувствовала каждой клеткой своего существа: то был ее враг, то был хищник, то была ее Смерть.

Об этом не хотелось думать. Не хотелось знать.

Никакая ты не оптимистка, ты покойница.

Она уверяла мать, что ведет себя как хорошая девочка, но мать, казалось, не слышала ее и говорила что-то быстро и как бы смущенно, ее серьезные серые глаза, которые Келли всегда считала очень красивыми, были устремлены куда-то поверх плеча дочери: «такая молодая — всего лишь...» Келли не расслышала конца фразы,

что-то вроде: «*жар в крови... это не будет долго продолжаться, это невозможно.* Дорогая, я не помню, когда у нас с отцом это было... последний раз...» — теперь она уже окончательно смутилась, но смело продолжила беседу, которую, как неожиданно вспомнилось Келли, они вели в то время, когда шестнадцатилетняя Келли, учась третий год в частной школе Бронксвилла, по уши влюбилась в одного мальчика, они неумело и торопливо занимались любовью, Келли — впервые, а потом мальчик стал избегать ее, и Келли хотелось умереть, она не могла спать, не могла есть, убежденная, что не вынесет этого, как не вынесла ее школьная подружка, пытавшаяся на полном серьезе покончить с собой и потому проглотившая целую упаковку барбитуратов, запив пинтой виски, подружку отвезли на «скорой» в больницу, где промыли желудок и тем спасли ее висевшую на волоске жизнь, Келли не собиралась уходить из жизни по-настоящему и, плача в объятиях матери, клялась, что не хочет умирать, ведь на самом деле она хорошая девочка и, по существу, неиспорченная, она не принимала противозачаточные таблетки, как другие девочки в школе, мама успокаивала ее, мама пришла, чтобы утешить ее, она была и здесь, рядом с машиной, хотя, видимо, не слышала дочери (наверное, мешал шум воды и ветровое стекло), да, мама пришла и сюда, чтобы утешить ее.

А тем временем черная вода уже подступила к губам.

Сумев каким-то образом собрать последние силы — она и не подозревала, что после перенесенной травмы они у нее сохранились, — она подтянулась, частично высвободив из-под чего-то колено, но еще оставалась ступня, правая ступня — абсолютно бесчувственная и как бы вовсе не существующая, — ее не было видно, может, ее оторвало? Нет, пожалуй, нет, ведь тогда она уже скончалась бы от потери крови, решила Келли, прошло достаточно много времени.

И все же она не могла пошевелить пальцами этой ноги и вообще их не ощущала, даже сами анатомические понятия «пальцы ног», «ступня» стали путаться в ее мозгу, и тогда она решительно прекратила думать на эту тему: она была оптимисткой.

Келли воображает, что она такая циничная, такая мудрая, ее не проведешь, подтрунивали над ней беззлобно подруги, но мы-то знаем лучше! — им было трудно удержаться, чтобы не проехаться шутливо по поводу поражения Дукакиса и ее упрямой верности Карлу Спейдеру, обращавшемуся с ней как с рядовой машинисткой, на одной вечеринке она случайно услышала, как Джейн Фрейберг говорила какому-то мужчине: «*Да, это Келли Келлер, могу вас представить, она очень мила, если только не обращать внимания на...*» Келли поспешила отойти, не желая слышать окончания фразы.

Как это грубо, невежливо обсуждать ее, когда она находится тут же. Когда она еще жива.

А друзья обсуждали. Как они могли!

Келли?.. Очень красиво.

Этот голос звенел у нее в ушах. Но лица она не видела.

Не могла вспомнить она и имени, только знала, что он стремится к ней, плывет, преодолевая быстрое, изменчивое течение, слипшиеся пряди облепили бледное взволнованное лицо, он тянется к ручке дверцы, пальцы пытаются нащупать ручку, она выберется отсюда, если не утратит веру, если не поддастся панике, страху, ужасу, Смерти.

Здесь. Я здесь.

Каким-то образом случилось так, что теперь она лежала, распластавшись, вверх ногами, на внутренней стороне того, что было, как она догадалась, крышей автомобиля. Крыша раскачивалась, зарывшись в ил, сверху на Келли давило сиденье, к которому она была по-прежнему привязана, ремень обхватывал плечо, шею, *нарушение функции спинного мозга в результате падения, при котором пленник медленно задыхается,* но у нее зажало правую ногу, ее сдавила смятая в лепешку стальная деталь, нога была словно бревно: ее что, оторвало? Или пока еще нет?

Не надо думать об этом. Она же оптимистка.

Она вдруг осознала, что лежит в собственной блевотине, но не помнила, когда ее вырвало; мелькнула мысль, что такая рвота — благо, желудок очистился, врачам придется меньше с ней возиться, чтобы откачать всю эту мерзость, — вода, которой она наглоталась, была не той водой, к которой она привыкла, — прозрачной, чуть голубоватой, чистой и вкусной, а гнусной, мутной жижей, с привкусом нечистот, бензина и нефти.

Здесь! Помоги мне...

Хватаясь дрожащими руками за руль, она старалась приподняться над постоянно прибывающей водой, хныча, как ребенок, и с трудом соображая: если поднять голову, то ртом можно хватать пузырьки воздуха, плавающие над ней и переливающиеся в лунном свете. Эта яркая плоская луна! То, что Келли ее видит, доказывает, что она еще жива.

Мы доберемся туда, Келли. И доберемся вовремя.

Она знала, понимала, что в нее верят. Он тоже верит.

Вот-вот приедет «скорая». Вой сирены.

Лучи красного света дико мечутся, освещают дрожащими полосами пространство болот.

Девочка по имени Лайза, одна из близняшек, она пыталась покончить с собой, проглотив тридцать восемь таблеток снотворного. Ее увезли, промыли желудок и тем спасли, и одноклассницы, трепеща от ужаса, шептались об этом, а ее отсутствие в классе и в столовой бросалось в глаза.

Эта девочка, имевшая сестру-близняшку, *не* была Келли Келлер.

Келли Келлер, которая после романа с Г. поклялась никогда не думать о самоубийстве, ибо жизнь бесценна.

Следовательно, все упиралось в то, достанет ли у нее характера, силы воли. Собраться с духом. Не сдаваться. Не терять мужества. Черная вода поднималась толчками, она уже плескалась у ее подбородка, но — *только бы держать повыше голову* — главное — знать, что делать, и следовать этому.

Ну почему она не решилась сказать, что они сбились с пути, не потребовала, чтобы он вернулся назад и осмотрелся, ну почему? — потому что боялась рассердить его.

Черная вода стала расплатой за это, она знала. Мы всегда боимся рассердить мужчин. Даже тех, кто хорошо воспитан.

А он *был* именно таким. И оставался таким несмотря на то, что ему смотрели в рот. Запоминали все им сказанное, повторяли его замечания, шутки. Когда он, играя в теннис, отбивал летящий мяч, то плотно стискивал челюсти, скаля зубы.

Ты начинаешь презирать свои собственные слова... свою популярность.

А какой неожиданностью для нее стало его внимание к ней, Келли Келлер. Там, на пляже, она излучала уверенность в себе и радость, особенно в этих новых роскошных темных очках, стекла которых не пропускают ультрафиолетовые лучи, она знала, что хорошо выглядит, красавицей ее не назовешь, но тут она сама чувствовала, что пришел ее час, настал миг удачи.

Ты ведь Американская девушка: помни это.

В последнее время она немного округлилась, нагуляла жирок. И волосы ее не висели уже бесцветными космами, они вновь стали блестящими и гладкими — мама порадовалась бы. Прежде Келли с горьким чувством по-детски желала Г. смерти, но теперь, *конечно же, все совсем иначе, я думаю о тебе как о друге.*

И все же она колебалась, не решаясь произнести вслух «сбились с пути», ведь мама ее предупреждала, что мужчина не выносит, когда женщина выставляет его дураком, пусть даже она права, а он любит ее.

А потом неожиданно все стало хорошо: отток воздуха прекратился.

Ее затуманенному зрению представился этот необычной формы светящийся

пузырь, который, покачиваясь, двигался вдоль сидений, находящихся теперь сверху, но *не рассасывался, не стремился наружу,* она в этом не сомневалась, теперь можно прильнуть к нему страждущими губами и втягивать воздух в себя с нетерпением и жадностью ребенка, пока не подоспеет помощь.

24

Он проговорил строго и даже с некоторым укором: события в Персидском заливе дали вашему поколению искаженное представление о войне и дипломатии. Это может обернуться трагедией: они подарили вам иллюзию, что война может быть относительно легкой и что ее можно заменить дипломатией, и это будет наиболее целесообразной заменой.

И хотя ей польстило, да и как могло не польстить, что такой известный человек поверяет именно ей столь серьезные мысли, не обращая внимания на остальных, она быстро возразила:

— Такого понятия, как «мое пóколение», не существует, Сенатор. Мы разделены по расовым, классовым признакам, по уровню образования и политическим симпатиям, даже половые различия надо учитывать. Единственное, что нас объединяет, — это сознание нашей... обособленности.

Сенатор задумался над этими словами.

Потом задумчиво кивнул. И улыбнулся.

— Значит, меня поправили, так?

Он с улыбкой смотрел на нее. Смотрел с интересом. Как зовут эту девушку? — и всем было ясно, что на Сенатора произвела большое впечатление симпатичная и умная подружка хозяйки дома, с которой в настоящее время спал Рей Энник.

Как девственно прекрасен этот северный берег Грейлинг-Айленда — солоноватый привкус воздуха, яркий, чистый простор океана, зубчатые стремительные гребешки волн, мир так прекрасен, что хочется обнять его целиком, раствориться в нем до конца, о боже...

25

Келли, Келли! Она слышала доносившееся сверху свое имя, *Келли!* — теперь оно гремело со всех сторон, прорываясь сквозь черную воду.

Здесь, я здесь. Здесь.

А вода бурлила и плескалась у самого ее рта, отвратительная на вкус, совсем непохожая на воду, во всяком случае на ту, что она знала. Она изо всех сил старалась держать голову как можно выше, шея ее дрожала от непомерных усилий. Она тянулась лицом, губами туда, где еще оставался, постоянно убывая, воздух, она не смогла бы назвать это место, только смутно сознавала, что оно расположено где-то за креслом пассажира, сразу под бардачком? — там, где находились ее колени. Колени, ноги.

Впрочем, она была не в состоянии гадать, что это было за место. У нее недоставало ни самих слов, ни логики, чтобы их связать.

Слова «*воздух*» она тоже не помнила, лишь жадно стремилась глотать его страждущими напряженными губами.

Лунный свет то проникал в толщу воды, то скрывался, то проникал, то скрывался, но у нее и для *света* не было уже имени, как не было его и для самой *жизни*.

И тут черная вода хлынула в ее легкие, и она умерла.

Нет, еще нет: она смотрит, как мужчины играют в теннис. Вместе с Фелицией Чьен и Стейси Майлс она стоит в зарослях диких роз вокруг внушительных размеров корта Сент-Джонов, теребит лепестки, касается шипов, запускает ногти в мясистую алую сердцевину — невротическая привычка, одна из самых скверных, с ней

трудно бороться, потому что ее не сознаешь, она следит за энергично развивающейся игрой, следит за *ним*. Стейси смеясь произнесла: «Чем они отличаются друг от друга — это сразу бросается в глаза — так это мускулатурой. Взгляни на их ноги».

Сенатор был самым рослым мужчиной на корте, высокий рост Люция из МТИ был незаметен, потому что он играл, благоразумно согнув ноги, полуприсев, молодые женщины восхищались, аплодировали, фотографировали, отходили и возвращались, *поразительно*, как адекватно выражает мужчина, или так только кажется, свою истинную сущность, состязаясь с другими мужчинами на теннисном корте, серьезная парная игра — настоящая проверка, причем весьма рискованная. Сенатор и Рей Энник, его друг-адвокат, весело и с энтузиазмом сражались с соперниками, годящимися им в сыновья, *мужчина старится с ног*, но опытный игрок знает, как сберечь ограниченные силы и заставить выложиться противника, Сенатор легко и непринужденно двигался на корте, как человек, привыкший к теннису с детства, эти крутые подачи в дальний угол поля, при которых мяч проносится так низко, что едва не касается сетки, говорили о долгих годах тренировок, эти выполненные с почти автоматической точностью подачи, когда мяч приземлялся в точно рассчитанном месте, и еще — что совершенно покорило Келли и других зрителей — Сенатор в спорных случаях признавал, что мяч упал на его стороне, даже когда было ясно, что мяч вышел за черту.

Отличное спортивное поведение. Иногда выиграть, сохраняя достоинство, так же трудно, как и проиграть.

Но потом соотношение сил изменилось. Люций с его необычной манерой подавать и любовник Стейси с его резкими бросками к сетке и мощным парированием мяча тыльной стороной ракетки измотали Сенатора и Рея Энника, сыграло свою роль и солнце, а также порывистый ветер и неважное состояние корта Сент-Джонов. Келли потихоньку улизнула, проявив такт, еще до окончания последнего сета, чтобы не попасться Сенатору на глаза сразу после поражения, когда он, посмеиваясь и подшучивая над собой, пожимал руки молодым соперникам, улизнула, чтобы не слышать слов, которые мужчины в таких случаях говорят друг другу, желая скрыть то, что хотели бы сказать на самом деле.

Нет: она шла вдоль берега, ветер трепал ее волосы, желтая кружевная блуза свободно наброшена поверх белого купальника, длинные, гладкие, сильные ноги порозовели на солнце. Она шла по берегу моря, а рядом шел высокий, широкоплечий, красивый мужчина, по-медвежьи крупный, с тронутыми сединой волосами и лицом знаменитости, но лицо это было приятным, открытым, славным, лицо доброго дядюшки — а голубизна глаз просто нестерпимая, такая режущая и острая, как голубизна свежевымытого стекла. И как неподделен его интерес к Келли Келлер. Это льстило ее самолюбию.

Он расспрашивал ее о работе у Карла Спейдера, о друзьях и коллегах, просто о жизни и выразительно кивал, да, конечно, он читал ее статью о смертной казни в «Ситизенс инкуайери», конечно же читал.

И полюбопытствовал, держась все так же непринужденно, по-отечески улыбаясь, а есть ли у нее в настоящее время друг?

И не хотела ли бы она работать в Вашингтоне?

А может, со временем вообще перейдет в его команду?

Покраснев от удовольствия, Келли Келлер, будучи дочерью юриста и потому достаточно рассудительной, пробормотала что-то вроде: «Там будет видно, Сенатор».

Конечно.

Как предусмотрительно поступил Сенатор на съезде Демократической партии в 1988 году, отклонив предложение Майкла Дукакиса выдвинуть в паре с ним свою кандидатуру на пост вице-президента. Пусть Бентсен борется за второе место, соревнуясь с этим нелепым Куэйлом, он же станет либо президентом, либо никем. Столь же предусмотрительно было не разворачивать самому битву за президентс-

кий пост, ведь в отличие от Дукакиса он понимал, что на выборах демократам ничего не светит.

А вот Келли Келлер этого не понимала.

Годы правления Рейгана, удручающее падение духовности, лицемерие, жестокость, ложь с косметической улыбкой на устах... разве Америка всего этого не *видела*?

И все же слепой оказалась именно Келли, и дурочкой к тому же. Теперь, несколько лет спустя, гуляя в обществе сенатора Соединенных Штатов по пляжу, где дети соседей Баффи натыкали в песок по случаю Четвертого июля миниатюрные американские флажки, она весело хохотала, предавая осмеянию тогдашнее свое отчаянное состояние, близкое к нервному срыву.

Но Сенатор не засмеялся. И заговорил горячо:

— Как же! Я отлично понимаю. Когда Стивенсон проиграл Эйзенхауэру, мне хотелось умереть. Как я любил этого человека!

Келли Келлер удивленно выслушала признание. Мужчина любит другого мужчину?

Хотя бы даже как политического единомышленника?

Сенатор заговорил об Эдлае Стивенсоне, Келли его внимательно слушала. Она с уважением относилась к Стивенсону, хотя имела о нем довольно смутное представление, она изучала, конечно, этот период американской истории, феномен Эйзенхауэра, как выражался их преподаватель, но сейчас ей не хотелось, чтобы ее экзаменовали. Ей также не хотелось упоминать о снисходительном отношении отца к этому политику, а сама она не могла даже вспомнить, сколько кампаний он провел, одну или две. Кажется, в начале 50-х?

Осторожно поинтересовалась:

— Вы работали с ним, Сенатор?

— Во время второй кампании. В тысяча девятьсот шестидесятом. Тогда я учился на втором курсе Гарварда. А в первый раз, когда он почти победил, я был еще ребенком.

— Вы всегда занимались политикой?

Он счастливо улыбнулся, обнажив свои крупные зубы, этот вопрос пришелся ему по душе.

— Политика — в природе вещей, человек — политическое животное по самой своей природе.

Кого он цитировал? Аристотеля?

Келли Келлер, выпившая сегодня днем непривычно много для себя пива, радостно засмеялась в ответ. Как будто это было невесть какое открытие. Ее будоражил ветер, трепавший волосы, тревожила красота острова. Грейлинг-Айленд. Мэн. Усыпляющий шум прибоя, высокий берег, песчаный с галькой пляж, протянувшийся на много миль, его красиво обрамляли кусты дикой розы и нанесенные ветром высоченные дюны, иногда по этим горам пробегали легкие волны, словно кто-то осторожно шевелил песок гигантскими граблями. Как же необыкновенно повезло Келли Келлер, что она оказалась здесь.

Ее удивляло, что она держится так уверенно, так кокетливо. Вот и сейчас задала лукавый вопрос:

— Это относится только к мужчине? Или женщина — тоже политическое животное?

— Некоторые — да. Такое бывает. Но обычно женщины считают политику скучным делом. Борьбой за власть мужских самолюбий, чем-то вроде войны. Так? Утомительным и однообразным занятием, несмотря на всю суету.

Но Келли не хотела идти у него на поводу. И, нахмурившись, проговорила, чувствуя себя почти что на университетском семинаре, одной из «сильных» студенток:

— Женщины не могут позволить себе считать политику скучным делом! Во всяком случае, не сейчас. Верховный суд, проблема абортов...

Теперь они шли заметно медленнее. Взволнованные, запыхавшиеся.

Белый раскаленный песок обжигал нежные подошвы Келли. В то же время руки от нестихающего ветра покрылись гусиной кожей. Здесь, наверное, градусов на десять прохладнее, чем в Бостоне.

Сенатор, заметив эти крошечные пупырышки, нежно провел пальцем по ее руке. Келли еще сильней затрясло от этого прикосновения.

— Ты замерзла, дорогая? Эта штучка на тебе не вызывает доверия.

— Нет. Нет. Мне совсем не холодно.

— Хочешь, повернем назад?

— Нисколько не хочу.

Коснулся ее руки. Неожиданное ощущение близости. Стоит совсем рядом, глядя на нее сверху вниз.

И тут осторожно, медленно и с какой-то подчеркнутой учтивостью Сенатор обнял Келли Келлер за плечи и, наклонившись, поцеловал, веки ее затрепетали, она была искренне изумлена, поражена и, конечно, взволнована — как же быстро это случилось, как все же быстро, — и тем не менее, мгновенно придя в себя, она не потеряла головы, пятки ее глубоко зарылись в скрипучий песок, а сама она прильнула к мужчине, возвращая поцелуй, словно выполняя естественную и желанную обязанность — неизбежное развитие их разговора. И как была смела, даже легкомысленна, слегка покусывая зубами его язык.

Как приятно. Боже, как приятно. Чего уж скрывать — очень приятно.

А в это время черная вода заполнила ее легкие, и она умерла.

26

И еще: внезапно ее заливает слепящий свет, и она оказывается на каталке, ее, привязанную, везут меж огней, на нее глазеют чужие люди, едко пахнет больницей, из ее легких выкачивают черную воду, а из желудка и словно из самих вен ядовитую грязь, и все это за считанные минуты! секунды! целая команда медиков, бригада первой помощи, и, хотя никто не знаком с этой гибнущей девушкой, они возятся с ней как с самым близким человеком, если того нужно было бы вернуть к жизни, и как проворно работают! Ни малейшей заминки! Она хочет сказать им, что пришла в себя и все понимает, *пожалуйста, не мучайте меня,* эти ремни, что держат ее, просто ужасны, голову плотно прижимают к столу чьи-то руки в резиновых перчатках, а во рту трубка, она введена в горло, толстая, кошмарная трубка, она уходит глубоко внутрь, немыслимо глубоко, больно царапает нёбо, горло, душит ее, она давится, ее вот-вот вырвет, но этого все же не происходит, она хочет закричать, но не может, и тут сердце ее конвульсивно сокращается в последний раз и замирает, она умерла, она умирала, но они были начеку, готовые бросить вызов смерти, они, не услышав стука ее слабенького сердечка, стимулировали его работу мощным электрическим разрядом. Вот оно! Так! Отлично! Еще разок! Так! Еще! Так! И умиравшую девушку оживили, труп юного существа женского пола вернули к жизни, через пять секунд возобновилась работа сердца, кислород начал поступать в мозг, на прежде безжизненной коже проступил румянец, а на глазах заблестели слезы — эта жизнь пришла из Смерти: ее жизнь.

Боженька, дорогой, не дай Лайзе умереть, не дай, дорогой Боженька, не дай, не дай — она вместе с другими девочками находилась в соседней комнате — о боже, ну пожалуйста, — где они пребывали в состоянии безмолвной истерии — трое или четверо, жившие с ней в общежитии, — соседка по комнате, комендант общежития, только на несколько лет старше их, именно Келли Келлер видела, как Лайза Гардинер упала в ванной комнате, и именно Келли Келлер с визгом понеслась сообщить об этом коменданту, теперь же она дежурит в комнате посетителей рядом с приемным покоем Бронксвиллской больницы, тоже впавшая в шоковое состояние после того, как увидела, что одну из них пронесли мимо на носилках в бессознательном

состоянии с открытыми глазами и ртом, из которого свисал конвульсивно подрагивающий, весь в пене, язык, как бывает во время эпилептического припадка, и Келли Келлер, глядя на это и прижимая к губам сжатые в кулаки руки, подумала: *уходит не Лайзина жизнь, а просто — жизнь,* она видела: жизнь вытекала из девушки, как вода из раковины, возможно, она была уже мертва, и разве сумеют врачи вернуть ей жизнь?

Сумели и вернули.

Позже они узнали, и это многих возмутило, что Лайза Гардинер вместе со своей близняшкой-сестрой Лорой (которую они никогда не видели — она уехала учиться в Конкордскую академию, штат Массачусетс) и раньше пытались покончить с собой, договорившись принять снотворное, это было три года назад, когда они жили еще дома и учились в восьмом классе города Снайдера, штат Нью-Йорк.

Почему так негодовали некоторые девочки? Потому что возможная смерть Лайзы всех переполошила, всех взволновала, ни о чем другом никто не мог говорить, врачи «скорой помощи» взлетели по лестнице, торопливо вынесли Лайзу из ванной, а потом стало известно, что, строго говоря, Лайза умерла, ее сердце остановилось, как же это странно! как ужасно! как поразительно! В конце концов вся эта суета вокруг Лайзы Гардинер начала действовать на нервы, вечно эта девушка умудрялась стать центром внимания, и теперь тоже, с этой смертью, умиранием, как все это утомительно, особенно в конце семестра...

Когда Лайза, выйдя из больницы, навестила их, именно Келли Келлер постаралась вести себя с ней подчеркнуто дружелюбно, именно она, и серьезно поговорила с Лайзой, эти две девушки, которые никогда прежде не были особенно близки, никогда не откровенничали друг с другом, теперь сидели, погруженные в беседу, в холле, Лайза что-то говорила, а Келли Келлер увлеченно слушала, низколобая Лайза с расширяющимся книзу носом, как будто она постоянно презрительно фыркала, и Келли, чья хорошенькая мордашка осунулась, уголки губ печально изогнулись, — люди не сильно отличаются друг от друга, и не так уж много в их жизни того, к чему они по-настоящему стремятся, говорила Лайза своим невыразительным, гнусавым и неестественно громким голосом, если ты одна из близнецов, ты должна это *понимать*.

Нет, я не понимаю, не согласна с этим категорически, и с тобой я не согласна, ведь я не твоя сестра, не одна из близняшек, и, наконец, я — не ты.

27

Она слышала вой сирены. Видела карету «скорой помощи» на песчаных рытвинах безымянной дороги, красный фонарь вертелся на крыше как волчок. Она тужилась, давясь, — резиновая трубка была уже в ее горле. Черная, похожая на змею трубка, такая толстая и длинная! такое даже вообразить невозможно! Лайза захихикала.

И все тянула, тянула к ней руки... Глаза горели безумным блеском, и еще она *облизывалась*.

Ненормальная. Это сказала о ней Баффи Сент-Джон много лет назад. Просто сумасшедшая.

Баффи ущипнула ее, этот шутливый щипок был, черт возьми, весьма *болезненным.* И проговорила, надув губки, глядя, как Келли Келлер торопливо запихивает вещи в чемодан: я все понимаю, но почему надо ехать *сейчас*, разве нельзя немного задержаться? — на что Келли Келлер пробормотала: о Баффи, прости меня, — сквозь загар на лице и шее проступила краска, она догадывалась, что скажет Баффи после ее отъезда, скажет о ней, а не о Сенаторе: а я-то думала, Келли Келлер мне друг! Келли была слишком смущена, чтобы произнести вслух то, что знали обе.

Если я не выполню его просьбу, продолжения отношений не будет!

Он поцеловал ее несколько раз, поцеловал взасос, лаская ее тело, они, конечно, были одеты, народу на пляже было не так уж много, но все же берег не пустовал, он совсем потерял голову от желания слиться с ней, и она почувствовала это желание — не свое, а мужское. Так случалось и раньше: целуясь с мужчинами, Келли Келлер всегда чувствовала не свое, а другое — мужское — желание. Мгновенное, пронизывающее все существо, как удар током.

И сейчас, переводя дыхание, она испытала все ту же привычную смесь беспокойства и вины: *я сделала так, что ты захотел меня, значит, я не могу тебе отказать.*

Вблизи Келли видела, что Сенатор не так уж красив и, возможно, даже не очень здоров: красноватая, воспаленная кожа с проступающими кое-где пигментными пятнами, мелкая сетка капилляров на крыльях носа и на щеках, отекшие веки пронзительно голубых глаз, налитые кровью белки. Он покрылся испариной и тяжело дышал, словно запыхался от бега.

— Келли. Красавица Келли.

Келли молчала, не зная, что сказать, и тогда он прибавил:

— Что мне делать с тобой, Келли? Неужели, только познакомившись, я потеряю тебя?

Один из его помощников снял для него номер в мотеле Бутбей-Харбора, совсем нелегкое дело в день Четвертого июля, но теперь у него было пристанище, он зарегистрировался в мотеле, комната ждала его, а где Келли собирается провести ночь?

Конечно у Баффи. Та пригласила ее на весь уик-энд, до воскресенья.

Сенатор вел себя словно одержимый, но без всякой агрессивности. Она явно поразила его воображение. Вновь поинтересовался, будто забыв, что уже спрашивал, есть ли у нее друг? жених? может, кто-то из тех, кто присутствует на вечеринке? Не тот ли красивый молодой негр из МТИ?

Темно-синяя спортивная рубашка Сенатора, плотно обтягивающая его плечи, взмокла от пота. Легкие полосатые брюки сзади смялись.

От него пахло пивом, одеколоном после бритья, крепким мужским потом. Нельзя сказать, чтобы этот запах раздражал Келли, скорее наоборот. Она улыбалась.

Теперь же она, в ярости рыдая, пыталась объяснить родителям, что она вовсе не испорченная девчонка, вот уж нет. Да, этот мужчина женат, но с женой не живет, кстати, по ее инициативе, *она попросила меня уйти, вытолкала взашей,* к счастью, дети, их двое, теперь уже взрослые и способны сами оценить ситуацию, Сенатор же наделен необузданной любовью к жизни, к людям, мужчинам и женщинам, ему доставляет удовольствие встречаться с новыми людьми, спорить, у него сохранился вкус к... да просто вкус ко всему.

Стремиться во всем дойти до самой сути. Жить полной жизнью. *Ну а как иначе узнать, боже, что ты живой?*

Мистер Келлер, кажется, все понял. Иначе, папочка, ты оказался бы большим лицемером.

А вот миссис Келлер была перепугана и взволнована. Видя несчастное лицо матери, Келли внутренне содрогалась, испытывая жуткое чувство вины, и в то же время прямо-таки заходилась от злости. Мамочка, перестань так трястись надо мной. Матери моих подружек относятся к подобным вещам совершенно спокойно.

Но, Келли, я люблю тебя.

О черт. Не дави на меня.

Я люблю тебя. Я хочу, чтобы тебе никогда, никогда не было больно, Келли, мне хочется уберечь тебя от боли, это для меня главное... можешь не верить мне, но это самое главное... в тот момент, когда мне впервые дали тебя, крохотную, в больнице и сказали, что у меня дочь, я была так счастлива, как никогда прежде или по-

том. И тогда я поклялась, что никто никогда не обидит мою дочь, не сделает ей больно, как делали мне, я жизнь за нее отдам, клянусь, Господи.

Мама плакала, плакала и Келли, крутя головой, давясь и сплевывая, чувствуя во рту вкус нефти, бензина и нечистот и уже толком не понимая, где находится, почему у нее скрючены позвоночник и обе ноги, она что, перевернулась вверх ногами? — не разбирая, где тут в темноте верх, и ощущая со всех сторон напор черной воды, которая, бурля, поднималась все выше, стремясь залить ее рот и легкие.

Согласилась, *хорошо, мамочка, думаю, ты права. Да.*

Забери меня домой отсюда, мамочка, я здесь.

Непонятно, то ли мистера и миссис Келлер вызвали к месту происшествия, где они, стоя на насыпи, смотрели, как вытаскивают из воды автомобиль, то ли они находились уже в больнице — в помещении рядом с реанимацией. Озадачивали и их лица — совсем не такие, к каким она привыкла, — более молодые и привлекательные. Они что, одного с ней возраста?

Мамочка — просто красавица, на лице ни морщинки, глаза ясные — и, конечно, этот нелепый в претензии на царственность начес, которым так увлекалось их поколение.

И папочка — интересный и худощавый! а волосы у него, вот ведь дела, волосы густые и кудрявые и, как у самой Келли, каштановые с медным отливом, они давно уже такими не были.

Она любила своих родителей, конечно же, любила всю жизнь, а теперь в полной опасностей зрелости любила еще сильней, но как рассказать об этом? как найти слова? как правильно выбрать время?

Мамочка, папа, послушайте, я люблю вас, вы знаете, что я не теряю надежды, пожалуйста, не дайте мне умереть, я люблю вас, хорошо?

С визгом и хохотом бежала она в беленьких носочках по колкому бабушкиному ковру, на ходу скинув новые лакированные туфельки, а сзади ее уже подхватывали ловкие, сильные руки, подкидывали высоко вверх, и каждый раз — удивление: какие же сильные эти руки, руки мужчины, а он громко кричал: *это кто такой? это кто такой? что за ангелочек к нам пожаловал?* — поднимая визжащего и брыкающегося ребенка над головой, руки его при этом слегка дрожали, и девочка потом слышала, как мама и бабушка ругали его, напоминая про высокое давление, и вообще что за глупости, ты мог бы ее уронить.

А он ей подмигивал. Дедушка очень любил ее.

И вот сейчас ее пронизал холод, и невыразимый ужас сковал сердце, ведь если черная вода зальет ей легкие и она умрет, то родители и бабушка с дедом не вынесут известия о ее смерти.

Боже мой, нет, не допусти. Это невозможно.

Они так любят Келли, они не переживут.

И тут вдруг вспомнила с некоторым облегчением: дедушка Росс умер, значит, хоть его можно исключить.

Может, и бабушке не стоит говорить? Келли не видела в этом необходимости, действительно не видела.

Мамочка, ты ведь понимаешь меня, правда?

А ты, папа?

О'кей?

28

Повсюду на Грейлинг-Айленде росли, почти стелясь по земле, дикие розы, цветущие кусты диких роз, розовато-лиловые лепестки и коварные колкие стебли; следя за игрой мужчин в теннис, Келли машинально провела рукой по розам, наткнувшись на острые шипы. Что это? Rosa rugosa или rosa virginiana?

Куда ни глянь, повсюду дикие розы. В цвету. Красиво обрамляют серовато-коричневый берег.

А их плоды, похожие на крошечные сливы, тоже красивые, они словно налиты

кровью, в их облике есть что-то неуловимо чувственное. Келли потрогала и их, ощупала кончиками пальцев, вонзив поглубже ноготки.

Ягоды роз, сказал Сенатор. Он говорил о них с видимым удовольствием, его бабушка настаивала эти плоды и поила семью душистым чаем, а Келли любит такой чай? цветочный чай теперь становится все популярнее, так, кажется? бабушка, как ему помнится, варила из розовых лепестков варенье, а из розовых плодов джем. Впрочем, может, он что-то путает.

Из роз, а может, из смородины. Или из черники.

На кухне Баффи, высыпав с легкой гримаской в сосуд лед, проговорила:

— А вы с Сенатором поладили, — и усмехнулась. Келли Келлер тоже улыбнулась, почувствовав при этом, что вся заливается краской, и пробормотала «ну как сказать» и замолчала; в тишине зазвенела, ударяясь о дно пластикового сосуда, новая порция ледяных кубиков, а затем Баффи сказала одну вещь совершенно в ее духе, с Баффи никогда толком не ясно, куда она гнет, то ли это озорная шутка лукавой сообщницы, то ли предупреждение, то ли ядовитый укол, что уразумеешь лишь с запозданием, то ли всего лишь констатация факта. — Не забудь, — сказала она, — что он голосовал за помощь контрас.

29

Келли? Келли? Иди сюда.

Она вдруг стала слышать его голос.

Он кричал где-то совсем близко, дергал дверцу со стороны водителя, автомобиль сотрясался от его толчков.

Она хотела ответить, но рот тут же заполнила вода, она затрясла головой, отплевываясь, *я здесь, я здесь, помоги мне,* пыталась подтянуться, дрожа от напряжения, на левой руке с небольшой, но хорошо развитой мускулатурой предплечья, тело ее сотрясала дрожь от этого усилия, сколько это продолжалось? минуты? часы? время тонуло в черной воде, о том, что оно не стоит на месте, можно было догадываться только по неуклонному подъему уровня воды, методичному и безжалостному, и еще слышалось тиканье ручных часов, сможет ли Сенатор разглядеть ее? в этой кромешной тьме?.. в этой западне, ловушке, гробу, как это называлось, она уже не помнила, ее здесь всю сжало, смяло, стиснуло, иначе она бы не поместилась в этом закутке, ее позвоночник скрючило.

Теперь, когда она очнулась, боль в голове стала нестерпимой. Светящиеся пятна расползались у нее перед глазами, словно раковые опухоли. Похоже, кожа лица потеряла чувствительность, она уже давно сложила губы трубочкой — судорожно тянулась к воздуху, заглатывала его, а пузырь, наполненный живительным газом, уносило тем временем все дальше, он дразнил ее, словно был живым и жестоким упрямцем, и, покачиваясь, плыл то в одну сторону, то в другую, потом снова возвращался, и она из последних сил с рыданиями тянулась к нему.

Я здесь. Я здесь. Здесь!

Он нырял за ней в черную воду, но нырял где-то поодаль, темнота была кромешная, хоть глаз выколи. А она помнила, что обидела его, и ей нет прощения.

Игриво сжав губы, она остановила напор его языка, она думала, что все это шуточки, они почувствовали взаимное расположение, уважение, он *действительно* уважал ее, она знала это, знала и потому неохотно раскрыла губы, но его огромный язык тут же заполнил ее рот, трепеща от жгучего желания.

И как же стыдно: она так яростно вцепилась в его брючину, а потом в туфлю! А он просто отшвырнул ее! А разбухшая туфля осталась в ее руке.

Его туфля!

О Келли, подруги будут хохотать как одержимые, а Баффи так и закатится смехом, утирая выступившие на глазах слезы — о боже, его туфля!

Прихрамывая, он бежал в одной туфле по безымянной дороге назад к шоссе, к тому

месту, где они свернули и где совершенно точно находился придорожный магазинчик, а также бензоколонка, бар и рядом телефон-автомат.

Нет. Ничего еще не произошло. Солнце ярко светило, не собираясь опускаться за горизонт, а этот долгий шумный день весело раскручивался дальше, как колесо точильщика, рассыпая во все стороны огненные искры.

Над домом Эдгара Сент-Джона развевается американский флаг из великолепного красно-бело-синего шелка. Удерживающий его флагшток самый высокий на Дерри-роуд, а может, и на всем Грейлинг-Айленде.

Мой папа — патриот, сказала Баффи. Двадцать лет работал на ЦРУ и все еще не выпустил весь пар.

Ничего еще не произошло, потому что перед ее глазами снова оказалась Баффи, на сей раз та усаживала гостей, желая их сфотографировать. На ней были джинсы и верх от бикини, темные, блестящие, собранные в «хвост» волосы доходили до пояса, ее пальчики с длинными, вызывающе зелеными ногтками обхватили камеру, кончик языка от усердия застыл меж белых блестящих зубов. Пожалуйста, не шевелитесь и смотрите сюда... вы тоже, Сенатор, м-мм?.. вот так! Отлично!

Сенатора щелкнули еще несколько раз — у стола, накрытого на воздухе, — он стоит в небрежной позе, одна нога на скамейке, локоть — на колене, обтянутом легкой полосатой тканью, а рядом из-под его руки смеется в объектив Келли, и камера зафиксировала ее улыбку, Сенатор тоже улыбается, но более сдержанно, как бы про себя, почти застенчиво, эта полуулыбка исчезает, не успев появиться, глаза тоже посерьезнели, он будто размышляет, какую подпись могут поставить под этой легкомысленной фотографией телеграфные агентства Соединенных Штатов и многих других стран, как откомментируют ее в телевизионных новостях?

Но нет, знать будущее нельзя. Даже если оно твое.

В одной туфле, хромая на одну ногу. Вымокший до нитки, он весь дрожал, бормоча вслух: о боже, о боже, о боже.

30

...В настоящее время в Соединенных Штатах сохранилось пять видов смертной казни. Последние постановления Верховного суда, автономия отдельных штатов. Подавляющее большинство опрошенных высказываются за сохранение смертной казни. *Почему? Потому что это сдерживающий фактор. Закон тем самым утверждает: жизнь — величайшая ценность.* Из пяти видов самый древний — казнь через повешение. Последний раз имела место в Канзасе в 1965 году. Приговоренному потребовалось шестнадцать минут, чтобы умереть, иногда такая казнь длится еще дольше. В Монтане ей до сих пор отдают предпочтение. *Видите ли, только так можно воздействовать на этих зверей.* В Юте практикуется расстрел. С 1890 года в штате Нью-Йорк применяют электрический стул. Это считается более «гуманной» альтернативой повешению или расстрелу: приговоренного (мужчину или женщину) накрепко привязывают к стулу, к ногам и наголо выбритой голове подводят медные электроды. Включают на тридцать секунд ток от 500 до 2000 вольт. *Речь идет о закоренелых преступниках — убийцах. Умственных и нравственных уродах.* Если за указанное время смерть не наступает, ток включают снова. И так два, три, четыре раза подряд. У некоторых исключительно выносливое сердце. При этом случаются всякие неожиданности. Иногда тело начинает дымиться, иногда даже вспыхивает синевато-оранжевым пламенем. Начинает попахивать жареным мясом. Бывает, что глаза вылезают из орбит и болтаются на щеках, как при повешении. Случаются непроизвольная рвота, мочеиспускание, дефекация. Кожа краснеет, покрывается пузырями, вздувается и начинает лопаться, как переваренная сосиска. Иногда ток подается слабее, чем нужно, и тогда смерть наступает не сразу, она растягивается во времени. Узника медленно замучивают. *Все это не для обычных, цивилизованных*

людей, вроде нас с вами, а для тех, кто представляет явную угрозу обществу, кого нужно раз и навсегда остановить. Если этого не сделать, ограничившись мягким судебным приговором, они, выйдя на свободу, снова возьмутся за старое!

В 1924 году в Неваде впервые ввели в обращение газовую камеру. Новшество приветствовали как «гуманную» альтернативу. Приговоренного к смерти (мужчину или женщину) привязывают к стулу, под которым стоит сосуд со смесью серной кислоты и дистиллированной воды, туда кидают цианистый натрий, в результате чего выделяется цианистый водород. В мозг заключенного перестает поступать кислород, и он задыхается, испытывая ужас. *Расовый вопрос здесь ни при чем. поверьте мне, все эти домыслы — отвлекающий маневр, возможно, они возникают потому, что в Соединенных Штатах к смертной казни чаще приговаривают цветных, возможно, согласно статистике, убивший негра белый имеет меньше шансов получить смертный приговор, чем совершивший такое же преступление чернокожий американец, конечно, в каждом штате, округе, городе, в той или иной сельской местности и даже у каждого прокурора свое отношение к этой проблеме, кое-кто может быть даже расистом, но, помилуйте, нельзя же приспосабливать уголовное право к проблемам общества.* Начинаются жуткие судороги, как при эпилептическом припадке. Глаза вылезают из орбит. Кожа приобретает багровый цвет. Причиной смерти становится не мгновенная интоксикация всех жизненно важных органов, а мучительное удушье. «Это наиболее жестокий способ лишения жизни» (мнение врача).

Новейший метод лишения государством жизни своих граждан с помощью смертоносных инъекций с энтузиазмом провозглашен самым «гуманным». Изобретен в 1977 году и впервые опробован в Оклахоме. Приговоренного к смерти (мужчину или женщину) прочно привязывают к операционному столу, затем ему делают внутривенное вливание. Сначала это раствор барбитурата, потом сто миллиграммов павулона, мышечного релаксанта, и, наконец, чтобы смерть наступила быстрее, хлористый калий. *Эти скоты не заслуживают, чтобы с ними так возились, проявляя такое милосердие, ведь это же не люди, а звери. Зачем сохранять им жизнь, кормить, обслуживать, пусть они тоже страдают, как их жертвы, «око за око», «зуб за зуб», разве не так? Ответьте.* Стоимость такой инъекции ничтожна, что не может не радовать озабоченную бюджетными проблемами законодательную власть и играет на руку поборникам смертной казни: ведь такая смерть безболезненна — просто погружение в вечный сон, обществу не предъявишь обвинений в варварстве, желании причинить приговоренному физические страдания, жестоко отомстить.

Поиск «гуманных» альтернатив в смертной казни ведется совсем не ради осужденного, а ради спокойствия американских граждан, чтобы преднамеренное убийство, санкционированное государством, не тревожило их совесть...

Он польстил ей, Элизабет Энн Келлер, сказав и повторив еще раз, что да, он читал ее статью в «Ситизенс инкуайери»... во всяком случае, кто-то из его команды сделал для него «выжимку».

А почему она написала статью на такую тему, полюбопытствовал Сенатор. Келли Келлер помолчала, не желая говорить, что тему предложил Карл Спейдер, а потом сказала:

— Эта проблема давно интересует меня, чем больше в нее входишь, тем большим отвращением преисполняешься. — И это было правдой.

Так же, как и ее ссоры с отцом. *«Око за око, зуб за зуб» — а почему бы и нет? Пусть это жестоко, пусть примитивно, но все же подкрепляет тезис о том, что жизнь — величайшая ценность. Почему бы и нет?*

Что касается Сенатора, то он, конечно, был среди тех, кто выступал за отмену смертной казни.

И конечно, храбро противопоставил себя ее сторонникам, которых хватало в его родном штате, где узаконена казнь на электрическом стуле и где в настоящее время ожидали исполнения приговора несколько осужденных, чьи просьбы о помиловании были отклонены.

И конечно, выступал с речами на эту тему. Он столь же красноречив и непреклонен в своих политических убеждениях, как и его друг Марио Куомо. Смертная казнь неприемлема для цивилизованного общества: ведь лишение человека жизни по какой бы то ни было причине безнравственно, общество в этом случае опускается до пещерного уровня самого убийцы. И особенно страшно — при несовершенстве американского законодательства, — что всегда существует опасность приговорить к смертной казни невинного (мужчину или женщину)... а эту ошибку поправить уже нельзя.

31

Я готова?

Она спешно упаковывала свои вещи, хотя только вчера вечером выкладывала их бережно и торжественно, как если бы комната на Грейлинг-Айленде с земляничными обоями и целомудренной постелью под белым кисейным покрывалом была неким священным местом, о котором она забывала между визитами, теперь же эта комната стала местом, из которого она сама себя изгоняла.

Они собирались удрать от Баффи ровно в семь, чтобы успеть к семи тридцати на паром, уходящий на Бутбей-Харбор, но тут подкатила машина с новыми гостями, и Сенатор, поглощенный беседой, потянулся за новой рюмкой, *а может, им пропустить этот паром, когда там следующий? — не важно, какой-нибудь обязательно будет.*

Ни на что не рассчитывай. Что будет, то и хорошо. Так рассудительно Келли Келлер наставляла сама себя.

И все же ее руки дрожали. Дыхание участилось. В висевшем над бюро сердцевидной формы зеркале в плетеной белой раме плыл восторженный раскрасневшийся девичий лик, полный светлой надежды.

В самом деле мысли ее унеслись далеко, подобно заблудшему бумажному змею, выписывающему пьяные кренделя высоко в небе над дюнами, а ведь он, приходило ей на ум, живет врозь с женой, их супружество, по его словам, закончилось, а избиратели теперь не так уж пуритански строги к разводам.

Избегать даже видимости нарушения приличий. Даже намека на скандальную внебрачную интрижку.

Это уже другой мир, не тот, что ты знала, мама. Хотелось бы, чтобы ты это поняла.

И оставила бы меня наконец в покое!

Когда она с банкой пива в руке проходила через кухню, там тихо и раздраженно говорил по телефону Рей Энник, в его обычно изысканной речи мелькали словечки типа «задница», «мать твою», это потрясло Келли, говоривший по телефону человек был совсем не похож на добродушного, улыбчивого мужчину, романтически ухаживающего весь этот день за Баффи Сент-Джон и предупредительного по отношению к ней самой, он проводил ее взглядом (подернутые пеленой глаза, отечное лицо, он весь день пил, и проигрыш в теннисной партии его расстроил), в котором было нечто от взгляда кошки, инстинктивно, с бесстрастным хищным любопытством следящей за движущимся предметом; стоило Келли скрыться из виду, выпасть из поля его зрения, он тут же перестал о ней думать.

«Слушай, мать твою, говорю же, все уладим в понедельник. Ясно?»

Балансируя на одной ноге, Келли Келлер торопливо стаскивала с себя белый купальник, тот, что купила в прошлую субботу на сезонной распродаже в «Лорд энд Тейлор», и тут же натянула летнее трикотажное платье-рубашку в бледно-лимонную полоску, без рукавов — ее красивые плечи с гладкой бархатистой кожей оставались открытыми, а то местечко, к которому он прикоснулся губами, казалось, еще хранило их тепло.

Неужели все это было на самом деле, думала Келли Келлер.

И повторится снова. Снова.

Жизнь любишь, потому что она твоя.

Ветер шевелил метелки высокого тростника, точь-в-точь человеческие фигуры. Белесые, раскачивающиеся на ветру. Во всяком случае, если смотришь сбоку.

Ветер, холодный восточный ветер с Атлантики. Дрожащая, словно бледное пламя, рябь воды, бьющейся, разбивающейся о берег. По словам Баффи, самые высокие из дюн достигали в этих местах семидесяти футов, принимая невероятные очертания; посаженные здесь сосны не могли сдержать их тягу к миграции, пески перекатывались по острову, словно волны, чередуя гребни и впадины и двигаясь с запада на восток. Скорость — от десяти до пятнадцати футов в год, это было измерено. На Дерри-роуд с ними велась постоянная борьба, но их не сдерживали ни снегозащитные заграждения, ни трава на побережье. «Здесь, конечно, очень красиво, но, видите ли, — и с невольным содроганием, — несколько диковато для человека».

И сейчас порывы ветра сотрясали покатую крышу над ее комнатой, но внутри было так уютно, так безопасно — в постельке, где она лежала, укутанная, под бабушкиным покрывалом с вышитыми по краям маленькими медвежатами.

Ты любишь свою жизнь. Ты готова.

Она не хотела соглашаться. И одновременно хотела.

Да, на паром, в Бутбей-Харбор.

В Бутбей-Марриот на самом деле.

А что дальше? После Бутбей-Харбора, после пятого июля?..

Келли Келлер завоюет любовь этого мужчины. Она знает как.

Келли удивила эта мысль и особенно сила чувства, вложенного в нее. *Да, ты готова.*

В машине она включила приемник, послышалась пронзительная синтезаторная музыка — одни беспорядочные звуки, никакой организации. И как трогательно, что пятидесятилетний Сенатор с ностальгией вспоминает свою давнюю юность!

Она согласилась, хотя видела, как много Сенатор выпил, поначалу он берегся, пил только белое вино, воду «перрье» и низкокалорийное пиво, потом перешел на более крепкие напитки, его поддержал и Рей Энник: оба были самыми великовозрастными в этой молодежной компании.

Стареющие мужчины. Так оно и есть, и оба такими себя и считают, это видно невооруженным глазом.

Четвертое июля. Праздник, утративший былое значение, но один из тех, который отмечают все американцы, почти все.

Ракеты, взрываясь, расцвечивают небо.

Так всегда бывает, и флаг, конечно, все еще там, над домом.

В нетерпеливом, восторженном предчувствии чего-то они свернули на проселок, где «тойота» продолжала уверенно мчаться вперед, несмотря на рытвины и колдобины. Сенатор — опытный водитель, — очевидно, наслаждался быстрой ездой, его нервная энергия как бы подстегивала, усиливала стремительность их поспешного бегства. Может, в их намерения как раз и входило *сбиться с пути?*

Пропустив пару рюмочек, Келли Келлер призналась Сенатору, что он был темой ее диплома в университете, и это нисколько не рассердило и не смутило его, напротив, он прямо-таки расцвел от удовольствия.

— Что вы говорите? Надеюсь, я не разочаровал вас?

— Конечно нет, Сенатор.

Они оживленно болтали, другие гости прислушивались к их беседе: Келли Келлер и Сенатор *потянулись друг к другу.* Келли как бы со стороны слышала свой голос, говоривший Сенатору, какие именно из его идей больше других взволновали ее: создание комитетов по взаимодействию соседних районов, особенно в наиболее бедных частях страны с преобладанием городского населения, — через эти комитеты граждане могли бы непосредственно вступать в контакт с избранными ими должностными лицами; учреждение групп продленного дня в детских учреждениях; бесплатная медицинская помощь; корректива образовательная программа; финан-

совая поддержка искусства, в частности театров национальных меньшинств. Пылко звучала речь Келли, и Сенатор внимал ей как завороженный, в изумлении глядя на девушку, словно она была не одним человеком, а целой огромной аудиторией. Никогда еще его мысли не казались ему столь благородными, разумными и убедительными, никогда еще его слова не звучали так благозвучно, поэтично, вдохновенно. Келли, к ее стыду, вдруг вспомнился циничный афоризм Шарля де Голля, его любил цитировать Карл Спейдер: «*Политик никогда не верит тому, что говорит, и оттого чрезвычайно удивлен, когда ему верят другие*».

В смущении Келли резко оборвала поток слов:

— Простите, Сенатор, все это вы, наверное, слышали уже тысячу раз.

А Сенатор учтиво и вместе с тем серьезно отозвался:

— Да, Келли, возможно... но ни разу — от вас.

Совсем близко, со стороны соседей, слышится треск фейерверка. А высоко над головой полощется, мерцая звездочками, американский флаг семейства Сент-Джон.

Но тут черная вода затопила ее легкие, и она умерла.

Нет, пока еще нет; наступило время празднества, ветер доносил аппетитный запах жарящегося на гриле мяса, там колдовал Рей Энник, он выглядел очень комично в поварском колпаке и фартуке, Рей был пьяноват, его пошатывало, но, как ни странно, в качестве кулинара он оказался на высоте: перед ним громоздились куски маринованного тунца, цыплята в соусе «текс-мекс», багрово-красные филейные части размером с оладьи. Вареные початки кукурузы с маслом, ведерки с картофельным салатом, салатом из сырой капусты, моркови и лука, салатом из фасоли, рисом с приправой карри, банки с пивом — все это мгновенно разбиралось. Как разыгрался у всех аппетит, особенно у молодежи! Сенатор тоже уплетал за обе щеки, поминутно тщательно утирая рот бумажной салфеткой.

Келли с трудом заставляла себя есть, хотя у нее голова кружилась от голода. Она подносила вилку ко рту и тут же ее опускала. Среди гостей Баффи многие хотели бы поговорить с Сенатором, но он просто зациклился на Келли Келлер, как если бы, словно в самой фантастической из всех сказок, совершил свой импровизированный вояж на Грейлинг-Айленд только для того, чтобы встретиться с нею.

У Келли Келлер от радостного возбуждения разгорелись щеки. Ей пришло в голову, что рассказ об этом ее знакомстве произведет большое впечатление на Карла Спейдера, он еще и позавидует ей.

У соседей с шумом взорвались, празднично озарив небо, несколько ракет — Сенатор недовольно поморщился.

Боится, что его застрелят, мелькнуло в голове у Келли.

Ничего удивительного, любой человек, добившись такой известности, опасается *покушения*.

Сенатор произнес:

— Не люблю я этот праздник, Четвертое июля. С детства он связан у меня с поворотом к осени. Половина лета прошла, и теперь оно неотвратимо катится к концу.

Выражение его лица при этих словах было необычным, меланхолически озадаченным — он по-прежнему часто промокал губы. Разводы кетчупа на салфетке напоминали следы от губной помады.

— Наверное, вам часто приходится в праздники участвовать в разных официальных церемониях? Тратить на это уйму времени? Произносить речи, принимать награды...

Сенатор безразлично пожал плечами.

— Когда в ушах так часто звучит собственный голос, чувствуешь себя одиноким.

— Одиноким? — рассмеялась Келли.

Но Сенатор продолжал быстро говорить, словно исповедуясь, явно не желая, чтобы его перебивали:

— Иногда я просто бешусь, это рождается где-то внутри, бешусь оттого, что

начинаю презирать произносимые мною слова, и не потому, что они лживы, а просто потому, что *произношу* их, как делал до этого бессчетное число раз, все эти «принципы», «идеалы», а ничто в этом чертовом мире так и не меняется. — Он замолчал и отхлебнул большой глоток из стакана. Стиснутые зубы: он действительно казался разгневанным. — Ненавидишь свою так называемую «популярность» по той же причине, по которой другие восхищаются тобой.

Келли Келлер почувствовала себя еще более польщенной, все выглядело так — а разве нет? — будто, говоря о других людях, Сенатор тем самым выделял ее, отводил ей особое место.

Живет с женой врозь, дети выросли — по меньшей мере ее ровесники. Что тут плохого?

Г. заразил ее болезнью мочеполового тракта, но инфекция была не опасной, не из тех, о которых не принято говорить в обществе, Келли легко с нею справилась благодаря антибиотикам и уже несколько месяцев как была совсем здорова. И что тут плохого?

Этим утром она приняла роскошную ванну, растворив в воде таблетки «Актибаз», настойчиво рекомендованные ей Баффи, и с удовольствием погрузившись в зеленоватую пену, благоухающую мятой.

Потом они поехали в город, расположенный на западе острова, чтобы закупить продукты к празднику. Магазины: «Харбор ликер», «Фиш март», «Тина Мария гурме фудс», «Ла буланжери». Перед последним был припаркован блестящий новенький «форд», сзади на буфере приклеено штрафное уведомление.

Когда они выходили, нагруженные деликатесами, из очередного магазина, Баффи рассеянно сказала: «А ведь я никого не знаю из тех, кто умер от СПИДа в этом году. Мне это только что пришло в голову».

И уже в автомобиле, по дороге на виллу, Баффи небрежно упомянула, что Рей Энник пригласил на вечеринку Сенатора. Впрочем, он уже не в первый раз зовет его с собой.

— На самом деле я его не жду. Нет, не жду.

— Сюда? Его пригласили сюда? — спросила, удивившись, Келли.

— Да, но голову даю на отсечение, он не появится.

Помимо снадобья для ванны Баффи вручила Келли компакт-диск с новой духовной музыкой под названием «Мечты дельфина» — умиротворяющее сочетание песни дельфина и хора, пение предназначалось для снятия стресса, но Келли его так и не услышала.

Паром, уходящий в семь тридцать, они пропустили, но на тот, что отплывал в восемь двадцать, намеревались успеть. Сенатор выглядел раздосадованным и проявлял явные признаки нетерпения. То и дело поглядывал на часы, у него были электронные часы, и в ярком мигании цифр было нечто от нервного тика. За последний час настроение Сенатора резко переменилось. Речь его стала несколько бессвязной, ответы не отличались особой находчивостью, взгляды, которые он бросал на Келли Келлер, были знакомы ей по прежней жизни, но четкому определению не поддавались — властные мужские взгляды, в которых присутствовали также беспокойство и гнев.

Когда они уходили, Сенатор поинтересовался, возьмет ли Келли на дорожку чего-нибудь выпить, и, услышав, что не возьмет, попросил ее прихватить стаканчик для себя — хорошо? — хотя у него уже был один в руке. Келли решила было, что это шутка, но Сенатор не шутил: он только что заново наполнил свой стаканчик водкой с тоником и хотел, чтобы Келли принесла такой же. Келли колебалась только мгновение.

Баффи настигла Келли уже на дороге к машине и, сжав ей руку, прошептала на ухо: «Позвони мне, киска! Завтра, в любое время».

Значит, ничего ужасного не произошло, ведь стояла же сейчас перед ней Баффи, провожая их взглядом и подняв руку в прощальном приветствии.

32

Да, ничего ужасного еще не произошло, ведь видит же Келли, как она, бросив вызов взрослым, бежит в своих крошечных белых носочках по колкому ковру, ноги у нее заплетаются, и кто-то огромный нависает над ней сзади и подхватывает, крепко держит, просунув руки ей под мышки: *кто же это такой? кто такой? неужели наш ангелочек, Лиззи!*

Так оно и было. Все это случилось с ней. Она прошла этот путь.

Она все понимала: никакой ошибки тут не было. И в то же самое время объясняла собравшимся людям, старшим по возрасту, чьи лица трудно было различить сквозь треснувшее ветровое стекло, что напрасно они думают о нем плохо, он вовсе не бросил ее, а отправился за помощью — этот мужчина, чье имя ускользает из памяти, как и лицо, хотя она не сомневалась, что узнает его в ту же секунду, как увидит, он, конечно же, вызывает «скорую помощь», поэтому его и нет рядом, и вовсе он не бросил ее погибать в черной воде.

И ногой ее не отшвырнул, и не сбежал. Он не забыл ее.

Как нелепо выглядит розовый лак на ногтях — потрескавшихся, сломанных. Но она еще поборется.

Розовая пена в ноздрях, закатившиеся глаза, но она еще поборется.

...не покинул ее, когда, брыкаясь изо всех сил, рвался наружу из обреченного автомобиля, а потом яростно плыл к берегу, борясь за жизнь, и долго лежал там, извергая гнусную грязь, и никакая сила на свете не заставила бы его снова войти в воду, наконец поднялся (сколько прошло времени, он не сказал бы: полчаса? час?) и позорно бежал, припадая на одну ногу — *в одной туфле, в одной туфле,* — этим, возможно, когда-нибудь станут его дразнить враги, если он не проявит сейчас чудеса хитрости, хромая и спотыкаясь, он двигался по дороге вдоль болот, теперь уже в обратном направлении, его охватывал ужас при мысли, что какой-нибудь автомобилист узнает его, он бежал назад к шоссе в двух милях от этого проклятого места, его била дрожь, он задыхался — *что мне делать? что мне делать? Боже, вразуми меня!* — безумный звон насекомых стоял в ушах, рой москитов кружил над головой, жаля его плоть, нежную, распухшую плоть, разбитый лоб, нос, который, он подозревал, был сломан в тот момент, когда врезался в руль, у шоссе он припал к земле, часто и тяжело дыша, как уставшая собака, он прятался, прижимаясь к земле, в высоких зарослях, выжидая, чтобы шоссе опустело, а потом, прихрамывая, перебежал дорогу к телефонной будке — у автомобильной стоянки рядом с почтовым отделением и баром, в горле у него пересохло, он весь оцепенел от ни на секунду не отпускающего его животного страха, невероятного, невозможного страха, который не поддавался анализу, от него можно только бежать, *Сенатор мчится в одной туфле, в одной туфле,* с взъерошенными волосами, словно забулдыга, а вдруг его видели? вдруг узнали? сфотографировали? может, Бог, всегда столь милосердный, отвернулся от него? что, если этот позорный поступок станет концом всему? что, если карьера его оборвется сейчас, когда он, весь перепачканный, по уши в черной грязи, бредет, задыхаясь, по дороге? что, если он никогда не вознесется равно над врагами и над друзьями? и партия не выдвинет его, и народ не изберет его президентом Соединенных Штатов? что, если он станет посмешищем в глазах врагов? ведь смысл, существо политики, по словам Адамса, есть *систематическая организация ненависти:* либо на вас направлен этот поток, либо нет, ужас от этой мысли пронизал все его существо, его мутило, а когда он переходил шоссе, бросало в разные стороны как пьяного, хотя весь хмель из него давно вышел, да он капли больше в рот не возьмет до конца дней, клялся он себе, и будет вести самую праведную жизнь, если Бог поддержит его сейчас, в час жестокого испытания, *если Ты явишь мне Свое милосердие сейчас,* внезапная острая боль пронзила живот, он скривился и согнулся пополам, и в эту минуту где-то неподалеку, в муниципальном парке, взлетели в ночное небо с шумом и треском яркие, сверкающие ракеты, они рассыпались крас-

ными, белыми и синими искрами и покатились вниз под восторженные вопли — о-о-о! а-а-а! — детворы, истерический лай собаки и гневный крик молодого человека: «А ну, заткнись!», значит, это был не прицельный выстрел, а просто шум без всяких последствий, негнущимися пальцами он сжимал монетку, словно талисман, бумажник его уютно покачивался в кармане, что касается денег, то они в катастрофе нисколько не пострадали, даже почти не намокли, собрав всю свою волю, он попросил телефонистку соединить его с виллой Сент-Джонов на Дерри-роуд, благословляя небеса, что запомнил фамилию хозяйки, после восьми гудков в трубке послышался женский голос на фоне изрядного гула, ей пришлось даже переспрашивать, с кем он хочет говорить? — и он попросил эту незнакомку, которая стала для него той соломинкой, за которую хватается утопающий, попросил слегка измененным, низким голосом позвать к телефону Рея Энника, пожалуйста, его спрашивает Джеральд Фергюссон, будьте так добры, женщина отошла, гул и смех усилились, наконец раздался встревоженный голос Рея:

— Да? Джерри, это ты? Что случилось? — Ему было ясно: что-то произошло, ведь Фергюссон не был его другом, а только младшим коллегой, и он никогда не осмелился бы звонить Рею Эннику в такое время без серьезного повода, и тогда Сенатор отозвался, запинаясь, своим обычным голосом, в котором звучало отчаяние:

— Рей, это не Фергюссон, это я.

И Рей изумленно переспросил:

— Ты?

— Да, — ответил Сенатор. — У меня жуткие неприятности. Случилась авария.

Рей снова переспросил, слегка понизив голос, как человек, который ищет, за что бы ухватиться:

— Что? Какая авария?

И Сенатор проговорил уже во весь голос:

— Я не знаю, черт подери, что делать: эта девушка... она мертва. — Ударившись своим и без того посиневшим лбом о грязное органическое стекло телефонной будки, на другом конце провода молчал Рей, явно в глубоком шоке, потом он повторил: «Мертва...», что прозвучало скорее как выдох, чем как восклицание, и тут же быстро произнес:

— Ни слова больше по телефону! Только скажи, где ты, и я приеду за тобой, — но Сенатор уже рыдал, неудержимо и обиженно, как ребенок.

— Девушка была пьяна, возбуждена, она вывернула руль, и машина вылетела с дороги, а меня наверняка обвинят в убийстве, меня привлекут...

Но тут Рей перебил его сердито и решительно:

— Хватит! Прекрати! Скажи только, ради бога, где ты, и я приеду.

И Сенатор сказал.

А цифры на его «ролексе» все так же мерцали: было девять часов пятьдесят пять минут.

Но Келли Келлер ничего не знала и не могла знать обо всем этом, ведь ей казалось, что никакого несчастного случая еще не произошло и блестящая черная «тойота» только теперь свернула с шоссе на безлюдную тряскую дорогу, яркая луна озаряла все вокруг романтическим светом, из приемника неслись негромкие звуки джаза, она знала, что они совершили ошибку, да, наверное, да, видимо, они *сбились с пути*... но *сбиться с пути* — разве они не этого хотели?

Тут черная вода заполнила ее легкие, и она умерла.

Еще нет: в самый последний момент, кашляя и задыхаясь, она потянулась вверх, стремясь поднять голову как можно выше, отчего ее маленькие мышцы напряглись и взбугрились на левой руке, пальцы вцепились в руль, она уже не понимала, что это руль, знала только, что эта штука может спасти ее, ведь там недалеко плавал пузырь воздуха, он стал поменьше, но все-таки существовал, а с ней, оказывается, ничего не случилось, и она обнимала ничего не понимающую Баффи Сент-Джон,

обнимала крепко-крепко и клялась, что любит ее как сестру, жалея, что намеренно избегала общения с Баффи последние два-три года, и уверяла ее, что никого винить не надо — просто несчастный случай, ничего больше.

Значит, все-таки, это *случилось*?..

Автомобиль на полной скорости занесло, закружило на этой пустынной дороге, вдоль которой не было никаких построек, только бескрайние болота, протянувшиеся на много миль, заросли бурого тростника, высокая, стелющаяся под ветром трава да низкорослые чахлые сосны, деревьев было много, но все они стояли какие-то безжизненные... одни голые стволы... а еще воздух пронизывал нестерпимый, режущий уши звон спаривающихся насекомых, те словно знали, как быстротечно время и что луна скоро покатится с небес вверх тормашками, Келли смотрела в окно и видела (не отдавая себе отчета, ведь они с Сенатором болтали) в канаве возле дороги разбитый обеденный стол, переднее колесо английского гоночного велосипеда, обезглавленное розовое тельце валяющейся там же куклы... и отвела взгляд, не желая видеть дыру там, откуда вырвали голову, дыра зияла, словно влагалище, над которым надругались.

Ты Американская девушка, ты любишь свою жизнь.

Ты любишь свою жизнь и веришь, что ты сама ее выбрала.

Она тонула, но не хотела утонуть. Она сильная и будет бороться за свою жизнь.

А по другую сторону ветрового стекла металось его лицо, значит, он нырнул — а она-то уже начала думать, что он бросил ее, — и теперь дергал дверцу с такой силой, что автомобиль сотрясался, какой он высокий, какой теплый бронзовый оттенок у его загорелой кожи, он выше всех, кого знает Келли, белоснежные зубы обнажились в широкой улыбке, жесткие волосы на руках, крепких, мускулистых руках, правое запястье, он сам обратил ее внимание на то, что оно значительно массивнее левого — от сквоша, к которому он пристрастился много лет назад, она даже коснулась этого запястья, туго стянутого браслетом от дорогих электронных часов из золота. Оно казалось напряженным, возможно, от физической причастности к «ролексу», этому шедевру в своем роде, Сенатор еще сказал, что у молодежи, видящей эти мигающие, вспыхивающие и исчезающие цифры, сложилась новая концепция времени, отличная от прошлой, когда вы, глядя на циферблат и стрелки, наблюдали равномерную поступь времени.

Его сильные руки стиснули ее пальцы. *Келли? Так? Келли?*

Утром этого дня она резвилась на пляже среди дюн, ветер трепал ее волосы, солнце слепило глаза, а в прибрежной волне, в оставленной на песке пене возились кулики — острые пятнистые грудки, длинные тонкие клювики, хрупкие шаткие ножки, они копались в мокром песке, а она с улыбкой любовалась птицами, их нелепыми суетливыми движениями, они были так поглощены делом, и сердце ширилось в груди — *я хочу жить, я хочу жить вечно*!

Она была готова пойти на сделку: хорошо, она согласна отдать правую ногу, даже обе ноги, если нужно, если так считают врачи, пусть ноги ампутируют, да, пусть, пожалуйста, начинайте, расписку, что не возражает, она даст потом и обещает не иметь к ним никаких претензий.

А вот Арти Келлер их бы имел предостаточно! — такой уж у него характер, недаром родные дразнят его сутягой, но Келли ему все объяснит, она возьмет вину на себя.

Она поспешно заглатывала небольшими порциями черную воду, решив, что если делать это достаточно быстро и постоянно, то можно выкрутиться — она будет просто пить воду и не захлебнется.

Что это такое? это ей? Хлопая ресницами, она в изумлении и восторге не сводила глаз с платьица, которое бабушка сшила из жатого ситца, по белому полю разбросаны крошечные землянички, она наденет его со своими новыми черными лакированными туфельками и белыми носочками с розовой каймой.

Ты любишь жизнь, которой живешь, потому что она твоя. Потому что это твой путь.

Она видела, что все они внимательно смотрят на нее, и, не желая расстраивать их, проглотила слезы. Не надо им знать.

Бабуля, мамочка, папа... я люблю вас.

Для нее было открытием, и не очень приятным, что они такие молодые. Она не помнила их такими.

Да, она пошла на риск, это была авантюра по молодости лет, может быть и ошибка, но ведь это она, встав на цыпочки, дала ему поцеловать себя, как будто это был ее долг, ведь именно ее избрали для этого из всех молодых женщин, которые с радостью подставили бы свои губы ему, этому мужчине, чье имя она сейчас позабыла.

Она не влюблена, но полюбит его обязательно, если только это спасет ее.

По-настоящему она еще не любила мужчину, она была примерной девочкой, но этого полюбит обязательно, если только это спасет ее.

Черная вода заплескивалась в рот, в ноздри, от нее нет спасения, она рвалась в легкие, сердце судорожно колотилось, старательно проталкивая кислород в ее слабеющий мозг, где, она явственно ощущала, росли какие-то зазубренные, вроде сталактитов, иглы — что бы это значило? И печально засмеялась, прикинув, сколько поцелуев в ее жизни отдавали пивом? вином? виски? табаком? марихуаной?

Ты любишь свою жизнь, потому что другой у тебя нет.

Ты любишь свою жизнь, потому что ты Американская девушка. Ты веришь, что сама выбрала эту жизнь.

И все же: он *нырял* в черную воду, подплывал к автомобилю, его пальцы скользили по ветровому стеклу, волосы на голове вздыбились, *Келли?.. Келли?* — она видела его немое изумление, сколько же минут, часов прошло, сколько времени находилась она здесь, она не знала этого, время остановилось в этом темном закутке, в этой западне из покрывшегося металла, которая не отпускала ее. Тут она опять увидела его! — вот же он! — прямо над головой, он плыл к ней, чтобы наконец взломать дверь, ту, которая не пускала ее, сердце Келли радостно забилось от благодарности, вот-вот разорвется, глаза ее от напряжения чуть не вылезли из орбит, она протянула к нему руки, вся подалась навстречу, чтобы его сильные руки смогли крепко сжать ее запястья и вытащить ее из черного омута, наконец! наконец! и вот они уже всплывают — так легко, словно тело ничего не весит, как непослушный ребенок выскальзывает она из его рук, не в силах сопротивляться желанию плыть самой, и блаженно отталкивается ногами, они уже не онемелые, как прежде, все прошло, как дурной сон, сильными ритмичными толчками австралийского кроля, освоенного ею еще в школе, она вырывается на поверхность — наконец-то! наконец! — расширенные глаза ее устремляются на прекрасное ночное небо, оно снова с ней, как будто и не уходило, а на нем огромная луна, и логичное умозаключение, *если я вижу, значит, живу,* и эта простая мысль наполнила ее душу тихим безоблачным счастьем, среди высокой травы Келли ждали мамочка и отец, ее, правда, удивило, что теперь они были вовсе не молоды, а очень стары, в жизни они выглядели гораздо моложе, лица их исказились мукой, они взирали на нее с ужасом, словно видели впервые, словно не узнавали бегущую в беленьких носочках и повизгивающую от радости Келли, свою маленькую Лиззи, которая тянула к ним ручонки, чтобы ее подняли, брыкающуюся, высоко-высоко, а в это время черная вода затопила ее легкие, и она умерла.

■

МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА

Литума в Андах

РОМАН

Перевод с испанского Ю.ВАННИКОВА

Cain's City built with Human Blood,
not Blood of Bulls and Goats.

William Blake. The Ghost of Abel[1].

Часть первая

I

Увидев остановившуюся в дверях индеанку, Литума догадался, о чем она собирается рассказать. Об этом она, похоже, и поведала, шамкая и брызгая слюной, пузырившейся в уголках ее беззубого рта. Но на кечуа.

— Что она говорит, Томасито?

— Я плохо разбираю, господин капрал.

Молодой полицейский обратился к женщине тоже на кечуа, помогая себе жестами, и попросил говорить медленнее. Женщина все так же неразборчиво повторила свои слова, которые показались Литуме варварской мешаниной звуков. Его вдруг охватило беспокойство.

— О чем она толкует?

— У нее пропал муж, — шепотом ответил его подчиненный. — Кажется, четыре дня назад.

— Это уже третий, — пробормотал Литума, чувствуя, как на лице выступает пот. — Чертовщина какая-то.

— Что теперь будем делать, господин капрал?

— Возьми у нее показания. — По спине Литумы пробежал холодок. — Пусть расскажет тебе все, что ей известно.

— Что здесь творится, подумать только! — воскликнул молодой полицейский. — Сначала был немой, потом Альбинос, а теперь вот бригадир с дорожного строительства. Но это невозможно, господин капрал!

Возможно или невозможно, но такое происходит уже в третий раз. Литума представил себе, с какими замкнутыми лицами и пустыми глазами будут слушать его жители Наккоса — пеоны из рабочего поселка, индейцы из общины, когда он будет выспрашивать у них, что случилось с мужем этой женщины; он вспомнил ощущение беспомощности и безнадежности, которое испытывал, допрашивая их о других пропавших, вспомнил эти покачивания головой, односложные ответы,

---

[1] Каинов град воздвигнут на человечьей крови,
не на крови быков и коз.

Уильям Блейк. Тень Авеля

© Mario Vargas Llosa, 1993
© Editorial Planeta S.A., 1993
© Ю. Ванников. Перевод, 1997

ускользающие взгляды, нахмуренные лбы, поджатые губы. И на этот раз будет то же самое.

Томас уже начал расспрашивать женщину, ее показания он записывал в блокнот плохо отточенным карандашом, то и дело смачивая его слюной.

«Значит, опять объявились террористы, чертовы терруки, чтоб им... — размышлял Литума. — Теперь они могут нагрянуть в любую ночь». У него были показания еще одной женщины, заявившей о пропаже альбиноса Касимиро Уаркаи, она была то ли его женой, то ли матерью, тут никогда толком не разберешь. Он шел на работу или, может быть, с работы и не дошел до места. А немой Педрито спустился в поселок, чтобы купить бутылку пива, да так и не вернулся обратно. Никто не заметил, чтобы перед исчезновением Альбинос и Педрито были больны или напуганы. Прошло уже три недели после случившегося, а капрал Литума и его подчиненный — рядовой полицейский Томас Карреньо — пребывали в таком же неведении, как и в первый день расследования. Вот именно что чертовщина, мать твою. Литума вытер ладони о брюки.

Начался дождь. Крупные капли забарабанили вразнобой по гофрированной жестяной крыше. Не было и трех, но затянутое тучами небо потемнело, казалось, что наступила ночь. Вдали загрохотал гром, покатился по горам, смешиваясь с глухим ворчанием, поднимавшимся из земных недр, населенных, как считали здешние горцы, быками, змеями, кондорами и духами. Неужто они и вправду верят в это? Конечно, господин капрал, они даже молятся им и делают подношения. Разве вы не видели тарелки с едой, которые они оставляют в ущельях Кордильеры? Когда Литуме рассказывали о таких вещах в погребке Дионисио или на футбольном матче, он не мог понять, говорили это всерьез или просто разыгрывали его как чужака — жителя побережья. Время от времени то на фоне открытой двери, то в окне мелькала золотистая змейка, в стремительном броске пробивавшая тяжелые тучи. Горцы, наверное, так и думают, что молния — это небесная ящерица. Водная завеса скрыла бараки, бетономешалки, катки, джипы, хижины индейцев, разбросанные среди эвкалиптов на склоне горы напротив. «Будто все исчезли», — пронеслось в голове у Литумы. На строительстве дороги работало около двухсот пеонов, все они были пришлые — из Аякучо, Апуримака, особенно много людей пришло из Уанкайо и Консепсьона, что в провинции Хунин. С побережья же, напротив, не было ни души, по крайней мере, он никого не знал. Даже его помощник был не из прибрежной зоны. Правда, хотя Томас родился в Сикуани и говорил на кечуа, он больше походил на креола. Кстати, это он привел в Наккос немого Педрито Тиноко, того самого, что исчез первым.

Он был прямой, бесхитростный, дружелюбный парень, этот Томас Карреньо, немного, правда, малахольный. По вечерам он любил рассказывать о себе. Вскоре после того как он явился на пост, капрал сказал ему: «Такой, как ты, Томасито, вполне мог бы родиться и на побережье. И даже в Пьюре[1]». — «Я понимаю, как много значат такие слова, если их говорите вы, господин капрал». Без него жизнь в этой глуши была бы совсем невыносимой. Литума вздохнул. Что я делаю здесь, в этой пуне[2], среди угрюмых, подозрительных горцев, которые убивают друг друга из-за политики, а теперь еще и похищают людей? Почему я не в родных краях? Он представил, что сидит за заставленным пивом столиком в Рио-баре среди закадычных — на всю жизнь — друзей темной пьюранской ночью, с ее звездами, вальсами, запахом коз и рожкового дерева.

— Готово, господин капрал, — прервал его мысли помощник. — Правда, этой сеньоре мало что известно, да к тому же она умирает от страха, вы заметили?

Литума изобразил улыбку и жестом показал индеанке, что она может идти. Та не пошевелилась и продолжала смотреть на него не меняя выражения. Это была маленькая женщина неопределенного возраста, с хрупкими, как у птицы, костями,

---

[1] Пьюра — город на побережье Тихого океана, где родился капрал Литума, персонаж многих произведений Марио Варгаса Льосы. (*Здесь и далее — прим.перев.*)

[2] Пуна — луговая часть Кордильер.

очень худенькая, несмотря на бесчисленные юбки, в потертой, почти потерявшей форму шляпе. Но в ее лице, в спрятанных в морщинистых веках глазах чувствовалась спокойная обреченность.

— Похоже, она ждала, что с ее мужем что-то стрясется, господин капрал. Говорит, это должно было произойти. Но о террористах, о милиции сендеристов [1] вроде бы ничего не знает и никаких разговоров о них не слышала.

Не кивнув и не сказав больше ни слова, женщина повернулась и вышла под проливной дождь. Она направилась в сторону рабочего поселка, и через несколько мгновений ее фигура растворилась в свинцовой пелене.

Капрал и его помощник помолчали, а когда Томас заговорил, в его голосе тоже прозвучала обреченность:

— Знаете, что я вам скажу, господин капрал: нам с вами не уйти отсюда живыми. Нас обложили со всех сторон и только ждут случая, чтобы захватить врасплох.

Литума пожал плечами. Обычно он первым падал духом, а помощник подбодрял его, но сегодня они поменялись местами.

— Не распускай нюни. А то, когда они и впрямь нагрянут, застанут тут двух хлюпиков, которые даже постоять за себя не смогут.

Ветер загремел листами жести на крыше, наполнил помещение водяной пылью. В доме была всего одна комната, перегороженная деревянной ширмой. Снаружи он был окружен оградой из камней и мешков с землей. В одной половине дома располагался полицейский пост с письменным столом — доской на двух козлах — и сундуком, в котором хранились регистрационный журнал и различные бумаги, в другой половине стояли две раскладушки, из-за недостатка места придвинутые вплотную друг к другу. Обе клетушки освещались керосиновыми лампами. Кроме того, там имелся еще приемник на батарейках, который, если не было сильных атмосферных помех, принимал Национальное радио и радио Хунина. Капрал и его подчиненный проводили около него долгие часы, пытаясь днем или ночью поймать новости из Лимы или Уанкайо. На полу, застеленном циновками, бараньими и овечьими шкурами, стояли примус, спиртовка, глиняные миски и кружки, чемоданы Литумы и Томаса. Еще там был шкаф без задней стенки, служивший арсеналом: в нем хранились карабины, патронташи и пулеметы. Револьверы они всегда носили при себе, а ночью клали под подушки. Сидя под выцветшим изображением Сердца Иисуса — рекламы Инка-колы, Литума и Томас слушали шум дождя.

— Не думаю, чтобы их убили, Томасито, — прервал молчание Литума. — Скорее всего, терруки увели их с собой, может быть, даже взяли в свою милицию. А может быть, чем черт не шутит, эти трое сами были террористами. Разве сендеристы похищают людей? Убивают — это да. И оставляют записки, чтобы все знали, что это их рук дело.

— Педрито Тиноко — террорист? Да что вы, господин капрал, чем угодно поручусь, что нет. Это дело рук сендеристов. Считайте, что они уже у нас на пороге. Нас-то с вами они не будут брать в свою милицию. Из нас просто сделают отбивную. Я теперь думаю, нас послали сюда на верную смерть.

— Ну хватит нагонять тоску. — Литума встал. — Приготовь кофе. В самый раз сейчас выпить горячего кофе — уж больно поганая погода. А потом займемся этим третьим. Кстати, как его зовут?

— Деметрио Чанка, господин капрал. Бригадир перфораторщиков.

— Правильно говорят: Бог троицу любит. Вдруг мы на третьем как раз и распутаем все это дело.

Молодой полицейский пошел доставать жестяные кружки и разжигать примус.

— Когда лейтенант Панкорво сказал мне в Андауайласе, что меня направляют к черту на кулички в эту дыру, я подумал: «Ну и пусть. Пусть в этом Наккосе террористы покончат с тобой, Карреньито, и чем скорей это случится, тем лучше». Я устал от жизни. Во всяком случае, так я тогда думал, господин капрал. Но сегодня я чувствую страх, а это значит, что мне расхотелось умирать.

---

[1] Сендеристы — члены левацкой террористической организации «Сендеро луминосо».

— Только мудак может захотеть отдать концы раньше срока, — твердо сказал Литума. — А ты и на самом деле хотел умереть? Но почему, если не секрет? Ты ведь совсем молодой.

— Так уж все сложилось, — улыбнулся помощник, устанавливая чайник над красно-голубым пламенем.

Томас был худой, костистый, но крепко сбитый парень с глубоко посаженными живыми глазами, оливковой кожей и белыми выступающими зубами — Литума различал их блеск даже в ночной темноте дома.

— Небось страдал от любви к какой-нибудь бабенке, — ухмыльнулся капрал.

— А к кому же еще бывает любовь? — мечтательно сказал Томасито. — К тому же она, господин капрал, была, как и вы, из Пьюры. Так что можете быть довольны моим выбором.

— Землячка, — откликнулся Литума. — Это хорошо.

Petite Michèle[1] не выносила высоты, она жаловалась на боль в висках — точно такую же боль вызывали у нее фильмы ужасов, которые она обожала, — и на общее недомогание, но все это не мешало ей восхищаться дикой красотой пейзажа. Альбер же чувствовал себя превосходно, будто провел всю жизнь на высоте трех-четырех тысяч метров, среди зазубренных скал и покрытых пятнами снега склонов, на которых паслись стайки лам, время от времени пересекавших дорогу. Старенький автобус отчаянно трясло, временами казалось, что он вот-вот рассыплется на выбоинах, ухабах, камнях, постоянно испытывавших на прочность его кузов. Они были единственными иностранцами, однако пассажиры, похоже, не обращали никакого внимания на французскую парочку. Никто не смотрел в их сторону, даже когда слышалась чужая речь. Попутчики кутались в шарфы, платки и пончо, на многих были надеты вязаные шапочки — чульо, они уже готовились ко сну среди своих узлов, пакетов, свертков, обитых жестью чемоданов. Одна женщина везла с собой кудахтающих кур. Но все эти неудобства — тряска, теснота, жесткие сиденья — для Альбера и petite Michèle не имели никакого значения.

— Ça va mieux?[2] — спросил он.

— Oui, un peu mieux[3] .

А минуту спустя petite Michèle вслух сказала именно то, о чем думал Альбер. Он оказался прав в их споре в гостинице «Милагро» в Лиме. Они обсуждали, как лучше добраться до Куско, и она предлагала лететь самолетом, как ей посоветовали в посольстве, но Альбер так настаивал на путешествии в автобусе, что она наконец сдалась. И теперь не жалела об этом. Напротив. Было бы досадно упустить все это.

— Еще бы! — воскликнул Альбер, указывая на мутное, поцарапанное окно. — Где еще можно увидеть такую красоту?

Заходящее солнце распустило над горизонтом пышный павлиний хвост. Слева от дороги тянулось узкое зеленовато-бурое плоскогорье без единого деревца, без людей, без животных, его оживляли лишь лужицы жидкого света, создававшие впечатление, что между пучков пожухлой травы бегут ручейки или проглядывают оконца болота. А справа круто вздымались резкими изломанными линиями остроконечные скалы, разорванные глубокими ущельями и пропастями.

— Это путешествие станет главным событием нашей жизни, вот увидишь, — уверенно сказал Альбер.

Кто-то включил радио, и грустная монотонная мелодия вплелась в нескончаемую цепь металлического лязга.

— Чаранго[4] и кены[5], — догадался Альбер. — В Куско мы купим кену. И научимся танцевать уайно[6].

---

[1] Крошка Мишель *(франц.)*.
[2] Тебе лучше? *(франц.)*.
[3] Да, немного лучше *(франц.)*.
[4] Чаранго — индейская гитара (*кечуа*).
[5] Кена — индейская флейта (*кечуа*).
[6] Уайно — перуанский танец (*исп.*).

— Давай, когда вернемся, устроим вечер в коллеже, — мечтательно сказала petite Michèle. — La nuit perouvienne[1]. Придет весь город.

— Если хочешь вздремнуть немного, вот тебе подушка. — Альбер похлопал себя по плечу.

— Никогда не видела тебя таким довольным, — улыбнулась она.

— Я мечтал об этом два года, — ответил он. — Копил деньги, читал об инках и о Перу. Представлял себе все это.

— Я вижу, ты не обманулся в ожиданиях. И я тоже. Спасибо, что ты меня уговорил приехать сюда. Кажется, глюкоза мне помогла. Я уже лучше переношу высоту, дышать стало легче.

Минуту спустя Альбер услышал, что она зевает. Он обнял ее, прислонил ее голову к своему плечу, и вскоре, несмотря на тряску автобуса, petite Michèle уже спала. А он не сможет сомкнуть глаз, он знал это. Он сгорал от нетерпения, от страстного желания увидеть как можно больше, как можно больше впитать в себя, сохранить в памяти, а позднее записать в дневнике, который он торопливо заполнял по ночам с того самого дня, как сел в родном Коньяке на поезд, а потом, когда вернется, рассказывать обо всем увиденном, смакуя детали и слегка привирая, своим copains[2]. Для своих учеников он проведет урок с показом диапозитивов, а проектор одолжит у отца petite Michèle. Перу! Вот она, эта страна, смотрите: огромная, таинственная, буро-зеленая, беднейшая, богатейшая, древняя, наглухо закрытая. И эти лунные пейзажи, и эти медные замкнутые лица мужчин и женщин, которые сейчас его окружали. Так непохожие на лица белых, негров, метисов, что он видел в Лиме. С теми, хоть и с трудом, он мог объясняться, но от людей сьерры, горцев, его отделяла какая-то непреодолимая преграда. Несколько раз он пытался заговорить с соседями на своем плохом испанском языке, но из этого ничего не вышло. «Нас разделяет не раса, а культура», — вспомнил он слова petite Michèle. Эти люди были прямыми потомками инков, их предки подняли до самых орлиных гнезд сложенные из гигантских камней стены Мачу-Пикчу, города-крепости, который он и petite Michèle будут осматривать через три дня.

Была уже ночь, и, как он ни боролся со сном, дремота постепенно овладевала им, и вскоре он почувствовал, что погружается в сладкое забытье. «Если я засну, то могу вывихнуть себе шею», — пронеслось у него в голове. Они занимали места в передней части автобуса, в третьем ряду справа, и уже сквозь сон Альбер слышал, как водитель тихонько насвистывает что-то. А потом ему показалось, что он плывет в холодной воде. Падучие звезды прочерчивали необъятное небо высокогорья. Он был счастлив, но что-то мешало насладиться этим счастьем сполна: как портит красивое лицо волосатая бородавка, его удовольствие отравляла ноющая боль в шее и невозможность опереться головой о что-нибудь мягкое.

Кто-то тормошил его.

— Уже Андауайлас? — спросил он, с трудом приходя в себя.

— Что-то случилось, не пойму, — прошептала ему на ухо petite Michèle.

Он протер глаза и увидел полосы света, метавшиеся по автобусу и за окнами. Слышались приглушенные голоса, шепот. Раздался крик. Похоже, ругательство. Он различил какое-то движение, неясные фигуры. За поцарапанным стеклом мерцали мириады звезд.

— Спрошу у шофера, что происходит.

Но petite Michèle удержала его.

— Кто это может быть? — услышал он ее голос. — Я думала — солдаты, но нет, смотри на пассажиров: многие плачут.

В блуждающих лучах фонарей появлялись и исчезали лица, много новых лиц. Автобус был окружен людьми. Альбер окончательно очнулся от сна, его глаза уже привыкли к темноте, и он теперь мог рассмотреть, что некоторые из них были в вязаных шлемах-пасамонтаньях, оставлявших открытыми только глаза. А поблес-

---

[1] Перуанская ночь (*франц.*).
[2] Приятели (*франц.*).

кивало в темноте, сообразил он, не что иное, как оружие — сомнений быть не может.

— Тот, из посольства, был прав, — прошептала девушка, дрожа всем телом. — Надо было лететь самолетом, не знаю, почему я тебя послушала. Ты догадался, кто они?

Дверь автобуса открылась, струя свежего воздуха шевельнула им волосы. Вошли двое — без лиц, — и тут же яркий свет фонарей ослепил Альбера. Они что-то приказали ему, но он не понял, они повторили приказ уже более резким тоном.

— Не бойся, — дохнула ему в ухо petite Michèle. — Нас все это не касается, мы туристы.

Пассажиры поднялись с сидений и, положив руки за головы, стали выходить из автобуса.

— Что с нами может случиться? — поддержал ее Альбер. — Мы иностранцы, сейчас я им все объясню. Поднимайся, выходим.

Они вышли, смешавшись с пассажирами. Лицо обжег ледяной ветер. Они стояли в толпе, тесно прижавшись друг к другу. Альбер слушал, как перешептываются попутчики, различал отдельные слова, но не мог понять, о чем шла речь, хотя говорили не на кечуа, а на испанском.

— Скажите, сеньор, — обратился он к стоявшему рядом человеку в пончо, но тут же на него рявкнули: «Молчать!» Нет уж, пожалуй, лучше сейчас не раскрывать рта. Будет удобный момент, и он объяснит им, кто они такие и почему оказались здесь. Petite Michèle стиснула ему руку, сквозь рукав толстой куртки он почувствовал ее ногти. У кого-то — у него? — стучали зубы.

Люди, остановившие автобус, обменивались скупыми словами. Они окружили автобус со всех сторон, их было много, человек двадцать—тридцать, а может и больше. Чего они ждут? В прыгающем свете фонарей Альбер и petite Michèle разглядели, что среди них есть женщины. Лица некоторых женщин тоже были скрыты пасамонтаньями. Все женщины были вооружены: одни держали в руках огнестрельное оружие, другие — мачете и палки. И все они были молодые.

Из темноты прозвучала новая команда, которую Альбер не понял. Пассажиры автобуса начали выворачивать карманы, вытряхивать сумки, предъявлять документы, удостоверения. Альбер и petite Mich èle тоже достали документы, которые хранили в сумках на поясе. Petite Mich èle дрожала все сильнее, но он, не желая раздражать этих людей, не решался успокоить ее, сказать, что, как только откроют их паспорта и увидят, что перед ними французские туристы, они окажутся в безопасности. Возможно, им придется расстаться с долларами. К счастью, их немного. А чеки travellers надежно спрятаны в двойном ремне Альбера, если немного повезет — их не найдут.

Трое из задержавших автобус стали собирать документы, проходя между ставшими в два ряда пассажирами. Когда очередь дошла до Альбера, он протянул два паспорта девушке с карабином на плечевом ремне и, старательно выговаривая слова, сказал:

— Мы есть французские туристы. Я не говорить по-испански, сеньорита.

— Молчать! — завизжала она, выхватывая из его рук документы. У нее был совсем детский голос. Но резкий и злобный. — Заткнись, ты!

Альбер подумал, как чисто, как спокойно там, вверху, в этом бездонном, усеянном звездами небе, как непохоже на нарастающую напряженность здесь, внизу. Страх прошел. Когда все станет воспоминанием, когда все будет уже сто раз рассказано и пересказано приятелям в бистро и ученикам в его школе в Коньяке, он как-нибудь спросит у petite Mich èle: «Так все-таки правильно я сделал, что предпочел автобус самолету? Ведь если бы мы не поехали, а полетели, мы лишились бы самого интересного приключения в нашем путешествии».

С полдюжины человек, вооруженных автоматами, остались охранять пленников. Они настойчиво направляли свет своих фонарей прямо в глаза пассажиров. Остальные совещались о чем-то в стороне. Альбер решил, что они обсуждают документы, которые до этого внимательно изучали. Все ли они умеют читать? Когда

они поймут, что мы нездешние, что мы бедные французские туристы, путешествующие с рюкзаком за плечами в рейсовых автобусах, они извинятся перед нами. Холод пробирал до костей. Он обнял petite Mich èle и вдруг подумал: «А тот, в посольстве, был прав. Надо было лететь самолетом. Когда можно будет разговаривать, попрошу у нее прощения».

Минуты казались часами. Несколько раз он едва не терял сознание от холода и усталости. Когда пассажиры начали усаживаться на землю, они с petite Michèle последовали их примеру и тоже сели, плечо к плечу. Они не говорили ни слова, только прижимались теснее, стараясь согреть друг друга. Наконец вернулись люди, проверявшие документы, и начали одного за другим поднимать пассажиров, всматривались в лица, слепили глаза фонарями, подталкивали к автобусу. Светало. Синяя полоска высветила зубчатый силуэт Кордильеры. Petite Michèle сидела так тихо, что казалось, она спит. Но глаза ее оставались широко открытыми. Альбер с трудом встал на ноги, слыша, как хрустят суставы, а petite Mich èle ему пришлось поднимать за руку. Тело его одеревенело, голова была тяжелой, ноги сводила судорога, и он подумал, что у нее, должно быть, опять начался приступ высотной болезни, которая так мучила ее в первые часы подъема в горы. Пассажиры, став в затылок друг другу, уже поднимались в автобус. Когда подошла их очередь, двое в шлемах, стоявшие у дверей, уперли им в грудь автоматы и жестом приказали отойти в сторону.

— Но почему? — запротестовал Альбер. — Мы французские туристы.

Один из этих людей угрожающе шагнул к Альберу и, приблизив вплотную лицо, прорычал:

— Молчать! Заткнись!

— Он не говорит по-испански! — закричала petite Michèle. — Туристо! Туристо!

Их тут же окружили, связали руки, отделили от остальных пассажиров. И не успели они опомниться, мотор закашлял, зачихал, громоздкий кузов качнулся, потом мотор загудел ровно, автобус тронулся с места и затрясся по ухабистой дороге, теряющейся в просторах андского высокогорья.

— Но что мы сделали? — Petite Mich èle говорила по-французски. — И что они собираются делать с нами?

— Потребуют за нас выкуп у посольства, — пробормотал Альбер.

— А этого оставили здесь не ради выкупа, смотри. — Petite Michèle не казалась больше испуганной, скорее взвинченной, негодующей.

Вместе с ними задержали еще одного пассажира, невысокого толстяка. Альбер узнал его по тоненьким — в ниточку — усам. Его место было в первом ряду, он всю дорогу непрерывно курил и время от времени наклонялся вперед и что-то говорил водителю. Сейчас он отчаянно жестикулировал, тряс головой, просил о чем-то. Его окружили. Альбер и petite Mich èle остались одни.

— Ты видишь у них камни? — Ее голос дрожал. — Видишь? Видишь?

Дневной свет быстро разливался над плоскогорьем, все более отчетливо обрисовывая фигуры и лица. Это были бедные люди, совсем молодые, а среди них подростки и даже дети. Вооруженные автоматами, револьверами, мачете, палками и просто камнями. Толстяк в шляпе упал на колени и, сложив пальцы крестом, клялся в чем-то, обратив лицо к небу. Но вот круг сомкнулся — и он исчез из виду. Слышались только его мольбы и крики. Сгрудившиеся вокруг люди толкались, подзадоривали друг друга, протискивались внутрь круга, и вот уже взметнулись вверх руки, сжимавшие камни, взметнулись и опустились, снова взметнулись и снова опустились...

— Мы французы, — сказала petite Mich èle.

— Не делайте этого, сеньор! — закричал Альбер. — Мы французские туристы, сеньор!

Да, они были почти дети. Но с холодными лицами, жесткими, как их охоты[1],

---

[1] Охóты — вид индейских сандалий (*кечуа*).

твердыми, как камни в их шершавых руках, которые они обрушили на Альбера и petite Michèle.

— Убейте нас сразу!— крикнул Альбер по-французски, обнимая petite Michèle и пытаясь загородить ее от безжалостных рук. — Мы ведь тоже молодые, сеньор! Сеньор!

— Когда я услышал, что этот тип стал избивать ее и она заплакала, у меня мурашки пошли по коже, — сказал Томас. — Все как и в прошлый раз, подумал я, все как в Пукальпе. Везет же тебе как утопленнику.

Литума заметил, что Томаса Карреньо трясет от одного воспоминания о той ночи, он весь горит, заново переживая случившееся. Кажется, даже забыл, что он не один, что его слушают.

— Когда мой крестный в первый раз послал меня охранять Борова, я чуть не лопнул от гордости, — немного успокоившись, снова заговорил парень. — Еще бы. Быть рядом с такой важной шишкой, сопровождать его в сельву. Но в первый раз была та страшная ночь в Пукальпе, а теперь то же самое начиналось в Тинго-Марии.

— Ты еще не нюхал настоящей жизни, не знаешь, что она полна дерьма,— заметил Литума. — Ты прямо как с луны свалился, Томасито.

— Я знаю жизнь, но все равно от этого садизма мне стало не по себе. Меня, черт возьми, воротит от таких вещей. Я их не понимаю. И я пришел в такое бешенство — даже вспомнить страшно. Ведь он был хуже зверя. Тогда-то я и понял, почему его прозвали Боровом.

Раздался удар, женщина завизжала. Он ее берет и в это же самое время бьет. Литума прикрыл глаза и постарался представить ее. Пухленькая, фигуристая, с круглыми грудями. Этот тип — важная шишка — поставил ее на колени, берет сзади и одновременно охаживает ремнем, да так, что на спине остаются багровые полосы.

— Не знаю, кто в тот момент был мне противнее — он или она. Чего только не делают за деньги, думал я.

— Так и ты там был за деньги, разве не так? Охранял Борова, пока он развлекался — вытрясал душу из этой шлюшки.

— Не называйте ее так, господин капрал, даже если она и впрямь была шлюшкой.

— Да это просто к слову пришлось, — примирительно сказал Литума.

Парень яростно отмахнулся от мошкары. Была уже глубокая ночь. Жара не спадала, вокруг тихо шелестели деревья. На небе не было луны. Вдали, среди холмов и перелесков, можно было различить маслянистые огни Тинго-Марии. Дом стоял в пустынном месте, метрах в ста от шоссе, связывающего Агуатию с Пукальпой, его тонкие перегородки и стены свободно пропускали голоса и шумы. Он снова услышал свистящий удар и вскрик женщины.

— Хватит, папочка, — умоляла женщина задыхающимся голосом. — Не бей меня больше!

Карреньо почудилось, что Боров засмеялся тем же самодовольным смехом, который он уже слышал в прошлый раз в Пукальпе.

— Смех воротилы, главаря, который все может себе позволить и которому все нипочем, потому что у него карманы набиты долларами и солями [1],— пояснил он капралу, и в его голосе звучала все еще не угасшая ненависть. — Кончай же наконец, Боров, сукин ты сын, думал я, — продолжал Томас. — Получи свое удовольствие, излейся и отвали спать! Но он и не собирался кончать.

Литума представил себе раскосые глазки садиста: они выкатываются из сальных мешочков и сладострастно вспыхивают при каждой жалобе женщины. Его самого такие штучки не возбуждали, но некоторых, судя по всему, даже очень. Но они

[1] Соль — денежная единица в Перу.

не травмировали его так, как его помощника. Паскудная жизнь, она и есть паскудная жизнь, тут уж ничего не попишешь. А эти чертовы терруки, разве они не продолжали убивать людей ради их пресловутой революции? Их ведь тоже пьянит кровь.

— Довольно, папочка! Будет уже! — умоляла время от времени женщина.

Томас обливался потом и с трудом переводил дыхание. На шоссе загрохотал грузовик, желтушный свет фар на мгновенье выхватил из темноты стволы и кроны деревьев, дренажную канаву, полную камней и грязи. И снова все поглотила фосфоресцирующая темнота. Томас никогда раньше не видел светлячков и представлял себе их в виде крохотных летающих фонариков. Как жаль, что толстяк Искариоте сейчас не с ним. Можно было бы послушать его рассказы, где и как он объедался, а за разговорами и шутками, смотришь, и время бы пролетело незаметно. И он не слышал бы то, что слышит теперь, и не воображал бы то, что теперь лезет в голову.

— А сейчас я тебе засуну эту штуку, да так, что до самого затылка достану, — довольно урчал Боров, захлебываясь от наслаждения. — Чтоб ты заорала, как твоя мать, когда рожала тебя на свет божий.

Литуме почудилось, что он слышит похотливое хихикание Борова, который, видно, всегда получает все, что захочет. Его он представлял себе без труда, ее — не так ясно. Женщина виделась ему только как некая безликая форма, как силуэт, лишенный объемной телесности.

— Если бы со мной был Искариоте, мы болтали бы с ним о разных разностях и мне было бы наплевать на то, что происходит в доме, — сказал Томас. — Но Толстяк стоял в карауле у дороги, и я знал, что он ни за что не покинет свой пост — простоит там всю ночь, мечтая о вкусной жратве.

Женщина снова закричала, ее крик перешел в плач. А эти глухие удары, что это — пинки?

— Ну ради бога, прошу тебя, хватит, — умоляла она.

— И тут я заметил, что держу в руках револьвер, — сказал парень, понизив голос, словно опасаясь, что его подслушивают. — Оказывается, я уже раньше вынул его из кобуры и играл им — надавливал на спусковой крючок, взводил курок, крутил барабан. Совершенно машинально, господин капрал, клянусь вам.

Литума повернулся на бок, чтобы взглянуть на него. В ночной темноте, разбавленной вливающимся в окно бледным светом луны и звезд, с трудом можно было разглядеть профиль Томасито, лежавшего на соседней раскладушке.

— Что ты задумал, чокнутый?

Он поднялся на цыпочках по деревянному крыльцу, слегка надавил на входную дверь, почувствовал, что изнутри ее что-то держит. Все происходило так, будто его руки и ноги действовали сами по себе и он не управлял ими. «Хватит, папочка», — повторяла женщина. Но удары продолжались. Теперь он слышал тяжелое дыхание Борова. Дверь не была заперта на ключ, он навалился на нее всем телом, она поддалась, хруст засова смешался со звуками ударов и всхлипываниями. В следующее мгновенье дверь со скрипом распахнулась настежь. Послышался разъяренный рев. В полумраке комнаты Томас увидел голого Борова, тот осыпал его проклятьями. На гвозде, вбитом в стену, раскачивался фонарь, разбрасывая причудливые тени. Запутавшийся в москитной сетке Боров судорожно шарил вокруг себя руками. Взгляд Томаса наткнулся на испуганные глаза женщины.

— Вы уж не бейте ее, сеньор, — произнес он умоляюще. — Я вам не разрешаю.

— Вот эту самую белиберду ты ему и сказал? — изумился Литума. — И вдобавок назвал его сеньором?

— Да вряд ли он меня слышал, — ответил парень. — То ли у меня перехватило горло, то ли я вообще сказал это про себя.

Боров нашел наконец, что искал. Привстал, возясь с сеткой и натыкаясь на женщину, и стал наводить на Томаса пистолет, не переставая при этом чертыхаться, словно желая подзадорить себя. Томасу показалось, что выстрел прогремел раньше, чем он успел нажать спусковой крючок, но нет, это его рука оказалась провор-

нее. Боров вскрикнул, выронил пистолет, согнулся и стал заваливаться. Юноша шагнул вперед. Тело Борова наполовину свесилось с кровати, ноги запутались в простыне. Он не шевелился. Нет, это не он кричал — женщина.

— Не убивайте меня! Не убивайте меня! — заходилась она в крике, съежившись в комочек, пряча лицо в коленях.

— Что ты там несешь, Томасито! — Литума был поражен. — Хочешь сказать, что ты его прихлопнул?

— Заткнись! — приказал Томас. Дыхание его уже выровнялось. Комок в горле рассосался. Ноги Борова соскользнули на пол, потащив за собой москитную сетку. Томас расслышал, как тот застонал. Очень тихо.

— Так ты и вправду убил его? — снова спросил Литума. Он полусидел на раскладушке, опираясь на локоть, и силился получше разглядеть лицо своего помощника.

— Ты вроде один из его охранников? — Женщина смотрела на него, редко моргая. Животный страх в ее глазах сменился недоумением. — Зачем ты сделал это?

Теперь она старалась прикрыться: приподнялась, ухватила край одеяла, потянула его на себя. На одеяле были пятна крови, она указала на них обвиняющим жестом.

— Я не мог больше вынести это, — сказал Томас. — Чтобы вот так, ни за что ни про что, просто ради своего удовольствия избивать женщину? Ведь он мог убить ее.

— Это уж как пить дать! — подтвердил Литума, которого разбирал смех.

— Что все это значит, а? — Женщина оправилась от страха, голос ее окреп. Томас смотрел, как она встает с кровати, как, спотыкаясь, идет через комнату. Почувствовал, как жаром обдало щеки, когда она прошла около фонаря, высветившего ее тело. Она окончательно успокоилась, взяла себя в руки и теперь, натягивая поднятую с пола одежду, ни на минуту не закрывала рот: — Из-за чего ты его застрелил? Из-за того, что он меня бил? А кто тебе позволил совать нос не в свои дела? И кто ты вообще такой, можно узнать?

Но прежде чем он успел ей ответить, со стороны шоссе послышался взволнованный голос Искариоте: «Карреньо! Карреньито!» Заскрипели ступеньки крыльца, входная дверь распахнулась, и ее проем заполнила бочкообразная фигура Искариоте. Он уставился на Томаса, перевел взгляд на женщину, на развороченную постель, скомканное одеяло, упавшую на пол москитную сетку.

— Что случилось?

— Не знаю, — выдавил Томас, с трудом ворочая тяжелым, как камень, языком. В темном углу на полу снова шевельнулось тело Борова. Но уже без стона.

— А это, мать твою, что такое? Это?.. — Голос у толстяка Искариоте прервался, глаза округлились и вылезли из орбит, как у лягушки. — Что тут произошло, Карреньито?

Женщина уже оделась и теперь, елозя пяткой, втискивала ногу в туфлю — сначала одну, потом другую. Смутно, как во сне, Томас припомнил, что уже видел это платье, белое с цветочками, ну конечно, сегодня в полдень она вышла в нем из прилетевшего из Лимы самолета в аэропорту Тинго-Марии, где они с Искариоте встречали ее, чтобы отвезти к Борову.

— Пусть, пусть он тебе расскажет, что тут произошло!— Ее глаза метали молнии. Она показала рукой на лежавшее на полу тело, потом на Томаса и снова на Борова.

— Она так рассвирепела, что я думал, она набросится на меня и расцарапает лицо ногтями. — В голосе Томаса прозвучали теплые нотки.

— Ты убил шефа, Карреньо? — Толстяк не мог опомниться. — Ты застрелил его?

— Да, да! — закричала женщина вне себя от ярости. — Да! А теперь? Что теперь будет с нами?

— Ну и дела, — заладил, словно автомат, толстяк Искариоте, не переставая моргать. — Ну и дела.

— Кажется, он еще жив, — сдавленным голосом сказал Томас. — Я видел, как он пошевелился.

— Но почему, почему, Карреньито? — Толстяк наклонился, стараясь получше рассмотреть распростертое тело, и тут же испуганно отпрянул. — Что он тебе сделал? За что ты его?

— Он ее избивал. Мог убить. Просто так, для удовольствия. Я чуть не задохнулся, прямо голову потерял. Не мог больше вытерпеть это свинство.

Круглое как луна лицо Искариоте вплотную придвинулось к нему. Толстяк впился в Томаса глазами, казалось, он собирается обнюхать или лизнуть его. Он открыл рот, но ничего не сказал. Только переводил взгляд с парня на женщину, тяжело дышал и обливался потом.

— И из-за этого ты его укокошил? — произнес он наконец и ошеломленно тряхнул кудрявой головой. На его лице, словно маска, застыла гримаса недоумения.

— Из-за этого! Из-за этого! — истерично закричала женщина. — И что с нами теперь будет?

— За то, что он получал удовольствие от своей девки, за это ты его и убил? — Глаза Искариоте вращались, словно ртутные шарики. — Ты хоть соображаешь, что ты натворил, дурень ты несчастный?

— Не знаю, что на меня нашло. Да успокойся, ты-то ведь ни в чем не виноват, я все объясню моему крестному.

— Придурок, молокосос! — Искариоте схватился за голову. — Баран! Ты вообще-то знаешь, что делают мужики со шлюхами, мудила?

— Придет полиция, начнут копаться, — сказала женщина. — Не хочу быть замешанной в это дело. Я ухожу.

— Но она не ушла, — сказал Томас мягко, почти нежно, и Литума подумал: «А ведь ты врезался, Томасито». — Сделала несколько шагов к двери, но остановилась, вернулась назад, короче говоря, не знала, как поступить. Бедняжка была перепугана насмерть.

Томас почувствовал на плече руку толстяка Искариоте. Тот уже немного успокоился и смотрел на него с сочувствием и жалостью.

— Исчезни, приятель, и не вздумай обращаться к твоему крестному. — Голос Искариоте звучал теперь решительно. — Не попадайся ему на глаза. Испарись, слиняй, чтобы духу твоего не было. Для нашей службы ты не годишься, мне это сразу стало ясно, как только мы познакомились, я ведь тебе говорил об этом.

— Настоящий друг, — пояснил парень Литуме. — У него могли быть большие неприятности из-за меня. Но он, несмотря ни на что, помог мне скрыться. Такой толстый, лицо круглое, как головка сыра, живот — что твое колесо. Что с ним теперь?

Он дружески протянул короткую толстую руку. Томас крепко сжал ее. «Спасибо, Толстяк». Женщина, опустившись на колени, обыскивала одежду Борова.

— Ты мне рассказываешь не все, Томасито, — перебил его Литума.

— У меня нет ни сентаво, не знаю, куда мне деваться, — объясняла женщина Искариоте. — Томас услышал ее слова уже в дверях, уже чувствуя кожей теплый ветер, шелестевший в кустах и деревьях. — У меня нет ни сентаво, не знаю, как мне теперь быть. Я не краду у него.

Он бросился бежать к шоссе, но тут же перешел на шаг. Куда идти? Его рука все еще сжимала револьвер. Он сунул его в пристегнутую к брючному ремню кобуру, незаметную под рубашкой навыпуск. На шоссе не было видно ни одной машины, а огни Тинго-Марии казались сейчас такими далекими.

— Мне стало легче, я успокоился, хотя вы, наверное, этому не поверите, господин капрал. Так иногда бывает, когда проснешься и вдруг понимаешь, что кошмары, которые мучили тебя ночью, это всего лишь ночные кошмары.

— Но что же ты умалчиваешь о главном, Томасито? — засмеялся Литума.

Сквозь гудение насекомых и шелест листвы Томас расслышал торопливые шаги догонявшей его женщины. Вскоре она поравнялась с ним.

— Да я ничего не скрываю, господин капрал, правду говорю вам. Как все было, так и рассказываю.

— Этот Толстяк не позволил мне взять ни сентаво, — пожаловалась она. —

Мешок дерьма, вот он кто, твой дружок. Я ведь не воровала, хотела только одолжить немного на дорогу до Лимы. У меня нет ничего. Не знаю, что теперь буду делать.

— Я тоже не знаю, что мне делать, — сказал Томас.

Они шли по извилистой, усыпанной листьями тропинке, скользя на дождевых промоинах, чувствуя, как их лиц и рук касаются листья и липкая паутина.

— Кто тебя просил вмешиваться? — начала было женщина, но тут же, смутившись, замолчала. Однако через минуту снова принялась упрекать его, правда на этот раз более сдержанно: — Тебя кого поставили охранять? Меня, что ли? Кто тебя просил заступаться? Я тебя просила? Теперь ты влип, и я из-за тебя влипла, хотя ни в чем не виновата.

— Судя по тому, что ты рассказываешь, ты уже по уши втрескался в нее той ночью, — заключил Литума. — Нет, пистолет не случайно оказался у тебя в руках, ты убил Борова, потому что он делал пакости с ней. Сознайся, что это была ревность. Ты не рассказал мне самого главного, Томасито.

II

На все эти убийства горцам наплевать, подумал Литума. Накануне вечером, когда он сидел в погребке Дионисио, по радио передавали сообщение о нападении на автобус из Андауайласа, и ни один из пеонов, выпивавших там и закусывавших, никак не отреагировал на эту новость. Никогда не поймешь, что тут у них происходит в этом чертовом вонючем захолустье, думал он. Взять хотя бы этих троих пропавших: они не сбежали от семей, не скрылись с какой-нибудь техникой, украденной на строительстве. Скорее всего, они ушли записываться в милицию терруков. Или наоборот: терруки их убили, а трупы спрятали в горах, в какой-нибудь расщелине. Но если сендеристы уже здесь, если у них есть сообщники среди пеонов, почему они не нападают на пост? Почему до сих пор не расправились с ним и Томасито? Наверное, из садизма. Хотят вдоволь поиграть на нервах, прежде чем разнести их в клочья хорошим зарядом динамита. Ведь в случае чего они даже не успеют вытащить револьверы из-под подушек, а о том, чтобы добежать до шкафа и схватить карабины, нечего и думать. Терруки незаметно подберутся к дому со всех сторон, когда он и Томасито будут уже спать или когда Томасито будет рассказывать о своих любовных напастях — он ведь для него что-то вроде жилетки, в которую можно выплакаться. И вдруг — грохот, сноп огня, на мгновение станет светло как днем, им поотрывает руки, ноги, головы — все. В общем, станем похожи на четвертованного Тупака Амару[1]. Так-то вот, приятель. И ведь это может случиться в любой момент, хоть сегодня ночью. А этот Дионисио в своем погребке, и эта ведьма, и все эти горцы — они будут слушать известие о взрыве с такими же непроницаемыми лицами, с какими слушали вчера сообщение об автобусе из Андауайласа.

Литума вздохнул и сдвинул фуражку набок. Немой в это время обычно стирал его одежду и одежду его помощника. Там, в нескольких шагах от дома. Стирал он по-индейски: колотил каждую вещь о камни, а потом долго полоскал в лохани и выжимал. Трудился на совесть: по многу раз намыливал каждую рубашку и трусы, потом так же старательно и аккуратно, как делал все, расстилал выстиранные вещи на камнях. С головой погружался в работу. А когда ловил на себе взгляд капрала, немедленно выпрямлялся и замирал в ожидании приказа. И в течение всего дня, проходя мимо, неизменно кланялся. Что сделали терруки с этой простой душой?

Капрал возвращался на пост после двухчасового, ставшего привычным обхода: инженер, бригадиры, учетчики, начальники смен, пеоны, работавшие в одну смену с пропавшими, — то же самое он делал после двух первых исчезновений. И с тем же успехом. Никто, конечно, не мог сказать ничего примечательного о жизни

---

[1] Тупак Амару — казненный перуанский революционер, один из лидеров антииспанского освободительного движения во второй половине XVIII в.

Деметрио Чанки. И, разумеется, еще меньше о том, где бы тот мог находиться сейчас. А сегодня пропала и его жена. Так же, как и женщина, которая приходила заявить об исчезновении альбиноса Касимиро Уаркаи. Никто не знал, как, куда и почему исчезают люди из Наккоса.

— Вам не кажутся странными эти исчезновения?

— Очень странные.

— Есть о чем подумать, правда?

— Да уж, есть о чем подумать.

— Может быть, их уводят духи?

— Да нет, капрал, кто в это поверит.

— А почему исчезли эти две женщины?

— Почему-то исчезли.

Они издеваются над ним? Временами ему казалось, что за этими отрешенными лицами, за односложными ответами, которые они давали с явной неохотой, будто делая ему одолжение, за тусклыми недоверчивыми взглядами таилась насмешка, что эти чертовы горцы просто потешаются над человеком с побережья, растерявшимся в здешних пунах, презирают его за то, что он еще не привык к горам и не способен разобраться в том, что здесь происходит. Или они просто умирают со страха? Панического, животного страха перед терруками? Это могло бы объяснить многое. Ведь разве не странно, что, несмотря на весь этот кошмар, до сих пор никто и словом не обмолвился о «Сендеро луминосо»? Будто «Сендеро» вовсе не существует, будто не гремят взрывы, не происходят убийства. Что за народ, подумал он. До сих пор ему не удалось завязать дружеских отношений ни с одним пеоном, а ведь он уже несколько месяцев жил рядом с ними, и даже два раза, когда рабочий поселок переносили, следуя за строительством дороги, он тоже переносил свой пост поближе к нему. Все впустую. На него смотрели так, будто он прилетел с Марса. Вдали показался Томасито. Он ходил брать показания у бригады рабочих, которые в километре от Наккоса прокладывали туннель в сторону Уанкайо.

— Ну? — спросил Литума, уверенный, что его подчиненный в ответ только разведет руками.

— Кое-что есть, — неожиданно ответил тот, усаживаясь на один из камней, разбросанных по склону. Теперь они сидели оба на пригорке, на полпути между постом и рабочим поселком, растянувшимся вдоль ущелья, по которому должно будет пройти шоссе, если его когда-нибудь закончат. Говорят, что Наккос раньше был оживленным шахтерским городком. А сейчас он кое-как существовал лишь благодаря строительству дороги. Воздух к полудню разогрелся, в небе среди крутобоких ватных облаков ослепительно сияло солнце. — Там бригадир несколько дней назад повздорил с ведьмой.

С ведьмой — значит с сеньорой Адрианой, женой Дионисио. Ей было то ли за сорок, то ли за пятьдесят, женщина без возраста, вечерами она работала в погребке, помогая мужу спаивать народ, и если верить тому, что о ней рассказывали, она была нездешней — пришла с другого берега реки, откуда-то из-под Паркасбамбы, района, расположенного на границе сельвы и горного хребта. Днем она стряпала для посетителей, а вечерами и ночами гадала на картах, по руке, на подброшенных и образующих при падении различные узоры листьях коки, толковала астрологические таблицы.

У нее были большие, навыкате глаза, пронзительный взгляд и широкие бедра, которыми она покачивала при ходьбе. Сразу видно, тертая бабенка, о ее прошлом рассказывали всякое. Говорили, что она была замужем за шахтером с огромным носом, по имени Тимотео, и что собственноручно убила пиштако [1]. Литума подозревал, что эта стряпуха и гадалка по ночам занималась еще кое-чем.

— Уж не хочешь ли ты сказать, Томасито, что ведьма оказалась террористкой?

---

[1] Пиштако — в местной индейской мифологии оборотень, нечто вроде упыря, вампира.

— Деметрио Чанка попросил погадать ему по листьям коки. Но ему не понравилось, что она нагадала, и он не захотел платить. Поднялся шум, крик. Донья Адриана так рассвирепела, что чуть не выцарапала ему глаза. Все это мне рассказал очевидец.

— И чтобы отомстить ему, ведьма пустила в ход свои колдовские штучки — и Деметрио испарился, — вздохнул Литума. — А ее ты допросил?

— Я вызвал ее сюда, господин капрал.

Деметрио Чанку Литума не помнил, скорее всего, он его никогда и не видел. Альбиноса он смутно припоминал — ему показалось знакомым лицо на фотокарточке, которую оставила женщина, заявившая об исчезновении. Возможно, он и перекинулся с ним парой слов у Дионисио. Что же касается первого пропавшего, Педрито Тиноко, жившего вместе с ними в этом самом доме, то его даже при всем желании капрал не мог бы забыть. Томас Карреньо встретил Педрито, когда тот побирался, обходя деревни пуны, и привел его с собой на пост, где тот стал работать за еду и мелкие подачки. Он помог им укрепить стропила на крыше, покрыть ее оцинкованной жестью, поднять упавшую перегородку и нарастить защитное ограждение на случай нападения. Так он жил с ними, пока в один прекрасный день его не послали купить пива — и он исчез. С этого и началась вся заваруха, подумал Литума. Чем она кончится?

— К нам поднимается донья Адриана, — предупредил его Томас.

Очертания показавшейся вдали фигуры были размыты ослепительным светом. На крышах домов внизу переливались солнечные блики, и весь поселок казался отсюда цепочкой озер или разбитым на мелкие осколки зеркалом. Да, это была ведьма. Она подошла запыхавшись, легким кивком головы ответила на их приветствие. Ее большая мягкая грудь высоко поднималась и опускалась, выпуклые глаза смотрели, не моргая, сначала на капрала, потом на его помощника. В жестком пристальном взгляде не было и тени беспокойства. В ее присутствии и в присутствии ее пьянчужки мужа Литума неизвестно почему всегда испытывал чувство какой-то неловкости.

— Спасибо, что пришли, сеньора, — сказал он. — Вы, конечно, знаете, что здесь у вас в Наккосе продолжают исчезать люди. Теперь их уже трое. Вроде бы многовато, вам не кажется?

Она не ответила. Грузная, неторопливая, в широком заштопанном свитере, в зеленой юбке, скрепленной большой булавкой, донья Адриана производила впечатление человека, уверенного в себе и в своей власти над людьми. Она твердо стояла в своих разношенных мужских ботинках и спокойно ждала, что последует дальше. Неужто и впрямь она была раньше красавицей, как ему доводилось слышать? Трудно поверить, глядя на это чучело.

— Мы пригласили вас сюда, чтобы вы рассказали, что за спор у вас вышел с Деметрио Чанкой, бригадиром, который потом тоже исчез.

Женщина кивнула головой. Ее круглое лицо было угрюмо, сжатый рот походил на шрам. Индейские черты резко контрастировали с белой кожей и очень светлыми глазами, такие бывают у мулаток морочукас, однажды, вспомнил Литума, он видел их в каком-то глухом углу провинции Аякучо — они скакали бешеным галопом на низеньких мохнатых лошадях. Неужели по ночам она пускалась во все тяжкие, как какая-нибудь гулящая девка?

— У меня не было с ним никакого спора, — отрезала донья Адриана.

— Есть свидетели, сеньора, — вмешался полицейский Карреньо. — Вы чуть не вцепились в него, не отпирайтесь.

— Он хотел всучить мне свою шляпу, вместо того чтобы заплатить долг, — уточнила она, не повышая голоса. — Хотел, чтобы я работала на него задаром. Но я никому не позволю так обращаться со мной.

Голос у нее был слегка трескучий, будто в глубине горла перекатывались камушки. Когда Литума был на севере, в Пьюре или Таларе, он никогда не принимал всерьез рассказы о колдунах и колдовстве, но здесь, в сьерре, он уже ни в чем не

был уверен. Почему ему было так не по себе в присутствии этой женщины? Какие мерзости вытворяли она и Дионисио с пьяными пеонами по ночам в кабаке, когда он и его помощник уходили спать?

— Говорят, ему не понравилось то, что вы нагадали по листьям коки, — сказал Томас.

— По руке, — поправила женщина. — Я ведь гадаю еще по руке и по звездам, просто эти индейцы не верят ни в карты, ни в звезды, ни даже в собственные руки. Только в коку — и больше ни во что. — Она сглотнула слюну. — А листья коки не всегда говорят ясно.

Низкое солнце светило ей прямо в лицо, но она смотрела не моргая, как лунатик. Ее большие глаза не умещались в орбитах, и Литума подумал, что ее взгляд красноречивее слов. Если по ночам она занималась именно тем, в чем они с Томасом ее подозревали, то, значит, те, кто ложился на нее, встречались со взглядом этих глазищ. Он бы не смог.

— А что вы узнали у него по руке, сеньора?

— То и узнала, что с ним потом случилось, — ответила она совершенно спокойно.

— Вы прочитали у него по руке, что его похитят? — Литума внимательно посмотрел на нее. Стоявший за ним Томасито вытянул шею.

Женщина невозмутимо кивнула. Помолчав, сказала:

— Немного устала, пока поднималась сюда. Пожалуй, присяду.

— Расскажите нам, что вы сказали Деметрио Чанке, — настойчиво повторил Литума.

Сеньора Адриана фыркнула. Она уже уселась на камень, сняла шляпу и теперь обмахивалась ею. У нее были гладкие, без седины волосы, стянутые на затылке яркой лентой — такие ленты индейцы привязывают ламам к ушам.

— Что увидела, то ему и сказала: что его принесут в жертву, чтобы умилостивить злых духов, которые причинили здесь всем столько вреда. И что его выбрали потому, что он нечестивец.

— А можно узнать, почему он нечестивец, донья Адриана?

— Потому что он сменил свое имя, — объяснила женщина. — Только подонок может сменить имя, которое ему дали при рождении.

— Меня не удивляет, что Деметрио Чанка не захотел платить ей, — улыбнулся Томасито.

— А кто должен принести его в жертву? — спросил Литума.

Женщина не то с презрением, не то с досадой пожала плечами. Она все обмахивалась шляпой и отдувалась.

— Вы хотите, чтобы я вам ответила «терруки, сендеристы», ведь так? — Она шумно вздохнула. — Этого на его руке не было.

— И вы думаете, мне будет достаточно такого объяснения?

— Вы меня спрашиваете, я вам отвечаю, — невозмутимо сказала женщина. — Я говорю только то, что видела у него на руке. И что я по его руке прочитала — все исполнилось. Ведь он пропал? Пропал. Значит, его принесли в жертву.

Может, она не в своем уме, подумал Литума. А донья Адриана, все так же тяжело дыша, опустила полную руку, ухватилась за подол, поднесла его к лицу и высморкалась. На мгновенье обнажились тяжелые белые икры. Она шумно высморкалась еще раз, и капрал, хотя ему было не до смеха, не мог удержаться от улыбки: что за странная манера облегчать нос.

— А Педрито Тиноко и Альбиноса тоже принесли в жертву дьяволу?

— Им я не гадала ни по ладони, ни по картам, ни по астрологическим таблицам. Я могу идти?

— Минуточку, — остановил ее Литума.

Он снял фуражку и вытер со лба пот. Раскаленное, искрящееся солнце поднялось почти к середине неба. Но не пройдет и четырех часов, как заметно посвежеет, а часам к десяти вечера начнет пробирать до костей холод. Нелегко приспособить-

ся к этому климату, такому же непонятному, как здешние люди. Снова вспомнился Педрито Тиноко: кончив стирать, он обычно садился на камень и застывал в неподвижности, глядя прямо перед собой отсутствующим взглядом. И так сидел, погруженный в себя, думая бог весть о чем, пока не высыхало белье. А когда высыхало, он его аккуратно складывал, шел к дому и, поклонившись, отдавал капралу. Эх, будь оно все проклято. Внизу, в поселке, среди серебристо сверкавших крыш, сновали пеоны. Муравьи. Те, кто не работал с динамитом на прокладке туннеля и не махал лопатой, сейчас отдыхали, занимались своими делами, закусывали.

— Я стараюсь делать свою работу, донья Адриана, — неожиданно сказал он, сам удивляясь своему доверительному тону. — Пропали три человека. Родственники приходят ко мне и делают заявления. Возможно, их убили террористы. Или забрали силой в свою милицию. Все это надо выяснить. Для этого мы и находимся в Наккосе. Для этого здесь и установлен полицейский пост. Разве не так?

Томас поднимал с земли камни и, прицелившись, бросал их в мешки с песком, укреплявшие ограду вокруг дома. Камни ударялись о них с глухим стуком.

— Вы меня в чем-нибудь обвиняете? По-вашему, я виновата, что в Андах орудуют террористы?

— Вы одна из последних, кто видел Деметрио Чанку. У вас с ним произошла ссора. Из-за чего он изменил свое имя? Подскажите, как его найти. Это все, о чем мы вас просим.

— Я рассказала, что знаю. Но вы не верите ни одному моему слову. Все, что говорю, для вас просто ведьминские выдумки. — Она поймала взгляд Литумы, и тот прочел в ее глазах негодование. — Разве вы верите тому, что я говорю?

— Стараюсь, сеньора. Некоторые верят в разные чудеса, а некоторые не верят. Сейчас это не важно. Сейчас я только хочу узнать судьбу этих троих пропавших людей. Мне важно выяснить, действует ли «Сендеро луминосо» в Наккосе. Ведь то, что случилось с этими тремя, в любой момент может произойти с каждым. Между прочим, и с вами, донья Адриана, и с вашим мужем тоже. Вы ведь знаете, что терруки наказывают за пороки? Секут пьяниц? Представьте тогда, что они сделают с Дионисио и с вами, ведь вы живете за счет того, что спаиваете народ. А мы здесь для того и находимся, чтобы защитить людей. И вас в том числе.

Сеньора Адриана насмешливо улыбнулась.

— Если они захотят нас убить, им никто не помешает, — тихо сказала она. — И если захотят казнить вас — тоже. Вы это прекрасно знаете, капрал. Мы с вами в одинаковом положении, и просто чудо, что мы еще живы.

Томасито, собиравшийся швырнуть очередной камень, застыл при этих словах с поднятой рукой. Потом опустил ее и повернулся к женщине:

— Мы подготовили им встречу, сеньора. Начинили полгоры динамитом. Так что стоит какому-нибудь сендеристу сунуться к посту, начнется такой фейерверк, что все они взлетят на воздух, прямо над Наккосом. — Он подмигнул Литуме и снова повернулся к донье Адриане. — Капрал говорит с вами не как с подозреваемой, а, можно сказать, по-дружески. Постарайтесь не обмануть его доверие.

Женщина в очередной раз шумно вздохнула и принялась обмахиваться шляпой. Потом подняла руку и плавно повела ею, указывая на цепи горных вершин, подпиравших синий купол неба, — остроконечных и мягко закругленных, увенчанных снеговыми шапками и усеянных пятнами зелени, тесно сгрудившихся и стоявших обособленно.

— Эти горы полны вражьей силы. — Голос ее звучал ровно. — Враги живут там, внутри. И без конца замышляют козни. Вредят. От них все зло, в них причина всех бед. Из-за них останавливаются шахты, из-за них у грузовиков отказывают тормоза и они срываются в пропасть, из-за них взрываются ящики с динамитом и разлетаются во все стороны руки, ноги, головы людей.

Она говорила монотонно, как читают литанию во время крестного хода или как плакальщицы перечисляют добродетели покойного.

— Если все зло от дьявола, то в мире нет ничего случайного, — иронически

заметил Литума. — Кстати, сеньора, этих молоденьких французов, что ехали в Андауайлас, забили камнями тоже черти? Ведь эти ваши враги в горах — черти, я вас правильно понял?

— А еще они спускают с гор уайко, — невозмутимо продолжала она, по-прежнему указывая рукой на вершины.

Уайко! Литума был наслышан о них. Здесь, к счастью, не бывает уайко. Он постарался представить себе эти обвалы, лавины снега, перемешанного с камнями и землей, зарождающиеся в вершинах Кордильеры и несущиеся вниз подобно смерчу, сметая все на своем пути, погребая пашни, дома, деревни, животных и людей. Поистине игры дьявола эти уайко!

— А кто же еще может раскалывать эти скалы? — сеньора Адриана опять показывала на вершины. — Кто еще может сбрасывать уайко как раз там, где от них больше всего вреда?

В ее словах прозвучала такая убежденность, что Литума на мгновенье оторопел. Но тут же спохватился:

— А эти пропавшие, сеньора?

Камень, брошенный Томасом, попал в стойку ограды, раздался металлический звон, отозвалось горное эхо. Литума увидел, что его помощник набирает новую пригоршню камней.

— Что можно сделать против них? — упрямо продолжала свое донья Адриана. — Да почти ничего. Разве что умилостивить их, ублажить. Но, конечно, не такими подношениями, какие оставляют в ущельях индейцы. Все эти кучки камней, цветочки, зверушки им ни к чему. Как и чича, которую индейцы льют на землю. В этих местах иногда еще закалывают барана или ламу. Но это все глупости. Это могло бы сойти в нормальное время, но не сейчас. Сейчас может подействовать только человечина.

Литуме показалось, что его помощник еле удерживается от смеха. Сам он не испытывал никакого желания смеяться над тем, что несла эта ведьма. Чем дольше он слушал эту белиберду — выдумки вруньи или бред сумасшедшей, — тем больше ему становилось не по себе.

— И по руке Деметрио Чанки вы прочитали, что...

— Я его предупредила, просто по доброте. Ведь что написано, все равно сбудется, так или иначе.

Что, интересно, сказало бы начальство в Уанкайо, если бы я передал им по радио из рабочего поселка такое донесение о последнем случае: «Принесен в жертву пока не установленным способом с целью умилостивить злых духов Анд точка. По свидетельству очевидца, это подтверждается расположением линий его руки точка. Дело закрыто точка. Честь имею начальник поста точка. Капрал Литума точка».

— Я вам объясняю, а вы смеетесь, — недовольно сказала женщина.

— Я смеюсь потому, что вдруг представил себе, что ответило бы мне начальство в Уанкайо, если бы я повторил им ваши объяснения, — ответил Литума. — Но как бы то ни было, спасибо.

— Я могу идти?

Литума кивнул. Донья Адриана с усилием подняла свое дородное тело и, не попрощавшись, стала спускаться по склону горы к поселку. Литума смотрел ей вслед: она тяжело ступала в своих бесформенных башмаках, обмахиваясь шляпой, и так покачивала широкими бедрами, что зеленая юбка взметалась на каждом шагу, — ну сильна баба! А что, если она и есть нечистая сила?

— Ты когда-нибудь видел уайко, Томасито?

— Бог миловал, господин капрал. Но однажды, когда я был еще ребенком, недалеко от Сикуани я видел, что остается после уайко. Там съехала целая гора, оставив лишь огромный ров. Снесло все деревья, раздавило дома, ну и людей, конечно, тоже. Над тем местом несколько дней стояло облако пыли.

— А как ты думаешь, может донья Адриана быть сообщницей терруков? С чего это она морочит нам головы россказнями о горных дьяволах?

— Все может быть, господин капрал. Меня так обломала жизнь, что я готов поверить во что угодно. Теперь я самый доверчивый человек на свете.

Педрито Тиноко с малых лет называли лунатиком, блаженным, чокнутым, придурком, а так как он всегда ходил с открытым ртом — еще и мухоловом. Он не сердился на эти прозвища, потому что вообще никогда ни на кого не сердился. И абанкайцы тоже никогда̀ не сердились на него, потому что, в конце концов, всех подкупала его кроткая улыбка, простота и услужливость. Говорили, что он был не из Абанкая, что мать принесла его откуда-то через несколько дней после родов, что она пробыла в городе ровно столько времени, сколько ей понадобилось, чтобы подкинуть своего нежеланного сына к дверям церкви Девы Росарио. Неизвестно, было ли это правдой или досужим вымыслом, только ничего другого о Педрито Тиноко в Абанкае не знали. Соседи вспоминали, что ребенком он спал вместе с собаками и курами священника (злые языки утверждали, что тот приходился ему отцом), потом подметал церковь, потом был служкой — и так до самой смерти священника. А после его смерти Педрито Тиноко, уже подростком, оказался на улице, работал чистильщиком обуви, носильщиком, подметальщиком, помощником и сменщиком ночных сторожей, почтальонов, мусорщиков, работал также билетером в кинотеатре и в цирках, приезжавших в город на праздники и в День Отечества. Спал он, свернувшись клубком, в стойлах и ризницах, под скамейками на главной площади, а ел то, что ему давали сердобольные соседи. Он ходил босой, в висящих мешком засаленных штанах, подпоясанных веревкой, в потертом пончо и никогда не снимал с головы островерхую шапку, из-под которой выбивались пряди прямых волос, не знавших ни расчески, ни ножниц.

Когда Педрито Тиноко забирали в армию, многие жители города пытались убедить военных, что он не подлежит призыву. Какой из него солдат, вы только посмотрите на него, ведь сразу видно, что блаженный, только и знает что улыбаться, не соображает, где он, что ему говорят, кто с ним разговаривает. Но военные не поддались на уговоры и увели его вместе с другими юношами, отловленными в чичериях[1], погребках, кинотеатрах, на городском стадионе. В казарме его обрили, раздели, облили из шланга — первая баня в его жизни, напялили форму цвета хаки, выдали ботинки, к которым он так и не смог привыкнуть за три недели, что там провел: все это время он сильно хромал, а то и вовсе ковылял, как паралитик. На четвертую неделю он исчез.

Он скитался по суровым горам Апуримака, Луканаса и Аякучо, избегая дорог и деревень, питался травами, по ночам вместе с вискачами [2] укрывался от ледяного ветра в пещерах. Когда на него наткнулись пастухи, он был еле жив — кожа да кости да дикие от голода и страха глаза. Несколько пригоршней моте[3], кусок вяленого мяса и глоток чичи оживили его. Пастухи взяли его с собой в Аукипату — в свою общину, издавна владевшую землей в горах, где выпасали свои стада и обрабатывали несколько участков, на которых с трудом выращивали мелкий черноватый картофель и рахитичные ольюко[4].

Педрито прижился в Аукипате, ему разрешили там остаться. И в этой деревне, как раньше в городе, его простота и услужливость снискали ему всеобщую приязнь. Его молчание, неизменная улыбка, постоянная готовность выполнить все, о чем попросят, сам его вид — а был он тогда похож на выходца с того света — все это создавало вокруг него своеобразный ореол святости. Индейцы относились к нему с уважением и соблюдали некоторую дистанцию, понимая, что, хотя он и разделял с ними их заботы и радости, он все-таки не такой, как они.

А спустя некоторое время — Педрито не смог бы определить когда, потому что для него время текло иначе, — в индейскую общину зачастили чужие люди.

---

[1] Чичерия — питейное заведение, торгующее по преимуществу кукурузной водкой чичей.
[2] Вискача — вид американского зайца (*кечуа*).
[3] Моте — блюдо из кукурузы (*кечуа*).
[4] Ольюко — корнеплод, напоминающий картофель (*кечуа*).

Они приходили, уходили, возвращались снова, наконец состоялся многочасовой совет общины, на котором обсуждались предложения чужаков. Их одежда воскресила в памяти Педрито смутные воспоминания: что-то похожее он видел раньше, в своей прежней жизни. Пришельцы объясняли на совете варайокам[1], что правительство решило создать в этих местах заповедник викуний [2], что он ни в коем случае не распространится на принадлежащие общине земли и, более того, это будет выгодно Аукипате, поскольку общинники смогут продавать свои изделия и продукты туристам, которые станут приезжать сюда полюбоваться на животных.

Тогда же наняли одну семью охранять викуний, которых вскоре стали привозить на затерявшееся в горах плоскогорье между реками Тамбо-Кемадо и Сан-Хуан, на расстоянии дневного перехода от Аукипаты. На этом плоскогорье рос ичу[3], имелись небольшие озера, а в окружающих горах были удобные пещеры, и викуньи там быстро осваивались. Их привозили в грузовиках из отдаленных районов Кордильеры и выгружали у развилки дорог на Сан-Хуан, Луканас и Пукио, оттуда аукипатские пастухи перегоняли их в заповедник. Педрито Тиноко ушел жить к охранникам. Он помогал им строить дом, вскапывать делянку под картофель, сооружать загон для кроликов. Охранникам пообещали, что их будут снабжать продовольствием, помогут обустроить дом, будут регулярно выплачивать зарплату. И действительно, время от времени кто-нибудь из руководства заповедника приезжал к ним на красном пикапе. Им выдавали деньги и провизию, расспрашивали, как идут дела. Но потом наведываться стали реже, а там и вовсе перестали. Охранники еще долго ждали, когда о них вспомнят, но так ничего и не дождались, собрали пожитки и вернулись в Аукипату. А Педрито Тиноко остался с викуньями.

Он подружился с этими изящными и нежными животными. Никогда у него не было таких сердечных отношений с себе подобными. Целыми днями он с трепетным вниманием наблюдал за ними, любовался их движениями, угадывал привычки, разгадывал игры. Он смеялся, глядя, как они резвятся, покусывая друг друга, прыгая в перестоявшей траве, грустил, когда, бывало, викунья срывалась со склона и ломала себе ноги или истекала кровью после неудачных родов. И викуньи, естественно, вскоре признали его, как раньше его признавали абанкайцы, а потом индейцы Аукипаты. Они чувствовали его доброту, он стал для них своим. Завидя его, они не разбегались в страхе, а ждали, когда он приблизится, и нередко какая-нибудь игрунья вытягивала ему навстречу шею, прося потрепать ей ушки, почесать спину и брюшко или потереть нос — это им нравилось больше всего. И даже самцы во время гона, когда они становились свирепыми и никого не подпускали к своим стайкам из четырех-пяти самочек, даже они позволяли Педрито поиграть с ними, правда не спуская с него настороженных глаз, готовые в любую минуту вмешаться, если что-то их встревожит.

Однажды в заповеднике появились незнакомые люди. Они приехали откуда-то издалека, говорили не на кечуа и не на испанском, а на совсем незнакомом языке, звуки которого казались Педрито такими же странными, как сапоги, куртки, шарфы и шляпы незнакомцев. Они совершали длительные прогулки, изучая викуний, фотографируя их. Однако подойти к ним поближе им не удавалось. Несмотря на все усилия Педрито, викуньи не давали к себе приблизиться. Педрито разместил этих людей у себя в доме, обслуживал их, а они, уезжая, оставили ему несколько банок консервов и немного денег.

За исключением этого посещения, ничто больше не нарушало привычного течения жизни Педрито Тиноко, подчиненного ритму перемен в окружающей природе — чередованию вечерних и ночных дождей и беспощадного дневного солнца. Он ставил силки на вискачей, но питался главным образом картошкой, которую выращивал на маленьком огородике, да иногда, если повезет на охоте, мясом кро-

---

[1] Варайок — вождь племени, старейшина (*кечуа*).
[2] Викунья — вид ламы (*кечуа*).
[3] Ичу — вид злакового растения; употребляется индейцами в пищу (*кечуа*).

лика. А еще он засаливал и вялил мясо павших викуний. Время от времени он спускался в долину, когда там проходила ярмарка, чтобы обменять немного картофеля и ольюко на соль и кулек коки. Как-то раз пастухи-общинники поднялись со своим стадом к самой границе заповедника. Они остановились на отдых в домике Педрито Тиноко и рассказали ему о последних новостях Аукипаты. Он слушал их с напряженным вниманием, стараясь вспомнить, о чем и о ком они говорят. Их рассказы оживили в нем забытые картины, образы, неясные воспоминания о другом мире, о каком-то другом человеке — себе самом, каким он был раньше. Но он, как ни старался, не смог понять главного: что в той, другой жизни все перевернулось, что на людей пало проклятие и они убивают друг друга.

А ночью разразилась страшная гроза с крупным градом. Такие грозы очень опасны для молодых животных. Поэтому Педрито Тиноко взял в дом несколько викуний, которые, как ему казалось, могли погибнуть от холода или от удара молнии, он накрыл их своим пончо, оберегая от сочившейся сквозь щелястый потолок воды, и не выпускал до утра. Он заснул, когда утихла гроза. А вскоре его разбудили голоса. Он вышел из дома — и увидел их. Человек, наверное, двадцать. Еще никогда в заповеднике не бывало такого количества людей. Мужчины, женщины, подростки, дети. В его голове всплыли какие-то путаные сцены из жизни в казарме. Очевидно, потому, что эти люди были вооружены. Автоматами, ружьями, ножами. Но одеты они были не как солдаты. Они развели костер и принялись готовить еду. Он приветствовал их широкой — во все свое простодушное лицо — улыбкой и несколько раз поклонился в знак уважения.

Они заговорили с ним, сначала на кечуа, потом на испанском:

— Ты не должен кланяться нам, угодничать. Не должен держаться с нами так, будто мы твои господа. Мы все равны. Мы такие же, как ты.

Все это ему сказал юноша с твердым взглядом и суровым лицом, на котором застыла гримаса страдания и ненависти. Он был почти ребенок. Может, он из-за меня такой, подумал Педрито Тиноко. Может, я сделал что-то не так, обидел его? Желая загладить возможную вину, он бросился в дом, вынес сумку с картошкой и несколькими кусками вяленого мяса. И, низко поклонившись, предложил все это молодому человеку.

— Ты что, не умеешь говорить? — спросила его одна из девушек.

— Это он здесь разучился говорить, — заметил другой юноша, оглядывая его с головы до ног. — В эту глушь никто не заглядывает. Ты хоть понимаешь, о чем мы тут с тобой толкуем?

Педрито Тиноко изо всех сил старался не пропустить ни одного слова и, главное, догадаться, как им угодить. Они расспрашивали его о викуньях. И докуда доходит заповедник в ту сторону и в эту, куда викуньи ходят на водопой, где спят. Жестикулируя, повторяя каждое слово по два, три раза, а то и по десять раз, они втолковывали ему, что он должен проводить их к викуньям и помочь собрать их в отару. А Педрито, подпрыгивая, изображал животных, убегающих от ливня, — объяснял, что викуньи сейчас в пещерах. Викуньи провели там всю ночь, сбившись в кучу, согревали друг друга, вздрагивая при каждом ударе грома и вспышке молнии. Он хорошо знал это, ведь он не раз проводил там с ними долгие часы, обнимая их, чувствуя их страх, дрожа, как и они, и повторяя горловые звуки, которыми викуньи разговаривают друг с другом.

— Они в тех горах, — догадался наконец кто-то из пришедших. — Они там спят.

— Веди нас туда, — приказал юноша с твердым взглядом. — Будешь с нами, внесешь свой вклад в общее дело.

И Педрито пошел впереди, повел этих людей самой короткой дорогой к горам. Небо уже очистилось от туч, заголубело, солнце позолотило вершины темной цепи гор. Во влажном воздухе разливался запах прелой травы и мокрой земли, терпкий запах, от которого у Педрито веселело на душе. Он жадно вдыхал этот аромат земли, воды и корней, очищающий мир после грозы и успокаивающий тех, кто,

попав в грозу, вздрагивал от раскатов грома, думая в страхе, что наступает конец света.

Они шли довольно долго: земля раскисла, и ноги утопали в грязи по щиколотку. Им пришлось снять ботинки, тапочки, охоты. Не видел ли он здесь солдат или полицейских?

— Он не понимает, — догадался кто-то. — Блаженный.

— Понимать-то понимает, да сказать ничего не может, — поправил другой. — Он тут живет совсем один, вокруг только викуньи. Ну и одичал.

Когда они, прыгая через лужи, размахивая руками, подталкивая друг друга, пихаясь и строя рожи, добрались до подножья горы, Тиноко знаками объяснил, что надо укрыться в зарослях ичу, чтобы не спугнуть викуний. Не разговаривать и не шевелиться. У викуний тонкий слух и острое зрение, они недоверчивы и пугливы и начинают дрожать от одного только запаха незнакомого человека.

— Подождем здесь, всем затаиться, ни звука! — приказал юноша-ребенок с жестким взглядом. — Рассредоточиться без шума!

Педрито Тиноко наблюдал, как они останавливаются, расходятся веером, все дальше друг от друга, залегают в ичу.

Когда все устроились и наступила полная тишина, он крадучись направился к пещерам. Заглянув еще издали внутрь, различил в полумраке, как блестят глаза викуний. Те, что были у самого входа, на страже, следили, как он приближался. Они всматривались в него, навострив уши, и шевелили холодными носами, пытаясь уловить знакомый запах, тот, в котором не таилось никакой угрозы ни самцам, ни самкам, ни детенышам. Педрито двигался все медленнее, все осторожнее, чтобы чуткие животные не уловили его волнения. Он начал потихоньку цокать языком, как это делают викуньи, это был их язык, он выучил его и умел разговаривать с ними. Неожиданно у самых ног мелькнула серая тень: вискача! Он поднял было пращу, чтобы метнуть камень, но удержался, не желая вспугнуть викуний. А спиной он ощущал взгляды этих пришлых людей.

Викуньи начали выходить, но не одна за другой, как обычно, а семьями. Самец со своими четырьмя или пятью самками, матери с детенышами, жавшимися к их ногам. Они втягивали носами влажный воздух, обнюхивали размытую дождем землю, размокшие жухлые былинки и сочную зеленую траву, которую уже подсушивало солнце и которую скоро они начнут есть. Они поворачивали головы направо и налево, смотрели вверх и вниз, прядали ушами, то и дело вздрагивали: пугливость была главной отличительной чертой их натуры. Педрито стоял среди них, они терлись о него, ждали, когда он погладит их теплые уши или почешет, запустив пальцы в густую мягкую шерсть.

Когда раздались первые выстрелы, он подумал, что это гром, что где-то вдали начинается новая гроза. Но тут же увидел, как полыхнул ужас в глазах толпившихся около него викуний, как они бросились врассыпную, сталкиваясь, спотыкаясь, падая, как они мечутся, ослепленные страхом, не зная, то ли убегать в поле, то ли возвращаться в пещеры. Он видел, как викуньи, вышедшие первыми, валятся со стоном на землю, как хлещет кровь из развороченных пулями спин и боков, увидел раздробленные кости, выбитые глаза, порванные уши. Одни викуньи, упав, поднимались и снова падали, другие сразу же замирали, цепенели, вытянув шеи, будто хотели взмыть в воздух и улететь. Самки, низко опустив головы, облизывали своих изуродованных детенышей. Он смотрел ошеломленно, силясь понять, что происходит, крутил головой из стороны в сторону, его глаза были широко открыты, губы дрожали, уши болели от выстрелов и криков самок, куда более страшных, чем при родах.

— Не заденьте его! — кричал время от времени мальчик-мужчина своим людям. — Осторожно! Осторожно!

Не обращая внимания на выстрелы, некоторые из них выбегали вперед, под пули, ловить убегающих викуний. Они отрезали им путь, окружали и приканчивали ударами ножей и прикладов. Педрито Тиноко наконец очнулся. Он начал вы-

крикивать что-то нечленораздельное, прыгать, размахивать руками, как ветряная мельница. Он метался из стороны в сторону, становился между викуньями и стрелявшими, голосом, глазами, руками заклиная убийц остановиться. Но те не обращали на него внимания. Они продолжали стрелять и гоняться за уцелевшими животными, которые неслись по склону горы к полю. Подбежав к мальчику-мужчине, Педрито упал на колени и попытался поцеловать ему руку, но тот с яростью оттолкнул его:

— Не смей делать этого! Убирайся прочь!

— Это приказ, выполняй, — произнес кто-то рядом. — Идет война. Да тебе этого все равно не понять, бедолага.

— Плачь лучше по своим братьям, по тем, кто страдает, — сочувственно посоветовала ему одна из девушек. — Плакать надо по убитым и замученным людям. По тем, кто попал в тюрьму, по мученикам, которые жертвуют своей жизнью.

Но Педрито продолжал просить, он подбегал то к одному, то к другому, падал на колени, ловил их руки.

— Имей хоть немного гордости, — говорили ему. — Не распускай нюни. Думай лучше о себе, а не об этих викуньях.

Они все стреляли и стреляли, ловили убегавших животных, добивали их. Бойне, казалось, не будет конца. Кто-то взорвал динамитный патрон, и два детеныша, тихо стоявших около убитой матери, взлетели, растерзанные, на воздух. Пахло порохом. У Педрито Тиноко уже не было сил плакать. Он бросился ничком на землю, потом перевернулся на спину и так лежал, переводя взгляд с одного на другого, не в силах осознать до конца, что же все-таки происходит. Вскоре к нему подошел юноша с суровым лицом.

— Нам вовсе не нравится делать то, что мы делаем, — мягко сказал он и положил руку на плечо Педрито. — Но есть приказ нашего руководства. Викуньи — ресурсы врага. Нашего и твоего. Ресурсы империализма. В стратегических планах мирового империализма нам, перуанцам, отведена такая роль: выращивать викуний. Чтобы приезжие ученые изучали их, а туристы фотографировали. И ты, например, значишь для империалистов куда меньше, чем эти животные.

— Шел бы ты, добрый человек, отсюда, — принялась уговаривать его на кечуа другая девушка. — Скоро сюда нагрянет полиция, придут солдаты. Не уйдешь — будут тебя бить ногами, отрежут твой мужской прибор, а потом пустят пулю в лоб. — Она обняла его. — Уходи-ка подальше, как можно дальше.

— Может быть, потом ты поймешь то, что не понимаешь сейчас, — снова заговорил с ним мальчик-мужчина. Он курил сигарету и рассматривал убитых викуний. — Идет война, и никто не может сказать, что она его не касается. Она касается всех, включая немых, глухих и блаженных. Война, чтобы покончить с неравенством, чтобы никто не становился на колени, не целовал другому руки и ноги.

Они провели там остаток дня и ночь. Педрито Тиноко видел, как они готовили еду, как дозорные поднимались по склону, чтобы сверху следить за дорогой. Спали они в пещерах, завернувшись в одеяла и пончо, плотно прижавшись друг к другу, совсем как викуньи. На следующее утро они ушли, посоветовав ему на прощанье не задерживаться тут, если он не хочет, чтобы его убили солдаты, а он так и остался лежать на земле, все на том же месте, обратив к небу мокрое от росы лицо, среди мертвых викуний, над которыми уже пировали охочие до падали птицы и звери.

— Сколько тебе лет? — неожиданно спросила она.

— Мне тоже любопытно узнать, — оживился Литума. — Ты никогда мне не говорил этого. Сколько тебе лет, Томасито?

Задремавший было Карреньо враз очнулся от вопроса женщины. Уже не трясло, как раньше, но мотор гудел надсадно, словно готов был взорваться на любом крутом повороте этого тягучего подъема. Они все еще поднимались на Кордильеру, по обеим сторонам дороги стоял мачтовый лес, но некоторые склоны были голые до самого дна ущелья, где бурлила Уальяга. Они сидели между мешками и

прикрытыми кусками целлофана ящиками с манго, сливами и чиримоей в кузове старенького грузовичка, у которого даже не было брезентового верха для защиты от дождя. Правда, за то время, что они поднимались в горы, удаляясь от сельвы в сторону Уануко, на них не упало ни капли. Чем выше они поднимались, тем холодней становился воздух. Небо кипело звездами.

— Господи, прежде чем меня убьют, дай мне поиметь женщину, — молитвенно произнес Литума. — Хоть еще один-единственный раз. Ведь с тех пор как я приехал в Наккос, я живу как евнух, разъедрена мать. А твои рассказы о пьюранке меня вконец распалили, Томасито.

— Да у него, поди, еще молоко на губах не обсохло, — помолчав, заметила женщина, словно разговаривая сама с собой. — А поэтому, хоть ты и имеешь дело с грабителями и убийцами, ничего-то ты ни о чем не знаешь, Карреньо. Ведь тебя так зовут, да? Толстяк тебя называл Карреньито.

— Знакомые женщины были всегда такие жалкие, забитые, а эта — совсем другое дело: ей палец в рот не клади! — восторженно произнес помощник Литумы. — Едва она в Тинго-Марии оправилась от страха — а страх у нее прошел очень быстро, — как сразу же взяла все в свои руки. Я хочу сказать, начала действовать раньше меня. Это ведь она договорилась с водителем грузовика, чтобы он довез нас до Уануко, причем за половину цены, которую тот запросил. Торговалась с ним на равных.

— Извини, что перебиваю тебя, Томасито, только сдается мне, что этой ночью на нас нападут, — сказал Литума. — Я так и вижу, будто они спускаются с вершины. А ты не чувствуешь ничего подозрительного снаружи? Давай поднимемся, взглянем.

— Мне двадцать три года, — ответил он. — Я знаю все, что мне нужно знать.

— А того вот не знаешь, что иногда приходится проделывать разные штучки, чтобы угодить мужчине, — обидчиво возразила она. — Хочешь я тебе расскажу такие вещи, что тебя вывернет наизнанку? А, Томасито?

— Не беспокойтесь, господин капрал. У меня хороший слух. Клянусь вам, там никого нет.

Парень и женщина, стиснутые мешками и ящиками с фруктами, тесно прижимались друг к другу. В ночном воздухе сильнее чувствовался запах манго. Стрекотание насекомых заглушало рокот и завывания мотора. Не было больше слышно ни хруста хвороста под колесами, ни клокотания реки.

— Грузовик подпрыгивал на ухабах, и нас бросало друг на друга, — вспоминал Томасито. — И каждый раз, когда ее тело касалось моего, я вздрагивал.

— Теперь это называется «Я вздрагивал»? — засмеялся Литума. — Раньше говорили «У меня вскакивал». Ты прав, ничего не слышно. А знаешь, когда я слушал тебя, у меня уже начал вставать, но из-за того, что померещился шорох за стенами, опять упал.

— Да ведь он меня бил не по-настоящему, — почти шепотом сказала женщина, и Карреньо даже разинул рот от удивления. — Ты решил, что он меня избивает, потому что слышал, как он ругался и как я умоляла его и плакала. Но ты не понял: это все была игра, чтобы возбудить его. Какой же ты еще наивный, Карреньито.

— Замолчи, или я высажу тебя из грузовика, — негодующе оборвал он женщину.

— Хорошо еще, что не сказал «Замолчи, а не то я тебе врежу» или «Замолчи, а то вышибу из тебя мозги», — насмешливо прокомментировал Литума. — Вот было бы забавно.

— Она мне именно так и ответила, господин капрал, ну и мы рассмеялись. Оба. Один громче другого. Остановимся — и снова начинаем.

— И правда было бы забавно, если бы я тебя ударил. Иногда у меня появляется такое желание, — признался парень. — Это когда ты начинаешь упрекать меня за то, что мне захотелось сделать доброе дело. А теперь я даже не знаю, что со мной будет.

— А со мной, со мной? — горячо подхватила она. — Ты хоть и наломал дров, но по крайней мере сделал то, что хотел. А я по твоей милости влипла в эту ужасную историю. Ты же не спросил меня, хочу я, чтобы ты вмешивался, или нет. За это убийство прикончат нас обоих. Скажут, что ты работаешь на полицию и что я твоя сообщница.

— Так она, выходит, не знала, что ты полицейский? — удивился Литума.

— Я даже не знаю, как тебя зовут, — спохватился Томас.

Наступила тишина: мотор заглох. Но через минуту снова зафыркал, загудел. Высоко вверху Томас увидел огоньки. Наверное, самолет.

— Мерседес.

— Это твое настоящее имя?

— Другого у меня нет, — рассердилась она. — И еще, к твоему сведению: я не проститутка. Я была его подружкой. Он вытащил меня из одного шоу.

— Из «Василона», это ночной ресторанчик в центре Лимы, — пояснил помощник Литумы. — Она была у него одной из многих. У Борова был целый набор любовниц, только Искариоте знал пятерых.

— Эх, мне бы на его место, — вздохнул Литума. — Это же надо — целых пять! Ведь он, получается, мог менять бабу каждый день, как трусы или рубашку. А мы с тобой здесь на голодном пайке, Томасито.

— У меня вся спина разламывалась,— продолжал Карреньо, опьяненный воспоминаниями. — Мы не смогли уговорить водителя взять нас в кабину, он боялся, что мы на него нападем, а в кузове нас трясло нещадно. Я все думал о том, что мне сказала Мерседес, и меня брало сомнение. Правда ли, что ее рыдания и причитания были только представлением, игрой, которая должна была возбудить Борова? Что вы об этом думаете, господин капрал?

— Не знаю, что тебе сказать, Томасито. Возможно, это и вправду был театр. Он делал вид, что бьет ее, она притворялась, что плачет, у него тогда вставал, и он заделывал ей. Говорят, есть такие типы.

— Ну уж это какое-то свинство, — пробормотал Карреньо. — Грязный Боров. И хорошо, что подох. Туда ему и дорога.

— Но ты, несмотря на это, влюбился в Мерседес. А любовь все осложняет, Томасито.

— Мне ли не знать, — сокрушенно вздохнул молодой полицейский. — Если бы я не влюбился, разве сидел бы я сейчас в этой забытой богом пуне, дожидаясь, когда соизволят прийти эти паршивые фанатики, чтобы пристукнуть нас.

— Ты ничего не слышишь? — насторожился Литума. — Пойду взгляну на всякий случай. — Он поднялся, взял револьвер и, приоткрыв дверь, выглянул наружу. Посмотрел по сторонам и, посмеиваясь, вернулся на свою раскладушку. — Нет, это не они. Знаешь, мне сейчас в лунном свете померещилось, что я вижу немого, будто он тащит что-то.

Что со мной теперь станется? Лучше не думать об этом. Податься в Лиму, а там видно будет. Как покажется он на глаза своему крестному после всего случившегося? Это самое тяжелое. Тот вел себя как порядочный человек по отношению к тебе. А как ты ему отплатил? Тут, Карреньо, ты уж действительно, что называется, вляпался. Крепко вляпался, но теперь это тоже не важно. Теперь, подпрыгивая на выбоинах и касаясь ее, он чувствовал себя лучше, чем в Тинго-Марии, когда, дрожа и задыхаясь, слушал, что происходит за стеной. Значит, все эти крики, стоны, мольбы, эти удары и угрозы были представлением? Притворством? А вдруг нет?

— Я ни о чем не жалею, господин капрал, поверьте. Что случилось, то случилось. Но все дело в том, что я, как вы уже догадались, влюбился в нее.

В конце концов их обоих сморил тяжелый сон, пропитанный сладким запахом манго. Мерседес пыталась опереться головой о мешок, но из-за тряски у нее ничего не получалось. Карреньо слышал, как она недовольно ворчала, видел, как она ерзала, тщетно стараясь примоститься поудобнее.

— Давай-ка сделаем так. — Он старался говорить как можно небрежнее. — От-

дохни сначала ты на моем плече, а потом я на твоем. Если мы не поспим хоть немного, приедем в Лиму полуживыми.

— Смотри-ка, дело принимает серьезный оборот, — отметил Литума. — Давай-давай, Томасито, рассказывай, как сорвал первый цветок.

— Ну, я тут же вытянул руку, приготовил ей уютное местечко. И она прильнула ко мне, положила голову мне на плечо.

— И у тебя, конечно, встал?

Парень и на этот раз пропустил его замечание мимо ушей.

— Я обнял ее. То есть подхватил, чтобы ей было удобней, — уточнил он. — Она была вся влажная. И я тоже. Ее волосы щекотали мне лицо, попадали в нос. Ее округлое бедро упиралось мне в ногу. А когда она говорила, то касалась губами моей груди — я чувствовал сквозь рубашку ее теплое дыхание.

— А у кого встает, так это у меня, мать твою... — сказал Литума. — Что мне теперь делать, Томасито? Отрезать его, что ли?

— А вы выйдите помочитесь, господин капрал. На свежем воздухе сразу опадет.

— Ты очень религиозный? Истовый католик? Ты не можешь примириться кое с какими вещами, которые происходят между мужчиной и женщиной? За такой грех ты его и убил, да, Карреньито?

— В общем, она была совсем близко — и я чувствовал себя счастливым. Я сидел молча, не шевелясь, слушал, как надрывается грузовичок, взбираясь все выше в Кордильеру, и еле удерживался от желания поцеловать ее.

— Ничего, что я тебя расспрашиваю? Просто я хочу понять, за что же все-таки ты убил его, и ничего другого мне не приходит в голову.

— Спи и не думай об этом, — мягко сказал парень. — Бери пример с меня. Я уж давно забыл о Борове и о Тинго-Марии. А религия здесь ни при чем.

Ночная темнота уже заволакивала горы, которые с каждым витком дороги становились все выше и выше. Но внизу, в расстилавшейся далеко позади сельве, у самого горизонта, еще виднелась белая полоска.

— Слышишь? Слышишь? — Литума рывком сел на раскладушке. — Бери пистолет, Томасито, кто-то спускается сверху, точно.

III

— Касимиро Уаркаю похитили, наверное, потому, что он стал пиштако, — сказал Дионисио, хозяин погребка. — Он сам повсюду раструбил об этом. Вот как раз на том самом месте, где вы сейчас сидите, он, бывало, заведется и блеет, как баран: «Я пиштако, и точка. Придет время, вырежу у всех у вас жир и выпью вашу кровь». Конечно, он нес это с пьяных глаз, но ведь известно: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Его слышали все в погребке. А в Пьюре есть пиштако, господин капрал?

Литума поднял рюмку анисовой, которую ему наполнил хозяин, повернулся к помощнику — «Твое здоровье» — и сделал глоток. В желудке разлилась приятная теплота, и у него немного повысилось настроение, которое с утра было хуже некуда.

— Я, во всяком случае, никогда не слышал о пиштако в Пьюре. Колдуны — другое дело. Я сам знавал одного, в Катакаосе. Его приглашали в дома, где водилась нечистая сила, он ее заговаривал — и она исчезала. Но колдуны, что там говорить, и в подметки не годятся пиштако.

Погребок располагался в самом центре поселка, со всех сторон его окружали бараки, где жили пеоны, — приземистые сооружения с низкими потолками, деревянными скамьями и ящиками, заменявшими столы и стулья, с земляными полами и фотографиями голых женщин, приколотыми к дощатым стенам. Ближе к полуночи в погребке обычно негде было яблоку упасть, но сейчас еще даже не стемнело, только что село солнце, и, кроме Литумы и Томаса, в нем находились еще четверо мужчин в шарфах, они сидели за одним столиком, двое из них — в касках, и

пили пиво. Капрал и его помощник за соседним столиком принимали уже по второй рюмке анисовой.

— Я вижу, вы не поверили моему рассказу, — засмеялся Дионисио.

Это был толстый, рыхлый человек с темным, словно натертым сажей лицом, с вьющимися сальными волосами, вечно ходивший в одном и том же тесном синем джемпере. Маленькие глазки в воспаленных веках всегда были замутнены алкоголем — он пил наравне со своими клиентами, хотя допьяна никогда не напивался, что правда, то правда. По крайней мере, Литума никогда не видел его в состоянии алкогольной прострации, в которую, как правило, впадают пеоны субботней ночью.

— А вы верите в пиштако? — Литума обратился к пеонам за соседним столиком. Четыре лица, наполовину прикрытые шарфами, повернулись в его сторону. Они были так похожи, будто их выбили на одном чекане: обожженные солнцем, обветренные, с маленькими невыразительными глазами в глубоких глазницах, с сизыми от постоянного пребывания на воздухе носами и губами.

— Кто знает, — ответил наконец один из них. — Все может быть.

— А вот я верю, — вступил после короткой паузы другой. — Если об этом столько говорят, значит, тут что-то есть. Не бывает дыма без огня.

Литума прикрыл глаза. Значит, так. Чужак. Наполовину гринго. Но с первого взгляда его не распознать — ничем не отличается от простых смертных. Живет в пещерах, свои злодеяния творит по ночам. Спрятавшись за придорожным камнем, или в густой траве, или под мостом, подкарауливает одиноких путников. Подходит к ним спокойно, стараясь не вспугнуть. А сам держит наготове смолотый специально для таких случаев порошок из костей мертвеца и, как только путник зазевается, сдувает порошок ему в лицо. После этого спокойно высасывает из него жир и отпускает. Тот продолжает свой путь, но уже едва живой, кожа да кости, уже обреченный на близкую смерть, которая наступит, может быть, через несколько дней или даже часов. Такие пиштако еще вроде бы благонамеренные, человечий жир им нужен для церковных колоколов, те от него становятся звонче, а в последнее время его использует и правительство — для погашения внешних долгов. Куда ужаснее злонамеренные пиштако. Они не только обезглавливают свою жертву, но и разделывают ее, как корову, или барана, или свинью, и пожирают. Они высасывают из тела человека всю кровь, каплю по капле, и упиваются ею допьяна. И горцы верят во все это, мать их... А эта ведьма, донья Адриана, значит, убила одного пиштако, так, что ли?

— Касимиро Уаркая был альбинос, — пробурчал пеон, который заговорил первым. — Может, так оно и было, как рассказывает Дионисио. Его приняли за пиштако и поскорее прихлопнули, пока он не успел ни у кого взять жир.

Его приятели за столом усмехнулись и одобрительно закивали. Литума почувствовал, что у него учащается пульс. Уаркая, который вместе с ними бил камни, махал киркой, вместе с ними корячился на строительстве дороги, исчез. А эти скоты и в ус не дуют, да еще и потешаются.

— Похоже, эта новость для вас вроде мух за окном: не очень беспокоит, — упрекнул он их. — Но ведь то, что произошло с Альбиносом, может случиться и с вами. Что, если терруки нападут этой ночью на Наккос и устроят здесь самосуд, как это уже было в Андамарке? Вам понравилось бы, если бы вас забили камнями как предателей родины или педерастов? Или если бы вас стали пороть за пьянство?

— Будь я пьяницей, предателем, педерастом, мне не понравилось бы, — сказал тот же пеон. Приятели за столом одобрительно ухмылялись и подталкивали его локтями.

— Случай в Андамарке, что и говорить, печальное событие, — уже серьезно вступил в разговор один из молчавших до сих пор пеонов. — Но там хоть были одни перуанцы. А вот то, что произошло в Андауайласе, по-моему, еще хуже. Эта французская парочка, подумать только! Зачем было их впутывать в наши дела? И их не спасло даже то, что они иностранцы.

— А я верил в пиштако, когда был маленьким, — перебил его Карреньо, обращаясь к капралу. — Меня, бывало, пугала ими бабушка. Из-за этого я с опаской смотрел на каждого нового человека, появлявшегося в Сикуани.

— И ты веришь, что беднягу немого, Касимиро Уаркаю и бригадира выпотрошили и разделали пиштако?

Томас пригубил анисовой.

— Я уже говорил вам, что готов поверить в самые невероятные вещи, господин капрал. А вообще-то, если по правде, я предпочитаю иметь дело с пиштако, а не с терруками.

— И правильно делаешь, что веришь, — согласился капрал. — Чтобы разобраться в том, что здесь происходит, надо верить в чертей. Опять же возьмем этих французов из Андауайласа. Их высадили из автобуса и так отделали, что от лиц осталось одно кровавое месиво. Отчего такое остервенение? Почему нельзя было просто пристрелить их?

— Мы уже привыкли к жестокости, — отозвался Томас, и Литума заметил, что его помощник бледнеет. От нескольких рюмок анисовой его глаза зажглись, а голос сел. — Говорю это как на духу. Вы слышали о лейтенанте Панкорво?

— Не доводилось.

— Я был в его отряде, когда случилось это дело с викуньями в Пампе-Галерас. Мы взяли там одного, а он молчит, будто воды в рот набрал. Лейтенант ему: «Кончай строить из себя святого и делать вид, что не понимаешь. Предупреждаю: если я начну тебя обрабатывать, заговоришь, как попугай». И мы его обработали.

— А как вы его обрабатывали? — поинтересовался Литума.

— Жгли спичками, зажигалками, — объяснил Карреньо. — Сначала ступни, потом все выше и выше. Спичками и зажигалками, именно так. Запахло паленым. Тогда я не был еще таким, как сейчас, господин капрал. Меня стало мутить, я чуть не потерял сознание.

— Представь теперь, что сделают с нами терруки, если возьмут нас живыми, — сказал Литума. — И ты тоже его обрабатывал? И после этого плачешься мне, что Боров отвесил несколько горячих той пьюранке в Тинго-Марии?

— Вы еще не слышали самого главного. — Язык у Томаса слегка заплетался, а лицо стало мертвенно-бледным. — Оказалось, что он вовсе не терруко, а просто умственно отсталый. И не говорил не потому, что не хотел, а потому, что не мог. Не умел говорить. Его узнал кто-то из Абанкая. Послушайте, говорит, господин лейтенант, это ведь дурачок из нашего селенья, как он может сказать что-нибудь, если он, то есть Педрито Тиноко, за всю свою жизнь не сказал ни бе ни ме.

— Педрито Тиноко? Ты хочешь сказать, наш Педрито? Бедняга немой? — Капрал одним глотком выпил свою анисовую. — Ты меня разыгрываешь, Томасито? Что за чертовщина!

— Он, кажется, был сторожем в заповеднике. — Томас тоже выпил. Рука, сжимавшая рюмку, заметно дрожала. — Потом мы его отхаживали как могли. Собрали для него кое-что. У всех было погано на душе, даже у лейтенанта Панкорво. А у меня — больше, чем у всех остальных, вместе взятых. Поэтому я его и привел сюда. Вы никогда не видели шрамов у него на ступнях? На икрах? Вот там-то я и потерял невинность: тоже приложил свою руку, господин капрал. А после этого я уже ничего не боялся и ни о чем не жалел. Я вам не рассказывал об этом до сих пор, потому что мне было стыдно. И если бы сегодня не напился, тоже не рассказал бы.

Чтобы отвлечься от воспоминаний о немом, Литума постарался представить лица других пропавших, превращенные в кровавую кашу, их лопнувшие глаза, переломанные кости, как у тех бедолаг французов, их опаленную плоть, как у Педрито Тиноко. Ах, мать твою, мать твою, не можешь, что ли, думать о чем-нибудь другом?

— Давай-ка лучше пойдем. — Он допил анисовую и поднялся из-за стола. — Пока не стало совсем холодно.

Когда они выходили, Дионисио послал им воздушный поцелуй. Он сновал по

погребку, уже заполненному пеонами. В этот час он начинал свое обычное представление: пританцовывал с шутовским видом, подносил посетителям рюмки виноградной водки — писко — и стаканы с пивом, подзадоривал их танцевать друг с другом, поскольку женщин среди них не было. Его кривляние и ужимки раздражали Литуму, поэтому, когда хозяин погребка принимался за свои номера, он обычно уходил.

Они попрощались с доньей Адрианой, стоявшей за стойкой, и та с явной насмешкой отвесила им низкий поклон. Она только что настроила приемник на волну радио Хунина и теперь слушала болеро. Литума узнал его — «Лунный свет». Он видел фильм с таким названием, там еще танцевала эта блондинка с длиннющими ногами — Нинон Севилья.

Уже включили генераторы, дававшие свет в поселок. Попадавшиеся навстречу люди в куртках и пончо в ответ на приветствия полицейских бурчали что-то невнятное или просто торопливо кивали головами. Литума и Карреньо прикрыли рты и носы шарфами, поглубже надвинули фуражки, чтобы их не унесло ветром, уже затянувшим свою заунывную песню, эхом отдававшуюся в горах. Они шагали, низко опустив головы и сильно наклонившись вперед. Неожиданно Литума остановился как вкопанный и с негодованием воскликнул:

— Ах, мать твою! С души воротит и к горлу подступает!

— Отчего, господин капрал?

— Оттого, что вспомнил беднягу немого, над которым вы измывались в Пампе-Галерас, чтоб вам... — Он направил фонарь на лицо своего помощника. — Тебя не грызет совесть за то, что вы там творили?

— Первое время я не мог найти себе места, — прошептал Карреньо, опустив голову. — Почему, вы думаете, я привез его в Наккос? Хотел хоть немного загладить свою вину. Хотя разве я виноват в том, что произошло? А здесь, с нами, ему было хорошо, мы его кормили, он имел крышу над головой, ведь так, господин капрал? Может быть, он меня простил. Может быть, понял, что, если остался бы там, в той пуне, его бы давно прикончили.

— По правде говоря, Томасито, лучше бы ты продолжал мне рассказывать о твоем приключении с Мерседес. От этой истории с немым я никак не могу прийти в себя.

— Я тоже хотел бы забыть ее, господин капрал.

— С чем только мне не пришлось столкнуться здесь, в Наккосе, — проворчал Литума. — Служить полицейским в Пьюре или в Таларе — это еще куда ни шло. Но тут, в горах, — просто наказание господне, Томасито. Да и неудивительно — кругом одни горцы.

— Разрешите спросить, почему вам так не нравятся горцы?

Они уже начали подниматься к посту, и поскольку были вынуждены еще сильней наклониться вперед, им пришлось снять с плеч карабины и нести их в руках. Чем дальше они отходили от поселка, тем темнее становилось вокруг.

— Ну ты вот, например, тоже горец, но я не могу сказать, что ты мне не нравишься. Ты мне очень даже пришелся по душе.

— Спасибо на добром слове, — засмеялся гвардеец. — Не подумайте, что люди из поселка держатся с вами так холодно потому, что вы с побережья. Нет, все дело в том, что вы полицейский. Ко мне они тоже относятся как к чужаку, хотя я ведь из Куско. Им вообще не нравятся люди в форме. Они боятся, что, если хоть немного сблизятся с ними, терруки посчитают их доносчиками.

— Да ведь и то правда: полицейскими становятся не от большого ума, — тихо сказал Литума. — Зарабатываешь гроши, все тебя сторонятся, и тебя же одним из первых подорвут динамитом.

— Но ведь некоторые из нас злоупотребляют своим положением, бросают тень на остальных.

— В Наккосе даже не придумаешь, как им злоупотребить, — с сожалением вздохнул Литума. — А, черт! Бедняга Педрито Тиноко! Мы даже не успели ему

заплатить за последнюю неделю, перед тем как его похитили.

Он остановился, достал сигарету, другую предложил помощнику. Чтобы прикурить, им пришлось тесно прижаться друг к другу и прикрыть фуражками огонь от ветра. Он налетал со всех сторон и выл, словно стая голодных волков. Закурив, полицейские снова тронулись в путь. Они шли медленно: прежде чем поставить ногу, приходилось осторожно ощупывать скользкие камни.

— Уверен, что в погребке после нашего ухода творятся мерзости, — сказал Литума. — А ты как думаешь?

— Меня там в любое время с души воротит, никогда бы туда не ходил. Но если это заведение закроется, можно будет подохнуть с тоски. Только и останется, что торчать на посту, негде будет даже перехватить глоток-другой. Но, конечно, там творятся всякие гнусности. Дионисио накачивает их, а потом они подставляют друг другу задницы. Можно я скажу вам одну вещь, господин капрал? Мне нисколько не жаль, когда я слышу, что сендеристы казнили какого-нибудь педика.

— Знаешь, Томасито, вообще-то мне немного жаль этих горцев. Хоть и поганый они народ, а мне их жаль. Что хорошего они видят в жизни? Вкалывают как ишаки и едва зарабатывают на хлеб. А если развлекаются немного, так что тут такого? Ведь в любую минуту могут нагрянуть терруки и отрезать им яйца или заявится лейтенант Панкорво и устроит им обработку.

— А что хорошего в нашей жизни, господин капрал? Но ведь мы не напиваемся как свиньи, не позволяем, чтобы нас засосала эта грязь.

— Пробудешь тут еще несколько месяцев — и кто знает, чем кончишь.

Земля была мокрой от дождя. Они шагали медленно. Долгое время никто не нарушал молчания.

— Может, ты сочтешь, что я суюсь не в свое дело, — заговорил первым Литума, — но ты мне нравишься, да и анисовой я, наверно, хватил больше, чем надо, поэтому я тебе скажу: сегодня ночью я слышал, как ты плачешь. — Он почувствовал, что парень сбился с шага, словно споткнулся обо что-то. — Мужчины тоже плачут. Так что ты не стыдись. Из-за слез еще не становятся бабой.

Они все поднимались в гору. Томас по-прежнему молчал. Капрал заговорил снова:

— Иногда меня берет такая тоска, я думаю: «Тебе не выбраться отсюда живым, Литума». И меня тоже тянет заплакать в голос, вот как ты плачешь. Да ты не смущайся. Я не хочу тебя обидеть. Просто я уже не в первый раз слышу твой плач. Третьего дня тоже слышал, хоть ты и уткнулся лицом в матрас и накрылся подушкой. Чего бы я только не сделал, чтобы ты так не мучился! Ты плачешь потому, что не хочешь умереть в этой дыре? Если поэтому, я тебя понимаю. Но может быть, ты так убиваешься из-за этой Мерседес, вспоминаешь ее? Ты мне рассказываешь о своей любви, делишься со мной как с другом, а потом раскисаешь. Может, не стоит больше говорить о ней? Может, лучше ее забыть, Томасито?

— Мне становится легче на душе, когда я говорю о Мерседес, — не сразу ответил помощник. Голос выдавал его смущение. — Так, оказывается, я плачу во сне? Что ж, значит, я не совсем еще зачерствел.

— Погасим фонари, — прошептал Литума. — Мне всегда кажется, что если нам устроят засаду, то как раз за этим поворотом.

Они вошли в Андамарку по двум дорогам, ведущим в эту деревню: одни поднялись от реки Негромайо, другие прошли через брод Пумарангры и обогнули Чипао. Но часть из них пришла третьим путем — по тропе, поднимавшейся от общины Кабана вверх по ущелью, промытому Поющим ручьем — так звучит это название в переводе со старого кечуа, на котором разговаривают в этих местах.

Они появились, едва забрезжил рассвет, еще до того, как крестьяне отправились работать на поля, а пастухи пасти стада, до того, как бродячие торговцы двинулись к Пукио или Сан-Хуану-де-Луканасу на юге или к Уанкасанкосу и Керобамбе. Они шли к Андамарке всю ночь, ночью же обложили ее со всех сторон и

дожидались рассвета, чтобы войти в нее. Они не хотели, чтобы кто-нибудь из их списка ускользнул, воспользовавшись ночной темнотой.

И все-таки один человек ускользнул, и как раз один из тех, кого они хотели казнить в первую очередь: представитель центральной администрации в Андамарке. Причем ускользнул таким необычным способом, что люди потом долго не могли поверить. А именно — благодаря ужасному расстройству желудка, не дававшему той ночью покоя дону Медардо Льянтаку, постоянно заставляя выбегать на улицу из единственной спальни в доме по соседству с кладбищем, в котором он жил вместе с женой, матерью и шестью детьми в конце улицы Хирон-Хорхе-Чавес, чтобы присесть с наружной стороны кладбищенской ограды. Там он и сидел, тужась и исходя жутким водянистым поносом, проклиная на чем свет стоит свой желудок, как вдруг заметил их. Они пинком открыли дверь дома, громко выкрикивая его имя. Он знал, кто они и чего хотят. Он ждал их с тех самых пор, как супрефект провинции едва не силой заставил его принять должность представителя центральной администрации в Андамарке. Не вспомнив даже о спущенных штанах, дон Медардо бросился на землю и, извиваясь как червь, пополз к кладбищу, юркнул в вырытую накануне могилу, сначала сдвинув, а потом поставив на место каменную плиту, служившую надгробьем. Скорчившись на холодном трупе дона Флориселя Аукатомы, своего двоюродного брата, он пролежал там все утро и весь день, ничего не видя, но слыша многое из того, что происходило в деревне, в которой он, строго говоря, представлял государственную власть.

Эти люди из милиции хорошо знали Андамарку или были хорошо проинформированы местными сообщниками. Они поставили посты у всех возможных выходов из деревни и принялись прочесывать пять параллельных рядов домишек, сгруппированных в прямоугольные кварталы вокруг церкви и площади. Одни из них были обуты в тапочки, другие в охоты, третьи вообще босы, поэтому они бесшумно двигались по улицам Андамарки, асфальтированным в центре и мощенным булыжником в квартале Хирон-Лима. Группами по три-четыре человека они врывались в дома и по списку хватали еще не успевших проснуться нужных им людей. Они взяли алькальда, мирового судью, начальника почты, владельцев трех складов с их женами, двух демобилизованных солдат, аптекаря, ростовщика дона Себастьяна Юпанки, а также двух техников, присланных Аграрным банком помочь крестьянам с удобрением и орошением. Пинками согнали их к площади у церкви, где уже дожидались остальные боевики.

К этому времени окончательно рассвело и можно было рассмотреть их лица — только трое или четверо остались в шлемах-пасамонтаньях. В основном отряд состоял из мужчин и юношей, но были среди них и женщины, и дети до двенадцати лет. Те, кто постарше, были вооружены автоматами, карабинами, револьверами, остальные — старыми охотничьими ружьями, дубинками, мачете, ножами, пращами. Некоторые, как шахтеры-подрывники, были опоясаны патронташами с динамитными патронами. Они водрузили красные флаги с серпом и молотом на церковную звонницу, на флагшток административного центра, а один флаг прикрепили к возвышавшемуся над деревней цветущему дереву писонай. Пока одни из них вершили суд, придерживаясь определенного ритуала — было видно, что они делали это не в первый раз, — другие расписывали стены Андамарки лозунгами. Лозунги призывали к вооруженной борьбе с империализмом, к народной войне, к следованию марксистско-ленинскому учению под руководством Гонсало, к борьбе с ревизионизмом, грозили смертью предателям и лакеям антинародного и антипролетарского режима.

Прежде чем начать суд, они исполнили на испанском и на кечуа гимн революционного пролетариата, возвещавший, что трудовой народ разобьет оковы. А так как местные жители не знали гимна, они смешались с толпой и, подсказывая слова и насвистывая мелодию, заставили их повторить его снова, куплет за куплетом.

Затем начался суд. Кроме тех, кто значился в их списке, перед судом — а судом была вся деревня — должны были предстать виновные в грабежах, в насилии над

слабыми и бедными, в супружеской неверности, в грехе эгоизма и индивидуализма.

Они говорили то на испанском, то на кечуа. У революции миллион глаз и миллион ушей. Ничто не может утаиться от народа, никто не сможет избежать наказания. Вот эти вонючие козлы попытались это сделать, а теперь стоят на коленях, моля о пощаде тех, кому вонзали нож в спину. Эти гиены служили марионеточному правительству, которое убивало крестьян, расстреливало рабочих, распродавало страну империалистам и ревизионистам и денно и нощно радело о том, чтобы богатые стали еще богаче, а бедные еще беднее. Разве эта мразь не обращалась к властям в Пукио, прося прислать отряд полиции якобы для охраны порядка в Андамарке? Разве не подбивали они соседей выдавать армейским патрулям тех, кто сочувствовал революции?

Они говорили по очереди, говорили спокойно, неторопливо разъясняли действительные и мнимые преступления, которые эти слуги правительства, с головы до ног запачканного кровью, эти пособники репрессий и пыток, совершили против всех вместе и каждого из здесь присутствующих в отдельности и против их детей и детей их детей. Они вразумляли жителей и призывали их выступать, говорить открыто, не боясь последствий, поскольку они находятся под защитой вооруженного народа. И мало-помалу, преодолевая смущение и застенчивость, подталкиваемые собственным страхом и всеобщей напряженностью, поддаваясь темным побуждениям, питаемым старыми ссорами, неизжитыми обидами, затаенной завистью, глухой ненавистью, жители осмелели и стали просить слова. Дон Себастьян, что и говорить, очень уж прижимист, никогда не пойдет навстречу тому, кто не может расплатиться за лекарство звонкой монетой. Если ему не возвращают деньги в срок — день в день, — он оставляет заклад себе, как его ни проси. Вот в тот раз, к примеру... Уже к полудню многие андамаркинцы отваживались выйти из толпы и вынести на общий суд свои жалобы или встречные обвинения против плохих соседей, друзей, родственников. Они воспламенялись, произнося свои речи, их голоса дрожали, когда они вспоминали об умерших детях, о павшем от засухи и болезней скоте, о том, что с каждым днем они выручали все меньше от продажи продуктов, а голод усиливался, болезни свирепствовали и все больше детских могил появлялось на кладбище.

Все обвиняемые были осуждены — каждый раз за приговор вздымался лес рук. Многие родственники обвиняемых не голосовали, но они были так напуганы выросшим как на дрожжах злобным возбуждением толпы, что не решались выступить в их защиту.

Осужденных казнили: их ставили на колени, заставляли класть голову на каменный бортик колодца и крепко держали, пока соседи, выстроившись в очередь, били их камнями, взятыми со стройки около административного центра. Люди из милиции не принимали участия в экзекуции. Ни разу не прогремел выстрел. Не обнажился нож. Не сверкнуло мачете. Только руки, камни и дубинки. Да и стоит ли расходовать народное добро на этих крыс и скорпионов. Действуя активно, принимая участие в народном правосудии, андамаркинцы придут к осознанию своей силы. Они перестанут быть жертвами, освободятся сами и будут освобождать других.

Потом начался суд над плохими гражданами, плохими мужьями и женами, над социальными паразитами, грязными выродками, проститутками и гомосексуалистами, над теми, кто позорит Андамарку, над всеми этими гниющими отбросами, которых подкармливает феодально-капиталистический режим, поддерживаемый американским империализмом и советским ревизионизмом, желающими усыпить боевой дух масс. Этому тоже придет конец. В очистительном огне Революции, которая охватит долины и горы, сгорит эгоистический буржуазный индивидуализм и зародится дух коллективизма и классовой солидарности.

Жители делали вид, что слушают с большим вниманием и все понимают. Но на самом деле они были настолько потрясены, что плохо понимали, что им говорят и что происходит, и так, растерявшись и плохо соображая, они приняли участие в последующем действе, которое останется в их памяти и памяти их детей и внуков как самое мрачное событие в истории Андамарки.

Первой поддалась призывам вооруженных людей и решилась поднять обвиняющий перст сеньора Домитила Чонтаса. Каждый раз, когда муж напьется, он бьет ее ногами, швыряет на пол, обзывает «чертовым отродьем». А он, сутулый, с жестким, как у дикобраза, хохолком, клялся, что все это враки, но потом не выдержал и, противореча себе, стал дрожащим голосом оправдываться, говоря, что, когда выпьет, в него вселяется нечистая сила и возбуждает в нем бешеную злобу и он не может избавиться от наваждения иначе, как колотя жену. Сорок ударов кнутом — и его спина вспухла и покрылась кровавыми рубцами. Но не столько боль, сколько страх слышался в его клятвенных заверениях, что никогда больше он не возьмет в рот ни капли алкоголя, и в его униженных благодарностях — «спасибо вам, большое спасибо», — которые он расточал соседям, выпоровшим его кнутами. Жена волоком потащила его домой — делать примочки.

Всего судили в тот день человек двадцать — мужчин и женщин, им выносили приговоры и секли или накладывали штраф, заставляли вернуть незаконно присвоенное добро или возместить ущерб тем, кому недоплатили за работу либо обманули лживыми посулами. Какие из этих обвинений были справедливыми, а какие наветами, порожденными завистью, злобой или всеобщим возбуждением, когда каждый стремился превзойти остальных, вспоминая и выискивая притеснения и обиды, жертвой которых он стал? Они и сами не смогли бы ответить на этот вопрос. В середине дня судили дона Крисостомо, когда-то он был звонарем, еще в те времена, когда андамаркская колокольня имела колокола, а церковь — священника. Одна женщина заявила, что однажды застала его за деревней с мальчиком, с которого он спускал штаны. Другие подтвердили обвинение. Вот именно. Вечно давал волю рукам, вечно норовил походя ущипнуть какого-нибудь мальчишку, затащить к себе домой. В наэлектризованной тишине один из мужчин прерывающимся от волнения голосом поведал, что, когда он был ребенком, дон Крисостомо использовал его как женщину. Тут и другие вспомнили подобные случаи и рвались рассказать их. Звонарь был осужден на казнь, его забили камнями и палками, а труп бросили в общую кучу казненных по списку.

Уже темнело, когда закончился суд. Воспользовавшись затишьем, дон Медардо Льянтак отодвинул надгробную плиту, выполз из могилы и опрометью, словно уносимая дьяволом душа, бросился бежать в сторону Пукио. Через полтора дня, еле живой, он добрался до столицы провинции и, заикаясь от ужаса, рассказал о том, что произошло в Андамарке.

Усталые, обескураженные андамаркинцы избегали смотреть друг на друга, они чувствовали себя, как после храмового праздника, когда в течение трех дней и ночей, не смыкая глаз, они пили, ели, плясали, отбивали чечетку и молились, не желая даже вспоминать о том, что это безудержное веселье когда-нибудь все равно кончится и снова придется впрягаться в лямку будничной жизни. Но теперь они были удручены несравненно больше. С глубоким беспокойством смотрели они на неубранные трупы, над которыми роились мухи. Разбитые лица и распоротые кнутами спины уже тронуло разложение. Всем было ясно, что больше никогда Андамарка не будет такой, какой была раньше.

А неутомимые бойцы милиции, сменяя друг друга, все еще обращались к ним с призывами. Теперь надо организоваться. Победа Революции невозможна без участия широких масс, спаянных железной дисциплиной. Андамарка станет базой поддержки, еще одним звеном в цепи, уже опоясавшей всю Андскую Кордильеру, захватившей своими ответвлениями и побережье, и сельву. Базы поддержки — это тыл авангарда. Они, как указывает их название, нужны для того, чтобы поддерживать борцов: кормить их, лечить, прятать, одевать, вооружать, информировать о противнике, а также чтобы готовить замену тем, кому выпал жребий отдать в борьбе свою жизнь. Перед всеми жителями Андамарки стоит важная задача, они должны выполнить ее и внести свою толику в общее дело. Им надлежит составить подразделения — по кварталам, улицам, семьям — и добавить новые глаза, уши, руки, ноги, мозги к тому миллиону, которым уже располагала Партия.

Была уже ночь, когда жители выбрали пятерых мужчин и четырех женщин, ответственных за формирование подразделений. Чтобы на первых порах помочь в организационных вопросах и обеспечить связь с руководством, в Андамарке остались товарищ Тереса и товарищ Хуан. Они должны были смешаться с местным населением, жить так, будто они родились здесь и имели своих покойников на кладбище.

После всех этих дел люди из отряда приготовили еду, поужинали и разошлись спать по домам андамаркинцев. А тем было не до сна, многие из них этой ночью так и не смогли сомкнуть глаз, они не могли собраться с мыслями и были напуганы тем, что сделали, что видели и слышали в течение дня.

На рассвете состоялось новое общее собрание. Выбирали юношей и девушек, которые должны были пополнить ряды милиции. Бойцы пели свои песни, раздавались боевые кличи, развевались красные флаги. Потом они разбились на отряды, которыми они вошли в деревню, и жители наблюдали, как они уходят, одни — вброд через речку Негромайо, другие — в сторону Чипао и Пумарангры, теряясь среди зеленых пашен и каменных россыпей под буро-свинцовыми горами.

Объединенный отряд военной и гражданской полиции прибыл в Андамарку ровно через двое суток после ухода сендеристов. Командовал отрядом прапорщик — бритый мускулистый молодой человек в темных очках, подчиненные за глаза называли его «Грабли». С ними вернулся и дон Медардо Льянтак, выигравший несколько лет жизни и потерявший несколько килограммов веса.

Непогребенные тела казненных андамаркинцев все еще валялись на площади. Чтобы отогнать стервятников, жители развели костер, но, несмотря на огонь, несколько дюжин грифов сидели поодаль, дожидаясь своего часа, а мух было больше, чем на бойне, когда туда пригоняют скот. Когда дон Медардо и прапорщик спрашивали жителей, почему до сих пор не похоронили мертвых, те не знали, что ответить. Никто не осмеливался проявить инициативу, даже родственники жертв, все были парализованы страхом — боялись, что навлекут новое нашествие милиции, если коснутся своих мертвецов, решатся предать земле тела людей, которым совсем недавно разбивали головы и лица, ломали кости, как самым злейшим, самым смертельным врагам.

Так как в Андамарке больше не было гражданского судьи — он оказался среди тех, кого казнили по списку, — прапорщик распорядился, чтобы Медардо Льянтак сам составил акт обо всем случившемся и чтобы несколько жителей подписали его в качестве свидетелей. Потом отнесли трупы на кладбище, вырыли могилы и похоронили. И только тогда родственники убитых наконец ощутили боль и ярость. Плакали вдовы, дети, братья и сестры, племянники, приемные дети, рыдали, обнимались, потрясали кулаками, требовали возмездия.

Сразу после того как дезинфицировали площадь, вылив на нее несколько ведер креозота, прапорщик стал собирать свидетельские показания. Он засел в административном центре и вызывал туда семью за семьей. Он расставил посты на всех выходах из Андамарки и приказал никого не выпускать без его разрешения. Однако товарищ Хуан и товарищ Тереса уже успели ускользнуть, они скрылись сразу, как только разнеслась весть, что к Андамарке по дороге из Пукио приближается отряд.

Родственники убитых входили в комнату, где сидел прапорщик, и через двадцать-тридцать минут выходили оттуда, опустив головы, заплаканные, смущенные, будто сказали там что-то лишнее, то, чего не следовало говорить, и теперь раскаиваются в этом.

В Андамарке воцарилась мрачная тишина. За молчанием и хмурыми лицами люди скрывали страх и неуверенность, однако их внутреннее состояние выдавало бесцельное времяпровождение: они ничего не могли делать, только бродили до поздней ночи, как лунатики, по улицам. Многие женщины весь день молились в полуразрушенной церкви — ее свод обрушился при последнем землетрясении.

Прапорщик опрашивал людей целый день и часть ночи, не сделав даже пере-

рыва на обед, он просто приказал принести тарелку супа с мясом и прихлебывал его, не прекращая дознания. Одна из немногих новостей этого необычного дня состояла в том, что вновь объявившийся дон Медардо Льянтак сидел рядом с прапорщиком очень взволнованный и давал ему информацию о каждом, кого тот вызывал, и вмешивался в допрос, требуя имена, детали.

А ночью вымученное спокойствие Андамарки лопнуло. В домах, на улицах и перекрестках, на площади — везде, где собирался народ, чтобы расспросить тех, кого вызывал прапорщик, начали вспыхивать ссоры, перебранки, раздались оскорбления и угрозы. Вскоре пошли в ход кулаки и ногти. Полицейские ни во что не вмешивались то ли потому, что получили такой приказ, то ли потому, что не имели никакого приказа на этот счет и не знали, как относиться к стычкам, в которые втянулись уже все жители. Безразлично или с презрением они смотрели на этих людей, обзывавших друг друга убийцами, прихвостнями, террористами, предателями, и, когда те от брани переходили к драке, не делали ни малейшей попытки разнять их.

Те, кого вызвали на допрос, старались умалить свою ответственность единственно возможным способом — расписывая вину других; таким образом прапорщик смог в общих чертах восстановить, как проходило судилище, и уже на следующий день пятеро мужчин и четыре женщины, ответственные за базу поддержки, были взяты под стражу в административном центре.

В полдень прапорщик собрал всех жителей Андамарки на площади — там на месте казни еще копошились грифы — и произнес речь. Не все хорошо понимали быстрый разговорный испанский язык побережья, на котором говорил прапорщик, но даже те, кто почти ничего не разобрал, без труда догадались, что он их отчитывает. За сотрудничество с террористами, за участие в этой пародии на суд, за то, что они были исполнителями позорной и преступной казни.

«Всю Андамарку следует судить и подвергнуть суровому наказанию», — повторил он несколько раз. Затем спокойно, но без всякого сочувствия выслушал невнятные и путаные оправдания жителей: дескать, все было не так, никто ни в чем не виноват, все случившееся — дело рук террористов. Они нас принуждали: приставляли автоматы и пистолеты к виску, говорили, что отрубят детям головы, как свиньям, если мы не будем бить осужденных камнями. Жители противоречили друг другу, спорили и в конце концов стали осыпать друг друга бранью. Прапорщик смотрел на них с жалостью.

Отряд целые сутки оставался в Андамарке. Вечером и ночью полицейские переписывали и конфисковывали имущество — ценные бумаги, украшения, кошельки и завернутые в бумагу деньги, которые они находили под матрасами, в двойном дне баулов и шкафов. Но никто из жителей не решался пожаловаться прапорщику, что их обобрали дочиста.

На следующее утро, когда отряд готовился покинуть деревню, захватив с собой арестованных, дон Медардо Льянтак на глазах всей деревни поспорил с офицером. Он требовал, чтобы несколько полицейских остались в Андамарке. Но прапорщик имел приказ вернуться в столицу провинции в полном составе. Жители сами должны позаботиться о своей защите, нести караульную службу.

— Но у нас нет оружия, прапорщик! — надрывался Медардо Льянтак. — Мы, значит, будем с палками, а они с винтовками? Так нам прикажете защищаться?

Прапорщик ответил, что переговорит со своим начальством. Попробует убедить его снова открыть здесь полицейский пост, закрытый примерно год назад. А затем отряд ушел, уводя с собой связанных в цепочку арестованных.

Спустя некоторое время родственники задержанных отрядом андамаркинцев добрались до Пукио, но власти не могли даже приблизительно ответить на их вопросы. Ни в одном полицейском участке не было никаких сведений о группе арестованных из Андамарки. Что же касается молодого прапорщика по прозвищу Грабли, он, по-видимому, получил новое назначение, поскольку в Пукио такого не было и никто из офицеров его не знал. Вот тогда-то дон Медардо Льянтак с женой исчез-

ли из деревни, не сказав, куда направляются, ни своим детям, ни матери дона Медардо Льянтака.

— Я знаю, что ты уже проснулся и тебе до смерти хочется продолжить свой рассказ. Ладно, Томасито, я тебя слушаю.

Грузовик добрался до Уануко уже вечером, спустя двадцать часов после того, как выехал из Тинго-Марии. Два раза у него лопались камеры на размытой дождями дороге, и Томас спускался из кузова помочь шоферу. На подъезде к Акамайо, у шлагбаума, Томас и Мерседес, притаившись за мешками с фруктами, слышали, как полицейский спросил шофера, сколько пассажиров он везет, и тот ответил: «Ни одного». Они останавливались еще два раза — позавтракать и пообедать в придорожных закусочных. Томас и Мерседес выходили вместе с водителем, но не обменивались с ним ни словом. Он высадил их перед Центральным рынком.

— Я поблагодарил его за то, что он не выдал нас на контрольном пункте у Акамайо, — сказал Томас. — Кажется, он поверил, что мы скрываемся от ревнивого мужа.

— Если вы скрываетесь от кого-нибудь, то не задерживайтесь здесь, — посоветовал шофер. — Всю коку из сельвы везут этой дорогой, поэтому в городе полно сыщиков, ищут наркотики.

Он махнул на прощанье рукой и уехал. Уже стемнело, но огни на улицах еще не зажигались. Многие закусочные на рынке были закрыты, в остальных посетители ели при свете свечей. Пахло растительным маслом, жареным мясом и картофелем, лошадиным навозом.

— Я чувствую себя вконец разбитой, — сказала Мерседес. — Будто у меня все кости переломаны. К тому же затекли руки и ноги. А главное — я умираю от голода.

Она зевала и зябко потирала руки. Ее цветастое платье было испачкано грязью.

— Поищем, где можно отоспаться, — откликнулся на ее слова Карреньо. — Я тоже валюсь с ног от усталости.

— Ну и хитрец, здорово придумал, — восхищенно протянул Литума. — Отоспаться — переспать, а, Томасито?

Они расспрашивали людей, склонившихся над дымящимися тарелками супа, и мало-помалу выяснили, где можно найти скромную гостиницу или пансионат. Идти приходилось с осторожностью: на тротуарах повсюду спали нищие и бродяги, на темных улицах их облаивали злобные собаки. Пансионат «Лусиндо», который упоминали в закусочных, им не понравился, он был расположен рядом с полицейским участком. Но тремя кварталами дальше им приглянулся отель «Леонсио Прадо», двухэтажное здание с оштукатуренными стенами, жестяной крышей, украшенное игрушечными балкончиками, с баром-рестораном на первом этаже.

— Служащая спросила у меня карточку избирателя [1], у Мерседес спрашивать не стала, но потребовала, чтобы мы заплатили вперед. — Томас начал увязать в деталях. — Она не обратила внимания на то, что мы были без багажа. А пока готовила нам номер, мы должны были ждать в коридоре.

— Один номер? — еще больше оживился Литума. — С одной кроватью на двоих?

— В ресторане никого не было, — продолжал Томас, не слушая его и все более углубляясь в детали. — Мы заказали суп и содовую. Мерседес все еще зевала и растирала руки.

— Знаешь, что будет обиднее всего, если терруки убьют нас сегодня ночью, Томасито? — перебил Литума. — Обиднее всего будет уйти из этой жизни, так и не увидев здесь ни одной голой бабы. С тех пор как я попал в Наккос, я живу, как кастрат. Для тебя, похоже, это не так важно, тебе достаточно воспоминаний о пьюранке, верно?

— Только этого не хватало, кажется, я заболеваю, — пожаловалась Мерседес.

---

[1] Карточка (удостоверение) избирателя нередко используется в Перу как удостоверение личности.

— Отговорка! — возмутился Литума. — Ты ведь не поверил ей?

— Тебя растрясло в грузовике. Съешь суп, поспишь — и придешь в себя, — подбодрил ее Томас.

— Хорошо бы, — пробормотала она. Ее уже колотила дрожь, и, пока не принесли еду, она не открывала глаз.

— Зато я мог рассматривать ее в полное свое удовольствие.

— А я до сих пор не могу ее представить, — вздохнул Литума. — Не вижу ее. Мне не помогает, когда ты говоришь «Она замечательная» или «Она потрясающая». Опиши что-нибудь конкретное, какая она из себя.

— Лицо довольно полное, скулы — как два яблока, губы пухлые, нос точеный, — тотчас же откликнулся Томас, будто ждал этого вопроса и заранее уже подготовил ответ. — А когда она говорит, ноздри слегка шевелятся, как у собачки. От усталости под глазами появляются синие круги, и тогда кажется, что это тени от ее длинных ресниц.

— Ну и ну, вы только посмотрите! Да она тебя разгорячила, как того бычка, — восхитился Литума. — Ты и сейчас еще не остыл, Томасито.

— И хотя волосы ее растрепались, губная помада и краска на лице стерлись и вся она была покрыта дорожной пылью, несмотря на все это, господин капрал, она нисколько не подурнела, — никак не мог покончить с этой темой Томас. — Несмотря ни на что, она осталась потрясающе красивой, господин капрал.

— У тебя по крайней мере есть воспоминания о Мерседес — хоть какое-то утешение. — В голосе Литумы сквозила грусть. — А у меня нет ничего такого, чтобы вспомнить о Пьюре. Нет ни одной женщины ни в Пьюре, ни в Таларе, да и вообще нет ни одной женщины в мире, по которой я бы тосковал.

Они в молчании съели суп, и им принесли пирог с рисом, который они не заказывали, но они заодно съели и его.

— Вдруг ее глаза наполнились слезами, хотя она изо всех сил старалась не плакать, — продолжал Томас. — Она вся дрожала, и я знал почему — она думала о том, что с нами будет. Я хотел ее утешить, но не знал как. Будущее мне тоже казалось мрачным.

— Закругляйся с этой частью и переходи прямо к постели, — попросил Литума.

— Вытри слезы. — Карреньо протянул ей носовой платок. — Я позабочусь о тебе, все будет хорошо, клянусь тебе.

Мерседес вытерла глаза, но ничего не сказала. Их комната была на втором этаже, в конце коридора, кровати разделяла деревянная табуретка, заменявшая тумбочку. Лампочка, болтавшаяся на оплетенном паутиной шнуре, едва освещала грязные потрескавшиеся стены и доски пола, скрипевшие под ногами.

— Дежурная дала нам два полотенца и кусок мыла, — Томас все ходил вокруг да около, — и сказала, что, если мы хотим искупаться, надо сделать это сейчас, потому что днем вода до второго этажа не доходит.

Дежурная вышла, вслед за ней вышла и Мерседес, перекинув через плечо полотенце. Прошло довольно много времени, прежде чем она вернулась. Томас в ожидании ее прилег на кровать, лежал не двигаясь, напряженный, как натянутая гитарная струна, и при ее появлении испуганно вскочил. Голова Мерседес была обернута полотенцем, платье расстегнуто, туфли она держала в руках.

— Замечательный душ. Я прямо воскресла от холодной воды.

Он взял полотенце и тоже пошел мыться.

— Да ты рехнулся! — Литума был возмущен. — А если бы пьюранка в это время уснула?

Душ оказался просто краном, но вода из него била упругой струей и действительно была холодной. Томас намылился, растер тело и почувствовал, как уходит усталость. Закрыл кран, энергично вытерся, обмотал полотенце вокруг пояса. В темном коридоре отыскал дверь в их номер. Положил одежду на комод, рядом с вещами Мерседес. Добрался на ощупь до пустой кровати и нырнул под одеяло. Понемногу глаза привыкли к темноте. Замер, сдерживая волнение. Прислушался, уловил

ее дыхание. Она дышала медленно, глубоко, ровно. Уже спала? Вдруг ему показалось, что он чувствует запах ее тела близко, совсем рядом. Сердце тревожно сжалось, он глубоко вздохнул. А может быть, пойти к крестному отцу, постараться объяснить ему все? «Так вот как ты отплатил мне за мою заботу, дерьмо ты собачье». Нет, ничего не поделаешь, придется удирать за границу.

— Я думал сразу обо всем и ни о чем в отдельности, господин капрал. — Голос помощника дрогнул. — Хотелось курить, но я не вставал, чтобы не разбудить ее. Было странно лежать в кровати так близко от нее. И думать: «Стоит протянуть руку, и я ее коснусь».

— Ну давай же, давай, — подгонял его Литума. — Не тяни резину.

— Ты сделал это, потому что я тебе понравилась? — неожиданно спросила Мерседес. — Уже когда ты с Толстяком пришел встречать меня в аэропорту Тинго-Марии, да? Ты положил на меня глаз?

— Я видел тебя раньше, — шепотом ответил Томас, с трудом выговаривая слова, ему даже показалось, что заболел рот. — В прошлом месяце, когда ты приезжала в Пукальпу провести ночь с Боровом.

— Так это ты охранял нас в Пукальпе? Вот почему мне показалось знакомым твое лицо, когда я увидела тебя в Тинго-Марии.

— На самом деле она не помнила, что это я встречал ее в Пукальпе, — сказал помощник Литумы. — Что это я охранял там дом между рекой и лесопилкой. Всю ночь. И слушал, как он ее бьет. А она его умоляет.

— Если все это в конце концов не кончится тем, что ты ей вставишь, то я просто не знаю, что с тобой сделаю, — предупредил Литума.

— Теперь ясно, почему твое лицо мне показалось знакомым, — продолжала она. — Конечно, это был ты. Но это значит, что причины твоего поступка не возмущение и не религия. Ты потерял голову от ревности. Ты ведь поэтому застрелил его, Карреньито?

— У меня горело лицо, господин капрал. Если она и дальше будет говорить так, я дам ей пощечину, чтобы она замолчала, подумал я.

— Выходит, ты влюбился в меня! — заключила она сердито и одновременно сочувственно. — Теперь до меня дошло. Вы, мужчины, когда влюбляетесь, становитесь просто сумасшедшими. Мы, женщины, куда холоднее.

— Ты много повидала, знаешь жизнь, — откликнулся наконец Томас. — Но мне не нравится, что ты говоришь со мной как с мальчиком в коротких штанишках.

— А ты и есть мальчик в коротких штанишках. — Она засмеялась, но тут же стала серьезной и снова заговорила, выделяя каждое слово: — Если я тебе и впрямь понравилась, если ты влюбился в меня, почему же ты мне ничего не сказал? Ведь я тут, около тебя.

— И она была совершенно права! — воскликнул Литума. — Почему ты медлил? Чего ты дожидался, Томасито?

Раздался яростный лай собак — и они замолчали. Послышалось «Цыц, проклятые!» и удар камня. Собаки умолкли. Парень услышал, как она встает, и весь покрылся испариной: она направлялась к нему. Через секунду рука Мерседес коснулась его волос.

— Что, что ты говоришь? — Литума поперхнулся.

— Почему ты не лег со мной, когда вернулся из душа, Карреньито? Разве ты не хотел этого? — Рука Мерседес опустилась к его лицу, погладила щеки, скользнула на грудь. — Как оно бьется! Тук-тук-тук. Ты такой странный. Ты стесняешься? У тебя какие-нибудь проблемы с женщинами?

— Что-что-что? — повторял Литума, садясь на кровати и стараясь рассмотреть в темноте лицо Томаса.

— Я бы никогда не обращался с тобой так, никогда бы пальцем тебя не тронул, — прошептал парень, сжимая и целуя руку Мерседес. — А кроме того...

— Ты меня разыгрываешь, — недоверчиво пробурчал Литума. — Не может быть, не может того быть.

— Я никогда не был с женщиной, — решился наконец сказать Томас. — Можешь смеяться, если хочешь.

Мерседес не засмеялась. Карреньо почувствовал, как она поднимает одеяло, и подвинулся, освобождая место. Когда ее тело оказалось рядом, он обнял ее.

— Девственник в двадцать три года? — хмыкнул Литума. — Не знаю, что ты делаешь в полиции, молокосос.

Он целовал ее волосы, шею, глаза и слышал, как она тихо сказала:

— Кажется, теперь я понимаю, Карреньито.

IV

Продвинулась ли эта дорога вперед? Литуме показалось, что она, наоборот, отступила назад. За те месяцы, что он провел здесь, строительство останавливалось уже три раза, и каждый раз события повторялись, как на заигранной пластинке. Правительство направляло строительной компании ультиматум, и в конце недели или месяца работы прекращались. Профсоюз проводил общее собрание, пеоны занимали служебные помещения, захватывали технику и требовали гарантий. Инженеры куда-то исчезали, поселок оказывался в руках бригадиров и бухгалтера, которые поддерживали забастовщиков и по вечерам сидели с ними у общего котла на пустой площадке среди бараков. Все происходило спокойно, никаких беспорядков, так что капралу и его помощнику не приходилось вмешиваться. Забастовки заканчивались загадочно — без сколько-нибудь ясного решения о дальнейшей судьбе строительства. Просто компания или представитель правительства, присланный уладить разногласия, обещали никого не увольнять и оплатить рабочим все дни простоя, после этого работы возобновлялись как в замедленной киносъемке. При этом Литума готов был поспорить, что начинали строители не там, где кончили, а с уже пройденного места. То ли из-за обвалов и оползней, вызванных взрывами в горах, то ли из-за проливных дождей и наводнений, размывавших полотно и насыпь, или по какой-то другой причине, только рабочие, как казалось капралу, взрывали динамит, разравнивали полотно, насыпали и утрамбовывали гравий и укладывали асфальт там же, где он застал их, когда приехал в Наккос.

Он стоял высоко над каменистым склоном, у самой кромки снегового покрова, в полутора километрах от поселка; в чистом утреннем воздухе хорошо были видны поблескивающие на солнце оцинкованные крыши бараков. «У входа в заброшенную шахту», — сказал тот тип Томасу. Вот он, этот вход, наполовину заваленный прогнившими деревянными брусьями, служившими когда-то подпорками в штольнях, и камнями. А если его просто заманили в засаду? Если все это придумано для того, чтобы разъединить его и Карреньо? Их схватят поодиночке, будут пытать и убьют. Литума представил свой труп — изрешеченный пулями, весь в кровоподтеках, с вывернутыми руками и ногами и с табличкой на груди, на которой красными буквами написано: «Так подохнут все псы буржуазии». Он достал из кобуры свой «смит-вессон» тридцать восьмого калибра и осмотрелся: камни, небо, несколько белых облачков вдали. Но ничего живого, ни одной птички вокруг, черт подери.

Человек, который накануне говорил с Томасито, подошел к нему сзади, когда тот смотрел футбольный матч между командами пеонов, и, сделав несколько общих замечаний по ходу игры, шепнул: «Кое у кого есть сведения о пропавших. Их могли бы сообщить капралу лично. Но за вознаграждение. Идет?»

— Не знаю, — ответил Карреньо.

— Улыбайтесь, — добавил тип. — Смотрите на мяч, следите за игрой, чтобы никто ничего не заметил.

— Хорошо, — сказал Томас. — Я передам командиру.

— Пусть приходит завтра утром, на заре, к заброшенной шахте, один, — объяснял тип, жестикулируя и всем своим видом показывая, будто переживает перипетии игры. — Смейтесь, следите за мячом. И главное: забудьте обо мне.

Вернувшись на пост, Карреньо, захлебываясь от волнения, рассказал капралу о разговоре.

— Наконец хоть какая-то зацепка, господин капрал.

— Посмотрим, Томасито. Все может быть. Как ты думаешь, кто он такой, этот тип?

— Похож на пеона. Раньше я его, по-моему, не видел.

Капрал вышел затемно и встретил восход солнца уже по дороге на шахту. Поднимался он к ней довольно долго. Первое возбуждение уже улеглось. Даже если это и не западня, то вполне возможно, что все окажется дурацкой шуткой какого-нибудь чертова горца, едрена мать, которому захотелось посмеяться над капралом. Вот он, полюбуйтесь, стоит как болван, с револьвером в руке, дожидаясь неизвестно чего и кого.

— Доброе утро, — неожиданно раздался голос сзади.

Он резко обернулся, вскинув свой «смит-вессон», — перед ним стоял Дионисио, хозяин погребка.

— Что вы, что вы! — Дионисио улыбался и успокаивающе махал руками. — Опустите ваш револьвер, господин капрал, не ровен час выстрелит.

Да, это он, низенький, крепко сбитый живчик в неизменном синем свитере с вытертым под подбородком воротником. Эти толстые, точно вымазанные сажей щеки, эти позеленевшие зубы, клок сивых волос надо лбом, воспаленные пьяной лихорадкой глазки и руки, как мельничные крылья, — он! Литума вышел из себя. Что ему здесь надо?

— Не стоило подкрадываться ко мне, — процедил он сквозь зубы. — Так недолго и пулю схлопотать.

— Да, все мы здесь нервные. И немудрено, когда вокруг творится такое, — как всегда, вкрадчиво заговорил Дионисио. Его медоточивый голос и заискивающая манера речи не вязались, однако, с уверенным и даже презрительным взглядом маленьких водянистых глаз. — А больше всего нервничают полицейские. Оно и понятно. Как же иначе.

Литума всегда испытывал неодолимую неприязнь к Дионисио, а в этот момент и вовсе был не склонен верить ему. Тем не менее он постарался не выдать своих чувств. Шагнул к трактирщику, протянул руку:

— Я здесь жду кое-кого, так что вам придется уйти.

— Вы ждете меня, — засмеялся Дионисио. — Вот я и явился.

— Вы не тот, кто говорил вчера с Томасито.

— Забудьте о нем, заодно забудьте и мое имя, и мое лицо. — Хозяин погребка опустился на корточки. — Вы лучше тоже присядьте, нас могут заметить снизу. Наша встреча секретная, никто не должен знать о ней.

Литума сел на плоский камень.

— Так, значит, вы можете сообщить какие-то сведения о троих пропавших?

— Из-за этой встречи я рискую шкурой, господин капрал, — вполголоса сказал Дионисио.

— Все мы здесь каждый день рискуем шкурой, — так же тихо уточнил Литума. Высоко в небе появился темный силуэт птицы. Она парила прямо над ними, зависла на одном месте с распластанными крыльями, поддерживаемая невидимым восходящим потоком теплого воздуха. На такой высоте летают только кондоры. — Животные и те тут рискуют, бедняги. Вы слышали об этой семье в Уанкапи? Там, говорят, казнили не только людей, но и собак.

— Вчера в погребок заходил человек, который был в Уанкапи, когда пришли терруки, — с готовностью и даже, как показалось Литуме, радостно подхватил Дионисио. — Они устроили там свой обычный народный суд. Кому повезло — отделались поркой, а другим размозжили головы.

— Не хватает только, чтобы они начали пить кровь и есть сырое человечье мясо.

— Дойдем и до этого, — уверенно сказал Дионисио, и Литума уловил зловещий огонек, вспыхнувший в его глазах. «Того и гляди, накаркает, ворон», — мелькнуло в голове.

— Ладно, вернемся к здешним делам, — сказал он вслух. — Если вы разбира-

етесь в этой чертовщине, растолкуйте мне, что все это значит, буду вам благодарен. Эти исчезновения. Я прямо как в лесу. Видите, я говорю с вами откровенно. Их убили сендеристы? Или увели? Надеюсь, вы не будете, как донья Адриана, рассказывать мне сказки о духах гор.

Дионисио, не глядя на Литуму, водил по земле прутиком. Взгляд Литумы опять зацепился за синий свитер и клок седых волос. Горцы редко бывают седыми. Даже у дряхлых, скрюченных стариков, которые усыхают до такой степени, что становятся похожими на детей или карликов, даже у них волосы остаются черными. Ни лысины, ни седины. Наверное, из-за климата. А может, из-за лошадиных доз коки, которую они жуют не переставая.

— Ничто не делается за спасибо. — Хозяин погребка говорил очень тихо, почти шепотом. — Если я открою то, что знаю, в Наккосе поднимется переполох. Полетят головы. Сообщая эти сведения вам, я рискую жизнью. Разве это не заслуживает благодарности? Вы меня понимаете?

Литума похлопал по карманам, ища сигареты. Предложил закурить Дионисио. Закурил сам. Заговорил осторожно:

— Не буду вас обманывать. Если вы хотите получить за вашу информацию деньги, у меня нет такой возможности, я не смогу заплатить вам. Вы ведь видите, в каких условиях мы живем, я и мой помощник. Хуже пеонов, не говорю уж о бригадирах. Я мог бы запросить начальство в Уанкайо. Да они не скоро ответят, если ответят вообще. Мой запрос пойдет по радио компании, а это значит, обо всем узнает радист, то есть, считайте, весь Наккос. И в конце концов мне ответят что-нибудь вроде: «Этому типу, который требует вознаграждения, оторви яйцо, тогда он сразу заговорит. Не заговорит — оторви другое. А будет и дальше молчать — воткни ему в жопу штык».

Дионисио зашелся от смеха, захлопал в ладоши. Литума тоже засмеялся, но неохотно. Парившая в высоте птица в крутом вираже пошла вниз, величественно описала дугу над их головами и, как бы выражая презрение к тому, что увидела, стала удаляться. Кондор, точно. Литума знал, что в некоторых деревнях Хунина во время храмовых праздников горцы привязывают пойманных кондоров к быкам, чтобы они клевали их во время корриды. Впечатляющее, должно быть, зрелище.

— Вы хороший полицейский, — отсмеявшись, сказал Дионисио. — Это признают все в поселке. Вы не злоупотребляете своей властью. Многие на вашем месте вели бы себя иначе. И заметьте: это вам говорит человек, который знает сьерру как свои пять пальцев. Я исходил ее всю — вдоль и поперек.

— Я пришелся пеонам по душе? Неудивительно! Что они могут иметь против меня? — Литума улыбнулся. — Мне с ними делить нечего, ведь я до сих пор дружком не обзавелся в поселке.

— Вы и ваш помощник пока живы — вот лучшее доказательство, что вас уважают. — Дионисио сказал это так просто, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся, например: вода, известное дело, жидкая, а ночь — темная. Он снова повозил по земле прутиком и добавил: — А к этим троим, наоборот, ни у кого не лежала душа. Знаете ли вы, кстати, что Деметрио Чанка вовсе не Деметрио Чанка, это его ненастоящее имя.

— Как же его зовут на самом деле?

— Медардо Льянтак.

Они молча курили. У Литумы от нетерпения начало зудеть тело. Дионисио все разнюхал, все выведал. Сейчас он тоже узнает правду. Узнает наконец, что сделали с похищенными. Безусловно, что-то ужасное. Кто их похитил? И почему? А этот пьянчужка-перевертыш, вне всякого сомнения, был сообщником. День между тем разгорался. Приятная теплота сменила утреннюю свежесть. Воздух, удивительно прозрачный, позволял рассмотреть далеко внизу мельтешащие фигурки пеонов.

— Я хотел бы узнать, что с ними произошло. И был бы очень вам благодарен, если бы вы рассказали об этом. Рассказали все. Без утайки. Это дело не дает мне покоя. И по какой причине Медардо Льянтак взял имя Деметрио Чанка.

— Он сменил имя потому, что скрывался от терруков. А может быть, и от полиции. В Наккосе, он думал, до него никто не доберется. Говорят, как бригадир он был большой зануда.

— Значит, его убили, и тут уже ничего не попишешь. Они все погибли, да? Их убили терруки? В поселке много сендеристов?

Дионисио сидел опустив голову и все еще водил прутиком по земле. Литума смотрел на седой клок, резко выделявшийся среди темных спутанных волос. Ему вспомнилась попойка в переполненном погребке в День Отечества. Дионисио, кругленький, как виноградина, с дурным блеском в глазах, призывал своих посетителей танцевать, мужчину с мужчиной — любимое его занятие, которому он предавался каждой ночью. Он переходил от столика к столику, приплясывал, подпрыгивал, изображал медведя и вдруг неожиданно спустил брюки. Литума снова услышал смех доньи Адрианы, хохот пеонов и снова увидел дебелые лоснящиеся ягодицы хозяина погребка. Как и той ночью, горло стиснула спазма отвращения. Интересно, какие мерзости творились в погребке после того, как они с Томасито ушли оттуда? Голова с седой прядью кивнула, прут оторвался от земли, описал в воздухе полукруг и застыл, указывая на вход в шахту.

— Они здесь? В этой штольне? Все три трупа?

Дионисио ничего не ответил. Пухлая рука опустилась и снова принялась чертить на земле узоры, на этот раз с явным раздражением.

— Я бы вам не советовал лезть туда искать их, — ответил он наконец, и Литуме в его любезном предупреждении послышался какой-то подвох. — Эти штольни и штреки держатся только чудом. Один неосторожный шаг — и все обвалится. А кроме того, там полно газа. Но трупы, конечно, где-то в этих лабиринтах, если их еще не сожрали муки. Вы знаете, кто это? Это шахтные черти, они мстят людям, которые из-за своей жадности тревожат и разрушают горы. Они убивают горняков. Пожалуй, будет лучше, если я вам больше ничего не скажу, господин капрал. Если вы будете знать лишнее, вам крышка. Не проживете и часу. Я собирался рассказать все за деньги, хотя и знал, что этим толкаю вас в могилу. Нам нужны деньги, чтобы убраться отсюда. Вы ведь уже догадались. Они могут нагрянуть в любую минуту. После вас и вашего помощника мы с женой стоим следующие в их списке. А может быть, и первые. Они же ненавидят не только полицейских ищеек. Ненавидят и тех, кто пьет и распутничает. И тех, кто спаивает и вовлекает в распутство, и вообще всех, кто предается веселью, несмотря на тяготы жизни. Так что мы тоже обречены, нас тоже забьют камнями. Надо уезжать. Но где взять деньги? А вам повезло, что вы не узнали тайну и вам не придется за нее расплачиваться. Это спасло вам жизнь, господин капрал!

Литума раздавил каблуком окурок. Похоже, так оно и есть: он до сих пор жив, потому что ничего не знает. Он попробовал представить себе изуродованные, разбитые тела в глубине сырых штреков и забоев, в вечном мраке, насыщенном сернистым газом, пропитанном вонью взрывчатки. Стало быть, донья Адриана говорила правду. Но не исключено, что их убили из-за каких-то суеверий. Сендеристы не кидают людей в шахты, они выставляют трупы на всеобщее обозрение. Как бы то ни было, хозяину погребка доподлинно известно, что именно произошло. Кто же все-таки мог сделать это? А что, если сунуть ему в рот «смит-вессон»: раскалывайся или отправишься к ним на дно штольни. Лейтенант Сильва [1], там, в Таларе, тот, наверное, так бы и сделал. Литума рассмеялся.

— Вспомнили шутку, господин капрал?

— Да нет, просто нервы шалят, — объяснил Литума. — Вспомните-ка одного из этих троих, Педрито Тиноко. Я хорошо знал его. Он помогал мне обустроить пост и жил с нами с тех самых пор, как мой помощник привел его в Наккос. Такой человек, как он, никому не мог навредить.

Он поднялся, сделал, разминаясь, несколько шагов, глубоко вздохнул, посмот-

---

[1] Персонаж из романа М.Варгаса Льосы «Кто убил Паломино Молеро?».

рел вокруг. И, как нередко с ним тут бывало, ощутил давящую тяжесть горного массива и густо-синего неба. Все здесь было вздыблено, напряжено, все устремлялось вверх. Всеми клетками он почувствовал тоску по открытым горизонтам бескрайних равнин Пьюры с разбросанными тут и там живописными группами рожковых деревьев, стадами коз и россыпями белого песка. Что ты здесь делаешь, Литума? И опять, в который уже раз за эти месяцы, его охватило предчувствие, что живым из Наккоса ему не уйти. Видно́, тоже кончит в каком-нибудь забое, как эти трое.

— Не пытайтесь понять все это — напрасно потеряете время, господин капрал, — сказал трактирщик. Он уже сидел на плоском камне, с которого встал Литума. — У людей голова идет кругом от всего, что тут происходит. А когда голова идет кругом, сами понимаете, всякое может случиться.

— Уж очень здесь народ темный, просто удивительно, — заметил Литума. — Готовы поверить в любой вздор, вроде этих пиштако или муки. Разве нормальные люди стали бы слушать такую чепуху?

— А на побережье народ, конечно, очень умный. Вы это хотите сказать?

— Я хочу сказать, здесь очень легко свалить вину за исчезновения людей на сатану, как это делает ваша супруга.

— Бедный сатана, — засмеялся Дионисио. — Адриана просто повторяет то, что говорят все. Разве не сатану винят всегда за все плохое? Чему же тогда удивляться?

— Ну, для вас-то, положим, сатана не так уж и плох, — пристально глядя на него, сказал Литума.

— Так ведь кто, как не он, научил людей наслаждаться жизнью. — В глазах Дионисио вспыхнул насмешливый огонек. — Или вы, как те фанатики, имеете что-то против земных радостей?

— По мне, пусть хоть все лезут друг на друга и развлекаются как хотят, — ответил Литума. — Я и сам не прочь бы здесь так поразвлечься, да не с кем.

— А почему бы вам не употребить для этого вашего помощника? Парень-то вроде ничего.

— Этого никогда не будет, — вспыхнул Литума. — Я не гомик.

— Да это просто шутка, господин капрал. Не сердитесь. — Трактирщик тоже встал. — Что ж, сделка, значит, не состоялась, и я остался ни с чем. Тем лучше для вас, господин капрал, еще раз повторяю вам это. И тем хуже для меня. Вдобавок теперь я в ваших руках, я же понимаю. Если вам вздумается рассказать кому-нибудь о нашем разговоре, я труп.

Он сказал это абсолютно спокойно, будто не испытывал ни малейшего сомнения, что капрал его не выдаст.

— Я — могила. Жаль, что мы не договорились, но это уже не моя вина. Хотя на мне эта форма, я мало что могу сделать.

— Хочу дать вам совет. Напейтесь хорошенько и забудьте обо всем. Мое заведение всегда открыто для вас. Пока, господин капрал.

Он небрежно махнул рукой и пошел вниз, но не по дорожке, которая вела в поселок, а в обход шахты. Литума снова опустился на освободившийся плоский камень и внезапно вспотевшими руками достал вторую за это утро сигарету. Все, что говорил ему Дионисио, кружилось теперь в голове, как те черные птицы на фоне белоснежных вершин. Безусловно, терруки имеют много пособников в поселке, в этом все дело. Вот почему так напуган Дионисио, вот почему он уедет отсюда, даже если для этого ему придется выдать нескольких своих клиентов, чтобы получить необходимые деньги. Вполне возможно, что эти трое отказались участвовать в чем-то или сотрудничать с кем-то, и за это их сбросили в шахту. Если в одну из ближайших ночей терруки подожгут пост и убьют его и Томасито, начальство пошлет их семьям похоронки с соболезнованиями, да еще их имена будут упомянуты в ежедневном приказе. Жалкое утешение.

Он несколько раз быстро затянулся, докуривая сигарету, его настроение менялось. Вспыхнувший было гнев уступал место тоске и смятению. Нет, это не могли

сделать сендеристы. Скорее уж и впрямь здесь какое-то колдовство или беспросветная темнота горцев. Он поднялся и подошел поближе к полузаваленному камнями и деревянными креплениями входу в шахту. Неужели они там? Или это лишь побасенки пьянчужки, который хотел заработать несколько солей, чтобы поскорей удрать из Наккоса? Придется ему и Томасито самим лезть в шахту и своими глазами увидеть, что там.

Он бросил окурок и зашагал вниз. Карреньо, наверно, уже готовит завтрак. У Томасито тоже есть какая-то тайна. А иначе с чего бы он плакал по ночам? Неужели только из-за той пьюранки? Да это просто смешно. Мир катится к чертовой матери, вокруг казни, похищения, бесы, пиштако, муки, а полицейский Томас Карреньо рыдает по ночам из-за того, что его бросила какая-то бабенка. Хотя, конечно, она была первой, она лишила его невинности, и, судя по всему, она осталась единственной, кого попробовал наш простак.

В то утро, как и всегда перед командировкой или экскурсией, госпожа д'Аркур встала затемно, за несколько секунд до того, как зазвонил будильник. Ее охватила дрожь нетерпения, которую вот уже тридцать лет она испытывала всякий раз, когда ей приходилось уезжать из города по делам или для отдыха (она, кстати, не отличала одно от другого). Быстро одевшись, она на цыпочках, чтобы не разбудить мужа, спустилась на кухню и приготовила кофе. Чемодан был собран накануне и выставлен в прихожую. Когда она уже ополаскивала чашку, в дверях кухни появился зевающий Марсело — в халате, босой, с всклокоченными волосами.

— Как ни стараюсь не шуметь, всегда тебя бужу, — извиняющимся тоном сказала она. — А может быть, бессознательно обманываю себя, потому что в глубине души хочу, чтобы ты проснулся.

— А я, знаешь, отдал бы все на свете, лишь бы ты не ездила в Уанкавелику. — Он снова зевнул. — Поторгуемся? У меня при себе чековая книжка.

— Моя начальная цена — луна и звезды. — Она протянула ему чашку с кофе. — Не беспокойся. В горах я в гораздо большей безопасности, чем ты здесь, когда едешь в свой офис. По статистике, на улицах Лимы опаснее, чем в Андах.

— Никогда не верил в статистику. — Он зевнул и потянулся. Некоторое время смотрел, как она хлопочет у буфета, где в идеальном и тщательно продуманном порядке были расставлены чашки и блюдца, разложены ложки и ложечки. — От этих твоих поездок, Гортензия, у меня откроется язва. Если раньше я не умру от инфаркта.

— Я привезу тебе с гор свежего сыра. — Она откинула прядь со лба. — Иди досыпай, я постараюсь тебе присниться. Со мной ничего плохого не произойдет, не волнуйся.

В этот момент к дверям дома подъехал министерский джип, и госпожа д'Аркур заторопилась: поцеловала мужа, напомнила, что надо выслать в Смитсоновский институт конверт с фотографиями Национального парка Янага-Чемильен. Марсело проводил ее до машины и, попрощавшись, как всегда, обратился к Каньясу:

— Верни мне ее живой и невредимой, инженер.

Улицы Лимы, еще покрытые ночной влагой, были безлюдны. Через несколько минут джип выехал на главное шоссе, но и там движение было пока слабым.

— Ваша жена тоже так переживает, когда вы уезжаете в командировку? — спросила госпожа д'Аркур. Огни Лимы, затянутые утренним предрассветным туманом, остались позади.

— Не без этого, — кивнул инженер. — Но моя Мирта не слишком сильна в географии, она и не подозревает, что мы едем прямо в волчье логово.

— В волчье логово? — переспросил шофер, и джип резко вильнул. — Вы должны были предупредить меня об этом заранее. Если бы я знал, не поехал бы, я вовсе не собираюсь рисковать головой за те гроши, что мне платят.

— Что нам платят, — засмеялся Каньяс.

— Что вам платят, — уточнила госпожа д'Аркур. — Мне-то не платят ни сен-

таво. Я занимаюсь этой работой только из любви к искусству.

— Так вам это нравится, сеньора. Вы, наверное, и сами платили бы за то, чтобы заниматься любимым делом.

— Честно говоря, платила бы, — согласилась она. — Эта работа составляет смысл моей жизни. Возможно, потому, что растения и животные никогда меня не обманывают. А люди, наоборот, обманывают постоянно. Ведь вам тоже нравится наше дело, инженер. Иначе вы не стали бы работать в министерстве за такую мизерную зарплату.

— Это ваша вина, сеньора. Я читал ваши статьи в «Комерсио», я вам уже говорил. И они разбудили во мне интерес к природе, желание объехать Перу и своими глазами увидеть чудеса, о которых вы писали. Вы виноваты в том, что я стал изучать агрономию, а потом окончил лесной факультет. Вас не мучат угрызения совести?

— Тридцать лет я пропагандировала свои идеи — и вот наконец у меня появился ученик! — захлопала в ладоши госпожа д'Аркур. — Теперь могу умереть спокойно.

— У вас много учеников, — убежденно сказал инженер Каньяс. — Вы открыли нам, как удивительна наша земля. И как плохо мы с ней обращаемся. Не думаю, что найдется хоть один перуанец, который знает свою страну так же, как вы, и который всю ее исходил и исколесил, как вы.

— Ну, раз мы дошли до комплиментов, я тоже должна сказать вам кое-что приятное. С тех пор как вы пришли в министерство, моя жизнь изменилась. Наконец появился кто-то, кто разбирается в проблемах окружающей среды и борется с бюрократами. Говорю это не для красного словца, инженер. Благодаря вам я больше не чувствую себя, как раньше, одиночкой.

Когда подъезжали к Матукане, из-за горных вершин вырвались первые лучи еще невидимого солнца. Утро выдалось сухое и холодное. Всю оставшуюся часть пути, пока они пересекали хребет Ла-Оройя и теплую долину Хауха, инженер и госпожа д'Аркур обсуждали, что надо сделать, чтобы заручиться дополнительной поддержкой для реализации проекта восстановления лесов на горных склонах. Проект субсидировался ФАО[1] и Голландией и уже дал первые положительные результаты. Эту первую победу они отметили несколько месяцев назад в ресторанчике в Сан-Исидро. Почти четыре года работы — отчетов, памятных записок, конференций, статей, писем, рекомендаций и прочих хлопот, — пока удалось добиться чего-то. Но теперь-то наконец проект уже выполняется. Общины не ограничиваются больше выращиванием кормовых культур, они теперь занимаются также посадками деревьев. Если не иссякнут фонды, из которых финансируется проект, через несколько лет густые рощи хинного дерева снова укроют тенью пещеры, исписанные магическими заклинаниями и рисунками далеких предков, и как только установится мир, сюда смогут приезжать археологи со всего света, чтобы расшифровывать их. Нужно добиться, чтобы и другие фонды, и другие страны тоже финансировали проект. Не хватает инструкторов, которые научили бы крестьян использовать вместо дров сухой помет животных для обогрева домов и приготовления пищи, надо создать опытную станцию, заложить по крайней мере десять новых питомников. В общем... Хотя госпожа д'Аркур была практичной женщиной, она порой давала волю воображению и в соответствии со своей фантазией мысленно преобразовывала действительность, которую, надо сказать, прекрасно знала, потому что постоянно боролась с нею.

Вскоре после полудня они добрались до Уанкайо и сделали небольшую остановку, чтобы наскоро перекусить, заправить машину, проверить мотор и давление в шинах. Зашли в ресторан на углу площади.

— Я почти уговорила посла Испании приехать сюда, — рассказывала госпожа д'Аркур инженеру. — Но в последний момент он не смог, прибыла какая-то делегация из Мадрида, не помню уже какая. Однако он обещал, что вскоре выберется.

---

[1] ФАО — продовольственная и сельскохозяйственная организация в составе ООН.

И сказал, что постарается добиться для нас кое-какой помощи от испанского правительства. У них экология тоже входит в моду.

— Как мне хотелось бы посмотреть Европу, — вздохнул инженер Каньяс. — Дед моей матери был из Галисии. Наверно, у меня там есть родственники.

На следующем участке дороги они почти не могли разговаривать — джип безостановочно трясло и подбрасывало на ухабах. А между Акостамбо и Искучакой их встретили такие выбоины и ямы, что они уже были готовы повернуть обратно. Они пристегнулись ремнями, но все равно их болтало и кидало друг на друга. Машина, казалось, вот-вот развалится, но шофер только посмеивался, шутливо выкрикивал, как на корриде: «Берегись снизу!», «Внимание, разъяренный бык!» — да напевал что-то. В Уанкавелику приехали вечером. Стало холодно, и они надели свитера, шерстяные перчатки и шарфы.

В туристской гостинице их встретил префект, получивший инструкции из Лимы. Он подождал, пока они приведут себя в порядок, и пригласил поужинать тут же, в отеле. Два техника из министерства, которые должны были сопровождать их, приехали в отель еще раньше. За ужином к ним присоединился военный комендант — невысокий человек с добродушной улыбкой. Он козырнул, пожал им руки и, сняв фуражку, обратился к госпоже д'Аркур:

— Для меня большая честь приветствовать здесь такую известную особу. Я всегда читаю вашу страницу в «Комерсио». И знаю вашу книгу об Уайласском ущелье. Жаль, у меня нет ее сейчас при себе, чтобы взять у вас автограф.

За ужином он сообщил, что патруль уже готов и завтра в шесть утра можно будет начинать обход.

— Патруль? — Госпожа д'Аркур вопросительно посмотрела на инженера.

— Но я ведь уже объяснял, что мы не хотим сопровождения, — повернулся инженер к префекту.

— Я передал ваше пожелание коменданту, — пожал плечами префект. — Но знаете, как говорят: где есть капитан, там матрос не командует.

— Мне очень жаль, сеньора, но я не могу позволить, чтобы вы передвигались здесь без охраны, — отозвался на его слова комендант. Он был совсем еще молод. Форма сидела на нем безукоризненно, усы были тщательно подстрижены, говорил он очень любезно. — Это опасная зона, подрывные элементы называют ее «освобожденной территорией». Слишком большая ответственность для меня. Я вам обещаю, патруль не будет ни во что вмешиваться.

Госпожа д'Аркур удрученно вздохнула и переглянулась с инженером. Значит, ей придется убеждать коменданта. С тех пор как по этим горным краям прокатилась волна насилия, принося смятение и страх и оставляя за собой растерзанные трупы, сколько раз ей уже приходилось в подобных ситуациях объяснять свою миссию префектам, капитанам, майорам, комендантам, гражданским гвардейцам, республиканским гвардейцам, простым солдатам.

— Мы не политики и не имеем никакого отношения к политике, комендант. Нас занимает только природа, окружающая среда, животные, растения. Мы служим не правительству, а Перу. И военным, и этим головорезам тоже. Понимаете? Если мы появимся в сопровождении солдат, у людей возникнет ложное представление о том, кто мы такие и чем занимаемся. Я вам благодарна за добрые намерения. Но в охране мы не нуждаемся, уверяю вас. Лучшая защита для нас — ходить без солдат, чтобы все видели, что нам нечего скрывать и бояться.

Комендант, однако, не хотел уступать. Уже то, что они не прилетели на самолете, а проехали от Уанкайо до Уанкавелики на машине, уже это было безумием, ведь сколько покушений, сколько нападений происходит на этой дороге. Он извинялся, но стоял на своем. Конечно, он может показаться назойливым, но это его долг и он не хочет, чтобы его потом могли в чем-нибудь упрекнуть.

— Мы подпишем бумагу, что берем всю ответственность на себя, — предложил инженер Каньяс. — Не посчитайте это за обиду, комендант, но для нашей работы важно, чтобы нас не отождествляли с вами.

Госпожа д'Аркур положила конец спору, заявив, что, если офицер будет настаивать на сопровождении, она отменит экспедицию. Комендант составил акт и попросил префекта и двух техников подписать его в качестве свидетелей.

— Вам же меньше хлопот, — утешила его, прощаясь, госпожа д'Аркур. — Но все равно, комендант, спасибо вам за заботу. Дайте мне ваш адрес, я вышлю вам мою новую книгу, которая должна выйти на днях. Это о долине Колька, в ней есть замечательные фотографии.

На следующее утро госпожа д'Аркур отправилась на мессу в церковь Святого Себастьяна. Она долго рассматривала величественные своды колониальной эпохи, старинный алтарь, украшенный изображениями плачущих ангелов. Выехали на двух машинах — джипе и старом черном «форде», в который сели техники и префект. По дороге к шахтам Санта-Барбары им повстречался армейский патруль. Солдаты держали в руках карабины с примкнутыми штыками и, казалось, были готовы в любой момент открыть огонь. Через несколько километров дорога превратилась в какую-то бесформенную канаву, и джипу пришлось снизить скорость, чтобы не слишком отрываться от «форда». В течение двух часов они то поднимались, то опускались, пересекая полупустынную местность, где не было ничего, кроме гор, на склонах которых лишь изредка можно было увидеть несколько домов с лоскутами посадок — картофеля, ячменя, бобов. «Форд» все-таки исчез из вида.

— Когда я проезжал тут в прошлый раз, здесь не было столько красных флагов и раскрашенных щитов по сторонам дороги, — заметил инженер Каньяс. — Должно быть, комендант говорил правду: мы в контролируемой зоне.

— Надеюсь, это не помешает восстановлению лесов, — сказала госпожа д'Аркур. — Только этого нам недоставало. Четыре года ушло на то, чтобы пробить проект, и когда наконец-то стало получаться...

— До сих пор я не совал нос не в свое дело, — вступил в разговор шофер. — Но если бы меня спросили, я бы сказал, что в сопровождении солдат чувствовал бы себя куда спокойнее.

— Но тогда люди принимали бы нас за врагов, — возразила госпожа д'Аркур. — А мы не враги никому. Мы работаем и на них тоже. Понятно?

— Мне-то понятно, — пробурчал шофер. — Хорошо бы, чтобы им тоже было понятно. Вы не видели по телеку, что они вытворяют?

— Никогда не смотрю телевизор, — ответила госпожа д'Аркур. — Наверно, потому и чувствую себя так спокойно.

К вечеру добрались до общины Уайльярахкра, где находился один из питомников. Местные крестьяне приходили сюда за саженцами хинного дерева, они огораживали ими свои делянки, укрепляли берега озер и рек. Центральный поселок общины с его крытой черепицей церквушкой, покосившейся колокольней, маленькой школой с глинобитными стенами и мощенной булыжником площадью был почти пуст. Но алькальд и члены муниципального совета Уайльярахкры в полном составе радушно приветствовали их, подняв свои жезлы, и вместе с ними обошли питомник, сооруженный силами самих общинников. Они явно были воодушевлены программой восстановления лесов. Раньше, говорили они, общинники жили высоко в горах, далеко друг от друга, теперь же появилась возможность поселить их вместе, дать им электрический свет, обеспечить питьевой водой. В мягком предзакатном свете перед ними открылась величественная панорама: широкий горный склон, усеянный крупными пятнами посадок, круто убегал вверх и, теряя постепенно растительность и превращаясь в голые камни, скрывался в высоких облаках. Инженер Каньяс набрал полную грудь воздуха и раскинул руки:

— Этот пейзаж заставляет забыть все заботы, досаждавшие мне в Лиме. А вас не впечатляет, сеньора? Жаль, мы не взяли с собой бутылочку чего-нибудь крепкого для согрева.

— А знаете, когда я увидела эту красоту в первый раз? Ровно двадцать лет назад. И как раз отсюда, с этого самого места, где мы сейчас стоим. Чудесно, правда?

К питомнику примыкало небольшое ранчо, где можно было перекусить. Ин-

женер и госпожа д'Аркур уже бывали там раньше и на этот раз тоже направились туда. Но от семьи, что жила там когда-то, теперь осталась одна только старушка, которая никак не могла толком объяснить, куда и почему уехали ее родичи. В доме не было ничего, кроме маленькой убогой кровати. Старуха вскоре перестала обращать внимание на пришедших и, повернувшись к ним спиной, поправляла огонь в очаге и что-то помешивала в кастрюле. Алькальд и советники разошлись по домам. Два сторожа, работавших в питомнике, заперлись на засов в сторожке. Госпожа д'Аркур и инженер остались одни. Огороженный тростниковым плетнем небольшой кораль, который, вспомнила госпожа д'Аркур, в прошлый раз был полон баранов и кур, теперь стоял совершенно пустой, колья были выворочены, плетень завалился. Над соломенной крышей ранчо полоскался привязанный к шесту кусок красной фланели.

Когда «форд» с префектом и техниками въезжал в Уайльярахкру, в сгустившейся синеве неба сверкнули первые звезды. Инженер и госпожа д'Аркур к этому времени успели разложить вещи. В углу комнаты уже лежали спальные мешки, резиновые подушки были надуты, на портативном примусе варился кофе.

— Мы думали, вы попали в аварию, — приветствовал их инженер. — Уже хотели ехать к вам на помощь.

Первым из машины вышел префект. Он был совсем не похож на того добродушного и доброжелательного человека, который с шутками и прибаутками принимал их в Уанкавелике. Выяснилось, что у них лопнула шина. Но префект был не в духе по другой причине.

— Надо немедленно возвращаться, — тоном приказа сказал он. — Мы ни в коем случае не должны оставаться здесь на ночь.

— Выпейте лучше кофейку с печеньем и полюбуйтесь на этот вид, — успокаивающе сказал инженер. — Такой красоты вы не увидите больше нигде в мире. Не кипятитесь, дружище.

— Да что вы несете! Вы что, ничего не понимаете? — Префект повысил голос, у него дрожал подбородок, глаза нервно щурились, будто их что-то слепило. — Вы что, не видели эти лозунги и флаги по всей дороге? Не заметили, что красный флаг висит у нас над головами? Комендант был прав. Это безрассудство. Мы не должны подвергать себя такой опасности. И в первую очередь это касается вас, сеньора.

— Мы приехали сюда делать наше дело, оно не имеет ничего общего с политикой, — попыталась умерить его пыл госпожа д'Аркур. — Но если вы опасаетесь, можете вернуться в город.

— Я вовсе не трус. — Голос префекта дрогнул. — Это необходимая осторожность. Мы не можем оставаться здесь на ночь. Послушайте меня, давайте уедем. Потом мы вернемся сюда с патрулем. Вы рискуете вашей жизнью и жизнью ваших людей, сеньора.

Инженер Каньяс взглянул на техников. Они молча прислушивались к спору.

— Вы тоже хотите вернуться?

Техники, совсем молодые, скромно одетые люди, смущенно переглянулись, но ничего не ответили.

— Пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными оставаться с нами, — вмешалась госпожа д'Аркур. — Если вы предпочитаете вернуться, возвращайтесь.

— А вы остаетесь, инженер? — заговорил наконец один из них, произнося слова с северным акцентом.

— Безусловно, — ответил тот. — Мы столько сил вложили в этот проект, так долго боролись, чтобы получить деньги от ФАО и Голландии, что теперь, когда все закрутилось, я уже не могу отступить.

— Тогда и мы останемся, — сказал все тот же техник. — Будь что будет.

— Мне очень жаль, но я должен уехать, — заявил префект. — Я должностное лицо, поэтому, если меня схватят, мне верный конец. Попрошу коменданта прислать патруль.

— Ни в коем случае,— решительно возразила госпожа д'Аркур, протягивая ему руку. — Разумеется, возвращайтесь. Через пару дней увидимся в Уанкавелике. Счастливо вам доехать, и не беспокойтесь о нас. Здесь, наверху, есть нечто, что защитит нас лучше любого патруля.

Техники забрали из машины свои одеяла и чемоданчики. Все молча смотрели, как «форд» растворяется в темноте.

— Возвращаться одному в такое время и по таким дорогам — да это просто безумие, — пробормотал второй техник.

Какое-то время они раскладывали вещи, устраиваясь на ночь. Потом хозяйка угостила всех острым супом, в котором плавали кусочки юкки, и улеглась на свою кровать. Техники развернули спальники, расстелили одеяла, одно около другого, развели во дворе костер. Все сидели вокруг огня, смотрели, как разгораются и множатся звезды. У техников были с собой сандвичи с ветчиной, курятиной и авокадо, а госпожа д'Аркур дала всем на десерт по плитке шоколада. Ели медленно, разговаривали, обсуждали, что будут делать завтра, говорили о родных, оставшихся в Лиме, а техник с севера — выяснилось, что он из Пакасмайо, — рассказал о своей невесте из Трухильо: в прошлом году она заняла второе место на конкурсе народной песни и танца «Маринера». Потом разговор перекинулся на бесчисленные звезды, такие яркие, когда на них смотришь с андских вершин, что рябит в глазах. Неожиданно госпожа д'Аркур сменила тему:

— Вот уже тридцать лет езжу по Перу, и никогда мне не приходило в голову, что здесь будут происходить такие вещи.

Инженер, техники и шофер замолчали, задумавшись над ее словами. И вскоре все не раздеваясь улеглись спать.

Они пришли на заре, когда приезжие уже вставали. Около полусотни людей — мужчины, женщины, много подростков и даже дети. В большинстве своем это были крестьяне, но среди них мелькали и городские метисы. Одетые в куртки, джинсы, свитера с грубо вышитыми узорами, имитирующими украшения индейцев уаков доколониальной эпохи. На головах — шапки, вязаные шапочки, шлемы-пасамонтаньи. Плохо вооруженные: только двое или трое с автоматами Калашникова, у остальных — ружья, револьверы, охотничьи карабины, а то и просто мачете и дубинки.

Жившая в доме старуха куда-то исчезла.

— Нет необходимости держать нас под прицелом, — сказала госпожа д'Аркур, выходя вперед. — Мы безоружны и не собираемся бежать. Могу я переговорить с главным? Я объясню ему, чем мы здесь занимаемся.

Ей никто не ответил. Никто не распоряжался, не слышно было команд. Но было заметно, что они хорошо обучены и действуют согласованно. Группами по два-три человека они подошли к спутникам госпожи д'Аркур, отделили их друг от друга, тщательно всех обыскали, вывернув карманы, обрывками веревки связали за спиной руки.

— Мы вам не враги, мы не занимаемся политикой, мы работаем не на правительство, а на перуанцев, — продолжала говорить госпожа д'Аркур, вытягивая руки, чтобы легче было связать их. — Наша цель — защитить окружающую среду, природные ресурсы. Чтобы наша природа не погибла, чтобы в будущем все люди в этих горах имели пищу и работу.

— Сеньора написала много книг о наших растениях и животных, — пояснил инженер Каньяс. — Она идеалистка. Она, как и вы, добивается лучшей жизни для наших крестьян, благодаря ей в этих местах снова будут расти деревья. А ведь это так важно для общинников, для всей Уанкавелики. Для вас и ваших детей. Это выгодно всем нам, независимо от наших политических взглядов.

Им позволяли говорить, никто не прерывал их, но никто и не обращал внимания на их слова. Они занимались своими делами. Расставляли часовых в местах, откуда можно было наблюдать за поднимающейся снизу дорогой и за уходящей к снежным вершинам тропой. Утро было холодное, острый воздух обжигал горло. Крутые склоны окружающих гор отливали свежей зеленью.

— Цели нашей борьбы схожи с целями вашей борьбы, — вновь заговорила госпожа д'Аркур, и в ее голосе нельзя было уловить и намека на тревогу. — Не относитесь к нам как к врагам, мы вам не враги.

— Могли бы мы поговорить с главным? — время от времени спрашивал инженер Каньяс. — Или с кем-нибудь еще из вашего руководства? Позвольте мне все разъяснить ему.

Так прошло довольно много времени, пока наконец группа этих людей не вошла в дом и туда стали по одному вводить приезжих. Их там допрашивали, а те, что оставались снаружи, могли слышать обрывки разговора. Допрос шел медленно, с многочисленными повторениями: личные данные вперемежку с вопросами о политических убеждениях, иногда подолгу выясняли что-нибудь о других людях или событиях. Первым отвели в дом шофера, потом техников, потом инженера Каньяса. Когда он вышел оттуда, уже темнело. Госпожа д'Аркур с удивлением подумала, что провела здесь ни много ни мало одиннадцать часов. Одиннадцать часов на ногах, без крошки еды, без капли воды. Но она не чувствовала усталости, не испытывала ни голода, ни жажды. Думала о муже и больше беспокоилась о нем, чем о себе. Она смотрела на вышедшего инженера: у него было совсем другое лицо, видимо, он потерял уверенность, которая поддерживала его весь день и заставляла добиваться разговора с начальником.

— Они слушают, но не слышат и даже не хотят понять, что им говорят, — прошептал он, проходя мимо. — Прямо инопланетяне какие-то.

Она вошла в дом. На полу сидели трое мужчин и женщина, ей тоже предложили сесть на пол. Госпожа д'Аркур обратилась к одному из них — к бородатому молодому человеку в кожаной куртке и с шарфом на шее. Его холодные серые глаза смотрели в упор не моргая. Она со многими подробностями рассказала ему о своей жизни, начиная с рождения — а родилась она почти шестьдесят лет назад в далекой прибалтийской стране, которую совсем не помнила и язык которой не знала, потом о детстве — оно прошло во многих странах Европы и Америки, о годах учения — тоже в разных странах и на разных языках: она, как кузнечик, прыгала из колледжа в колледж, пока не приехала в Перу. Тогда ей не исполнилось еще и двадцати и она только что вышла замуж за молодого дипломата. Она рассказала, как сразу же полюбила перуанцев, как восхитили ее пустыни, леса, горы, снежные вершины, животные и растения этой страны, которая теперь стала и ее страной. И не только потому, что так значится в ее паспорте — перуанское гражданство ей дал Марсело, ее второй муж, — а потому, что она заслужила право называться перуанкой, ибо прочувствовала и изучила всю красоту перуанской земли и вот уже столько лет воспевает и защищает ее в своих статьях, книгах, в докладах на конференциях и симпозиумах. И она будет делать это до конца своих дней, потому что именно в этом и заключается смысл ее жизни. Разве не понятно, что она им не враг?

Они слушали ее не перебивая. Но на их лицах нельзя было уловить никакого интереса. Напоследок она рассказала, каких трудов стоило ей и этому молодому великодушному и самоотверженному инженеру Каньясу пробить план восстановления лесов в Уанкавелике. И только когда она замолчала, они стали задавать вопросы. В их вопросах не было ни скрытого недоброжелательства, ни открытой неприязни. Сухие стандартные формулировки, обыденные безразличные голоса. Госпожа д'Аркур вдруг подумала, что все происходящее — пустая формальность, что им заранее известны ответы на все вопросы. Ее спросили, с какого времени она дает информацию полиции, армии и разведслужбе о своих поездках и путешествиях. Она тут же объяснила им: Военный географический институт просил ее принять участие в работе постоянной комиссии, которая готовила к переизданию атлас, это было единственное, что ее связывало с вооруженными силами, не считая еще нескольких лекций, которые она прочитала в военной школе, в морском училище и в научно-исследовательском институте. Они хотели также узнать о ее контактах с правительствами других государств, на которые она работает и от которых получает инструкции. Она ответила, что имеет дело не с правительствами, а с научными учреждени-

ями — Смитсоновским институтом в Вашингтоне, с Британским музеем в Лондоне, с Музеем человека в Париже, с некоторыми фондами и экологическими центрами, где ей иногда удавалось получить деньги для небольших проектов («всегда лишь жалкие крохи»). Но сколько она ни говорила, сколько ни уточняла, ни разъясняла, как ни подчеркивала в своих ответах, что ни один из ее контактов не является политическим, что все ее связи имеют чисто научный характер, глаза этих людей все больше убеждали ее в том, что ей не верят, что разделяющая их пропасть непонимания не становится менее глубокой, будто все это время она говорила по-китайски.

Допрос, по-видимому, близился к концу, у госпожи д'Аркур пересохли губы и горело горло, она вдруг ощутила безмерную усталость.

— Вы меня убьете? — спросила она и почувствовала, что ее голос надломился.

Молодой человек в кожаной куртке, которому она адресовала вопрос, смотрел на нее не моргая.

— Это война, а вы солдат классового врага. — Его взгляд, как и в начале допроса, был чист и прям, а голос звучал ровно, без эмоций. — Вы даже не осознаете, что являетесь орудием империализма и буржуазного государства. И при этом вы позволяете себе роскошь думать, что ваша совесть чиста, и считаете себя доброй самаритянкой, спасающей Перу. Типичный случай.

— Вы мне объясните это? Откровенно говоря, я не очень понимаю. В каком смысле мой случай типичный?

— Это случай интеллигента, предавшего свой народ. — Он говорил все так же спокойно, все с той же холодной уверенностью. — Интеллигента, который служит буржуазному государству, его господствующему классу. То, чем вы занимаетесь, не имеет никакого отношения к окружающей среде. Все делается ради вашего класса, вашей власти. Вы приезжаете сюда с этими вашими служащими, газеты поднимают шум, создают вам рекламу — и вот пожалуйста: правительство выигрывает сражение. Кто там говорил, что это, мол, освобожденная территория? Кто утверждал, что в этой зоне частично уже установлена власть Республики Новой Демократии? Ложь. И вот доказательство. Посмотрите на фотографии. Буржуазный строй в Андах незыблем. Вы ведь тоже не знаете, что здесь рождается новая страна. Рождается с кровью и болью. И мы не можем проявлять мягкотелость по отношению к таким сильным врагам.

— Могу я хотя бы попросить за инженера Каньяса? — тихо спросила госпожа д'Аркур. — Он ведь совсем молодой. Как вы. Никогда я еще не встречала ни одного перуанца, который работал бы так же...

— Разговор окончен, — сказал, поднимаясь, молодой человек в куртке.

Когда она вышла, солнце уже опускалось за горы. Питомник затягивало дымной пеленой: языки пламени уже лизали саженцы. Госпожа д'Аркур почувствовала, что у нее горят щеки. Она отвернулась и увидела, что их шофер садится в джип. Через минуту он уже ехал по дороге в сторону Уанкавелики.

— Хорошо, что хоть его отпустили, — сказал, подойдя к ней, инженер Каньяс. — Я рад за него, он хороший парень.

— Мне очень жаль, инженер, — прошептала она. — Я так виновата перед вами. Не знаю, как и просить вас...

— Для меня это большая честь, сеньора. — Его голос не дрогнул. — Я хочу сказать, быть вместе с вами в этот трагический момент. Техников тоже казнят, но поскольку они стоят на низких ступенях социальной иерархии, их ждет пуля в голову. А вы и я, мы, наоборот, относимся к привилегированному слою. Мне только что разъяснили это. Вы ведь веруете, да? Помолитесь за меня, прошу вас, сам-то я неверующий. Мне будет легче, если я буду держать вас за руку. Возьмемся за руки, сеньора. Согласны?

— О чем ты говорил во сне, Томасито?

Томас открыл глаза, испуганно огляделся: комната была залита солнечным светом, сейчас она казалась более запущенной, чем ночью, и совсем маленькой. Мер-

седес, одетая и причесанная, испытующе смотрела на него, стоя у кровати. На ее лице блуждала насмешливая улыбка.

— Который час? — спросил он, потягиваясь.

— Уже несколько часов, как я поднялась, а ты все спишь. — Мерседес засмеялась.

— Ну ладно, ладно. — Он смущенно улыбнулся. — Я рад, что ты встала в хорошем настроении.

— Это потому, что я не только смотрела, как ты спишь, но и слушала. — На смуглом лице Мерседес поблескивали белые, как у мышонка, зубки. — Ты все говорил и говорил, я даже подумала, ты притворяешься спящим. Но потом подошла, потрогала — и правда спишь.

— И все-таки что за чертовщину ты нес во сне? — настойчиво повторил Литума.

— Я ел индейку, господин капрал. Такую вкусную — пальчики оближешь.

— Быстро же ты всему научился, быстро вошел во вкус. — Мерседес снова засмеялась, а он, не зная, что ответить, притворно зевнул. — Когда уснул, то и во сне повторял красивые слова, которые говорил мне ночью.

— Дошло, значит, и до нежностей, — развеселился Литума.

— Да мало ли что говорят люди во сне. — Он все еще не осмеливался посмотреть на нее.

Мерседес перестала смеяться, перехватила его взгляд. Ее рука коснулась его головы, и он почувствовал, как ее пальцы погружаются в его волосы и скользят в них, точно змейки.

— Ты и на самом деле чувствуешь ко мне то, о чем говорил ночью? И потом повторял во сне?

— Она так просто, так откровенно говорила о самых интимных вещах, господин капрал, мне никогда не доводилось такого слышать. Меня это очень удивило.

— Скажи лучше, тебя к ней тянуло, как муху к меду, — уточнил Литума. — Моя землячка крепко тебя заарканила.

— А может, ты просто очень хотел, а теперь получил свое и все у тебя прошло? — добавила Мерседес и внимательно посмотрела на него.

— Когда среди бела дня говорят такие вещи, которые можно говорить только ночью, в темноте и только на ухо, шепотом, это мне не нравится, господин капрал. Я даже начинаю злиться. Но тогда, стоило ей взъерошить мне волосы, я сразу растаял.

— Я знаю, тебе не нравится, что я говорю об этом. — Мерседес снова была серьезной. — Только ведь и мне не по себе как-то: два раза меня видел, двух слов не сказал — и нате: влюбился. И как! Никто не говорил мне таких слов, никто не опускался передо мной на колени и не целовал ноги, как ты.

— Ты становился перед ней на колени и целовал ноги? — Литума был поражен. — Но ведь это уже не любовь, а религиозное поклонение!

— У меня горит лицо от твоих слов, не знаю, куда деваться, — пробормотал парень.

Он поискал полотенце: ночью, помнится, он положил его в ногах кровати. Полотенце оказалось на полу. Он поднял его, обмотал вокруг пояса и встал с постели. Проходя мимо Мерседес, коснулся губами ее волос, прошептал:

— Я тебе говорил то, что чувствовал. Что чувствую.

— Увяз окончательно, — суммировал Литума. — Небось снова в постель завалились?

— У меня начались месячные, так что успокойся, — сказала Мерседес.

— У тебя такая манера говорить обо всем — никак не могу к ней привыкнуть, — рассмеялся Карреньо. — Если не привыкну, придется поискать вместо тебя кого-нибудь еще.

Она шутливо похлопала его по груди:

— Давай-ка одевайся и пойдем завтракать. Ты так трудился ночью — не нагулял аппетита?

— В «Зеленом Доме», в Пьюре, я переспал один раз со шлюшкой, у которой были месячные, — вспомнил Литума. — Так она сделала мне скидку — взяла только половину платы. Непобедимые[1] тогда переполошились: боялись, что она наградила меня сифилисом.

Карреньо, все еще смеясь, вышел в коридор. Ни в кране над раковиной, ни в душе не было воды, вода была только в тазу, совсем немного, но ему хватило умыться по-кошачьи. Он оделся, и они спустились в ресторан. В ресторане было полно народу, многие повернули головы в их сторону, когда они вошли в зал. Время перевалило за полдень, поэтому, когда они отыскали свободный столик и сели, официант сказал, что завтраки уже кончились. Они решили уехать. Расплачиваясь в гостинице, узнали, что автобусная станция и стоянка маршрутных такси находятся на главной площади. По дороге туда зашли в аптеку купить для Мерседес гигиенические пакеты. Проходя через рыночную площадь, купили альпаковые свитеры, чтобы уберечься от холода в Кордильере.

— Хорошо еще, что Боров заплатил мне вперед, — сказал Томас. — Подумай только, что с нами было бы, если бы мы оказались без гроша в кармане.

— А что, у этого наркобарона не было имени? — поинтересовался Литума. — Ты все время его называешь только Боровом и типом.

— Никто не знал, как его зовут, господин капрал, даже мой крестный отец.

Они съели несколько бутербродов с сыром в маленьком кафе и начали подбирать подходящий рейс. Остановились на такси, которое отправляется в пять часов дня и прибывает в столицу на следующий день в полдень. Ночью на дорогах машины проверяют не так строго. А пока был только час дня, и они решили скоротать время на главной площади. Карреньо почистил там у чистильщика ботинки. Повсюду толпились продавцы, тут и там стояли фотографы, на скамейках грелись на солнце или спали солдаты. А вокруг площади неумолчно грохотали тяжелые грузовики, они привозили фрукты из сельвы, или отправлялись за ними в сельву, или уезжали на побережье.

— Что будет с нами, когда мы приедем в Лиму? — спросила Мерседес.

— Будем жить вместе.

— Похоже, ты все уже решил. И за меня тоже.

— Если хочешь, поженимся.

— Это называется быстрота и натиск, — перебил его Литума. — А ты всерьез решил на ней жениться?

— В церкви, со свечами, в подвенечном платье? — Мерседес явно была заинтригована.

— Как захочешь. Если твоя семья живет в Пьюре, я приеду туда с мамой просить твоей руки. Отца у меня нет. В общем, все что захочешь, любимая.

— Иногда я тебе завидую, — вздохнул Литума. — Надо быть совсем уж простаком, чтобы так потерять голову от любви.

— Я вижу, это правда. — Мерседес подошла к нему вплотную, и он обнял ее. — Ты сходишь по мне с ума, Карреньито.

— Даже больше, чем ты думаешь, — прошептал он ей на ухо. — Я убил бы еще тысячу Боровов, если бы потребовалось. Вот выпутаемся из этой передряги, тогда увидишь. Лима большой город. Если доберемся туда, нас уже не поймают. Меня сейчас беспокоит совсем другое. Ты уже знаешь о моих чувствах к тебе. А что чувствуешь ты? Ты влюблена в меня? Ну хоть немного?

— Нет, не влюблена, — не раздумывая ответила она. — Мне жаль разочаровывать тебя, но я не могу говорить то, чего нет.

— В общем, начала объяснять, что не любит врать, — с грустью вспоминал Томас. — Что она не из тех, кто влюбляется с первого взгляда. И когда мы толковали обо всем этом, на нас вдруг как с неба свалился толстяк Искариоте.

---

[1] Компания сорвиголов, к которой Литума принадлежал в молодости. См. роман М. Варгаса Льосы «Зеленый Дом» (М., «Прогресс», 1971).

— Ты рехнулся? Что ты здесь делаешь? Ты думаешь, сейчас время красоваться на глазах у публики с женщиной человека, которого ты только что ухлопал, дерьмо ты вонючее ...

— Спокойно, спокойно, Толстяк, — остановил его Карреньо.

— Он был совершенно прав, — заметил Литума. — Тебя, должно быть, уже искали в Тинго-Марии, в Лиме и других местах. А у тебя в голове одни только шуры-муры.

— Живем один только раз, господин капрал, и каждый живет по-своему. Какое мне было дело до Борова, до того, что меня искали и могли бросить в каталажку. Никто уже не мог отнять у меня моего счастья.

У толстяка Искариоте округлились глаза, и он едва не выронил из рук корзинку с маисовыми пирожками — умитас.

— Нельзя быть таким безмозглым, Карреньо.

— Верно, Толстяк. Да не переживай ты так. Хочешь, я скажу тебе кое-что? Я рад нашей встрече. Я думал, что никогда больше тебя не увижу.

Искариоте был в пиджаке и при галстуке, рубашка, конечно, была ему мала, и он то и дело крутил головой, словно стараясь освободиться от нее. На блестевшем от пота лице черными точками проступала щетина. Он испуганно оглянулся. Чистильщики обуви с любопытством смотрели на них, а бродяга, лежавший на соседней скамейке, посасывая лимон, даже протянул в их сторону руку за милостыней. Толстяк рухнул на скамью рядом с Мерседес, но в следующую минуту вскочил на ноги, будто его ударило электрическим током.

— Здесь мы у всех на виду. Лучше пойдем отсюда, — он показал рукой на туристский отель. — Двадцать седьмой номер. Никого не спрашивайте, поднимайтесь прямо ко мне. Я вышел на минуту — купить умитас.

И, не оглядываясь, он торопливо зашагал в отель. Они подождали несколько минут, а потом, обогнув площадь, отправились вслед за ним.

Женщина, убиравшая вестибюль, показала им, по какой лестнице подняться. Карреньо постучал в дверь двадцать седьмого номера и распахнул ее.

— Толстый как бочка, ел как зверь и охранял наркодельца. — Литума подытожил: — И это все, что ты рассказал мне об Искариоте.

— Он был как-то связан с полицией, — откликнулся его помощник. — Меня познакомил с ним мой крестный отец, я мало что знаю о его жизни. Он работал у Борова не постоянно, а только от случая к случаю, как я.

— Закрой на ключ, — сказал Толстяк, не переставая жевать. Он уже скинул пиджак и сидел на кровати, корзиночка с умитас стояла у его ног. Вокруг шеи на манер салфетки был повязан платок. Томас сел рядом с ним, а Мерседес опустилась на единственный в комнате стул. В окно были видны густые купы деревьев на площади и ветхая ротонда с облупленной балюстрадой. Искариоте молча протянул им корзиночку, в которой оставалась пара пирожков. Они отказались.

— Раньше их делали лучше, — пробурчал Искариоте, запихивая пирожок в рот. — Можно узнать, чем ты занимаешься в Уануко, Карреньито?

— Мы уезжаем сегодня днем, Толстяк. — Томас похлопал его по колену. — Умитас, может, и вправду не очень, но ты уписываешь их за обе щеки!

— Когда я нервничаю, у меня просыпается аппетит. А на площади, когда я вас увидел, у меня просто волосы встали дыбом. Но вообще-то у меня все вызывает голод.

Кончив есть, он поднялся с кровати, достал из кармана пиджака пачку сигарет, закурил.

— Вчера я говорил по телефону с одним из наших людей, с Мамелюком — так его называют. — Искариоте выпустил дым колечком. — Навел тень на ясный день. Сказал, что начальника застрелили, а ты и его девка скрылись. Он прямо задохнулся от ярости. И знаешь, что он сказал? Его, говорит, наверное, купили колумбийцы. А девку-то уж точно. — Насмешливая улыбка Искариоте вдруг превратилась в зловещую гримасу. — Колумбийцы тебе заплатили, Карреньито?

— Искариоте был вроде вас, господин капрал. У него не укладывалось в голове, что можно убить просто из-за любви.

— Искариоте, Мамелюк, Боров, — засмеялся Литума. — Имена, как в каком-нибудь фильме.

Толстяк недоверчиво покачал головой. Потом снова принялся пускать колечки дыма. Глаза в узких щелочках между складками жира остро поблескивали, разглядывая Мерседес.

— Ты и раньше ее трахал? — неожиданно спросил он и восхищенно присвистнул.

— Нельзя ли повежливее, — запротестовала Мерседес. — Что ты себе позволяешь, слон? С кем, думаешь, ты...

— Она теперь со мной, поэтому обращайся с ней как положено. — Карреньо взял женщину за руку жестом собственника. — Мерседес теперь моя невеста, Толстяк.

— Ну ладно, мир не перевернется оттого, что я ляпнул что-то не то, — извиняющимся голосом сказал Искариоте, переводя взгляд с одного на другого. — Но одну вещь я все-таки хотел бы знать: за вами на самом деле не стоят колумбийцы?

— Я не имею с ними ничего общего, — поторопилась ответить Мерседес.

— Я действовал один, Толстяк, клянусь тебе. — Томас приложил руку к сердцу. — Знаю, что тебе трудно поверить в это, но все было именно так. Минутный порыв.

— Признайся, по крайней мере, что она спала с тобой раньше. Признайся хоть в этом, Карреньо, — настаивал Искариоте.

— Мы даже никогда не разговаривали друг с другом. Я ее и видел-то раньше всего два раза: в Пукальпе, когда мы встретили и отвезли ее обратно в аэропорт, да в Тинго-Марии, когда забрали ее в аэропорту. Только и всего, Толстяк, можешь мне поверить.

Искариоте выдохнул сигаретный дым и потряс головой, чтобы прийти в себя.

— С ума сойти, — пробормотал он. — Должно быть, так оно все и было, как ты говоришь. Значит, ты убил его, потому что...

— Да будет тебе, Толстяк, довольно, — перебил его со смехом Томас. — Пусть они думают, что колумбийцы мне заплатили, не все ли равно.

Искариоте швырнул в окно окурок и следил за его зигзагообразным полетом, пока тот не упал на землю среди прохожих.

— Боров хотел отделаться от них, ему надоело, что колумбийцы забирают себе львиную долю. Я слышал об этом много раз. Они тоже могли узнать о его намерении и организовать убийство. Логично?

— Логично, — согласился Карреньо. — Но неверно.

Толстяк Искариоте внимательно изучал верхушки деревьев на площади.

— А могло быть и верно. — Искариоте сделал неопределенный жест рукой. — В конце концов, верно то, что удобно. Ты меня понимаешь?

— Ровным счетом ничего не понимаю, — с удивлением сказал Литума. — Что он задумал?

— Хитро придумал этот слон, — сказала Мерседес.

— А она вот уже поняла. — Искариоте снова уселся на кровать рядом с Томасом, обнял его за плечи. — Подари этот труп колумбийцам, Томасито. Разве Боров не хотел покончить с ними? Не хотел стать полным хозяином, взять в свои руки все, от очистки до вывоза, и вытеснить их? Поэтому ты оказал им величайшую услугу — ведь ты устранил конкурента. Они должны бы отблагодарить тебя, черт их побери. Если они настоящие наркобароны.

Он встал, пошарил по карманам, закурил новую сигарету. Томас и Мерседес тоже закурили. Какое-то время все молчали, затягиваясь и пуская клубы дыма. За окном раздались звуки колокола, звонили сразу в нескольких церквях, низкие тягучие удары перебивались быстрым перезвоном, по комнате перекатывалось эхо. Мерседес перекрестилась.

— Как только окажешься в Лиме, надевай форму и отправляйся к своему крестному отцу, — заговорил Искариоте. — Я его убрал, скажи, избавил от него колумбийцев. Теперь они мне обязаны по гроб жизни за эту услугу, теперь можете выставлять им счет, крестный. Он ведь связан с ними, обеспечивает им прикрытие. Так что нет худа без добра, Карреньито. Сделаешь, как я говорю, — крестный простит тебе все, что ты натворил.

— Ну и бестия этот Толстяк, прямо-таки ума палата, — восхитился Литума. — Вот это изворотливость, мать твою!

— Не знаю, не знаю, — ответил Карреньо. — Может быть, ты и прав. Может быть, мне и вправду стоит сделать так, как ты говоришь.

Мерседес с беспокойством переводила взгляд с одного на другого.

— Почему ты должен надеть форму? Что это значит?

— Толстяк здорово придумал, — принялся объяснять Томас. — Такой у него сложился план. Заставить колумбийцев поверить, что я убил Борова специально, чтобы завоевать их доверие и расположение. Искариоте мечтает работать на международную мафию и в один прекрасный день попасть в Нью-Йорк.

— Конечно стоит, поэтому я и говорю, нет худа без добра, — самодовольно подтвердил Искариоте. — Так ты пойдешь к своему крестному и скажешь ему все что нужно, Карреньито?

— Обещаю, Толстяк. Давай не терять связь в Лиме.

— Если ты доберешься до Лимы, — ответил Искариоте. — А это еще вопрос. Не могу же я быть твоим ангелом-хранителем каждый раз, когда ты откалываешь какой-нибудь номер.

— А знаешь, мне стало интереснее слушать про Толстяка, чем про твои шашни с этой пьюранкой, — воскликнул Литума. — Расскажи мне о нем подробнее.

— Большой человек, господин капрал. И мой большой друг.

— До отъезда вам лучше не показываться на улице, не мозолить глаза публике, — посоветовал Искариоте. — Вспомни-ка, чему тебя учили, когда обряжали в форму?

— О какой форме он говорит? — снова всполошилась Мерседес.

Искариоте рассмеялся и неожиданно задал ей двусмысленный вопрос:

— Что ты вытворяла, что мой друг так врезался в тебя? В чем твой секрет?

— А в чем, правда, был ее секрет? — прервал его Литума. — Как она тебе давала?

Но Мерседес не обратила внимания на его слова и продолжала допытываться:

— Почему он говорит о форме, что это значит?

— Так ты, выходит, не сказал своей невесте, что ты полицейский? — засмеялся Искариоте. — А ты, девочка, никак дала маху. Променяла наркобарона на простого полицейского.

— А Толстяк-то был прав, Томасито, — хохотнул Литума. — Пьюранка и впрямь дала маху.

V

— Вы хотите сказать, что мы арестованы? — спросила сеньора Адриана.

Дождь лил как из ведра, крупные капли барабанили по жестяной крыше с такой силой, что ее голос едва был слышен. Она сидела на бараньей шкуре и пристально смотрела на капрала, пристроившегося на углу письменного стола. Дионисио стоял около нее с отсутствующим видом, будто происходящее его не касалось. Его веки были воспалены, глаза казались остекленевшими. Полицейский Карреньо тоже стоял, опираясь о шкаф с оружием.

— У меня нет другого выхода, поймите, — развел руками Литума.

Эти андийские грозы не доставляли ему удовольствия, он никак не мог к ним привыкнуть, каждый раз казалось, что буря разыграется еще больше и все кончится какой-нибудь ужасной катастрофой. Не доставляло ему удовольствия и держать

у себя на посту арестованных — пьяного хозяина погребка и его жену-ведьму.

— Было бы лучше, если бы вы нам помогли, донья Адриана.

— За что нас арестовали? — Она не поддавалась на уговоры, но в ее голосе не было ни раздражения, ни беспокойства. — Что мы сделали?

— Вы не сказали мне правду о Деметрио Чанке, или, точнее, Медардо Льянтаке. Ведь так на самом деле звали бригадира, не правда ли? — Литума вынул радиограмму, полученную в ответ на свой запрос из Уанкайо, и помахал ею перед лицом женщины. — Почему вы мне не сказали, что он и есть тот самый представитель власти в Андамарке, который спасся от бойни, устроенной сендеристами? А ведь вы знали, по какой причине этот человек оказался здесь.

— Это знал весь Наккос, — возразила женщина. — Пришел сюда на свою голову.

— Так почему же вы мне ничего не сказали, когда я вас допрашивал в прошлый раз?

— Потому что вы меня не спросили, — ответила она так же спокойно. — Я думала, вы тоже знали.

— Нет, в том-то и дело, что не знал, — повысил голос Литума. — Но теперь, когда я знаю, я знаю также и то, что после вашей ссоры с ним у вас был самый простой способ отомстить бедняге бригадиру — сдать его террукам.

Донья Адриана широко открыла глаза, смерила его долгим взглядом, полным насмешливого сострадания, и саркастически рассмеялась:

— У меня нет никаких дел с сендеристами. Ведь нас они любят еще меньше, чем Медардо Льянтака. Нет, не они убили его.

— Тогда кто же?

— Я уже вам сказала. Такая у него судьба.

У Литумы вспыхнуло желание вытолкать их взашей — ее и ее пропойцу мужа. Впрочем, нет, она не смеялась над ним, она просто свихнулась от всей этой мерзости, однако при этом она была в курсе всего, что здесь случилось; бесспорно, она сообщница.

— По крайней мере, вы были осведомлены, что трупы этих троих гниют в заброшенной шахте, так? Ведь муж рассказал вам о них? Мне-то рассказал. Он и сам мог бы подтвердить это, не будь он пьян в стельку.

— Не помню, чтобы я говорил что-нибудь такое, — промычал, гримасничая и топая как медведь, Дионисио. — Может, я иногда и бываю немного под мухой, но сейчас трезв как стеклышко и могу сказать совершенно точно: не помню, чтобы когда-нибудь имел честь разговаривать с вами, господин капрал.

Он засмеялся, слегка согнув в поклоне свое заколыхавшееся тело, потом снова напустил на себя невозмутимый вид и стал рассматривать находившиеся в комнате вещи. Карреньо сел на скамью позади доньи Адрианы и тоже вступил в разговор:

— Все в Наккосе указывают на вас. — Но донья Адриана даже не обернулась в его сторону. — Говорят, все, что случилось с ними, ваших рук дело.

— А что случилось с ними? — Женщина презрительно усмехнулась.

— Вот именно это я и хотел бы узнать от вас, донья Адриана, — сказал Литума. — Забудьте дьяволов, злых духов, белую и черную магию, забудьте все эти сказки, которые вы рассказываете пеонам. Скажите просто и ясно, что произошло с этими тремя? Почему в поселке шепчут, что вы и ваш муж виновны в том, что здесь произошло?

Женщина снова рассмеялась, невесело, даже презрительно. Сидя на шкуре в своих мешковатых одеяниях, она смахивала на какой-то бесформенный куль, но вместе с тем в ее облике было что-то грозное, зловещее. Она совсем не казалась испуганной. Она так уверена в своей силе, подумал Литума, что может позволить себе роскошь посочувствовать ему и его помощнику, глядя, как они тыркаются вслепую. А что до трактирщика, то большего нахала и вообразить трудно. Он, видите ли, не помнит, что хотел продать свой секрет, и теперь нагло отрицает, что в разговоре у заброшенной шахты прозрачно намекнул, что пропавшие находятся на ее

дне. После той встречи и до получения радиограммы из Уанкайо Литума и Томасито отбросили версию о терруках. Но теперь они снова засомневались. За этим Медардо Льянтаком из Андамарки, жившим здесь под чужим именем, конечно же, охотились терруки, тут нет сомнений. Или, может быть... А впрочем, так или иначе, все в поселке указывают пальцами на эту парочку, как сказал Томасито. Малопомалу им удалось вытянуть кое-что у одного пеона, потом у другого и, связав воедино все недомолвки и намеки, прийти к выводу: хозяин погребка и его жена замешаны в этой истории и, уж во всяком случае, знают всю подноготную.

Дождь усиливался.

— Вам обязательно надо найти кого-нибудь, на кого можно будет свалить всю вину за похищения, — неожиданно воскликнул Дионисио; было похоже, что он очнулся специально для того, чтобы возразить Литуме. — Да только напрасно вы хотите повесить это дело на нас, господин капрал. Мы не имеем к ним никакого отношения. Адриана может угадывать судьбы людей, но не может их изменять.

— То, что случилось с этими людьми, выше вашего и нашего разумения, — подхватила его жена. — Я вам уже объясняла. Такая у них судьба. Ведь судьба и на самом деле существует, хотя людям это не очень нравится. А кроме того, вы прекрасно знаете, что пересуды пеонов — сплошная чепуха.

— Нет, не чепуха, — подал из-за ее спины голос Карреньо. — Жена Деметрио, то есть, я хочу сказать, Медардо Льянтака, перед тем как уехать из Наккоса, сообщила нам, что, когда она видела мужа в последний раз, он сказал, что идет пропустить рюмочку в вашем заведении.

— А куда же идти всем пеонам и бригадирам, как не к нам? — опять подал голос Дионисио. — Или в Наккосе есть другой погребок?

— По правде говоря, у нас нет против вас конкретных обвинений, — вынужден был признать Литума. — Или не всё о вас знают, или боятся, но стоит нажать посильней, начинают намекать, что вы приложили руку ко всем исчезновениям.

Сеньора Адриана снова засмеялась, безрадостно и в то же время вызывающе. Рот растянулся в гримасе, так делают взрослые, когда хотят позабавить малышей.

— Я никому не вкладываю в голову мысли, — тихо сказала она. — Я извлекаю мысли из головы и тычу человека мордой в то, что он думает. В том-то и дело: этим индейцам не нравится смотреться в зеркало.

— А я только помогаю им: они у меня пьют и забывают о своих бедах, — перебил ее Дионисио. — Что было бы с пеонами, если бы у них не было места, где они могут завить горе веревочкой?

Вдалеке сверкнула молния, покатился гром. Все замолчали, слушая, как постепенно замирают его раскаты и снова становится слышен стук дождя. Склон горы сразу вспух жидкой грязью, она бесчисленными языками устремилась вниз, к поселку. Через приоткрытую дверь Литума видел водяную завесу дождя на фоне черных туч. Поселок и окрестные горы растворились в серой мгле. А было только три часа дня.

— Скажите, правда ли то, что о вас тут рассказывают, донья Адриана? — спросил вдруг Карреньо. — Что, когда вы были молодой, вы и ваш муж, шахтер вот с таким носищем, убили пиштако?

На этот раз ведьма слегка обернулась, чтобы взглянуть на Томаса. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза, потом Томасито моргнул и отвел взгляд.

— Дай-ка мне твою руку, молодой человек, — мягко сказала донья Адриана.

Литума видел, как Карреньо слегка отпрянул, хотел было засмеяться, но улыбка быстро сошла с его лица. Дионисио насмешливо ухмыльнулся и пробормотал что-то себе под нос. Донья Адриана, повернувшись к Томасу, ждала с протянутой рукой, ее голова сбоку походила на воронье гнездо. Томас вопросительно взглянул на Литуму, тот пожал плечами. Томас вздохнул, женщина взяла его правую ладонь. Капрал слегка вытянул шею. Донья Адриана размяла ладонь и поднесла ее к своим огромным, выпуклым глазам; Литуме почудилось, что они вот-вот выкатятся из орбит. Томасито затаил дыхание, его лицо побледнело, взгляд стал напряженным.

Дионисио снова отключился: прикрыл глаза и чуть слышно затянул какую-то монотонную песню, вроде тех, что напевают погонщики мулов, отгоняя сон во время длинных переходов. Ведьма наконец отпустила руку, шумно вздохнула, будто разглядывание ладони стоило ей большого труда, и тихо, почти шепотом, сказала:

— Ты страдаешь от любви, юноша. Я поняла это еще раньше по твоему лицу.

— Это любая гадалка может сказать кому угодно, — заметил Литума. — Вернемся к серьезным вещам, донья Адриана.

— А сердце у тебя вот такое большое, — добавила донья Адриана, широко разводя руки. — Счастлива та, кому достанется такое сердце.

Литума нарочито громко хмыкнул и, подойдя к Карреньо, сказал ему на ухо:

— Она пытается умаслить тебя, Томасито. Не поддавайся.

Но молодой полицейский не засмеялся вместе с ним. Лицо его оставалось серьезным, он завороженно смотрел на женщину. Та снова взяла его руку и, потискав ладонь, снова поднесла к глазам. Хозяин погребка напевал вполголоса все ту же мелодию и, раскачиваясь из стороны в сторону, постукивал в такт ногой, безразличный ко всему вокруг.

— Любовь принесла тебе несчастье, заставила страдать, — продолжала донья Адриана. — Твое сердце кровоточит каждую ночь. Но эта же любовь помогает тебе жить.

Литума пришел в замешательство и не знал, что делать. Он не верил колдунье и еще меньше верил тому, что рассказывали о ней не только в поселке, но и во всей округе: будто она и ее первый муж, шахтер, собственноручно убили пиштако. И тем не менее ему всегда становилось не по себе, когда он сталкивался с нею. Правда ли, что она могла прочитать жизнь человека по линиям его руки? Или по картам? По листьям коки?

— Но все кончится для тебя счастливо, так что не горюй, — завершила гадание донья Адриана и отпустила руку гвардейца. — Не знаю только когда. Может быть, тебе придется пострадать еще немного. Не так-то просто выйти из-под влияния злых сил, они ведь ненасытны. Но то, что мучит тебя сейчас, кончится благополучно.

Она шумно вздохнула и повернулась к Литуме.

— Вы стараетесь заговорить нам зубы, сеньора, чтобы мы забыли о пропавших?

— А вам, капрал, я не стала бы гадать по руке, даже если бы вы мне заплатили, — усмехнулась в ответ сеньора Адриана.

— Со мной у вас ничего не выйдет, я на все ваши дела знаете что?..

А между тем Дионисио, возбужденный своими фантазиями, уже во весь голос тянул свою нескончаемую мелодию; он весь ушел в себя, закрыл глаза, пританцовывал на месте. Карреньо взял его за руку и сильно тряхнул. Дионисио затих, открыл глаза и удивленно озирался, будто видел всех впервые.

— Не притворяйся пьяным, не так уж много ты выпил, — одернул его Литума. — Вернемся к тому, на чем мы остановились. Вы мне объясните наконец, что произошло с этими людьми? Расскажете — я вас тут же отпущу.

— Ни я, ни мой муж ничего не видели. — Женщина уперла в Литуму твердый взгляд. — Оставьте нас в покое и заставьте говорить тех, кто возводит на нас напраслину.

— Да и вообще, господин капрал, что было — давно уплыло, теперь уж обратно не вернешь. Пора вам понять, что все бесполезно, — зачастил Дионисио. — Судьбу не переспоришь, только лоб разобьешь.

Дождь перестал, и сразу же разлился яркий свет еще высоко стоявшего солнца. Над окрестными горами, над эвкалиптовыми рощами перекинулась радуга. Земля покрылась бесчисленными ручейками и лужицами, блестевшими как ртуть. А высоко вверху, над самым гребнем Кордильеры, небо окрасилось в особый густо-фиолетовый цвет, какой Литума видел только на юбках и платках индейских женщин и еще на шерстяных мешочках, которые индейцы привязывают к ушам

своих лам; для него это был цвет самих Анд, этих таинственных и жестоких гор.

Карреньо после предсказания доньи Адрианы ушел в свои мысли и теперь, казалось, ничего не видел и не слышал. Еще бы, Томасито, ведь она сказала именно то, что ты хотел услышать.

— Где вы будете нас держать? — сеньора Адриана обвела комнату презрительным взглядом. — Здесь? И мы будем спать все вместе, вчетвером, друг на друге?

— Да, конечно, помещение не очень приспособлено для этого и не соответствует вашему высокому положению, я понимаю. Но придется довольствоваться тем, что есть. Ведь и нашему положению этот пост тоже не слишком соответствует. Верно, Томасито?

— Да, господин капрал, — тихо ответил Карреньо, с трудом отвлекаясь от своих мыслей.

— Отпустите хотя бы Дионисио. Пока мы здесь, некому присмотреть за погребком. Там все растащат, а между прочим, это барахло — единственное, что у нас есть.

Литума разглядывал ее с откровенным любопытством. Тяжелая, грузная, закутаннная в какие-то тряпки, место которым в лавке старьевщика, бог знает на что она была похожа, и только крутые бедра напоминали, что она женщина. Говорила эта ведьма без малейшего намека на чувства, всем своим видом показывая, что выполняет пустую формальность, что ее, в сущности, мало беспокоит, чем все кончится. А Дионисио, по-видимому, еще меньше, чем она, беспокоился о своем будущем. Он снова закрыл глаза и отключился от окружающего. В общем, можно подумать, что все это их не касается. Еще носы задирают, мать их за ногу!

— Ладно, договоримся так, — вздохнул Литума, сломленный наконец их упрямством. — Вы мне дадите слово, что никуда не уйдете из поселка. Даже на двадцать шагов. На этом условии я вам разрешу жить в вашем кабаке, пока мы ведем расследование.

— Да куда мы денемся? — Дионисио приоткрыл глаза. — Если б нам было куда идти, давно бы и след наш простыл. Но ведь вокруг — и в горах, и повсюду — затаились эти люди, которые только и ждут случая, чтобы раздробить нам головы камнями. Наккос уже превратился в тюрьму, а мы все здесь заключенные. Разве вы до сих пор не заметили этого, господин капрал?

Женщина, ухватившись за руку мужа, тяжело поднялась с пола. Не простившись, оба вышли из дома. Они спускались с горы мелкими, осторожными шагами, нащупывая камни и твердую почву, где было меньше грязи.

— Ты еще не пришел в себя после того, что тебе нагадала эта ведьма?

Литума протянул своему помощнику сигарету. Они курили и смотрели, как уменьшаются фигуры спускавшихся все ниже Дионисио и доньи Адрианы.

— На тебя подействовало, что она догадалась о твоих любовных страданиях? — Литума выдохнул клуб дыма. — Но ведь такое бывает со всеми. Немного больше, немного меньше. Или ты думаешь, ты один тоскуешь по женщине?

— Вы мне сказали, что с вами никогда не случалось ничего похожего, господин капрал.

— Ну, мне, конечно, тоже случалось влюбляться, — задумчиво протянул Литума. — Но у меня все быстро кончалось. К тому же почти всегда я крутил любовь с блядями. Раз, помню, в Пьюре, в борделе, в том самом «Зеленом Доме», о котором я тебе рассказывал, я влюбился по уши в одну смугляночку. Был от нее без ума. Но чтобы захотеть жениться, по правде говоря, до такой крайности я никогда не доходил.

Какое-то время они курили молча. Далеко внизу, у подножья горы, показалась фигура человека, он шел по тропе, ведущей наверх, к их посту.

— Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, Томасито, что произошло с этими пропавшими. И знаешь, с тех пор, как мне в поселке намекнули, что Дионисио и донья Адриана замешаны в этом, я прямо-таки не могу прийти в себя. В голове не укладывается.

— Мне тоже трудно поверить в это, господин капрал. Но, с другой стороны, как объяснить, что все пеоны в конце концов указывают на них?

— Это можно объяснить и тем, что все горцы суеверны, все они верят в чертей, в пиштако, в муки, — ответил Литума. — А так как Дионисио и его жена что-то вроде колдунов, все уверены, что они как-то связаны с пропажей людей.

— Я не верил, что они имеют какое-то отношение к этому, пока донья Адриана не погадала мне по руке. — Томас слегка улыбнулся. — Но теперь я тоже готов поверить во что угодно. Кстати, насчет большого сердца мне очень понравилось.

Литума уже мог рассмотреть поднимавшегося к ним человека: это был мужчина в шахтерской каске, ярко поблескивающей в косых лучах опускавшегося солнца. Кто бы мог подумать, глядя на это ясное небо, что еще несколько минут назад здесь низвергались потоки воды, грохотал гром, клубились тяжелые черные тучи.

— А ты ведь и впрямь не устоял перед этой колдуньей. — Литума тоже улыбнулся. — Может, чем черт не шутит, ты тоже приложил руку к исчезновению этих трех, Томасито?

— Здесь все может быть, господин капрал.

Оба засмеялись нервным, натужным смехом. Литума разглядывал шедшего к посту человека, а в памяти почему-то воскрес образ Педрито Тиноко, бедняги немого, что был на побегушках, делал самую черную работу и своими глазами видел бойню, которую терруки устроили викуньям. После того как Томасито рассказал эту историю, мысли Литумы постоянно возвращались к немому. И почему, интересно, всегда вспоминается одна и та же картина, как тот стирает одежду на своем обычном месте — между оградой и серыми камнями? У приближавшегося человека на поясе висели пистолет и дубинка, похожая на полицейскую. Однако одежда на нем была гражданская — джинсы и куртка. На рукаве куртки можно было разглядеть черную повязку.

— Ясно как дважды два: многие здесь прекрасно знают, что произошло, но, сколько с ними ни бейся, молчат. Упрямые как бараны. Хотя самые большие бараны здесь это мы с тобой, Томасито. Столько времени толчемся на одном месте без толку, немудрено почувствовать себя бараном.

— Я от всего этого тоже чувствую себя не в своей тарелке. И я тоже думаю, что им что-то известно, а молчат они потому, что хотят, чтобы за все отвечали хозяин погребка и его жена. Иногда мне даже кажется, что они сговорились навести нас на подозрение, что именно Дионисио и донья Адриана организовали похищения. Вот они и сбивают нас со следа, чтобы самим остаться в тени. Не лучше ли нам свернуть это дело, господин капрал?

— Да мне не так уж и важно раскрыть эти похищения, Томасито. Я имею в виду — по служебной линии. Но очень уж я любопытный, и меня будто червяк какой точит — хочется узнать, что же все-таки здесь произошло. А с тех пор как ты мне рассказал о немом и о лейтенанте Панкорво, меня и вовсе заело: пока не узнаю, что случилось с немым, не смогу спать спокойно.

— А вы заметили, что народ здесь какой-то запуганный? Ходят как в воду опущенные, и в погребке не веселее, и на строительстве. Все как будто ждут чего-то, будто что-то должно произойти. Может быть, все это из-за слухов. Говорят, что строительство дороги скоро остановят и все останутся без работы. Да и обстановка вокруг сами знаете какая. Столько повсюду убийств, что у людей нервы не выдерживают. Все чего-то боятся, того и гляди сорвутся. Вы сами не чувствуете этого?

Да, Литума чувствовал это. Лица у пеонов насуплены, глаза бегают, словно они опасаются, что кто-то подкрадется и нападет на них, говорят мало и неохотно, а при его приближении и вовсе смолкают. Может, из-за того, что здесь исчезают люди? И каждый опасается стать четвертым?

— Здравствуйте, капрал! — Человек в шахтерской каске откозырял Литуме. Это был высокий крепкий метис с заросшим жесткой щетиной лицом. Прежде чем войти в дом, он долго стучал о порог заляпанными грязью шахтерскими ботинка-

ми, пытаясь хоть немного очистить их. — Я пришел из Эсперансы. Чтобы встретиться с вами, капрал Литума.

Эсперансой назывался серебряный рудник в четырех часах ходьбы на восток от Наккоса. Литуме не приходилось там бывать, но он знал, что в поселке жило несколько шахтеров, уволенных в разное время со старой шахты Эсперанса.

— Ночью на нас напали терруки и устроили настоящий погром. — Метис снял каску, тряхнул длинными лоснящимися волосами. Его куртка и джинсы промокли насквозь. — Убили одного из моих людей и ранили другого. Я начальник охраны Эсперансы. Они унесли взрывчатку, деньги для расчетов и много чего еще.

— Мне очень жаль, но я не могу уйти отсюда, — сказал Литума. — Нас всего двое на посту, я и мой помощник. Мы здесь распутываем одно серьезное дело. Надо бы запросить начальство в Уанкайо.

— Наши инженеры уже запросили. — Начальник охраны Эсперансы вынул из кармана свернутый лист бумаги и с вежливым поклоном протянул его Литуме. — Они переговорили с вашим руководством по радио. Из Уанкайо ответили, что вы должны взяться за это дело. Эсперанса тоже находится в вашем ведении.

Литума с тяжелым сердцем читал и перечитывал радиограмму. К сожалению, все обстояло именно так. Они на той шахте имели лучшую связь с центром, чем он здесь, в этом паршивом поселке. Он в этой глуши оторван от мира, не знает, что происходит вокруг. Радио компании работает редко и недолго, если вообще работает. Кому, интересно, пришла в голову дурацкая мысль расположить пост в Наккосе? По-настоящему его надо было установить как раз в Эсперансе. Правда, если бы пост располагался там, он и Томасито уже встретились бы с терруками лицом к лицу. Потому что были бы ближе к ним. Петля на шее затянулась бы еще раньше.

Карреньо зажег примус и поставил вариться кофе. Охранник Эсперансы сказал, что его зовут Франсиско Лопес. Он уселся на шкуру, на которой до него сидела донья Адриана. На примусе забулькал кофейник.

— Теперь-то вы уже ничего не можете сделать, — говорил Лопес. — Терруки, как вы понимаете, давно уже смылись со своей добычей. Но надо составить полицейское донесение и приложить протокол, иначе компания не сможет получить страховку.

Томасито налил кипящий кофе в латунные кружки, протянул одну Литуме, другую Лопесу, взял кружку себе.

— Если хотите, я слетаю в Эсперансу, господин капрал, живо обернусь.

— Нет, я пойду сам. А пост пока останется на тебе. Если там задержусь, помолись за меня.

— Опасности уже нет, — успокоил его Лопес. — Я приехал на джипе. Пришлось оставить его у перевала, там кончается дорога. Это недалеко, если идти быстро — меньше часа. Я-то добирался дольше, меня застал ливень. А когда вы там покончите с формальностями, я привезу вас обратно.

Франсиско Лопес уже три года работал в службе безопасности Эсперансы. Это нападение на шахту было вторым. Первый раз терруки захватили ее шесть месяцев назад. Тогда обошлось без жертв, но они, как и теперь, тоже унесли с собой взрывчатку, одежду, продовольствие, шахтерские робы.

— К счастью, инженеры успели спрятаться, — продолжал рассказывать Лопес, прихлебывая кофе. — А вместе с ними один гринго, их друг, он как раз приехал к ним в гости. Они все укрылись в водонапорных башнях. Если бы их там нашли, их бы уже не было в живых. Инженеров, служащих, солдат терруки никогда не щадят. А уж иностранцев тем более.

— Вы еще забыли полицейских, — пробурчал Литума.

Франсиско Лопес улыбнулся:

— Не хотел упоминать, чтобы не нагнетать страху. Что же касается рабочих, им, напротив, не причиняют никакого зла, если, конечно, не считают штрейкбрехерами.

Все это он говорил так естественно, будто речь шла о самых обыкновенных

вещах, будто так было заведено испокон веков. А может, так оно и есть, разъедрена мать.

— Ну и в связи со всеми этими делами Эсперансу вроде бы собираются закрыть, — добавил Лопес, дуя на горячий кофе. — Инженеры не хотят больше там работать. Да еще из-за революционных налогов поднялись все цены.

— Но если они платят революционные налоги, почему же на них нападают? — удивился Литума.

— Мы тоже задаем себе этот вопрос, — пожал плечами Лопес. — Никакой логики.

Он все дул на кофе и прихлебывал его маленькими глотками с таким видом, словно их разговор касался самых что ни на есть заурядных тем.

В детстве Касимиро Уаркая страдал оттого, что имел соломенные волосы и светлые водянистые глаза. Потому что в андийской деревеньке Яули, где он родился, все жители были черноволосыми, и, что хуже всего, его родители, братья и сестры — все без исключения — тоже имели темные волосы, смуглые лица и черные глаза. Откуда же тогда взялся этот альбинос, как он появился в семье Уаркая? Шуточки, которые отпускали его приятели в маленькой казенной школе, не раз заставляли его лезть в драку: хотя характер у него был довольно покладистый, он приходил в бешенство, когда ему намекали, что настоящим его отцом был не тот, кто им считался, а какой-нибудь заезжий гринго или сам дьявол, ведь в Андах всем известно, что, когда нечистый плетет свои козни среди людей, он обычно принимает облик чужеземца — хромого гринго.

Вдобавок ко всему Касимиро постоянно мучила мысль, что и отец, горшечник Аполинарио Уаркая, тоже имеет сомнения относительно его происхождения. Во-первых, потому, что сам Касимиро верил, что его физические странности связаны с какой-то тайной его рождения, а еще потому, что Аполинарио, всегда такой мягкий с остальными детьми, не щадил Касимиро — давал ему самые тяжелые поручения и безжалостно колотил за малейшее упущение.

И однако, несмотря на насмешки товарищей и притеснения в семье, Касимиро вырос здоровым, сильным парнем, почти без комплексов; к тому же он был смышленым и жизнерадостным, да еще и мастером на все руки. С тех пор как он стал немного разбираться в жизни, в нем крепла мечта уйти из Яули в какой-нибудь большой город — в Уанкайо, или Пампас, или Аякучо, где его соломенные волосы и светлые глаза не будут так привлекать внимание.

Еще до того как ему исполнилось пятнадцать лет, он сбежал из деревни с бродячим торговцем, которому раньше, когда тот приезжал в Яули, помогал разгружать и грузить товары и продавать их на рынке. У дона Периклеса Чалуанки был допотопный латаный-перелатаный грузовичок, он объезжал на нем деревни и поселки округи, продавая лекарства, сельскохозяйственные орудия, одежду, посуду, обувь — словом, все, за чем обычно ездят в город, а на вырученные деньги покупал сыр, ягоды, фрукты, бобы, ткани, глиняные горшки и кувшины, чтобы продать их потом в городе. Дон Периклес был не только торговцем, но и умелым механиком, и Касимиро постиг с его помощью все тайные пороки грузовика, который буквально рассыпáлся на кошмарных горных дорогах, так что в каждой поездке его приходилось чинить по нескольку раз. Старый торговец будоражил его воображение рассказами о своей полной приключений жизни, в которой он, как греховодник-петух, забравшийся в чужой курятник, завлекал, соблазнял и бросал женщин в бесчисленных деревушках, разбросанных в департаментах Апуримака, Уанкавелика, Аякучо, Куско и Серро-де-Паско, поэтому все эти места, самодовольно ухмылялся дон Периклес, «засеяны моими отпрысками мужского и женского пола». Во время поездок он, хитро подмигивая, показывал некоторых своих женщин Касимиро. Многие из них почтительно приветствовали торговца, целовали ему руку, называли «крестным».

Но больше всего нравилась юноше вольготная жизнь под открытым небом. Они

жили одним днем, не зная, куда поедут завтра: ярмарки и храмовые праздники в округе, приобретенный товар, состояние грузовика, капризы погоды — вот что определяло их решения, вот от чего зависел распорядок их дня, их маршруты, места ночевки. У дона Периклеса был в Пампасе небольшой домик, настоящий, не на колесах, который он делил с замужней племянницей и ее детьми. Когда они приезжали в Пампас, Касимиро останавливался в этом доме как член семьи. Но обычно он проводил ночи в кузове грузовичка: устраивался между тюков и коробок на коровьей шкуре, прикрывался толстым брезентом, а если шел дождь, ночевал в кабине или залезал под машину.

Торговля у них шла не бог весть как, почти все, что удавалось заработать, уходило на грузовик: то требовалось купить какую-нибудь деталь, то залатать камеру, но на жизнь, в общем, хватало. За годы, проведенные с Периклесом, Касимиро изучил Центральные Анды как свои пять пальцев — все селения и фермы во всех округах со всеми их ярмарками, долины и опасные пропасти на горной дороге, а также все тайны торгового дела: где покупать самый хороший маис, куда везти иголки и нитки, а где как манны небесной ждут лампы и перкаль, и против каких поясков, брошек, браслетов и бус не смогут устоять деревенские девушки.

Дон Периклес сначала относился к нему как к обычному ученику-подручному, потом — как к сыну, и под конец — как к компаньону. По мере того как он старел, а юноша превращался в мужчину, вся работа постепенно ложилась на плечи Касимиро, и по прошествии многих лет он уже единолично решал, что покупать и что продавать, а дон Периклес превратился лишь в номинального главу их дела.

Когда старика разбил апоплексический удар и парализовало, да к тому же он потерял речь, они, к счастью, оказались в Пампасе. Родным удалось быстро доставить его в больницу и спасти от смерти. Но ездить дон Периклес больше не мог, и с этих пор Касимиро отправлялся в поездки один. И еще долгое время он водил все тот же бессмертный грузовичок, пока в один прекрасный день ему не пришлось отказаться от него, поскольку племянница и внуки дона Периклеса потребовали, чтобы он выплачивал им какую-то немыслимую сумму за пользование машиной. В общем, ему ничего больше не оставалось, как вернуть им грузовик. Хотя до самой кончины дона Периклеса он неизменно навещал его с каким-нибудь подарком всякий раз, как оказывался в Пампасе, фактически он уже стал сам себе хозяин. К этому времени он окончательно повзрослел, превратился в крепкого, работящего мужчину, его веселый нрав привлекал людей, повсюду у него были друзья. На деревенских праздниках он мог всю ночь напролет пить и плясать, добродушно отшучиваясь от насмешливых замечаний подвыпивших приятелей относительно его соломенных волос, а на следующее утро приняться за дела раньше всех других торговцев. Вместо грузовика у него теперь был старый подержанный пикап, он купил его в рассрочку у одного землевладельца в Уанкайо и регулярно, каждый месяц, возвращал ему часть долга.

Однажды, когда он продавал пряжки и сережки в небольшой деревне в провинции Андауайлас, ему показалось, что одна девушка дожидается, когда он все распродаст и останется один. Совсем молоденькая, с косичками, с фарфоровым личиком, пугливая, как зверек. Как только разошлись последние покупатели, девушка робко приблизилась к нему.

— Я уже догадался, — улыбнулся он. — Ты хочешь брошку, а у тебя нет денег.

Она еще больше смутилась и отрицательно покачала головой.

— Ты меня бросил, а я теперь беременная, — сказала она на кечуа, опуская глаза. — Разве ты меня не помнишь?

Да, ему смутно припомнилось что-то такое. Уж не та ли это девчушка, что поднялась к нему в грузовик на храмовый праздник архангела Гавриила? Но он в тот день перебрал чичи и теперь не был уверен, что это она.

— А с чего ты взяла, что это был я? — Голос его прозвучал довольно резко. — Со сколькими парнями ты побывала на разных праздниках? А теперь вот просто

так, за здорово живешь, хочешь охомутать меня? Чтобы я признал ребенка, который у тебя неизвестно от кого?

Тут ему пришлось остановиться, потому что она уже убегала от него. Касимиро вспомнил, что дон Периклес советовал в подобных случаях немедленно садиться за руль и убираться куда глаза глядят. Но вместо этого он неторопливо уложил все в машину, а потом отправился бродить по деревне, надеясь снова встретить ее. Он уже раскаивался, что так грубо обошелся с девушкой, и теперь был не прочь с ней помириться.

Он увидел ее, когда уже выезжал из деревни, она шла по обсаженной ивами и тунами дороге, оглашаемой кваканьем лягушек. Девушка возвращалась в свою деревню. Она была очень обижена, и Касимиро стоило большого труда смягчить обиду и уговорить ее подняться к нему в пикап. Он отвез ее до самой окраины деревни, где она жила, дал немного денег и посоветовал найти повивальную бабку, из тех, что не только принимают роды, но и умеют вызвать выкидыш. Девушка кивала головой, но глаза ее были полны слез. Ее звали Асунта, а когда он спросил, сколько ей лет, она ответила, что восемнадцать, и он догадался, что она прибавила.

Месяц спустя он снова приехал в эти места, разыскал ее дом. Она жила с родителями и кучей братьев и сестер. Приняли его неприветливо, смотрели с подозрением, в разговор вступали неохотно. Отец девушки, владелец собственного участка среди общинных земель, был устроителем праздников. Он понимал по-испански, хотя на вопросы Касимиро отвечал только на кечуа. Асунта сказала, что не нашла никого, кто смог бы приготовить ей отвар для выкидыша, но ее крестные из соседней деревушки, успокоила она Касимиро, уже сказали ей, чтобы она рожала: если потом она не сможет остаться дома, они возьмут ее с ребенком к себе. Она, казалось, смирилась со своей участью. Касимиро подарил ей туфельки на высоком каблуке и цветастую шаль, она благодарно поцеловала ему руку.

Когда он приехал туда в следующий раз, Асунта уже не жила в родительском доме, и никто там не хотел говорить о ней. Отец держался с Касимиро еще более неприветливо, чем в первые встречи, разговаривал сквозь зубы и просил больше не показываться. Соседи ничего не знали о девушке и не могли толком объяснить, где живут ее крестные. Касимиро решил, что сделал все, что было в его силах, и теперь лучше забыть об этом деле. Конечно, если он вдруг снова встретит Асунту, то непременно ей поможет.

Но что-то с тех пор изменилось — и вокруг него, и в нем самом. Эти дороги, эти горы и деревни, которые он исколесил еще с доном Периклесом, а потом и один, где с ним никогда не случалось ничего плохого, разве что лопнет старая камера в шине или сломается что-нибудь на ухабе, теперь стали опасными. То тут, то там он натыкался на взорванные динамитом вышки высоковольтных линий, разрушенные мосты, заваленные камнями и деревьями дороги, видел угрожающие надписи и красные полотнища на вершинах холмов. И все чаще ему встречались группы вооруженных людей, которым всегда надо было отдавать часть того, что он вез: одежду, продукты, ножи, мачете. Стали попадаться на дорогах и полицейские патрули. Они проверяли документы и тоже отбирали часть товара. Народ в деревнях жаловался на насилие, грабежи и убийства, кое-где население начало разбегаться. Отдельные семьи, а то и целые общины бросали свои земли, дома и скотину и уходили в прибрежные города. Доходов Касимиро теперь едва хватало, чтобы сводить концы с концами, а в один прекрасный день он заметил, что тратит уже больше, чем выручает. Почему же он продолжал заниматься прежним делом — покупал товар, грузил на свой пикап, ездил по деревням, продавал? Может быть, потому, что в нем не умерла надежда повстречать Асунту? Со временем эта надежда превратилась в навязчивую идею. Он так часто расспрашивал о девушке, так настойчиво пытался разузнать, куда она исчезла, что люди стали относиться к нему как к помешанному и нередко развлекались, давая ложные адреса или рассказывая всякие небылицы.

Он еще пару раз заезжал в ее деревню, надеясь, что сможет выудить из родни хоть какие-нибудь сведения об Асунте. Ее отец бранился и даже швырял в него камни, но одна из сестер перехватила его, когда он выезжал из селения, и рассказала, что крестные Асунты живут в Андауайласе и их зовут Гальиргос. Однако в Андауайласе никто не знал семью с такой фамилией. А когда он еще раз приехал в родительский дом Асунты, оказалось, что ее отец умер, а мать, братья и сестры вместе с другими семьями этой общины ушли в Ику. Что-то случилось в округе, какое-то массовое убийство, и люди боялись оставаться в этих местах.

Зачем он так упорно разыскивал Асунту? Он сам много раз спрашивал себя об этом и не мог дать вразумительного ответа. Наверное, из-за сына или дочери? Ребенку сейчас должно быть около трех лет. И хотя у Касимиро уже оставалось мало надежды встретить Асунту, он все еще продолжал повсюду расспрашивать о ней. Постепенно это превратилось в какой-то ритуал: он задавал одни и те же вопросы, заранее зная, что получит отрицательные ответы. Возможно, она уехала в Лиму, как многие другие девушки из этих горных краев, и теперь работает у кого-нибудь служанкой в доме или на фабрике или вышла замуж, и теперь у его сына или дочки уже появился братишка или сестренка.

Так прошло много времени, и Касимиро постепенно стал забывать об Асунте. Однажды вечером он приехал в Аркку — небольшое селение к югу от Аякучо, когда там по случаю храмового праздника началась всеобщая попойка. Выйдя из закусочной, Касимиро вдруг оказался среди враждебной толпы: мужчины и женщины осыпали его ругательствами и, показывая на его волосы, кричали: «Пиштако!», «Колдун!» Они были пьяны, так что не имело смысла разговаривать с ними, убеждать, что не все люди, родившиеся, на свое несчастье, со светлыми волосами, бродят по земле в поисках зазевавшегося бедняги, у которого можно забрать его жир, поэтому Касимиро предпочел укрыться в кабине. Но ему не дали уехать. Люди были напуганы и озлоблены, и своими криками и бранью они еще больше взвинчивали друг друга.

Его выволокли из машины и принялись бить и пинать ногами. Когда он уже подумал, что ему не спастись, раздались выстрелы. Он увидел вооруженных людей, враждебная толпа отступила от него. Лежа на земле, еще не придя в себя от побоев, он слушал голоса освободителей. Они объясняли, что не следует верить в пиштако, что это суеверие, внедренное в сознание народа его врагами.

И вдруг он узнал Асунту. Никакого сомнения. Несмотря на то, что уже смеркалось, что голова трещала, он сразу узнал ее. В ту же секунду. Это была она. Только без косичек. Теперь ее волосы были острижены коротко, как у мужчины. И вместо юбки она носила теперь джинсы, на ногах были кеды. А в руках она держала ружье. Она, конечно, тоже узнала его. Но не ответила на приветствие, только махнула рукой. Она объясняла окружавшим ее вооруженным мужчинам и женщинам, что этот альбинос, Касимиро Уаркая, пять лет назад, когда все ушли на праздник в соседнюю деревню, изнасиловал ее и бросил беременную. А когда она пришла к нему рассказать, что ждет ребенка, он встретил ее как гулящую девку. А потом все-таки снизошел: швырнул, как собаке кость, немного денег, чтобы она сделала аборт. Да, это была Асунта — и не Асунта. Касимиро с трудом узнавал в этой строгой, холодной женщине робкую девчушку, когда-то поцеловавшую ему руку. Да и говорила она так, будто речь шла не о нем, а о ком-то другом.

Он хотел сказать, что все это время искал ее. Попытался спросить, что стало с ребенком, которого она ожидала, родился ли он таким же альбиносом, как он сам. Но голос отказал ему.

Эти люди говорили то на испанском, то на кечуа. Они задали ему несколько вопросов, на которые он не смог ответить. А когда он понял, что они уже решили его судьбу, все происходящее показалось ему дурным сном. Ведь это она, женщина, которую он разыскивал столько лет. Асунта шагнула к нему, подняла ружье, прицелилась в голову. Касимиро понял: эта рука, нажимавшая на спусковой крючок, не дрогнет.

— Полицейский, полицейский, — повторила она. — Никогда бы мне не пришло в голову, что ты фараон, вроде тех, что регулируют движение.

— Я понимаю, со мной ты опустилась на несколько ступенек ниже, — признал Томас. — Но с такой женщиной, как ты, я смогу многого достичь.

— Если когда-нибудь я тебя увижу в форме, умру от стыда, — сказала она.

— Почему это у нее такое отношение к нам? — проворчал Литума.

— Потому что лучшего мы не заслуживаем, — вздохнул Томас. — Из-за тех жалких грошей, что нам платят.

Они выехали из Уануко на час позже, уже около шести, в стареньком «додже». Им достались передние места, около шофера. На заднее сиденье втиснулись четыре пассажира, среди них одна сеньора, которая на каждом ухабе охала: «Ох, господи». На шофере была вязаная шапочка, натянутая низко на лоб и уши, рот и нос были прикрыты шарфом, так что видны были только глаза. Он включил радио на полную мощность, поэтому Карреньо и Мерседес могли разговаривать, не опасаясь, что их услышат. По мере того как машина углублялась в Кордильеру, радио работало все хуже, треск и шорохи начинали заглушать музыку.

— И ты, конечно, воспользовался теснотой, чтобы потискать ее, — прокомментировал Литума.

— Ты говоришь со мной, только чтобы иметь предлог поцеловать меня в шею, — сказала она, в свою очередь прижимаясь губами к его щеке.

— А тебе не нравится? — Он медленно прошелся губами вокруг ее уха.

— От всех этих обжиманий в машине только яйца болят, — поучительно сказал Литума.

— Мне щекотно, — засмеялась она. — Шофер подумает, что я какая-то дурочка — смеюсь, не переставая, всю дорогу.

— А все потому, что ты несерьезно относишься к любви, — снова поцеловал ее Карреньо.

— Обещай мне, что никогда в жизни не наденешь больше полицейскую форму, — сказала Мерседес. — Ну хотя бы пока мы вместе.

— Я сделаю все, о чем ты меня попросишь, — нежно ответил Томас.

— И посмотри, что из этого вышло, — вздохнул Литума. — Ты снова щеголяешь в форме, и здесь тебе даже не на что сменить ее. Так и умрешь в сапогах. Видел этот фильм?

Карреньо обнял Мерседес за плечи и прижал к себе, стараясь смягчить тряску. Быстро стемнело, и сразу же похолодало. Они натянули альпаковые свитера, купленные в Уануко, но холод все равно пробирал: в треснувшее стекло задувал ледяной ветер. Шофер в конце концов выключил радио, его уже совсем невозможно было слушать, и, стараясь говорить как можно громче и отчетливее сквозь толстый шарф, сказал:

— Не думаю, что с нами что-нибудь случится. Но должен вас предупредить: в последнее время на этой дороге было много случаев нападения на машины.

Никто из пассажиров не отозвался на его слова, но атмосфера в машине сгустилась, как закисающее молоко. Карреньо почувствовал, как напряглась Мерседес.

— А еще более вероятно, Томасито, что нас обоих отправят на тот свет в полной форме. Тебе не надоело дожидаться этого? Не думаешь иногда: уж хоть бы они пришли поскорее и кончилась бы эта война нервов?

— Что вы хотите этим сказать? — заговорила после долгого молчания сеньора, стенавшая на ухабах. — Нам грозит опасность?

— Надеюсь, что нет, — ответил шофер. — Но я обязан вас предупредить.

— А если нападут, что тогда? — спросил другой пассажир.

— Тогда лучше ни в чем не перечить им, — откликнулся шофер. — Во всяком случае, я вам так советую. Те, кто нападает, вооружены и держат пальцы на спусковом крючке.

— Стало быть, мы, как овечки, отдадим им все, что у нас есть? — В голосе сень-

оры сквозило раздражение. — Все отдадим и останемся ни с чем? Прекрасный совет, спасибо вам большое.

— Если вы хотите быть героиней, дело ваше, валяйте, — ответил шофер. — Я сказал только то, что думаю.

— Вы запугиваете пассажиров, — вмешался Карреньо. — Одно дело давать советы, а другое — нагонять страх.

Шофер немного повернул голову, чтобы взглянуть на него.

— Я не собираюсь никого запугивать. Просто я сам пережил три нападения, и в последний раз мне разбили кувалдой колено.

Снова наступило долгое молчание, нарушаемое только шумом мотора да скрежетом корпуса машины на выбоинах.

— Почему же вы не бросите такую опасную работу? — подал голос пассажир, до сих пор не принимавший участия в разговоре.

— По той же причине, по которой вы едете в Лиму на машине, зная, что дорога опасна. По необходимости.

— Зачем только я поехала в Тинго-Марию, зачем приняла приглашение этой скотины? — прошептала Мерседес на ухо Томасу. — Дела мои шли совсем неплохо, могла покупать себе наряды, выступала в «Василоне», ни от кого не зависела. А сейчас меня преследуют, и вдобавок я оказалась связанной с фараоном.

— Такая уж у тебя судьба. — Карреньо снова поцеловал ее за ухом и почувствовал, что она вся дрожит. — И хотя в это трудно поверить, но именно сейчас начинается лучшая пора в твоей жизни. И знаешь почему? Да потому, что теперь мы будем вместе. Хочешь, я скажу тебе еще кое-что?

— Я все жду от тебя чего-нибудь, что поможет мне переносить вынужденный пост, — ну, как ты ее трогал, щупал, что ты с ней делал в постели, а тебя все заносит в романтику, — пожаловался Литума. — Ты неисправим, Томасито.

— Что? — прошептала она.

— Мы будем вместе, пока нас не разлучит смерть! — Он слегка укусил ее за ухо, она громко засмеялась.

— У вас случаем не свадебное путешествие? — покосился на них шофер.

— Оно самое. Мы только что поженились, — тут же подтвердил его предположение Карреньо. — Как вы догадались?

— Шестое чувство. — Шофер засмеялся. — Уж больно часто вы целуетесь.

Пассажир на заднем сиденье тоже засмеялся, а другой пробормотал: «Поздравляю новобрачных». Карреньо обнял Мерседес, притиснул к себе и шепнул:

— Для других мы уже муж и жена. Ты теперь никогда не сможешь уйти от меня.

— Если ты не перестанешь меня щекотать, я поменяюсь с кем-нибудь местами, — также шепотом ответила она. — А то я описаюсь от смеха.

— А знаешь, я бы, пожалуй, отдал бы все на свете, чтобы посмотреть, как писает какая-нибудь девица, — раздумчиво проговорил Литума. — Никогда раньше мне не приходило это в голову. А теперь вот ты меня навел на эту мысль, а вокруг ни одной подходящей бабы.

— Тебе надо было бы ехать в багажнике, — сказал Карреньо. — Ну да ладно, дам тебе передышку. Десять минут без поцелуев. Можешь поспать у меня на плече, как в грузовике. Если на нас нападут, я тебя разбужу.

— Так хорошо все начиналось насчет пописать, а теперь ты опять укладываешь ее спать,— запротестовал Литума. — Вот непруха.

— Ишь какой хитрюга полицейский, — сказала она, устраиваясь поудобней.

Дорога была пустынна, лишь изредка им встречались мощные грузовики, вытеснявшие «додж» на обочину дороги. Дождя не было, но все небо затянуло, и вместо звезд полыхали зарницы, высвечивая свинцовые подбрюшья туч и заснеженные вершины гор. Карреньо задремал.

— Меня разбудил яркий свет, он бил прямо в глаза, громкий голос произнес: «Документы!», — продолжал Томас. — Я никак не мог прийти в себя со сна, схватился за пояс — револьвер был на месте.

— Переходим к ковбойской части, — отметил Литума. — Сколько человек ты ухлопал в тот раз?

Мерседес потерла глаза, тряхнула головой. Шофер протянул избирательские удостоверения пассажиров человеку с автоматом, всунувшему голову в машину. Карреньо увидел освещенную лампами будку с гербом и другого человека, в пончо, тоже с автоматом на плече, он дул на пальцы и растирал руки. Вокруг не было ни домов, ничего — только горы.

— Минуту, — сказал человек и направился с документами в будку.

— Не знаю, какая муха их укусила, — пожал плечами шофер, повернувшись к пассажирам. — В этом месте никогда не останавливали машины, тем более в такое время.

В желтоватом свете настольной лампы полицейский проверял документы. Он подносил их близко к глазам — видимо, страдал близорукостью. Второй продолжал растирать руки.

— Там, снаружи, должно быть, совсем холодно, — пробормотала сеньора с заднего сиденья.

— Подождите, вот доедем до пуны, тогда вы узнаете, что такое холодно, — пообещал шофер.

Какое-то время все молчали, слушая завывание ветра. Полицейские переговаривались. Тот, что собрал у них документы, передал другому чье-то удостоверение и ткнул рукой в сторону «доджа».

— Если со мной что-нибудь случится, езжай дальше, — сказал парень Мерседес, увидев, что полицейские идут к машине. И поцеловал девушку в ухо.

— Мерседес Трельес! — Полицейский снова просунулся в кабину.

— Такая, значит, была фамилия у пьюранки? — спросил Литума. — Тогда она, наверное, родственница одного знакомого парня. Патохо Трельеса. Он держал обувную лавку около кинотеатра «Мунисипаль», вечно жевал чипсы.

— Это я.

— Выйдите на минуту, надо кое-что уточнить.

Другие документы полицейский вернул шоферу, чтобы тот раздал их пассажирам, и теперь ждал, пока Карреньо выйдет из «доджа», освобождая путь женщине. Второй полицейский стоял в метре от машины, автомат он теперь держал в руках.

— Но вообще-то они, судя по всему, не придавали большого значения этой дополнительной проверке, — сказал Томас. — Было похоже, что все им порядком надоело, просто соблюдали формальность. Может, была чистая случайность, что позвали ее. Но что бы там ни было, дело коснулось Мерседес, и я не хотел рисковать.

— Еще бы, — усмехнулся Литума. — Ты ведь из тех, кто сначала стреляет, а уж потом спрашивает, что случилось.

Мерседес медленно шла к будке в сопровождении полицейского. Карреньо остался стоять у открытой дверцы «доджа» и, хотя в темноте нельзя было рассмотреть выражения лица, старательно улыбался второму полицейскому, оставшемуся у машины.

— И как вы здесь не окочуритесь от холода, начальник? — вымученно посочувствовал он и энергично потер руки. — Бр-р! На какой высоте мы находимся?

— Всего три тысячи двести метров.

Карреньо достал пачку сигарет, сунул одну в рот и собирался положить пачку обратно в карман, но, как бы спохватившись, протянул ее полицейскому: «Не хотите закурить?» И, не дожидаясь ответа, подошел к нему вплотную. Полицейского это нисколько не обеспокоило, он молча вытянул из пачки сигарету.

— Он хоть и полицейский, а лопух, — рассудил Литума. — Уж на что я тоже в таких делах лопух, но тут сразу бы заподозрил неладное.

— Они оба до смерти хотели спать, господин капрал.

Карреньо зажег спичку, она погасла на ветру. Он зажег вторую, наклонился, чтобы телом укрыть язычок пламени от ветра, и весь напрягся, как хищник, гото-

вящийся к броску. Невольно вслушиваясь в голос сеньоры, просившей шофера закрыть дверцу, он поднес руки к сигарете полицейского. Тот подался было вперед, но вместо тепла горящей спички вдруг ощутил ртом холодное дуло револьвера.

— Молчи и не шевелись, — приказал Томас. — Не то хуже будет.

Не спуская глаз с оторопевшего полицейского — тот открыл рот, сигарета упала на землю, — Карреньо мягко вынул из его рук автомат, прислушался, не закричит ли шофер или кто-нибудь из пассажиров, чтобы предупредить полицейского в будке.

— Но из машины не раздалось ни звука, пассажиров сморил сон, и они ничего не заметили, — продолжил за него Литума. — Видишь, я угадываю все, как было. А знаешь почему? Да потому что я видел великое множество фильмов и знаю все эти уловки.

— Руки вверх! — крикнул он от порога. Его револьвер был направлен на сидевшего за столом полицейского, а автомат прижат к голове второго, которого он использовал как щит. Он услышал, как вскрикнула Мерседес, но не взглянул на нее, его глаза были прикованы к сидевшему напротив человеку. После минутного замешательства тот поднял руки. Удивленно моргая, уставился на Карреньо.

— Я сказал Мерседес: «Возьми его автомат». Но она была так напугана, что даже не пошевелилась. Мне пришлось прикрикнуть на нее.

— Неужели и в этот момент она не описалась?

На этот раз она взяла двумя руками лежавшее на столе оружие.

— Я поставил их лицом к стене, приказал положить руки на голову. Просто удивительно, какими они оказались послушными, господин капрал. Позволили обыскать себя, отобрать пистолеты, связать вместе — даже не пикнули.

И только когда они с Мерседес были уже у дверей, один из полицейских осмелился сказать сквозь зубы:

— Далеко не уйдешь, приятель.

— Ты и не ушел далеко, — подытожил, зевая, Литума. — Я хочу спать, Томасито, у меня глаза слипаются, твой рассказ нагнал на меня сон.

— Теперь я был хорошо вооружен, — не слушал его Карреньо, — мне было чем защищаться.

— Что здесь происходит? — раздался сзади голос шофера.

— Ничего, ничего, сейчас поедем.

— Как это ничего? — воскликнул шофер. — А это?.. Кто вы такой? Почему...

— Спокойно, спокойно, тебя это не касается. — Томас вытолкнул его наружу.

Пассажиры уже вышли из «доджа» и теперь окружили Мерседес, засыпая ее вопросами. Та только разводила руками, трясла головой и на грани истерики повторяла: «Не знаю, не знаю, ничего не знаю».

Карреньо швырнул пистолеты и автоматы на сиденье и приказал шоферу сесть за руль. Потом взял Мерседес за руку и заставил ее войти в машину.

— А нас вы что же, оставите здесь? — возмутилась сеньора.

— Вас кто-нибудь подберет, не беспокойтесь. Со мной вы не можете ехать, подумают, что вы мои сообщники.

— Тогда и мне позвольте остаться с ними, — запротестовал шофер, уже успевший сесть на свое место.

— А какого черта ты решил прихватить с собой шофера? — снова зевнул Литума. — Тебе было мало Мерседес?

— Ни я, ни моя жена не умеем водить машину, — объяснил Карреньо. — Давай трогай. Дави на газ!

Часть вторая

VI

— Ну что ж, пожалуй, пора отправляться, — сказал капрал Литума, прикинув, что, если выйти прямо сейчас, можно вернуться в Наккос до сумерек.

— Ни в коем случае, дружище. — Высокий светловолосый инженер сердечно улыбнулся и широко раскинул руки, преграждая дорогу. С самого появления Литумы в Эсперансе он был с ним очень любезен. — Вас может застать в дороге ночь, а это опасно. Оставайтесь здесь, перекусите, поспите, а рано утром Франсиско Лопес подбросит вас на своем джипе в Наккос.

Другой инженер, смуглый брюнет, которого все называли Пичин, тоже предложил остаться. Литума не стал спорить и решил провести в их доме еще одну ночь. Если разобраться, то и впрямь было бы неблагоразумно идти в темноте одному по здешним пустынным местам, а кроме того, если он останется, то сможет еще раз увидеть и послушать гринго, гостившего сейчас в Эсперансе. Этот гринго, исследователь или что-то в этом роде, понравился ему с первого взгляда. Был он бородатый, с взлохмаченными длинными волосами, какие Литуме доводилось видеть только на картинках, изображавших библейских пророков и апостолов, да у некоторых сумасшедших полуголых нищих на улицах Лимы. Но гринго отнюдь не был сумасшедшим, он был ученым. И вместе с тем был простым и дружелюбным человеком, к тому же настолько наивным, что можно было подумать, он упал прямо с неба на нашу грешную землю: он совершенно не боялся — не осознавал? — опасности, которой подвергался во время нападения терруков. Инженеры называли его Профи и иногда Скарлатиной.

Записывая показания, составляя список того, что унесли с собой терруки, и оформляя протоколы для страховой компании, Литума слушал, как инженеры подшучивали над Профи, расписывая, что сделали бы с ним сендеристы, если бы он попал им в руки, если бы они узнали, что у них под носом, в водонапорной башне, укрылся «агент ЦРУ». Профи поддерживал их розыгрыши и шутки. В том, что касается творимых тут зверств, он мог и поучить терруков, жалких дилетантов, которые и убивать-то умеют только пулей, ножом или булыжником, в сущности, самыми нехитрыми способами, если сравнить их с искусством древних перуанцев, выработавших изощреннейшие формы убийства. Даже древние мексиканцы не идут ни в какое сравнение с ними, хотя историки всего мира и устроили заговор молчания о вкладе перуанцев в культуру человеческих жертвоприношений. Всему миру известно, как ацтекские жрецы на вершине своих пирамид вырывали сердца у пленников, захваченных во время победоносных войн, но многие ли слышали о поистине религиозной страсти индейцев чанка и уанка к человеческим внутренностям, о том, как с помощью тончайшей хирургии они извлекали у своих жертв печень, мозги и почки, которые потом поедали с соответствующими церемониями и запивали отличной маисовой чичей? Инженеры подтрунивали над ним, он подтрунивал над инженерами, а Литума, занимавшийся своими протоколами и рапортами, не пропускал ни одного слова из их разговора. Ему хотелось бросить все свои бумаги, сесть поближе и уйти с головой в их веселую болтовню. А главное — получше рассмотреть этого человека.

Действительно ли он был гринго? Если судить по его светлым глазам и светлым с проседью волосам, то похоже, что так. Да и по пиджаку в белую и красную клетку, такому безвкусному и совершенно не подходившему к джинсовым брюкам и рубашке и альпинистским ботинкам, — тоже. Ни один перуанец не вырядился бы подобным образом. Но его испанский язык был превосходен, многие слова, которые он употреблял, Литума слышал впервые, хотя был уверен, что они встречаются в книгах. Башковитый мужик, ничего не скажешь. Слушая его, Литума испытывал истинное наслаждение.

В лучшие времена, рассказали ему инженеры, в Эсперансе в шахты спускалось

более ста шахтеров, а теперь там работало едва ли тридцать. И по тому, как шли дела, особенно с падением цен на металлы, можно было ждать, что шахту вообще скоро закроют, как в Серро-де-Паско и Хунине. Пока же ее поддерживали скорее из принципа. Шахтерский поселок стал похож на поселок строителей дороги в Наккосе: маленький, сплошь деревянные бараки, и только два каменных дома, в одном размещалась контора, в другом останавливались инженеры, когда приезжали на шахту. В крыле этого дома жил управляющий (сейчас его не было, он повез раненого в Уанкайо). В этом же доме отвели комнату Литуме, в ней была кровать, керосиновая лампа и умывальник. Из небольшого оконца виднелись водонапорные башни, расположенные между бараками и входом в шахту: два высоких резервуара, опоясанных железными лестницами, на каменных опорах. Один из них был пустой, воду спустили из-за проводившейся раз в году чистки, в нем-то и спрятались инженеры и профессор, когда в поселок нагрянули терруки. Там они просидели, дрожа от холода и страха — а может, они и там вполголоса перебрасывались своими шуточками? — три часа: ровно столько времени понадобилось налетчикам, чтобы вступить в перестрелку с полдюжиной охранников и обратить их в бегство, ранив при этом одного и убив другого из группы, которой командовал Франсиско Лопес, и чтобы очистить склад и медпункт, забрать всю взрывчатку, запальные шнуры, лекарства, сапоги, одежду и обратиться потом с торжественной речью к шахтерам, которых для этого вывели из бараков и построили на освещенной ацетиленовыми лампами площадке.

— И знаете, капрал, о чем я всегда буду вспоминать, что произвело на меня самое сильное впечатление во всей этой истории? — спросил светловолосый инженер, которого Пичин называл Бали. — Не страх, не грабеж, не даже смерть бедняги охранника, а то, что никто из шахтеров нас не выдал.

Все они уже сидели за большим столом и закусывали. Аппетитный запах еды разливался по пропитанной сигаретным дымом комнате.

— А ведь стоило кому-нибудь из шахтеров просто показать пальцем или кивнуть головой в сторону резервуаров, — согласился Пичин, — и мы, считайте, уже прошли бы революционный суд и сейчас гуляли бы в раю, верно, Бали?

— Мы с тобой попали бы в ад, Пичин. А вот Профи отправился бы на небо, это так. Потому что, вы только представьте, капрал, Скарлатина еще ни разу не совершил первородного греха.

— Да я никогда не позволил бы себе такого свинства — оставить вас, — возразил профессор. Литума напрягся, стараясь уловить хоть малейший иностранный акцент. — Я бы отправился с вами в геенну огненную.

Пока профессор готовил еду для всех, оба инженера, Франсиско Лопес и Литума выпили по рюмке душистого писко из Ики; по телу Литумы разлилась приятная теплота, голова стала восхитительно легкой. Профессор и впрямь устроил настоящий пир: суп из сухого картофеля и бобов с кусочками куриного мяса и рисовая запеканка. Пальчики оближешь! И ко всем этим яствам холодное пиво, что окончательно привело Литуму в прекраснейшее расположение духа. Вот уже несколько месяцев ему не приходилось так вкусно поесть. Он был под таким впечатлением от обеда, что после того, как сел за стол, почти не вспоминал ни о пропавших в Наккосе, ни о ночных исповедях Томасито — двух вещах, которые, как он теперь понял, заполняли в последнее время всю его жизнь.

— И знаете, капрал, почему я все время думаю о поведении наших шахтеров? — вернул его к здешним событиям инженер Бали. — Да потому, что они преподнесли нам урок. Пичину и мне. Мы думали, что все они в сговоре с терруками. А на самом деле именно благодаря им, их молчанию, мы остались живы.

— Живехоньки и здоровехоньки, твою мать, да и рассказать есть что в теплой компании, — весело заключил Пичин.

— Чего-чего, а приключений здесь на всех хватит. — Профессор поднял стакан с пивом. — Вы считаете, что обязаны жизнью вашим рабочим, которые вас не выдали. Но на самом деле вас спасли духи этих гор — апу, вот что я вам скажу. А

они благоволили вам только из-за меня. Подвожу итог: вас спас я.

— А почему они это сделали ради тебя, Профи? — спросил Пичин. — Чем ты так угодил этим апу?

— Тридцать лет исследований, — вздохнул профессор. — Пять книг. Сотня статей. И даже лингво-географический атлас Центральной Андской цепи.

— Но кто такие апу, доктор? — решился спросить Литума.

— Божества, которых также называют манами, — духи-хранители здешних гор и всей Кордильеры. — Профессору явно доставляло удовольствие говорить на любимую тему. — Каждая горка в Андах, каждая тропинка, даже самая незаметная, имеют своего покровителя. Когда испанцы, придя сюда, разбили идолов, разрушили древние перуанские храмы гуако, крестили индейцев и запретили языческие культы, они были уверены, что навсегда покончили с идолопоклонством. Но оно лишь смешалось с христианскими обрядами и никуда не исчезло. До сих пор в этих краях апу распоряжаются жизнью и смертью. И только им мы обязаны, что сидим сейчас здесь, друзья мои. Лишь благодаря апу Эсперансы мы вышли живыми из этой передряги.

Расхрабрившись от писко, пива и сердечной обстановки, Литума снова вступил в разговор:

— А вот у нас в Наккосе есть одна колдунья, она много знает обо всех этих вещах, доктор. Сеньора Адриана. Так она тоже говорит, что в горах полно духов и она якобы общается с ними. Она утверждает, что это злые духи, что они любят человеческое мясо.

— Адриана? Жена Дионисио, торговца писко? — тут же откликнулся профессор. — Я ее хорошо знаю. Ее и ее пьяницу мужа. Раньше он ходил по деревням с музыкантами и плясунами, наряжался в шкуру укуко, то есть медведя. Они рассказали мне много интересного. Значит, сендеристы пока не разделались с ними как с антисоциальным элементом?

Литума был поражен. Этот человек — просто как Бог, он знает обо всем, знает всех. Но как это может быть? Ведь он иностранец.

— И зовите меня лучше не доктором, а Полом, Полом Стирмссоном, или просто Пабло, если вам так удобней, или даже Скарлатиной, как звали меня мои ученики в Оденсе. — Профессор вытащил трубку из кармана своего красноклетчатого пиджака, раскрошил две сигареты с черным табаком, набил ее, умял пальцем. — В моей стране докторами называют только врачей, а не специалистов-гуманитариев.

— Послушай-ка, Скарлатина, расскажи капралу Литуме, как ты стал перуанофилом, — улыбнулся Пичин.

Когда он был еще маленьким и ходил в коротких штанишках у себя на родине, в далекой Дании, отец подарил ему книгу об открытии и завоевании Перу испанцами, написанную господином Прескоттом. Эта книга и определила его судьбу. С тех пор его интересовало все, что касалось этой страны, — природа, люди, события. Он посвятил свою жизнь изучению мифов, обычаев, истории Перу, читал лекции по этим предметам, сначала в Копенгагене, а потом в Оденсе. И вот уже тридцать лет все свои отпуска он проводит в горах. Анды стали ему родным домом.

— Теперь мне понятно, откуда у вас такой хороший испанский язык, — с глубоким почтением произнес Литума.

— Вы еще не слышали, как он говорит на кечуа, — вступил в разговор Пичин. — А что касается шахтеров, они его принимают как своего, говорят с ним откровенно и задушевно, будто он чистокровный индеец.

— Так вы говорите с ними на кечуа? — восхищенно воскликнул Литума.

— Да, на кечуа: на диалекте индейцев Куско и Аякучо, — уточнил профессор, явно довольный тем, что ему удалось удивить полицейского. — А также немного на языке аймара.

Однако, добавил он, ему бы хотелось изучить еще один перуанский язык — язык племени уанка, создателей древней культуры в Центральных Андах, впоследствии завоеванной инками.

— Точнее сказать, уничтоженной инками, — поправился он. — Инки сумели создать себе добрую славу, и с восемнадцатого века все говорят о них как о терпимых завоевателях, покровительствовавших богам покоренных народов. Это миф. Инки были безжалостны к народам, проявлявшим малейшую непокорность. Они фактически вычеркнули из истории племена уанка и чанка. Разрушили их города, а их самих рассеяли по всему Тауантинсуйу[1], используя систему колониальных поселений — митимаэ, то есть массовых ссылок. Они сделали все, чтобы не осталось и следа от верований и обычаев этих племен. Чтобы стерлась память даже об их языках. Ведь выживший диалект кечуа, который распространен в этой зоне, никогда не был языком племени уанка.

И еще он добавил, что современные историки не питают симпатии к уанка, потому что они помогли испанцам разбить войско инков. Но разве они поступили несправедливо? Они просто следовали древнему принципу: враги моих врагов — мои друзья. Они помогали конкистадорам, веря, что те освободят их от поработителей. И ошиблись, разумеется. Испанское иго оказалось гораздо тяжелее, чем иго инков. Да, история была несправедлива к уанка. Их почти забыли, а если и упоминают в книгах о древнем Перу, то обычно только для того, чтобы сказать, что они были кровожадные люди и пособники захватчиков.

Высокий светловолосый инженер — интересно, Бали — это имя или прозвище? — принес другую бутылку чудесного писко из Ики, его изумительный аромат заглушил даже запах еды.

— Примем еще, становится холодно, — сказал он, наполняя рюмки. — Если сендеристы вернутся, лучше, чтобы мы были под хорошим градусом, тогда нам все будет нипочем.

Ветер свистел на чердаке и в окнах, сотрясая весь дом. Литума почувствовал, что захмелел. Просто невероятно, что Скарлатина знал Дионисио и донью Адриану. Даже видел Дионисио в ту пору, когда тот бродил по ярмаркам и плясал, нарядившись укуко. Напяливал, ясное дело, маску, накидывал на себя цепь, весь в блестках, в зеркальцах. До чего же интересно слушать их разговор об апу и пиштако, едрена мать! Как замечательно рассказывает доктор! Неужели он и сам верит в апу? Или просто хочет показать, как много знает? Мысли переключились на Наккос. Томасито, должно быть, уже лег, уставился в потолок и погрузился в воспоминания, одолевавшие его по ночам и заставлявшие плакать во сне. Наверно, эта пьюранка — баба что надо. Парень вон сам не свой. А в этом кабаке, у Дионисио и доньи Адрианы, поди, уже полно народа и хозяин пытается расшевелить заскучавших пеонов песнями и прибаутками, подбивает танцевать и при этом будто невзначай касается и трогает их. Блядь, да и только. Потом он думал о спящих в бараках пеонах, их сон отягощен нераскрытой тайной, тайной трех пропавших, которую ему никогда не удастся узнать. Его вдруг охватил новый приступ тоски по далекой Пьюре, с ее жарой, простыми людьми, не умеющими хранить секретов, с ее выжженными полями и горами без пиштако и апу, тоска по земле, откуда его занесло на эти заоблачные высоты, по тем краям, которые теперь воскресали в его памяти как потерянный рай. Доведется ли ему еще раз ступить на ту землю? Он сделал усилие, чтобы снова включиться в разговор.

— Уанка были настоящие бестии, Скарлатина, — говорил Пичин, рассматривая на свет свою рюмку, будто боялся, что там может оказаться какая-нибудь букашка. — И чанка тоже. Ты же сам рассказывал нам, какие зверства они творили, чтобы ублажить своих апу. Как приносили в жертву детей, женщин, мужчин — то реке, которую собирались отвести в сторону, то новой дороге, то храму или крепости, которую собирались построить. После этого, согласись, трудно назвать их цивилизованными.

— В Оденсе, недалеко от квартала, где я живу, секта сатанистов убила стари-

---

[1] Буквально: Четыре объединенных стороны света (*кечуа*) — название государства инков, крупнейшего государственного образования доколумбовой Америки.

ка, его искололи булавками, выпустили всю кровь, якобы совершая жертвоприношение Вельзевулу, — пожал плечами профессор. — Конечно, уанка были бестии. А о каком древнем народе мы не можем сказать того же? Кто из них не был жестоким и нетерпимым, если оценивать их с позиций наших сегодняшних представлений?

Вернулся Франсиско Лопес, выходивший взглянуть, все ли в порядке в поселке. Вместе с ним в комнату ворвалась струя ледяного воздуха.

— Все спокойно, — сказал он, отряхивая пончо. — Но температура сильно упала, идет дождь с градом. Постучим по дереву, чтобы этой ночью с гор не пополз чертов уайко.

— Возьми-ка, согрейся. — Пичин наполнил ему рюмку. — Не хватало только, чтобы после терруков нас тут еще прихватил уайко.

— Я вот спрашиваю себя, — задумчиво пробормотал Бали, как бы разговаривая сам с собой, — не является ли то, что происходит в Перу, воскрешением загнанного внутрь насилия? Как если бы оно было спрятано, укрыто и вдруг по какой-то причине снова вырвалось наружу.

— Если ты снова будешь рассказывать о той экологичке, я пойду спать, — попытался остановить его Пичин. А недоумевающему Литуме пояснил: — Мой друг был знаком с сеньорой д'Аркур, которую в прошлом месяце убили в Уанкавелике. Теперь, когда он выпивает немного, он начинает философствовать по поводу этого случая. Но ведь между шахтером и философом большая разница, разве не так, Бали?

Бали ничего не ответил. Он погрузился в свои мысли, глаза его блестели от выпитого писко, волосы упали на лоб.

— Да, действительно, трудно понять смерть Гортензии. — Лицо профессора помрачнело. — Однако и мы неправы, когда пытаемся найти логику всех этих убийств. Потому что они не имеют разумного объяснения.

— Она прекрасно знала, что играет с огнем. — Глаза Бали были широко открыты. — Но это ее не останавливало. Как и тебя, Скарлатина. Ты тоже знаешь, чем рискуешь. Если бы ночью нас нашли, я и Пичин, может быть, как-нибудь и договорились бы с ними, а тебе уж точно размозжили бы голову камнями, как Гортензии. Но ты, несмотря ни на что, не отступаешься. Ладно, снимаю перед тобой шляпу, старина.

— Ну, вы, положим, тоже не отступаетесь, — любезно ответил профессор.

— Так для нас шахта — средство существования, — сказал Пичин. — Мы ею живем. Точнее сказать — жили.

— Почему это Перу вызывает такой интерес у иностранцев? — с удивлением спросил Бали. — Мне кажется, мы его не заслуживаем.

— Перу — страна, которую никто не понимает, — засмеялся Скарлатина. — А непонятное больше всего и притягивает, особенно людей из таких благополучных стран, как моя, где как раз все понятно.

— Думаю, я не останусь больше в Эсперансе, — повернул разговор в другую сторону Бали. — У меня нет ни малейшего желания изображать из себя героя, особенно на шахте, в которой кончается серебро. Прошлой ночью, по правде говоря, я чуть не отдал концы со страха.

— Мы с профессором чувствовали это там, в резервуаре, — улыбнулся Пичин. — Точнее, обоняли.

Бали засмеялся, профессор, а за ним и Лопес тоже засмеялись. Только Литума оставался серьезным, он почти перестал слушать разговор, его охватила глубокая тревога. Позднее, когда, покончив с бутылкой писко, все пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим комнатам, он задержался у порога спальни профессора Стирмссона — по соседству с его спальней — и почтительно, слегка заплетающимся языком спросил:

— Мне вот что любопытно, доктор: значит, эти чанка и уанка приносили в жертву людей, когда хотели проложить новую дорогу?

Профессор в этот момент наклонился снять ботинки; в неустойчивом свете аце-

тиленовой лампы черты его лица неузнаваемо изменились, и Литуме вдруг почудилось, что светловолосую голову профессора осенил золотой ореол.

— Они делали это не из жестокости, а по религиозным соображениям, — пояснил профессор. — Они таким способом выражали свое уважение духу горы или духу земли, которого они собирались потревожить. То есть они это делали для того, чтобы избежать возмездия. Чтобы выжить. Чтобы не разверзлась под ногами пропасть, не стер с лица земли уайко, не сожгла молния, не вышло из берегов и не затопило их дома и посевы озеро. Надо их понять. Для них ведь не существовало естественных катастроф, все зависело от высшей воли, и они должны были умилостивить ее жертвоприношениями.

— Я уже слышал однажды такое от доньи Адрианы.

— Передайте ей мой привет, ей и Дионисио, — сказал профессор. — В последний раз мы виделись на ярмарке в Уанкайо. Адриана в молодости была очень привлекательной. Это потом ее разнесло, как всех их тут разносит. Я вижу, вы интересуетесь историей, капрал?

— Немного, — согласился Литума. — Спокойной ночи, доктор.

Они живут в страхе с тех пор, как услышали о нашествии пиштако и о том, что в кварталах Аякучо жители организуются в дружины, чтобы дать им отпор. И наши говорят: «Надо сделать так же. Нельзя допустить, чтобы потрошители бесчинствовали и в Наккосе». Хотят жечь по ночам костры среди бараков, чтобы пиштако не застали их врасплох. Но те все равно придут, они всегда появляются там, где дела идут плохо. Повторяется история, которая случилась с Наккосом, когда он в первый раз пришел в упадок. Раньше-то Наккос был процветающим шахтерским поселком, поэтому мы с Тимотео и пришли сюда, когда скрылись из Кенки.

Тогда я была молодой, и шахта в Наккосе еще не была заброшена, в ней работали шахтеры со всей округи и даже из отдаленных мест — из Пампаса, Акобамбы, Искучаки, Лиркая. Открывали все больше новых забоев, чтобы извлекать все больше серебра и цинка. Вербовщики должны были уходить все дальше от Наккоса в поисках рабочих для шахты, для Санта-Риты. Чтобы разместить их, тут строили бараки и ставили палатки по всем склонам этой горы; многие, завернувшись в пончо, спали прямо на земле, в выемках под нависшими каменными глыбами. Пока в один прекрасный день инженеры не сказали, что богатая металлическая руда кончилась, остался мусор, не имеющий коммерческой ценности. Когда начали увольнять шахтеров, и Санта-Рита уже дышала на ладан, и люди стали уходить из Наккоса, начали происходить странные вещи, которые никто не мог объяснить. Жителей охватил страх, поползли слухи, такие же, как ходят сейчас среди строителей дороги. Один толстяк, он приехал из Уасиканчи и работал подручным на складе, стал вдруг слабеть, жаловаться на непонятную хворь, ему казалось, что он как бы пустеет изнутри, что он стал вроде воздушного шара и может лопнуть в любой момент, стоит лишь ткнуть в него чем-нибудь острым, и голова его тоже пустеет — исчезают мысли и воспоминания. А когда недели через две он умер, его было не узнать: он весь словно опал, скукожился, стал похож на тощего десятилетнего ребенка. Перед смертью он уже не помнил, откуда пришел, как его зовут, на вопросы отвечал невпопад тоненьким голоском не то человека, не то животного, потому что уже не знал, кто он. Все это я знаю не по рассказам — видела собственными глазами.

Звали того подсобника Хуан Апаса. И только после того, как Хуана Апасу похоронили на дне ущелья, шахтеры Санта-Риты и его родственники стали догадываться, что причиной его таинственной болезни был пиштако, повстречавшийся ему однажды на дороге. И так же, как теперь, нервы у жителей Наккоса были напряжены до предела. «Как защититься от пиштако? Есть ли какое-нибудь средство против них?» — спрашивали люди. Приходили советоваться со мной, потому что про меня рассказывали, что я знаю, какие горы — самцы, а какие — самки, и

знаю, как родятся камни. Ну средства-то, конечно, есть, кое-что сделать можно. Главное, надо быть осторожным и принимать необходимые меры. Хорошо поставить у входа в дом бадью с водой, чтобы лишить силы заколдованный порошок, которым пиштако осыпает свои жертвы. Еще помогает помочиться немного на рубашку или свитер, прежде чем надевать их. Всегда носить на себе что-нибудь шерстяное, женщины должны надевать пояс, иметь при себе ножницы, кусочек мыла, дольку чеснока и щепотку соли. Они ничего этого не стали делать, вот и получили то, что получили. Не хотели посмотреть правде в лицо. Сегодняшние-то уже начинают признавать эту правду. Слишком много было доказательств, чтобы по-прежнему не верить. Ведь так?

Когда до жителей Наккоса дошло наконец, что происходит, пиштако, убивший Хуана Апасу, успел выпотрошить уже нескольких человек. Тогда из человеческого жира готовили мазь и потом подмешивали ее в металл для колоколов, они от этого лучше звенят. А теперь, после того как пиштако появились в Аякучо, многие уверены, что жир отправляется за границу или в Лиму, где есть фабрики, которые работают только на смазке, полученной из человеческого жира.

Того пиштако из Санта-Риты я знала довольно хорошо. После того как он выпотрошил Хуана Апасу, он принялся за Себастьяна, друга Тимотео. Эта история облетела весь Наккос, потому что сам Себастьян начал рассказывать ее шахтерам, как только почувствовал неладное. То есть сразу же после той ночи, когда он, возвращаясь в поселок со стадом лам, неожиданно повстречался со знакомым вербовщиком из Санта-Риты. Тот курил, привалившись к камню. На нем было пончо и огромное сомбреро, надвинутое глубоко на уши. Но Себастьян узнал его с первого взгляда, так как не раз встречался с ним в селеньях округи, где тот вербовал крестьян на работу в Наккосе и для большей убедительности давал каждому по нескольку солей.

Себастьян подошел к нему поздороваться, и тот угостил его сигаретой. Был он такой белесый, бородка тараканьего цвета, глаза светлые, в Наккосе его прозвали Жеребцом, потому что он постоянно пялился на женщин. Он и ко мне подкатывался не раз. Тимотео, ясно, не знал об этом. Они курили и разговаривали о том, что Санта-Рите пришел конец, металл-то ведь совсем иссяк, как вдруг Жеребец пустил клуб дыма в лицо Себастьяну, и тот расчихался. Расчихался и почувствовал, что у него кружится голова, одолевает сон. Конечно, это был не табачный дым, а особый порошок, которым пиштако одурманивают своих жертв, и те не чувствуют, что из них извлекают жир. Что это за порошок? Почти всегда из толченых костей ламы или альпаки. Кто его вдохнет, ничего не чувствует, ничего не замечает вокруг. Пиштако из него вынимает внутренности, а ему даже не больно. Вот таким порошком Жеребец одурманил Себастьяна, и стал он с той ночи худеть, усыхать и забывать все, что знал раньше. Точно так же, как Хуан Апаса. И так же умер.

Все это случилось в те времена, когда Наккос жил за счет Санта-Риты, и то же самое происходит теперь, когда он живет за счет строительства дороги. Наши беды не от терруков, которые одних казнят, а других забирают в свою милицию. И не от пиштако, что обретаются в округе. Ведь они приходят только в трудные времена, как было в Аякучо. И здесь, в горных пещерах, пиштако накапливают запасы человеческого жира. Наверно, его уже ждут в Лиме или в Соединенных Штатах для смазки новых механизмов, может быть даже ракет, которые запускают на Луну. Говорят, ни бензин, ни машинное масло не идут ни в какое сравнение со смазкой, полученной из жира индейцев, особенно когда дело касается новых научных приборов. Думаю, поэтому на нас и насылают головорезов, вооруженных мачете с изогнутым лезвием, куда так удобно умещается человеческая шея. От них, от этих головорезов, тоже много вреда, кто спорит.

Но все-таки самые страшные беды приходят не от них, а от духов, которых нам не дано видеть. От тех, что просят больше, чем люди могут дать. Они везде, тут и там подкарауливают придавленных горем пеонов. Когда я объясняю это, люди

начинают злиться. Зачем же тогда спрашивают, если потом затыкают уши и не хотят ничего понимать? Зато они охотно слушают советы моего мужа: пьют, пока не напьются, а пьяным, известно, и море по колено: забывают про терруков, про пиштако, про все, что их пугает и приводит в бешенство.

— Но почему меня? —спросила Мерседес.

— Извини, что прерываю, Томасито,— раздался в темноте голос Литумы. — Не идет у меня из головы эта заметка в газете о людях, которые крадут у детей глаза. Сегодня ночью не смогу слушать о твоих любовных делах. Давай лучше поговорим о глазокрадах. Или о Дионисио и ведьме — еще одна моя заноза.

— Ни за что, господин капрал! — откликнулся со своей раскладушки Томас. — Ночи принадлежат Мерседес, и больше никому, если, конечно, служба не помешает. У меня достаточно времени днем, чтобы переживать то, что происходит вокруг. Вы можете оставаться с этими пиштако, а меня оставьте с моей девушкой.

— Почему они не задержали тебя или нас обоих? — Мерседес не могла успокоиться.

Этот вопрос то и дело срывался с ее губ после того, как они избавились от полицейских. Карреньо дал уже все мыслимые объяснения: может быть, ее имя зарегистрировано у них, поскольку она была связана с Боровом, находившимся под наблюдением полиции; не исключено, что они обнаружили какие-нибудь неточности или подозрительное пятно на ее избирательском удостоверении; или ее просто позвали наугад, как могли бы позвать любого пассажира, чтобы попытаться под любым предлогом вытянуть из нее немного денег. Зачем снова и снова возвращаться к этому? Разве они не свободны? Не пересекли спокойно уже половину сьерры? Через пару часов они будут в Лиме. И как бы в подтверждение его слов машинист включил сирену, ее пронзительный звук долго блуждал среди окрестных гор.

— В газете не пишут о пиштако, только о похитителях глаз — глазокрадах. Но ты прав, Томасито. Они похожи на пиштако, о которых рассказывают горцы. У меня не укладывается в голове, что в Лиме люди тоже начинают верить в подобные вещи. В столице Перу! Подумать только.

— Вы думаете, что я вас слушаю. Но я уже не здесь, — шепотом сказал Томас. — Я обнимаю свою любимую в поезде, который спускается все ниже и ниже с гор на своем пути к вокзалу Десампарадос.

— Ну убеди меня, заставь поверить, что меня задержали по чистой случайности, — просила Мерседес, тесно прижавшись к нему. — Я не хочу в тюрьму. Одна моя знакомая сидела в тюрьме, в Чорриль ос, я ее там навещала. Я лучше убью себя, чем позволю засадить в каталажку.

Карреньо крепче прижал ее к себе, гладил ей волосы, плечи. Они примостились вдвоем на месте, рассчитанном на одного человека. Вагон был переполнен, люди стояли в проходах, заставленных чемоданами и узлами. Кто-то вез кур. На каждой станции входили новые пассажиры, и вскоре стало нечем дышать. Хорошо, что уже доехали до Матуканы. Томас прижался губами к густым волосам Мерседес.

— Клянусь, с тобой ничего не случится. А если случится, я тебя выручу. Как вчера.

Он поцеловал ее, она закрыла глаза. За окном на вершинах и склонах гор время от времени проплывали деревни, среди камней уже мелькали яркие рекламные щиты. День был серый, по небу ползли низкие тучи, казалось, вот-вот пойдет дождь, но он все не шел. Словом, типичная погода Лимы.

— Что-то неладное происходит со страной, Томасито, — снова прервал его Литума. — Как могло случиться, что целый район Лимы поверил подобной чепухе? Какие-то гринго хватают пятилетних детей, увозят в шикарных лимузинах, чтобы потом ультрасовременными ланцетами вырезать им глаза. Бред сумасшедшего. Должно быть, в Лиме есть свои доньи Адрианы. Но чтобы в такое поверил целый район, чтобы родители бросились забирать детей из школ, искать иностранцев и линчевать их — это уже выше моего понимания.

— Да, глаза, — пробормотал его помощник. — Глаза Мерседес. Сияющие как звезды. Медового цвета.

Он больше не испытывал страха. Страшно было, когда они, освободившись от полиции, катили по Андам на машине и Карреньо то и дело показывал пистолет шоферу, чтобы тот не вздумал их обмануть. Впрочем, дорога их сблизила. Шофер поверил или сделал вид, что поверил, будто Карреньо и Мерседес бегут от ее ревнивого мужа, который уже сделал заявление в полицию. Два раза шофер выходил из машины, чтобы купить еду и напитки, он же посоветовал им сесть на поезд в Серро-де-Паско. Карреньо оставил ему за услуги оба автомата.

— Хочешь, верни их, как законопослушный гражданин, а хочешь — продай, получишь кучу денег за пару таких игрушек.

— Брошу монету, чтобы решить, — сказал шофер и пожелал им счастливого медового месяца. — Выжду немного, а потом поеду в полицию.

— В газете пишут, что в Чиклайо было то же самое, и в Ферреньяфе тоже, еще в прошлом месяце, — продолжал Литума. — Какая-то женщина видела четырех гринго в белых халатах, которые тащили ребенка. А в оросительной канаве якобы нашли труп другого ребенка, без глаз, глазокрады положили ему в карман пятьдесят долларов. Там тоже организовали дружины, как в Аякучо, когда пошли слухи о пиштако. В Лиме, Чиклайо и Ферреньяфе те же суеверия, что и у горцев. Все это похоже на эпидемию, ты не думаешь?

— Сказать по правде, мне до этого нет никакого дела, господин капрал. Потому что сейчас я чувствую себя счастливым.

Поезд подошел к вокзалу Десампарадос около шести вечера. Уже темнело, но свет еще не зажигали, так что Карреньо и Мерседес пересекли просторный вестибюль в полумраке. Ни у входа, ни у выхода полицейских не было, только у ограды Дома правительства стояла охрана.

— Лучше, если мы сейчас разойдемся в разные стороны, — сказала на улице Мерседес.

— Ты хочешь вернуться домой? Но за твоим домом, наверно, наблюдают, и за моим тоже. Давай укроемся на несколько дней у моей мамы.

Они взяли такси. Томас назвал адрес в районе Бренья, наклонился к Мерседес и прошептал ей на ухо:

— А может, ты хочешь отделаться от меня?

— Я хочу кое-что сказать тебе, пусть все будет ясно между нами. — Она говорила вполголоса, чтобы не услышал таксист. — Что было, то было, ладно? Но я всегда хотела быть независимой. Поэтому не обманывай себя. Я вовсе не собираюсь стать подружкой полицейского.

— Бывшего полицейского, — поправил ее юноша.

— Мы можем остаться вместе, пока не выпутаемся из этой истории. О'кей, Карреньито?

— Как только начинаю думать о наших делах, сразу вспоминаю Дионисио и его ведьму, ничего не могу с этим поделать, — сказал Литума. — Все выглядит так, будто эта пара дикарей права, а все остальные не правы. Уметь читать и писать, ходить в пиджаке и носить галстук, окончить колледж и жить в городе — этого еще недостаточно, чтобы понимать, что происходит. А вот ведьмы и колдуны — те все понимают. Знаешь, что сказал сегодня днем Дионисио в своем кабаке? Что умные рождаются от кровосмешения. Всякий раз, как эта жаба открывает рот, во мне все напрягается. У тебя тоже?

— У меня тоже все напрягается, господин капрал, но по другой причине. Я как раз сейчас вспоминаю, какими приключениями начался наш медовый месяц.

Когда они уже ехали по проспекту Арика в Бренье, зажглись неяркие уличные фонари. Таксист обогнул колледж Ла-Салье, проехал узкой улочкой и начал было подруливать к дому, но Карреньо вдруг изменил свой план.

— Езжайте дальше. Я передумал. Едем в Барриос Альтос.

Мерседес с удивлением взглянула на Карреньо и увидела в его руке револьвер.

— В Перу хозяйничает дьявол, повсюду какое-то помрачение умов, а у тебя в голове только твоя пьюранка. Правду говорят, Томасито: нет большего эгоиста, чем бабник.

— Там под фонарем, прямо против дома, торчал какой-то тип, — пояснил ей парень. — Он мне не понравился. Конечно, у страха глаза велики, но лучше не рисковать.

В Барриос Альтос он остановил такси у дома престарелых, подождал, пока машина скроется из виду, взял Мерседес под руку. Они прошли два квартала и остановились у невзрачного трехэтажного дома. Все окна и двери первого этажа были забраны решетками. Дверь открыли сразу же. Женщина в халате и тапочках, с повязанной косынкой головой неприветливо смотрела на них.

— Значит, у тебя опять неприятности, раз ты появился здесь, — сказала она Карреньо вместо приветствия. — Сто лет не показывался.

— Что правда, то правда, тетя Алисия, дела идут не слишком хорошо, — признался Карреньо, целуя женщину в лоб. — Комната, которую ты сдаешь с пансионом, сейчас свободна?

Женщина оглядела Мерседес с головы до ног и неохотно кивнула.

— Можешь сдать мне ее на несколько дней, тетя Алисия?

Она посторонилась, пропуская их в дом.

— Как раз вчера освободилась.

— Добрый вечер, — тихо сказала Мерседес, проходя мимо нее. Женщина в ответ только хмыкнула.

Она провела их по длинному, увешанному фотографиями коридору, открыла дверь, щелкнула выключателем. Лампочка осветила комнату, в которой стояли только кровать под розовым покрывалом и сундук, занимавший добрую половину пространства. Еще было деревянное распятие в изголовье кровати и маленькое окошко без занавески.

— Ужин я сегодня не готовила, а идти покупать что-нибудь уже поздно, — предупредила женщина. — Завтра могу приготовить вам обед. Да только вот комната-то на одного, а вас двое.

— Я заплачу за двоих, — согласился Томас. — Что справедливо, то справедливо.

Женщина кивнула и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь.

— А что касается твоей невинности, похоже, ты рассказываешь мне сказки, — заметила Мерседес. — Ты ведь водил сюда женщин, правда? Эта злюка нисколько не удивилась, когда увидела меня.

— Ого, да ты никак ревнуешь? — присвистнул он.

— Ревную?

— Я знаю, что нет,— улыбнулся Карреньо. — Я просто пошутил, увидев твое испуганное лицо. Я никогда никого сюда не приводил. А Алисия мне вовсе не тетка. Здесь ее все так зовут. Одно время я жил в этом квартале. Давай-ка умоемся и пойдем поищем, где можно поесть.

— Так, стало быть, если послушать эту жабу, получается, что умные люди — дети от брата и сестры или от отца и дочери. — Литуму заклинило на этой идее. — Здесь, в Наккосе, я слышу такие вещи, которые никогда не слышал в Пьюре. Сам-то Дионисио наверняка плод кровосмесительной связи. Не знаю, почему он и его ведьма так меня интересуют. Наверное, потому, что именно они здесь всем заправляют. Мы с тобой даже представить себе всего не можем. Сколько я ни пытался разузнать что-нибудь у пеонов, у шахтеров и даже у индейцев-общинников, все будто язык проглотили. А если что и скажут, я не уверен, что меня не водят за нос. Знаешь, что говорил мне один трамвайщик из Уанкайо? Что у Дионисио есть прозвище на кечуа ...

— Пожиратель сырого мяса, — перебил его помощник. — А еще, господин капрал, вы мне сейчас расскажете, что его мать ударило молнией. Угадал?

— Это всё важные вещи, — назидательно изрек Литума. — Они помогут лучше понять его менталитет.

Мерседес сидела на кровати и жалостливо — так понял ее взгляд Карреньо — смотрела на него.

— Не хочу тебя обманывать, — повторила она мягко, стараясь не обидеть. — Я не чувствую к тебе того, что ты чувствуешь ко мне. Ведь лучше, чтобы я тебе об этом сказала, правда? Я не собираюсь жить с тобой, не хочу быть твоей женщиной. Пойми же наконец. Я с тобой только до тех пор, пока мы не выпутаемся из этой истории.

— Мы уже столько времени вместе, ты вполне могла бы полюбить меня, — сказал он срывающимся голосом и погладил ее по волосам. — А кроме того, ты не можешь оставить меня, даже если бы захотела. Кто, кроме меня, вытащит тебя из этого дела? А точнее сказать, кто, кроме моего крестного, может нас спасти?

Они умылись в крохотной туалетной комнате, похожей на игрушечную, и вышли из дома. Карреньо твердым шагом повел Мерседес по улицам мимо подростков, стоявших кучками у перекрестков с дымящимися сигаретами в руках, в шумную забегаловку, разгороженную засаленными ширмами на клетушки-кабинетики. В ней пахло жареным мясом, над столиками плавал дым, из включенного на всю мощь радио гремел рок. Они сели у двери, Карреньо заказал несколько блюд и холодного пива для себя. Сквозь музыку до них доносились ругательства, кто-то отбивал ритм на ящике.

— Меня однажды проиграли в кости, чтобы ты знал, Карреньито. — Мерседес смотрела на него без улыбки. Глаза ее запали и больше не блестели, как в Тинго-Марии и Уанкайо, лицо осунулось. — Такая уж у меня судьба: несчастья преследуют меня с самого рождения.

— Ее проиграли в кости? — Литума в первый раз за эту ночь проявил интерес. — Расскажи, как это было, Томасито.

— Так, как ты слышал, — невесело ответила она. — Пьянчуги, бродяги. В кости. Вот откуда я выбралась. Я поднялась сама, никто мне не помогал. И поднималась бы и дальше, если бы не встретилась с тобой. А ты опять столкнул меня в яму, Карреньито.

— Ага, наконец-то, господин капрал, я вас заставил забыть о пиштако, о глазокрадах, о донье Адриане и Дионисио.

— Дело в том, что я знаю такую же историю, она произошла несколько лет назад, — сказал Литума. — Ее проиграли в кости в Пьюре, так?

— Она мне не рассказывала, где и как. Сказала только, что это с ней было. Но у меня все будто оборвалось внутри. Проиграли в кости, как какую-нибудь вещь, подумать только!

— Она не сказала, что это случилось в паршивеньком баре недалеко от стадиона? Его держала женщина по прозвищу Чунга.

— Она ничего больше не хотела мне рассказывать. Только это, чтобы я понял, с какого дна она поднялась к своей теперешней жизни, с чего начинала и куда я ее снова отбросил, когда убил Борова.

— Как странно, — сказал Литума. — В этом баре я видел, как один мой знакомый, из непобедимых, продал Чунге свою бабу, чтобы продолжить играть в покер. А что, если это и была твоя пьюранка? Ты уверен, что твою любимую женщину зовут Мерседес, а не Мече?

— Вообще-то, господин капрал, Мече — уменьшительная форма от Мерседес.

— Из-за всего этого я решила, что мне надо скрыться, пожить одной, — сказала она. — Все, что было, для меня уже прошло. Я хочу домой, к себе. Хочу искупаться в моей ванне, такой чистой. Смыть с себя эту пятидневную грязь, переодеться.

Она хотела сказать что-то еще, но в эту минуту подошел официант с тарелками, и она замолчала. Официант спросил, чем они будут есть — вилками или палочками. Карреньо ответил — палочками.

— Я научу тебя есть, как тибетцы, любимая. Это совсем просто. Когда научишься, будешь управляться с ними так же легко, как с ножом и вилкой.

— Все у меня складывалось так хорошо, — продолжала она за едой. — Я ко-

пила деньги на поездку в Соединенные Штаты. Моя подруга в Майами должна была найти мне там работу. А теперь все пошло прахом.

— Мече, Мерседес, может быть, случайное совпадение, — сказал Томас. — А может быть, это она и есть, почему бы и нет? Из-за такого совпадения можно поверить в чудеса. Или в пиштако. Только теперь вы должны сказать мне одну вещь...

— Успокойся, Томасито, я никогда не спал с этой Мече. К сожалению. Она была самая красивая девчонка в Пьюре, клянусь тебе.

— Если ты хочешь ехать в Соединенные Штаты — поедем, — пообещал ей Томас. — Я знаю, как туда можно проникнуть без визы: через Мексику. Один мой знакомый стал миллионером на этом бизнесе.

— А можно узнать, какая зарплата у полицейского? — спросила она сочувственно. — Вряд ли намного больше того, что я плачу своей прислуге.

— Возможно, и меньше, — засмеялся он. — А иначе зачем бы я стал подрабатывать, сторожить разных там Боровов, пока они ведут сладкую жизнь со своими дамами в Тинго-Марии?

Она не ответила, и они ели молча. Томас допил пиво, заказал мороженое, закурил. Дым, медленно рассеиваясь, поднимался колечками к потолку.

— Самое смешное во всем этом, что ты выглядишь таким довольным, — сказала она.

— Я и впрямь доволен. — Он послал ей воздушный поцелуй. — Хочешь узнать почему?

Мерседес через силу улыбнулась.

— Я знала, что ты это скажешь. — Она посмотрела на Карреньо долгим взглядом — он не мог определить, чего в нем больше: сожаления или отчаянья — и добавила: — Хотя ты поломал мне жизнь, я не держу на тебя зла.

— И на том спасибо, — обрадовался он. — Значит, ты понемногу смягчаешься.

Она улыбнулась веселее.

— Ты раньше влюблялся?

— Как сейчас — никогда. — Он посерьезнел. — Как в тебя — никогда ни в кого. Да по правде говоря, я до сих пор и не встречал такой красивой женщины, как ты.

— А что, если это и на сам ом деле Мече? Каких только совпадений не бывает в жизни. У тебя нет ее фотографии?

— Мы познакомились несколько недель назад в одной компании в Барранке. Он пришел посмотреть меня в шоу. И увез к себе домой, в Чакарилья-дель-Эстанке. Если бы ты видел, какой у него дом! Он делал мне подарки. Обещал купить квартиру. Сулил золотые горы. Если только я буду с ним одним. А потом эта проклятая поездка в Пукальпу. Поедем да поедем со мной на выходные, увидишь сельву. Ну я и поехала. И в довершение на свою голову согласилась поехать и в Тинго-Марию.

Томас слушал ее все с тем же серьезным видом.

— А Боров бил тебя с самого начала, с первого раза, как ты легла с ним?

Он тут же испугался, что заговорил об этом.

— У тебя ко мне претензии? — В ее голосе прозвучало раздражение. — Не слишком ли серьезно ты относишься к тому, что стал моим любовником или, как ты говоришь, мужем?

— Похоже, начинается наша первая ссора. — Он старался уладить размолвку. — Такое случается с каждой парой. Ладно, не будем больше касаться этого. Ты успокоилась?

Они помолчали. Карреньо заказал чай. Мерседес снова заговорила, без злости, но твердо:

— Хотя ты и убил на моих глазах человека, мне кажется, ты неплохой парень. Поэтому говорю тебе в последний раз. Я чувствую, что ты полюбил меня. Но я не могу ответить тебе тем же. Я такая, какая есть. Я давно решила не связывать свою жизнь ни с кем. Почему, ты думаешь, я до сих пор не замужем? Именно поэтому. У

меня были только друзья, без всяких обязательств, как Боров. И все мои связи были такими. И такими будут и впредь...

— До тех пор, пока мы не уедем в Соединенные Штаты, — вставил Карреньо.

Мерседес не могла удержаться от улыбки:

— Ты когда-нибудь сердишься?

— На тебя я никогда не буду сердиться. Можешь спокойно говорить мне самые ужасные вещи.

— Что правда, то правда. Со мной ты умеешь сдерживаться, — признала она.

Томас расплатился. Когда они выходили, Мерседес решила позвонить домой.

— Я одолжила квартиру подруге на время, пока меня не будет.

— Не говори ей, откуда звонишь и когда думаешь вернуться.

Телефон находился рядом с кассой, Мерседес пришлось пройти вдоль стойки. Карреньо не слышал, что она говорила, но по лицу понял, что новости плохие. Когда она подошла к нему, подбородок у нее дрожал, лицо покрывала смертельная бледность.

— Приходили двое, расспрашивали подругу обо мне, требовали, чтобы она сказала, где я сейчас. Из полиции, показали ей свои удостоверения.

— Что ты ей сказала?

— Что звоню из Тинго-Марии, что потом все объясню. Что же нам теперь делать, боже мой?

— А что было дальше с этой Мече, которую ваш друг проиграл в покер? — спросил Томас.

— Покрыто мраком. Она как сквозь землю провалилась, — ответил Литума. — Одно время эта тайна занимала всю Пьюру.

— Теперь тебе надо уснуть и забыть обо всем, — сказал Томас. — Никто не будет тебя искать у тети Алисии. Успокойся, любимая.

— И Чунга никогда ни словом не обмолвилась о том, что стало потом с Мече.

— Вам, кажется, на роду написано все время сталкиваться с пропажей людей, господин капрал. Так что не вините ни Дионисио, ни донью Адриану, ни терруков и пиштако. Как я вижу, все дело в вас, вы-то и виновны во всех исчезновениях.

VII

Франсиско Лопес с трудом разбудил капрала Литуму. Еще не рассвело, но им пора было выезжать, потому что Лопес хотел вернуться в Эсперансу до наступления темноты. Он уже приготовил кофе, поджарил на плитке хлеб. Инженеры и профессор спали, когда они выехали на дорогу и направились в сторону Наккоса.

До Эсперансы они добирались позавчера три часа, но на обратный путь времени ушло в два раза больше: ночью в Кордильере прошел сильный дождь, и дорогу местами размыло, местами перегородило осыпями. Им то и дело приходилось выходить из машины, чтобы освободить дорогу от камней. Часто машина застревала в лужах, и тогда, чтобы выволочь ее из грязи, они подкладывали под колеса палки и плоские камни.

В начале пути Франсиско Лопес тщетно пытался завязать разговор с Литумой, тот на все вопросы отвечал односложно, а то и просто хмыкал или кивал головой. Но спустя час капрал сам нарушил свое хмурое молчание, проворчав сквозь шарф:

— Скорее всего так оно и было: эти говенные горцы принесли их в жертву своим апу.

— Вы говорите о трех пропавших в Наккосе?

Литума кивнул головой и продолжал:

— Трудно даже представить, на что способны эти сукины дети. А подбили их, конечно, Дионисио и его ведьма.

— От Дионисио можно ожидать чего угодно, — засмеялся Франсиско Лопес. — А еще говорят, что алкоголь убивает. Если бы так было на самом деле, этот пьянчужка уже протянул бы ноги.

— Вы давно его знаете?

— Я еще в молодости встречал его по всей сьерре. До того как перейти в службу охраны, я был вербовщиком. Дионисио в то время не имел постоянного местожительства, он был бродячим торговцем. Продавал чичу, писко и самогонку — агуардиенте, ходил от шахты к шахте, от поселка к поселку, водил с собой бродячих танцоров и акробатов и устраивал уличные представления. Священники гоняли его, натравливали полицейских дуболомов. Простите, я забыл, что вы тоже из полиции.

Подбородок и рот Литумы все так же были укутаны шарфом, фуражка низко надвинута на лоб, и Лопесу видны были только широкие скулы, приплюснутый нос и темные полуприкрытые глаза, внимательно смотревшие на него.

— Он уже был женат на донье Адриане?

— Нет, ее он встретил позднее, в Наккосе. Вам не рассказывали об этом? Эта история обошла Анды. Говорят, чтобы заполучить ее, он угробил шахтера, ее мужа, а ее похитил.

— Этот тип всегда добьется своего! — с сердцем сказал Литума. — Где он ни появится — всюду разложение, кровь.

— Только этого нам сейчас не хватало! — воскликнул Франсиско Лопес. — Всемирный потоп!

Дождь хлынул сразу как из ведра. Небо потемнело, ударил гром, покатился эхом по горам. Плотная завеса из крупных капель задернула стекла, щетки дворников не могли с ней справиться, и дорога с ее камнями и выбоинами стала почти невидимой.

Они едва ползли, машина напоминала слепую лошадь.

— А каким был Дионисио в то время? — Литума не спускал глаз с Лопеса. — Вам приходилось иметь с ним дело?

— Иногда мы вместе выпивали, вот, пожалуй, и все. Он приезжал на праздники и на ярмарки с музыкантами и разбитными индеанками, которые исполняли непотребные танцы. Однажды на карнавале в Хаухе я видел, как он бесновался, танцуя халапато. Вы знаете этот хаухинский танец-игру? Танцоры впадают в транс и на ходу отрывают голову живой утке. Ну так вот: Дионисио обезглавил всех уток и не дал играть другим. Кончилось тем, что его вышвырнули оттуда.

Джип двигался с черепашьей скоростью среди хаоса скал и заполненных водой расщелин по голой дороге без единого деревца или кустика. Литума пребывал все в том же состоянии отрешенности, из которого его не вывела даже гроза. Его лоб прорезала глубокая морщина. Руками он упирался в дверцу и потолок джипа, стараясь смягчить толчки.

— Этот подонок Дионисио не выходит у меня из головы, — признался он. — Это он стоит за всем, что происходит в Наккосе.

— Как странно, что терруки до сих пор его не убили. Они же казнят гомосексуалистов, сутенеров, проституток, извращенцев, а Дионисио совмещает все это в одном лице, да и не только это. — Франсиско Лопес бросил быстрый взгляд на Литуму. — Вы, кажется, поверили во все истории Скарлатины, капрал? Не принимайте его слишком всерьез, этот гринго большой фантазер. Вы и вправду думаете, что этих троих принесли в жертву? Хотя, впрочем, почему бы и нет. Здесь убивают кого угодно и за что угодно. То и дело находят чьи-нибудь могилы, вот как, например, десяти евангелистов на окраине Уанты. Неудивительно, если где-нибудь практикуют и человеческие жертвоприношения.

Он рассмеялся, но Литума не поддержал его штуки.

— Смеяться здесь не над чем, — заметил он. Оглушительный раскат грома не дал ему продолжить.

— Не знаю, как мы доберемся до Наккоса, — прокричал Франсиско Лопес, когда эхо немного стихло. — Если там идет такой же дождь, значит, дорога после перевала превратилась в поток грязи. Не лучше ли вам вернуться со мной на шахту?

— Ни в коем случае, — ответил Литума. — Я должен раз и навсегда разобраться с этим делом.

— А почему вы принимаете так близко к сердцу тех пропавших, капрал? В конце концов, тремя оборванцами больше, тремя меньше — велика ли разница?

— Одного из них я знал. Бедняга немой, он стирал нам белье. Добрейшая душа, мухи не обидит.

— Вы хотите походить на этого киногероя, на Джона Уэйна, капрал. Одинокого мстителя.

Когда часа через два они добрались до перевала, дождь уже кончился, но небо по-прежнему было обложено тучами, а вдали погромыхивал гром, будто бухал большой барабан, — там бушевала гроза.

— Если б вы знали, до чего мне не хочется оставлять вас здесь одного, — сказал Франсиско Лопес. — Не хотите подождать, пока подсохнет дорога?

— Нет, лучше я воспользуюсь затишьем. — Литума вышел из джипа. — Пойду, пока дождь не хлынул снова.

Он пожал руку начальнику охраны Эсперансы и, не слушая его благодарностей за проделанную работу, тронулся в путь. Шагая по обочине вниз, он услышал, как заработал мотор и машина стала удаляться в противоположную сторону.

— Мать вашу! — крикнул он тогда во весь голос. — Вонючие горцы! Суеверные скоты, поганые язычники, вшивые индейцы, сучьи дети!

И слушал, как голос отражается от гор, окруживших его каменными стенами, неразличимыми в дождливой хмари.

Ругательства облегчили ему душу. Он присел на камень, закурил сигарету, прикрыв огонь сложенными лодочкой ладонями. Теперь ему было совершенно ясно, что произошло. Загадку решил профессор, помешанный на Перу. Вот ведь как пригодились знания по истории. Литума вспомнил курс, который читал в пьюранском колледже Сан-Мигель профессор Нестор Мартос. Как он потешался над ним на занятиях: одет курам на смех, и этот дурацкий галстук, и бородища, и запах чичи. Однако рассказывал профессор так, что все можно было представить себе зримо, как в цветном кино. Ему тогда и в голову не приходило, что изучение обычаев древних перуанцев может помочь разобраться в том, что происходит сейчас в Наккосе. Спасибо тебе, Скарлатина, за то, что подсказал, как решить эту загадку. И все-таки он чувствовал себя еще более растерянным, более обескураженным, чем раньше. Потому что, хотя разумом он понимал, что все совпадает и для сомнений не остается места, в глубине души ему трудно было свыкнуться с мыслью, что это вероятно. Да и как может нормальный человек вообразить, что Педрито Тиноко и других пеонов принесли в жертву духам гор, где пролегает дорога, по которой он шагает? А то, что случилось с алькальдом из Андамарки? Ведь это надо: суметь ускользнуть от терруков, пробраться сюда, затаиться здесь под чужим именем, и все для того, чтобы твое изуродованное тело нашло последнее пристанище на дне заброшенной шахты.

Он бросил окурок, проследил за его полетом и снова зашагал. Размытая дорога стала скользкой, будто намыленной, идти приходилось с осторожностью, чтобы не сорваться вниз. Два дня назад они с Франсиско Лопесом прошли этот путь от Наккоса до перевала за полтора часа, теперь, наверно, придется потратить втрое больше времени. Лучше идти медленно, чтобы не сломать ногу в этих пустынных местах, где не увидишь даже птиц, которые могли бы хоть немного скрасить одиночество. Что скажет обо всем этом Томасито? Он представил лицо своего помощника, представил, с каким недоверием тот будет слушать его рассказ, как его начнет тошнить от того, что он услышит. Хотя не обязательно. Воспоминания о пьюранке защищают его от всех неприятностей. А донья Адриана сумела-таки убедить пеонов: есть только один надежный способ сохранить работу, предотвратить уайко, землетрясение, убийства — предложить апу человеческую кровь. А чтобы пеоны были более податливы и послушно следовали ее советам, эта жаба Дионисио спаивает их. Не могу поверить, господин капрал. Так все и было, Томасито, так все и есть. Теперь тебе понятно, почему о них говорят как о подстрекателях. Непонятно другое: если решили принести жертву апу, почему исчез не один

человек, а трое? Разве не хватило бы одного, Томасито? Может быть, чтобы ублажить всю эту шайку апу? Ведь дорога-то, которую строят, должна здесь пересечь не одну гору, а несколько.

Он поскользнулся и сел в грязь. Поднялся и снова упал, на этот раз на бок. Засмеялся над своей неуклюжестью, хотя больше хотелось заплакать в голос. Потому что форма пришла в плачевное состояние, руки были в грязи, а главное потому, что весь мир казался ему сейчас отвратительным, а жизнь — невыносимой. Он вытер ладони о брюки и снова пошел, хватаясь на каждом шагу за камни. Как случилось, что пеоны, уроженцы здешних мест, которые окончили по крайней мере начальную школу, побывали в городах, слушали радио, одевались по-современному, могли совершать такие дикие, такие людоедские поступки? Еще можно было бы понять, если бы речь шла об индейцах в пунах, они ведь нигде не учатся и живут, как жили их предки. Но это делали люди, которые умеют читать, играют в карты, которых крестили и все такое, — как их понять?

Немного распогодилось. Далеко внизу Литума различил огни поселка. И вдруг до его сознания дошло, что наряду с отдаленным громом он уже некоторое время слышит какой-то глухой рокот и что земля под ногами непрерывно подрагивает. Что за чертовщина! Ага, надвигается новая гроза, сзади, со спины. Здесь, в Андах, даже силы природы норовят нанести удар по-предательски. Что же это такое, мать честная? Толчок? Землетрясение? Да, вот оно: земля и в самом деле дрожит под ногами, в воздухе запахло скипидаром. А этот гул, он идет из самого сердца горы. Вокруг, прямо у его ног, катились мелкие камни, осколки крупных камней, потревоженные и сдвинутые места невидимой рукой. Он инстинктивно пригнулся и, опираясь о землю руками, юркнул под прикрытие остроконечной скалы, поросшей бурыми пятнами мха.

«Да что же это такое, Боже мой!» — крикнул он снова и осенил себя крестным знамением; на этот раз эхо не откликнулось на его голос: шуршание множества камней, слившееся в плотный всепроникающий шорох, низкий рокот сползающей горы заглушали все звуки. Говорят, что мать Дионисио убило молнией. Так ведь и в него сейчас ударит молния! Он весь дрожал, руки вспотели от страха. «Не хочу умирать. Боже милостивый, ради всего святого!..» — кричал он, чувствуя, как пересыхает горло и садится голос.

Стало темно, казалось, наступает ночь, хотя на самом деле было еще не поздно. Среди камней он увидел большую ламу: плотно прижав уши, не разбирая дороги, она промчалась мимо него вниз и скрылась из виду. Литума попытался молиться, но не смог. Значит, его раздавит один из этих огромных камней? Они уже катились вокруг с оглушительным грохотом, отскакивая в стороны, ударяясь друг о друга и раскалываясь на куски. Животные инстинктивно почувствовали, что это катастрофа, как бедняга лама, успевшая стрелой вылететь из своего укрытия и удрать вниз. «Прости мне мои грехи, Господи! Не думал, что умру так...» Он стоял на четвереньках, вжавшись в скалу, и смотрел, как по сторонам и над его головой катились и летели камни, комья земли, обломки причудливой формы. Укрывавшая его бурая скала сотрясалась от мощных ударов. На сколько ее хватит? И он представил себе, как огромная глыба несется с самой вершины и всей своей мощью обрушивается на его убежище, дробит его в пыль и придавливает его самого. Он закрыл глаза — и увидел свое тело: кровавое месиво, каша из мяса, костей, волос, обрывков одежды и обуви, и все это вперемешку с землей и грязью стекает с горы, ниже, ниже, и... Тут он сообразил, что грохочущая лавина, эта оседающая и обваливающаяся гора, выстреливающая каменными ядрами, движется в сторону поселка. «Так это уайко, — догадался он, все еще не открывая глаз. — Он погребет сначала меня, а потом всех там внизу».

А когда открыл глаза, не поверил тому, что увидел: справа от него в густом облаке пыли стремительно несся огромный, как грузовик, камень, сокрушая все на своем пути и оставляя позади глубокую, будто русло реки, борозду; почудилось, что в кипящем вокруг камня водовороте из обломков, земли, кусков льда мелька-

ют зверьки, клювы, перья, кости, а в следующее мгновенье его оглушил страшный грохот и тут же накрыло плотной пеленой пыли. Он едва не задохнулся, никак не мог прокашляться, саднили ободранные в кровь руки. «Так это уайко, — повторял он, слыша, как стучит сердце. — От меня не останется мокрого места». Он почувствовал удар по голове, и в памяти вспыхнул Старый мост в Пьюре, где он получил такой же удар от Камарона Панисо, так же закружились в глазах звезды, луны и солнца, прежде чем он провалился во мрак и все кончилось.

Когда Литума пришел в себя, его по-прежнему трясло, но теперь от пробиравшего до костей холода. Уже наступила ночь. Он пошевелился — все тело пронзила боль, будто его переехала машина и все внутри было раздавлено. Но он был жив, а вокруг — что за чудо! — вместо дробного грохота камней была разлита мирная тишина. И еще это небо! На какое-то время он забыл о боли, завороженный зрелищем мириад звезд; далекие и близкие, они мерцали вокруг желтого диска, который, казалось, зажегся специально для него. Никогда прежде ему не доводилось видеть такой большой луны, даже в Пайте. И никогда он не видел такой звездной ночи, такой тихой, ясной. Сколько времени он был без сознания? Несколько часов? Дней? Но он жив. И нужно двигаться. Не то замерзнешь, приятель.

Он медленно повернулся на один бок, потом на другой, сплюнул — рот забило землей. Просто невероятная тишина после такого ужасного шума. Ее можно слышать, потрогать. Он ощупал туловище, ноги, попытался сесть. Куда девался левый ботинок? Кости вроде бы целы. Болит все тело, но это ничего. Трудно поверить, но он спасся. Разве это не чудо? Ведь он попал в уайко. Правда, с краю. Но попал. Потрепало здорово, но остался жив, вот главное. «Да уж, мы, пьюранцы, крепкий орешек». Его охватило приятное предчувствие: он вообразил, как в один прекрасный день, после возвращения в Пьюру, будет сидеть в баре у Чунги и рассказывать непобедимым об этом приключении.

Он встал на ноги, осмотрелся. В бледном свете луны можно было видеть глубокий след от огромного камня, обломки, комья рыхлой земли, грязь, светлые пятна свежего снега. Но нет ни малейшего ветерка, ничто не предвещает нового дождя или снега. Он посмотрел вниз, туда, где должен был находиться поселок, но там не просматривалось ничего, ни огонька. Неужели эта лавина смела все — бараки, технику, людей?

Нагнувшись, поискал на ощупь ботинок. Вот он, полон земли. Кое-как вытряхнул, надел на ногу. Он решил спускаться прямо сейчас, не дожидаясь рассвета. При такой луне не торопясь вполне можно будет добраться. Он был спокоен и счастлив. Будто сдал трудный экзамен, будто эти чертовы горы признали его наконец своим. Прежде чем сделать первый шаг, он прижался губами к защитившей его скале и, как какой-нибудь дикий горец, сказал: «Спасибо, что спас мне жизнь, мамай, апу, пачамама или как там тебя еще».

«Как все это было у вас с пиштако, донья Адриана?» — спрашивают они, едва выпивают по первой рюмке, потому что для них нет ничего приятнее, как послушать о смерти потрошителя. «Вы помогли убить того самого, что выпотрошил вашего двоюродного брата Себастьяна?» Нет, другого. С Себастьяном все произошло позже. А когда случилась та история, у меня еще все зубы были на месте и ни одной морщинки на лице. Я знаю, об этом рассказывают разное, я слышала все, что говорят. Точно не припомню, как оно было на самом деле, кое-что уже подзабылось, ведь сколько воды утекло с тех пор. Тогда-то я была совсем молодая, еще ни разу не уезжала из деревни. А теперь уж, можно сказать, древняя старуха.

Кенка находится далеко отсюда, на другом берегу Мантаро, ближе к Паркасбамбе. Когда после дождей вода в реке поднимается и выходит из берегов, деревня превращается в остров, она стоит на вершине холма, но все участки обработанной земли вокруг нее — чакры — затопляет вода. Кенка — красивая, богатая деревня, жила она как раз за счет этих самых чакр, разбросанных по долине и по склонам горы. Там хорошо росли картошка, бобы, ячмень, кукуруза, перец. Эвкалипты и

другие деревья защищали ее от ураганных ветров, которые часто случаются в тех местах. Даже самые бедные крестьяне имели по нескольку кур, свиней, овец, а иногда и небольшие стада лам, их выпасали на горных лугах. Жила я там мирно и спокойно и была самой веселой и задорной среди сестер. Отец наш был богаче всех в деревне. Три чакры он сдавал в аренду, две обрабатывал сам, а кроме того, держал магазин, продуктовую лавку, аптеку, кузницу и мельницу, где молола зерно вся деревня. Он часто устраивал праздники и не жалел на это денег: привозил священника, нанимал в Уанкайо музыкантов и плясунов. Все было хорошо, пока не появился этот пиштако.

Как мы узнали, что появился пиштако? По тому, как изменился поставщик Сальседо, который уже много лет привозил лекарства, одежду, посуду для нашего отца. Он был с побережья. Ездил на старом тарахтящем грузовике, мы слышали, как фырчит мотор и гремят жестяные банки, задолго до того, как грузовик въезжал в Кенку. Все знали Сальседо в лицо, но вдруг один раз он приехал таким изменившимся, что люди не узнавали его: он вырос, потолстел, стал настоящим великаном. Теперь у него была рыжая борода и выпученные, налитые кровью глаза. На всех, кто к нему приближался, он смотрел волком. И на мужчин, и на женщин. И на меня тоже, никогда не забуду его взгляд. Он на нас тогда нагнал страху.

Одет он был во все черное, обут в сапоги до колен, и пончо на нем было такое широкое, что, когда ветер развевал полы, казалось: Сальседо сейчас полетит. Он разгрузил свой фургон и, как обычно, направился в помещение за магазином. Только на этот раз он не вступал ни с кем в разговоры, не рассказывал новостей, не узнавал знакомых. Все молчал, думал о чем-то своем, говорил только самое необходимое и время от времени бросал на нас такие взгляды, что мужчины подбирались, а женщины обмирали.

Он пробыл в Кенке три дня, получил от моего отца список заказов и рано утром выехал из деревни. А на следующий день в деревню вернулся с горных пастбищ один из наших пастухов и сказал, что на крутом повороте дороги, ведущей в Паркасбамбу, фургон Сальседо свалился в пропасть: с края обрыва можно было видеть на дне ущелья его обломки.

Наши люди все там обыскали, нашли колеса, рессоры, какие-то мятые жестянки, кузов, детали мотора. Но нигде не было тела Сальседо. Обшарили весь склон, думали, он вывалился из грузовика, но тоже ничего не нашли. Не обнаружили и следов крови ни среди обломков, ни среди камней вокруг. Может быть, он успел выскочить из машины, когда почувствовал, что не может удержать ее на дороге? «Так оно, наверно, и было, — решили все. — Выпрыгнул, а потом его подобрала какая-нибудь машина, и сейчас он уже в Паркасбамбе или Уанкайо, приходит в себя от испуга».

На самом же деле он нашел прибежище недалеко от Кенки, в старых пещерах той самой горы, с которой свалилась его машина. Эти пещеры похожи на пчелиные соты, а стены у них расписаны рисунками древних людей. И вот он начал злодействовать, потому что окончательно превратился в пиштако. Он выходил по ночам на дорогу, прятался под мостом или за деревом и подкарауливал припоздних пастухов, погонщиков, крестьян, которые везли урожай на рынок или возвращались с ярмарки. В темноте он неожиданно возникал перед путником, будто с неба падал, из глаз его сыпались искры. Огромная фигура в развевающемся пончо наводила ужас. И он спокойно уводил обомлевшую от страха жертву в пещеры, где в темных и холодных норах и закоулках у него хранились хирургические инструменты. Там он разрезал свою добычу от заднего прохода до рта и начинал еще живую поджаривать над тазом, куда стекал жир. Потом отрезал голову, чтобы из кожи лица сделать маску, разрубал тело на куски, перемалывал кости и готовил из них сонные порошки. Много народу там пропало.

Однажды он подкараулил скототорговца Сантьяго Калáнчу, когда тот возвращался в Кенку из Паркасбамбы с чьей-то свадьбы, но не повел его к себе, а сказал, что если Каланча хочет сохранить свою жизнь и жизнь близких, то должен привес-

ти к нему одну из своих дочерей, и она будет жить в пещере как стряпуха.

Нечего и говорить, что Каланча, хотя и поклялся отдать дочь, вовсе не собирался выполнять требование пиштако. Он заперся в своем доме, вооружившись мачете и кучей камней, готовый дать отпор Сальседо, если тот заявится к нему. В первый день ничего не случилось, во второй тоже, и первые две недели прошли без всяких происшествий. А на третью неделю, во время грозы, в крышу его дома ударила молния. Сам Каланча, его жена и все три дочери сгорели. Я видела их обугленные скелеты. Да-да, почти так же погибла мать Дионисио. Этого я, правда, не видела сама, говорю, как рассказывают. Ну так вот. Когда промокшие соседи растерянно толпились вокруг пожарища, то сквозь завывание ветра и удары грома до них донесся хохот. Со стороны пещеры, где жил Сальседо.

И когда в следующий раз пиштако потребовал, чтобы ему прислали девушку в стряпухи, жители посовещались и решили повиноваться. Первой пошла к нему моя старшая сестра. Вся наша семья и многие другие семьи провожали ее до самого входа в пещеру, все ее благодарили, молились за нее, и много слез было пролито при прощании.

Он не выпотрошил ее, как это случилось с моим двоюродным братом Себастьяном, хотя отец, между прочим, заметил, что было бы совсем неплохо убрать у нее немного жира. Сальседо сохранил ей жизнь и сделал своей помощницей. Но сначала он над ней надругался: опрокинул на сырой пол пещеры и пронзил своим штопором. Стоны и крики моей сестры в эту ее брачную ночь были слышны во всех домах Кенки. А потом она потеряла волю и жила только для того, чтобы угождать своему господину и повелителю. Варила его любимую кашу из картофельного крахмала, вялила, солила и жарила куски мяса, которые он вырезал из своих жертв, они ели его с вареной кукурузой, помогала подвешивать приведенных людей на крючья, вбитые в стены пещеры, — так было легче собирать жир в медные тазы.

Моя сестра была первой, а после нее много других девушек приходили в пещеру, чтобы стать стряпухами и помощницами пиштако. Кенка превратилась в его вотчину. Мы платили ему подать едой. Еду оставляли у входа, туда же приводили девушек. Нам пришлось смириться и с тем, что время от времени исчезал один-другой житель нашей деревни, которого Сальседо уводил к себе, чтобы пополнить запасы продовольствия.

Пока не появился отважный принц, вы говорите? Не было никакого принца, а был чернявый объездчик лошадей. Кто уже знает эту историю, может заткнуть уши или выйти. Так вы считаете, стоит освежить ее в памяти? Она поднимает настроение? Доказывает, что на всякую гадину найдется рогатина?

Носатый Тимотео прослышал про то, что случилось в Кенке, и пришел к нам из Аякучо, чтобы встретиться в пещерах с пиштако и сразиться с ним. Тимотео Фахардо его полное имя. Я знала его очень хорошо, ведь он стал моим первым мужем, хотя мы так и не обвенчались. Разве может простой смертный победить это дьявольское отродье, говорили ему. Мой отец тоже отговаривал его, когда тот со всем уважением сообщил, что собирается идти в пещеру, отрубить голову пиштако и освободить деревню. Но Тимотео стоял на своем. Никогда больше я не видела таких храбрецов. Он был крепкий, хорошо сложенный, только вот нос сильно выдавался. И он умел раздувать и сжимать ноздри так, что казалось, он разговаривает ими. Этот нос и сослужил ему добрую службу. «Я смогу сделать то, что задумал, — говорил он со спокойной уверенностью. — Я знаю, как подойти к нему, чтобы он меня не заметил, вот рецепт: зубчик чеснока, крупица соли, корочка сухого хлеба, катышек ослиного навоза. Да еще надо, чтобы перед тем, как я войду в пещеру, на меня помочилась девственница, вот сюда, где сердце».

Я как раз подходила для этого, была молода, еще не тронута, а к тому же меня захватили его смелость и уверенность, и я, даже не посоветовавшись с отцом, предложила ему свою помощь. Была, правда, одна закавыка: как выбраться из пещеры после того, как он убьет Сальседо? Эти пещеры были такие длинные и запутанные,

что никто никогда не мог в них до конца разобраться. Ходы разветвлялись, спускались, поднимались, переплетались, разбегались, пересекались, словно корни эвкалипта. Да еще многие галереи были забиты летучими мышами, а некоторые полны такого ядовитого газа, что достаточно было вдохнуть его один раз, чтобы тут же отравиться.

Как же сможет выбраться оттуда Тимотео, когда расправится с пиштако? Его огромный чуткий нос и подсказал мне решение. Я приготовила ему картофельную запеканку с яйцами и сыром и приправила ее острым перцем — ахи, которым пользуются при самых сильных запорах. Он съел ее целый горшок, а когда начало приспичивать, сдерживался сколько мог. И только когда совсем уже стало невтерпеж, вошел в пещеру. Дело было днем, светило солнце, но уже через несколько шагов Тимотео оказался в непроглядной тьме. Он шел на ощупь и каждые две-три минуты останавливался, снимал штаны и оставлял на полу небольшую густую лужицу. Ему приходилось прикрывать глаза рукой от летучих мышей, они слетали с потолка и шелковистыми крыльями щекотали ему лицо. Так он и шагал, останавливаясь время от времени и оставляя на полу содержимое своего желудка, пока впереди не забрезжил свет. Он направился туда и вскоре добрался до логова пиштако.

Великан спал, рядом с ним спали три девушки-стряпухи. Тимотео едва не задохнулся от зловония. При свете плошек он рассмотрел также развешанные на крючьях окровавленные куски человеческих тел, с которых в подставленные тазы стекал жир. Не мешкая, он одним ударом отрубил голову потрошителю и разбудил его помощниц. А те, проснувшись и увидев, что их хозяин обезглавлен, начали плакать и кричать как сумасшедшие. Тимотео успокоил их, растолковал, что спас их от рабства и теперь они могут вернуться домой и жить нормальной жизнью. И когда они вчетвером пошли обратно, он находил дорогу по запаху лужиц, что оставил по пути, нюх-то у него был что у охотничьей собаки.

Вот как кончилась история с великаном Сальседо — история с кровью, с трупами, с дерьмом.

— Ладно, Томасито, доставь себе удовольствие, рассказывай дальше о своих приключениях и злоключениях, — сказал Литума. — Тебе повезло: у меня в последнее время из-за этих исчезновений, будь они неладны, совсем пропал сон.

— Те две недели в Лиме были моим медовым месяцем, — начал его помощник. — Две недели тревог и страха, ведь на нас обрушились все беды. Мы даже думали, что нас хотят убить. Но опасность и страх еще больше нас разжигали, и мы занимались любовью каждую ночь. По три раза подряд. Неописуемое блаженство, господин капрал.

— Мерседес в конце концов тебя полюбила?

— Ночью я был уверен, что да. Но днем все менялось: она бросала мне в лицо, что я загубил ее жизнь, что она никогда не станет моей женой.

После двух дней, прожитых в доме тети Алисии в Барриос Альтос, Мерседес решила взять свои деньги, хранящиеся в филиале Народного банка на площади Виктории. Она вошла в банк, а Карреньо ждал ее на углу. Чтобы не бросаться в глаза, он сел на скамейку к чистильщику сапог. Мерседес очень долго не выходила, а когда она наконец появилась в дверях, невысокий метис, читавший до этого у столба газету, с решительным видом шагнул вперед и вдруг набросился на нее. Он пытался вырвать у нее сумку, но Мерседес не выпускала ее, она кричала и отбивалась руками и ногами. Несколько прохожих остановились и смотрели, не решаясь вступиться. Когда подбежал Карреньо с револьвером в руке, налетчик отпустил женщину и бросился наутек. Карреньо быстро повел ее на авениду Манко Капак и там остановил первое попавшееся такси. Мерседес была скорее взбешена, чем напугана: хотя этот тип и не смог отнять деньги, он порвал ее избирательское удостоверение.

— Почему ты решил, что это был не просто вор? Разве мало в Лиме воров, грабителей, бандитов и прочих подонков?

— По тому, что произошло потом. Это оказалось только первой пробой. Потом были другие, гораздо хуже. Мне уже стало казаться, что сам Боров встал из гроба, чтобы отомстить нам. «Ты чувствуешь: опасность все больше и больше укрепляет нашу любовь», — говорил я ей.

— Как ты можешь думать сейчас о любви, дурачок несчастный, — сердилась Мерседес. — Ты понимаешь, что я осталась без документов? Поговори лучше со своим крестным отцом, не тяни, пусть он нам поможет.

Но все попытки связаться с ним заканчивались ничем. Звонить ему на службу мне было строго запрещено, а домашний телефон постоянно был занят. Справочная ответила, что линия в порядке, должно быть, просто плохо положили трубку. Жена Искариоте сказала, что Толстяк еще не возвращался из сельвы. А мать Карреньо, которую он попросил наведаться в его квартиру на улице Римак, принесла оттуда плохие новости.

— Дверь сорвана с петель, все перевернуто, разграблено, кровать подпалена, а сверху — куча дерьма, что еще больше напугало мать. Такое впечатление, что сначала они хотели поджечь комнату, но не решились и вместо этого обгадили мою постель, — сказал Томас. — Разве это могло быть случайным совпадением, господин капрал?

— Но говно как раз и доказывает, что это были воры, — возразил Литума. — У домушников существует такое поверье, Томасито: чтобы не загреметь за решетку, после того как обчистили дом, надо там насрать. Неужели не слышал?

— Когда я рассказал Мерседес, что квартиру ограбили, она расплакалась, — вздохнул Томасито. — Ее прямо трясло, господин капрал, и я сам чуть не заплакал. Успокойся, говорю, любимая, не убивайся так, умоляю.

— Нас преследуют, нас ищут, — всхлипывала Мерседес, не утирая градом катившихся слез. — Это не может быть случайностью: сначала банк, а теперь квартира. Нас ищут люди Борова, они нас убьют.

Но они не нашли его тайник — замаскированное несколькими кирпичами укромное местечко в уборной, где он хранил свою скромную пачку долларов.

— Долларов? — встрепенулся Литума. — У тебя были сбережения?

— Хотите верьте, хотите нет, но у меня было около четырех тысяч. Конечно, не из жалкой зарплаты полицейского, а из того, что мне давал подработать мой крестный: то пару дней охранять кого-нибудь, то доставить пакет или посторожить дом, в общем, всякие мелкие поручения. Каждый грош, что я от него получал, я обменивал на доллары в квартале Оконья и тут же — в тайник. Я думал о будущем. А моим будущим стала Мерседес.

— Вот это я понимаю! Твой крестный прямо как Господь Бог. Если выберемся из Наккоса живыми, приведи меня к нему. Хотел бы я до того, как умру, увидеть живьем великого человека. До сих пор мне приходилось видеть таких людей только в газетах и фильмах.

— С этим мы не доберемся до Соединенных Штатов, — сказала Мерседес, прикинув расходы.

— Я достану все, чего нам не хватает, дорогая, поверь мне. Я вытащу тебя отсюда и в целости и сохранности доставлю в Майами, увидишь. А когда мы уже будем там, среди небоскребов, золотых пляжей и шикарных машин, ты ведь скажешь мне: «Я люблю тебя всем сердцем, Карреньито»?

— Сейчас не до шуток. Не будь таким легкомысленным. Ты что, не видишь: нас ищут, хотят отомстить.

— Зато я тебя рассмешил,— улыбнулся юноша. — Ты мне так нравишься, когда смеешься, у тебя такие ямочки на щеках, что у меня учащается пульс. Как только моя старушка передаст мне доллары, мы пойдем и купим тебе какое-нибудь платье, о'кей?

— Нельзя в первый раз трахаться в двадцать три года, Томасито, слишком поздно, — философствовал Литума. — Извини, но я скажу. Просто ты узнал женщину, ну и тебе моча ударила в голову.

— Вы ее не знаете, вы не представляете, что значит обнимать такую куколку, как моя Мерседес, — вздохнул Карреньо. — Каждый день уже с утра я не мог дождаться, когда наступит ночь, чтобы отправиться в рай со своей любимой.

— Когда ты говоришь все это, мне кажется, ты шутишь или насмехаешься надо мной, — сказала Мерседес.

— Что мне сделать, чтобы ты поверила?

— Не знаю, Карреньито. Я как-то теряюсь, когда то и дело слышу такие вещи. Когда ты возбужден и ласкаешь меня, это нормально. Но ты ведь говоришь так целый день.

— Ну и размазня ты, парень, — прокомментировал Литума.

Томас договорился встретиться с матерью, когда стемнеет, на улице Аламеда-де-лос-Дескальсос. Он взял с собой Мерседес. Такси он остановил не доезжая до Аламеды, на улице Пласа-де-Ачо, и дальше пошли пешком. Сделав несколько кругов, подошли к церкви, где их ожидала мать Томаса, низенькая сутулая женщина в длинном черном платье. Она молча обняла и поцеловала сына, а когда он представил ей Мерседес, так же молча протянула ей маленькую холодную ладошку. Они уселись на шаткую скамью в темном закоулке — ближайший фонарь был разбит — и только тогда начали разговор. Откуда-то из-под юбок женщина извлекла завернутую в газету пачку долларов и вручила ее Карреньо. Она ни о чем не спросила Мерседес, даже не взглянула на нее. Юноша вытащил из свертка часть долларов и, не говоря ни слова, сунул их в сумку матери. Ее лицо не выразило ни удивления, ни радости.

— Удалось узнать что-нибудь о крестном? — спросил Томас.

Она кивнула. И слегка наклонилась вперед, чтобы видеть его глаза. Она говорила почти шепотом на хорошем испанском языке, но с сильным горским акцентом:

— Я собиралась передать ему весточку от тебя, но он пришел сам. Был такой хмурый, что я подумала, сейчас скажет, что с тобой случилось что-то ужасное, что тебя убили, а он сказал, чтобы ты связался с ним как можно скорее.

— Я ему звоню по нескольку раз в день, но его домашний телефон всегда занят.

— Он не хочет, чтобы ты звонил ему домой. Звони ему на службу, лучше до десяти, называйся Чино.

— Когда я это услышал, у меня немного отлегло от сердца, — сказал Томас. — Если он сам пришел к моей маме, если хочет, чтобы я ему позвонил, значит, еще не совсем от меня отвернулся. Правда, мне пришлось ловить его десять дней, Мерседес очень переживала из-за этого, я же, напротив, был только рад, ведь задержка продлевала наш медовый месяц. И вообще, хотя мы тогда боялись, не знали, что нас ждет, все равно у меня это были самые счастливые дни в жизни, господин капрал.

Когда они попрощались с матерью Томасито и вернулись в дом тети Алисии в Барриос Альтос, Мерседес засыпала его вопросами:

— Не понимаю, почему твоя мать принимает все так спокойно? Ее не удивляет, что ты скрываешься, что пришел со мной, что ограбили твою комнату? Разве все, что с тобой происходит, нормально?

— Она знает, как опасно жить в Перу, дорогая. На вид она такая невзрачная, а на самом деле — железная женщина. На какие только ухищрения ей не приходилось идти, чтобы прокормить меня. В Сикуани, в Куско и в Лиме.

Получив доллары, Карреньо пребывал в прекрасном настроении и подшучивал над Мерседес, хранившей деньги в банке:

— В нашей стране опасно доверять деньги банкам, самое подходящее место для них — под матрасом. Вспомни-ка этого метиса на площади Виктории: едва тебя не прикончил. Правда, я доволен, что он порвал твое избирательское удостоверение, теперь ты зависишь от меня. Давай отметим это, приглашаю тебя потанцевать.Ты мне покажешь какие-нибудь фигуры из твоего шоу в «Василоне»?

— Как ты можешь думать сейчас о развлечениях? — запротестовала Мерседес. — У тебя одни забавы на уме.

— Это оттого, что я влюблен в тебя, дорогая, и умираю от желания танцевать с тобой cheek to cheek [1].

В конце концов Мерседес уступила, и они отправились в «Уголок воспоминаний» на Пасео-де-ла-Республика, там никто не смог бы хорошо рассмотреть их лица: романтический уголок почти не был освещен. Там крутили старые пластинки — танго Гарделя, болеро Лео Марини, Аугустина Лары и Лос-Панчос. Они заказали коктейль «Куба либре», им тут же наполнили стаканы. Карреньо говорил без умолку о том, как они будут жить в Майами: он вложит деньги в какое-нибудь транспортное предприятие, лучше по перевозке ценных вещей, разбогатеет, они поженятся, пойдут дети. Танцуя, он сильно прижимал Мерседес к себе, жадно целовал ее лицо, шею.

— Пока ты со мной, все у тебя будет в порядке, можешь поверить. Вот погоди, вернется толстяк Искариоте, я поговорю с крестным — и жизнь нам улыбнется. Мне-то она уже улыбнулась — подарила тебя.

— Какое замечательное название — «Уголок воспоминаний», — вздо̀хнул Литума. — Знаешь, от твоего рассказа я затосковал по таким вещам: полумрак, тихая музыка, отличная выпивка, ты танцуешь с симпатичной крошкой, и она льнет к тебе всем телом.

— Эта была прекрасная ночь, — сказал Карреньо. — Она тоже меня целовала, сама, первая. И я тешил себя мыслью, что в ней просыпается любовь.

— Твои поцелуи и ласки возбудили меня, Карреньито, — шептала Мерседес, покусывая его ухо. — Идем скорее в постель, завершим достойно нашу дурацкую вылазку.

Они вышли оттуда около трех часов ночи, оба сильно навеселе. Но винные пары сразу улетучились, когда, подходя к пансиону тети Алисии, они увидели патрульную машину, несколько пожарных машин и толпу зевак. Выскочившие в чем попало на улицу соседи объяснили, что̀ в доме прогремел взрыв.

— Они подъехали на грузовичке и спокойно, не торопясь установили взрывное устройство около деревянного домика шагах в двадцати от пансиона тети Алисии. Это была уже третья попытка. По-вашему, это тоже случайное совпадение, господин капрал?

— Томасито, больше я не верю ни одному твоему слову. Насчет бомбы ты здорово загнул. Если бы наркос [2] хотели тебя убить, они бы сделали это, не заливай мне мозги.

Взрывом выбило окна ближайших домов, заполыхал мусоросборник на задворках. Среди соседей, кутаясь в шаль, стояла тетя Алисия. Встречаясь взглядом с Карреньо и Мерседес, она делала вид, что не знает их. Остаток ночи они провели на крыльце особняка неподалеку и вернулись, когда около пансиона не было уже ни патруля, ни пожарных. Тетя Алисия торопливо захлопнула за ними дверь. В ее доме все было в полном порядке, и сама она не казалась испуганной, ей не приходило в голову, что бомба могла иметь какое-то отношение к Карреньо; как и соседи, она считала, что это было покушение на чиновника префектуры, жившего на той же улице. Грузовичок проехал мимо ее дома, когда она как раз открывала окно, чтобы проветрить комнату, было слышно, как разговаривают в кабине; высунувшись из окна, она увидела, что машина остановилась на углу и из нее вышли эти бандиты. Они, верно, ошиблись и подложили бомбу под пустующий дом. А может, они и не собирались никого убивать, а только хотели попугать этого типа из префектуры.

— Мерседес ни на минуту не поверила в эти разговоры о чиновнике из префектуры, она была уверена, что искали нас. При тете Алисии она помалкивала, но стоило нам остаться одним, она накинулась на меня:

---

[1] Щека к щеке (*англ.*).

[2] Множественное число от «нарко» — перевозчик и продавец наркотиков (*исп.*).

— Эта бомба была для нас с тобой, для нас! Какой еще чиновник из префектуры? Чушь собачья! Нас выследили! Они и не думали никого предупреждать, они готовили убийство, пока мы с тобой отплясывали в «Уголке воспоминаний». Теперь ты доволен, псих несчастный?

Голос у нее дрожал и прерывался, она так стиснула руки, что пальцы побелели, и Карреньо пришлось силой разъединять их: он испугался, что она причинит себе вред. Он никак не мог ее успокоить, она совсем потеряла голову: плакала навзрыд, кричала, что не хочет умирать, осыпала его бранью, бросалась на кровать и билась в истерике.

— Я думал, с ней случится что-то ужасное — хватит удар или того хуже, — сказал Томас. — Я-то ничего не боялся, но видеть ее такой не мог и совсем растерялся, не знал, как ее утешить, что сказать, что пообещать, чтобы она только перестала плакать. Все мои слова, объяснения, клятвы — все было ни к чему.

— И что же ты сделал? — спросил Литума.

Он пошел в уборную, достал спрятанный сверток с долларами и, присев на край кровати, стал уговаривать Мерседес взять их. Целовал ее глаза, гладил волосы, губами расправлял морщинки на лбу.

— Они твои, любовь моя, останешься ты со мной или бросишь меня — они твои. Я тебе их дарю. Сохрани их, спрячь получше, чтобы даже я не знал, где они лежат. Ты почувствуешь себя уверенней, спокойно будешь ждать, пока я смогу поговорить с крестным, тебе не будет казаться, что земля уходит из-под ног. Так ты не будешь привязанной ко мне и, если захочешь, сможешь уйти. Не плачь же, прошу тебя.

— Ты это сделал, Томасито? Ты подарил ей все свои доллары?

— Зато она перестала плакать, господин капрал.

— Это же еще хуже, чем убить Борова за то, что он ее бил, — подпрыгнул на своей раскладушке Литума. — Дерьмо ты, Карреньо, вот что!

VIII

— Так вас настиг уайко, но вы остались живы и здоровы? — Трактирщик похлопал Литуму по плечу. — Поздравляю, капрал!

В погребке царило похоронное настроение, один только Дионисио пребывал в прекрасном расположении духа. Зал был переполнен. Пеоны, разбившись на группы, со стаканами в руках, беспрерывно курили и говорили все сразу, их голоса сливались в какое-то пчелиное гудение. Вид у них был мрачный, а в глазах, как показалось Литуме, застыл животный страх. После разрушений, причиненных уайко, никто уже не мог надеяться на возобновление работ. Так что им, этим горцам, и впрямь было из-за чего прийти в отчаяние.

— Можно считать, я родился во второй раз там, наверху, — признался Литума. — Никому не пожелаю пройти через это. В ушах до сих пор стоит грохот этих камней, едрена мать, они неслись на меня отовсюду.

— А ну-ка, ребята, выпьем за капрала! — поднял рюмку Дионисио. — И поблагодарим наккосских апу: они спасли ему жизнь!

«А ведь эта жаба подкалывает меня», — подумал Литума. Но поднял рюмку, с улыбкой поблагодарил Дионисио и несколько раз кивнул пившим за него пеонам. Томас Карреньо, выходивший помочиться, вернулся в зал, потирая руки.

— Вы единственный, кто смог остаться в живых, угодив в уайко! — воскликнул он с тем же простодушным восхищением, с каким уже слушал раньше рассказ своего начальника. — Надо, чтобы о вас напечатали в газетах.

— Что правда, то правда, — сказал пеон с изрытым оспой лицом. — После истории с Касимиро Уаркаей здесь никогда больше не слышали ни о чем подобном. Попасть в уайко — и уцелеть!

— Касимиро Уаркая, Альбинос? — встрепенулся Литума. — Тот, что исчез? Тот, что выдавал себя за пиштако?

Альбинос пришел поздно, когда, как всегда по субботам, в погребке дым стоял коромыслом — все уже были сильно навеселе. Он тоже был под градусом. Взгляд его красноватых выпученных глаз, опушенных белесыми ресницами, приводил людей в смущение. Он, как обычно, возвестил о себе с порога пьяным задиристым голосом: «А вот и потрошитель — пиштако! Все слышали? А если, черт подери, не верите, я вам кое-что покажу». С этими словами он вынул из заднего кармана небольшой нож и, ухмыляясь, помахал им в воздухе. Потом, покачиваясь и паясничая, подошел к стойке, где донья Адриана и ее муж обслуживали посетителей, и, стукнув кулаком, потребовал чего-нибудь покрепче. В это мгновенье Литума понял, что произойдет дальше.

— Конечно он, а кто же еще, — ответил тот, с оспой. — Вы разве не знали, что терруки его казнили, а он воскрес, как Иисус Христос?

— Нет, не знал, здесь я вообще узнаю обо всем последний, — вздохнул Литума. — Так его казнили, а он воскрес?

— Да нет, Пичинчо немного загибает, — вмешался в разговор смуглый пеон с волосами как у дикобраза. — Я думаю, его казнили понарошку. Разве такое возможно, что в него выстрелили по-настоящему, а он потом встал как ни в чем не бывало, даже без раны?

— Я вижу, все тут знают назубок историю Касимиро Уаркаи, — вмешался Карреньо. — Так почему же, интересно, когда он исчез, все вы говорили нам, капралу и мне, что вам ничего о нем не известно?

Наступило тягостное молчание, лица окружавших их пеонов, угловатые, с приплюснутыми носами, толстыми губами, маленькими недоверчивыми глазками, застыли в какой-то потусторонней непроницаемости, а Литума ошутил себя существом из другого мира, кем-то вроде марсианина, неожиданно упавшего сюда с неба. Но вот шевельнулся горец с рябым лицом, его рот растянулся в широкой улыбке, открыв белоснежную полоску зубов:

— Потому что тогда мы не доверяли капралу.

Раздался одобрительный гул, и Дионисио поспешил наполнить рюмку Альбиносу, поглядывая на него со своей всегдашней насмешливо-настороженной улыбкой. Лицо его отекло более обычного, студенистые щеки розово блестели сквозь небритую щетину. В плавающем табачном дыму он казался выше и толще, чем был на самом деле. И хотя он двигался разболтанно, будто у него были вывихнуты руки и ноги, Литума знал, что трактирщик обладает недюжинной силой, он видел однажды, как тот поднял на руки пьяного пеона, донес его до двери и вышвырнул на улицу. Кстати, не потому, что тот буянил, а потому, что начал плакать; тем же, кто затевал ссоры и лез в драку, Дионисио позволял оставаться в погребке, он иногда даже стравливал своих завсегдатаев, похоже, пьяные скандалы доставляли ему удовольствие. Альбинос выпил свою рюмку, и Литума весь превратился во внимание, он сидел как на углях, с нетерпением ожидая, когда тот заговорит. И тот заговорил, обернувшись к одуревшим от шума и выпивки посетителям:

— Ну что, даст кто-нибудь закурить потрошителю? Скопидомы! Жлобы!

Никто не обратил внимания на его слова, даже не взглянул на него. Лицо Альбиноса исказилось, будто его захлестнул приступ злобы или вдруг схватило живот. Волосы, брови, ресницы Касимиро Уаркаи были совсем белыми, но больше всего бросались в глаза белый пушок на коже и белая щетина на щеках. На нем был комбинезон и расстегнутая прорезиненная куртка с капюшоном, открывавшая поросшую седыми волосами грудь.

— На, возьми, Касимиро, — протянул ему сигарету хозяин погребка. — Сейчас снова будет музыка, и ты сможешь потанцевать.

— Что ж, неплохо, — сказал Литума. — То есть, я хочу сказать, неплохо, если теперь вы будете относиться ко мне как к горцу, а не как к горному стервятнику. Это стоит обмыть. Дионисио, достань-ка вон ту бутылку и пусти ее по кругу за мой счет. Пейте, друзья.

Пеоны благодарно зашумели, Дионисио принялся открывать бутылку, донья

Адриана раздавала рюмки тем, у кого их не было, а капрал и его помощник разговаривали с завсегдатаями. Они подошли к стойке, пеоны окружили их тесным кольцом, как во время партии в кости, когда на кону уже выросла высокая кипа денег.

— Стало быть, терруки стреляли в Уаркаю, а он остался невредим? — переспросил Литума. — Расскажите подробнее, как это было.

— Он сам рассказывал об этом, когда в него вселялся бес, или, проще говоря, вино ударяло в голову, — сказал пеон, похожий на дикобраза. — Он колесил по всей сьерре, искал девчонку, которая родила ему сына. И вот однажды вечером приехал он в одну деревню в провинции Ла-Мар, а его там приняли за пиштако и чуть не убили. Но его спасли терруки, они как раз в этот момент вошли в деревню. И кто же, вы думаете, командовал ими? Та самая девчонка, которую он искал!

— Как это спасли? — перебил его Карреньо. — Разве не они его казнили?

— Помолчи, — приказал Литума. — Не мешай, пусть рассказывает.

— Терруки спасли его от самосуда жителей, но потом сами устроили над ним народный суд и приговорили к смерти, — продолжал дикобраз. — Казнить его поручили его же девчонке. А та и бровью не повела, застрелила его.

— Ну и ну, — поразился Литума. — Но как же он после смерти пришел в Наккос?

Альбинос не произносил ни слова. Он долго возился с сигаретой, пытаясь раскурить ее, он был уже так пьян, что никак не мог удержать пламя спички у кончика сигареты. Взглянув на чумазое, лоснящееся лицо Дионисио, Литума перехватил его взгляд — быстрый, насмешливый, ожидающий взгляд человека, который знает, что сейчас произойдет, предвкушает развлечение и радуется ему. Он тоже знал, что сейчас случится, но его от этого бросало в дрожь. Остальные же, казалось, ничего не замечали, одни сидели на ящиках, другие — большинство — стояли группками по два-три человека с бутылками пива, писко, анисовой в руках, пили из горлышка, передавали бутылки друг другу. Из радиоприемника, подвешенного высоко над стойкой, сквозь треск электрических разрядов неслись песни района Анд и тропиков — субботняя программа радио Хунина. Самолюбие Альбиноса, по-видимому, было уязвлено тем, что на его слова не обращают внимания; он повернулся спиной к хозяину и с вызовом уставился на толпу своими выпученными, как у вытащенной из воды рыбы, глазами.

— Вы слышали, что я потрошитель? Пиштако, или нака, как говорят в Аякучо. Нарезаю людей ломтиками.

Он снова помахал в воздухе ножом и состроил гримасу, явно ожидая, что его заметят, обрадуются, посмеются над ним или похлопают ему. Но и на этот раз его присутствие не привлекло внимания пеонов. Тем не менее Литума знал: все пять чувств всех без исключения присутствующих обращены на Касимиро Уаркаю.

— Ведь так все было, по крайней мере, он так рассказывал, верно? — спросил рябой, и несколько пеонов утвердительно кивнули. — Что эта терручка казнила его, выстрелила в него из ружья с расстояния в один метр. И Уаркая умер.

— Ему показалось, что он умер, Пичинчо, — поправил его дикобраз. — А на самом деле он просто потерял сознание. От страха, ясное дело. А когда пришел в себя, на нем даже раны не оказалось, только синяки, он получил их, когда жители приняли его за пиштако и пинали ногами. Терручка же просто хотела попугать его, только и всего.

— Уаркая говорил, что видел, как ружье выстрелило прямо ему в голову, — стоял на своем рябой. — Она его убила, а он воскрес.

— Ну и ну, — повторил Литума, внимательно следя за реакцией рассказчиков и окружавших их пеонов. — Значит, он спасся от казни, пришел в Наккос, и тут его похитили. Похоже, он и на этот раз спасся?

Они пили писко и анисовую, передавали друг другу бутылки с пивом и стаканы, коротко возглашали: «За тебя, браток!»; они курили, разговаривали, насвистывали мелодии звучавших по радио песен. Кто-то, опьяневший больше других, обнял воображаемую женщину и стал танцевать, глядя на свою тень полузакрытыми глазами. Дионисио в состоянии лихорадочного возбуждения, в которое он обыч-

но впадал в это время, раззадоривал клиентов: «Давайте, давайте, танцуйте, не важно, что нет юбок, ночью все кошки серы». Они вели себя так, будто Касимиро Уаркаи здесь не было. Лицемеры. Литума прекрасно знал, что они притворяются, что краем глаза следят за Альбиносом.

— Пиштако, который прячется под мостом и за камнями и живет в пещерах, как тот, кого убила донья Адриана, этот пиштако — я! — крикнул Уаркая громовым голосом. — Вы понимаете, о чем я говорю, донья Адриана, правда? Ну-ка попробуйте убить меня тоже, как вы с вашим носатым мужем убили Сальседо. Даже терруки не смогли угробить меня, хотя и пытались. Я бессмертный!

Лицо его искривилось, будто снова спазма стиснула желудок, но в следующее мгновенье расправилось, он весь подобрался, выпрямился, схватил рюмку. Не замечая, что рюмка пуста, Касимиро жадно глотал воздух, облизывал ее края, вертел ее, пока она не выпала у него из рук, покатилась по стойке и упала на пол. После этого он наконец успокоился, крепко потер руками лицо и вперился выпученными лягушачьими глазами в надписи, пятна, следы сигарет на досках стойки. «Главное, не уходи, — прошептал Литума, зная, что Альбинос не может его услышать. — Не вздумай податься куда-нибудь отсюда. Останься здесь до конца, пока все не уйдут или не напьются до бесчувствия». Литуме вдруг почудилось, что Дионисио ехидно улыбается. Он присмотрелся: да, действительно, хотя тот делал вид, что поглощен посетителями, которых все еще приглашал жестами танцевать, его толстощекое лицо улыбалось так злорадно, что у Литумы не осталось сомнений: Дионисио издевается над его попыткой изменить ход вещей, не дать случиться тому, что все равно случится.

— Вполне возможно, что он спасся и на этот раз, — сказал Пичинчо, ощупывая оспины, будто они у него зудели. — После той истории с терруками он немного тронулся. Вам не рассказывали, какие номера он тут выкидывал, чтобы его приняли за пиштако? Может быть, его и не похищали вовсе, а просто ему в голову пришла новая блажь — незаметно улизнуть из Наккоса.

Рябой явно лицемерил, и Литуме захотелось спросить, уж не думает ли тот, что он и его помощник такие лопухи, что смогут поверить в подобную чушь. Но его опередил Томасито:

— Улизнуть, не получив зарплату? Вот лучшее доказательство того, что Альбинос исчез не по своему желанию и не по своей воле. Он не получил деньги за последние шесть дней работы. Кто же добровольно подарит компании свою недельную зарплату?

— Никто, конечно, если он нормальный человек, а не чокнутый, — ответил Пичинчо, сам явно не веря в то, что говорит. — Но у Касимиро Уаркаи после истории с терруками поехала крыша.

— А в конце концов, что из того, что он исчез? — сказал другой пеон, до сих пор не произносивший ни слова, — маленький горбун с запавшими глазами и позеленевшими от коки зубами. — Разве мы все не исчезнем когда-нибудь?

— А после этого проклятого уайко даже скорей, чем ты думаешь, — гортанно воскликнул кто-то, Литума не рассмотрел кто.

И тут же увидел, как Альбинос, пошатываясь, идет к двери. Люди, не глядя на него, расступались, давая дорогу, но делали вид, что Касимиро Уаркаи нет среди них, что его не существует. Прежде чем открыть дверь и раствориться в холодной темноте, Альбинос в последний раз запальчиво крикнул осипшим от злости и усталости голосом:

— Кое-кого из вас я обязательно выпотрошу! И на вашем же жире буду жарить ломти вашего мяса и есть их! Отличный будет праздник у потрошителя. А вы все подохнете, засранцы!

— Да что ты все плачешься, ведь уайко же никого не убил, — сказала донья Адриана горбуну с другого конца стойки. — Даже не ранил. Вот и капрал попал в самый камнепад и остался цел. Лучше скажи спасибо, что мы уцелели, и радуйся, вместо того чтобы жаловаться, нытик несчастный.

Уаркая переступил порог и двинулся к баракам, слабо освещенным несколь-

кими голыми лампочками, которые по субботам компания выключала в одиннадцать часов, на час позже, чем в остальные дни. Сделав несколько шагов, он споткнулся и как подкошенный рухнул на землю. Бестолково копошась и чертыхаясь, попытался подняться, что удалось ему только после долгих усилий: кое-как поставил одну ногу, оперся на колено другой, стал на четвереньки и, сильно оттолкнувшись руками, с трудом выпрямился. Чтобы не упасть снова, он согнулся, как обезьяна, и широко расставил руки, стараясь сохранить равновесие. Это бараки? Желтые огоньки лампочек порхали, будто светлячки, но он знал, что это не светлячки, разве они водятся так высоко в Кордильере? Он засмеялся и стал ловить их руками. Глядя на эту шутовскую пляску, Литума тоже засмеялся, но невесело, его прошиб холодный пот, начинало знобить. Дойдет ли Альбинос когда-нибудь до своего барака, где его ждет деревянный топчан, набитый сеном матрас и одеяло? Он поворачивал то вправо, то влево, возвращался назад, кружил на месте; шел на эти убегающие огоньки, терял их, путался, и в нем опять закипала злоба. Хотел выругаться, отвести душу, но так устал, что не смог. Наконец он добрался до барака, там его снова занесло, и он уже на четвереньках подполз к своему топчану, вскарабкался на него, ударившись лицом о перекладину и расцарапав лоб и руки. И теперь, лежа ничком с закрытыми глазами, прислушивался, как в нем волной поднимается тошнота. Он попытался вызвать рвоту, но не удалось. Хотел перекреститься и прочитать молитву, но не было сил поднять руку, а молитвы он, оказывается, не помнил ни одной, ни «Отче Наш», ни «Дево Мария, радуйся». Он впал в тяжелое полузабытье, время от времени вздрагивал, началась отрыжка, приступы боли стискивали желудок, грудь, горло. Догадывался ли он, что скоро за ним придут?

— А что толку, что мы уцелели, если уайко оставил нас без работы, — возразил горбун донье Адриане. — Не знаешь разве, что он разбил экскаваторы, катки, трактора?

— Этому, что ли, мы должны радоваться, донья Адриана? — поддержал его дикобраз. — Объясните мне кто-нибудь, я не понимаю.

— Разве он не оставил нас без крыши над головой? Не засыпал сто метров дороги, уже подготовленной, чтобы класть асфальт? — подхватил, как эхо, другой пеон из глубины зала. — А ведь это все предлог, чтобы остановить строительство. Нет денег — и баста! Затяните ремни и подыхайте!

— Могло быть еще хуже, так что не скулите, — парировала донья Адриана. — Могли вообще остаться без ног, без рук, с переломанными костями и ползали бы остаток жизни, как черви. А вы, точно безмозглые бараны, не понимаете этого и распускаете нюни.

— Будем пить и веселиться! — гаркнул Дионисио. — Будем танцевать!

Он стоял в центре зала, подталкивая пеонов друг к другу, сцеплял их в вереницу, притопывал и поворачивался в такт льющейся из репродуктора мелодии. Но Литума видел, что даже самые захмелевшие пеоны не хотят танцевать. Алкоголь не только не помог им отвлечься от безрадостных мыслей о будущем, но, наоборот, еще больше их омрачил. От прыжков и криков Дионисио у Литумы закружилась голова.

— Вы себя плохо чувствуете, господин капрал? — сжал его руку Томас.

— Немного перебрал, — пробормотал Литума. — Сейчас пройдет.

В поселке уже остановили движок, до рассвета оставалось несколько часов. Но у них были ручные фонари, и они шагали уверенно, раздвигая темноту желтыми лучами. Их было так много, что они едва умещались в узком проходе, однако они не толкались, не натыкались друг на друга, двигались спокойно, не торопясь. Они не казались ни испуганными, ни озлобленными, в них не чувствовалось ни растерянности, ни нерешительности, и самое странное, подумал Литума, нельзя было уловить ни малейшего запаха алкоголя в холодном воздухе, который они принесли с собой снаружи. Во всем их поведении ощущалась осознанная решимость людей, которые знают, что делают и что им предстоит сделать дальше.

— Надо, чтобы вас вырвало. Хотите, я вам помогу? — спросил Томас.

— Нет, — ответил Литума. — А вот если меня потянет плясать, как этих остолопов, держи меня покрепче и не отпускай.

Кто-то потряс за плечо Альбиноса, сделал он это без всякой враждебности, даже деликатно:

— Эй, Уаркая, эй. Давай-ка вставай.

— Так ведь еще темно, — тихо откликнулся тот, а потом, растерявшись, вообще сморозил глупость, по мнению Литумы: —Сегодня же воскресенье, а по воскресеньям мы не работаем.

Никто не засмеялся. Они стояли молча, не проявляя нетерпения, и капрал со страхом подумал, что они могут услышать, как колотится его сердце.

— Эй, Уаркая, — скомандовал — кто? — дикобраз? рябой? горбун? — Не будь бабой, вставай!

Несколько рук протянулись из темноты к топчану, помогли Альбиносу подняться. Он едва стоял на ногах и, если бы его не поддерживали, упал бы на пол, как тряпичная кукла.

— Ноги не держат, — пожаловался он и тут же беззлобно, как бы по обязанности, выругался: — Говнюки вы поганые!

— Тебя просто мутит, Уаркая, — искренне посочувствовал кто-то.

— Не могу идти, черт подери, — все еще отнекивался Альбинос. Его грустный голос совсем не походил на тот, каким он кричал в погребке. Он, наверно, говорит как человек, который знает свою судьбу и смирился с ней, подумал Литума.

— Тебя просто мутит, — ободряюще повторил кто-то. — Не беспокойся, Уаркая, мы тебе поможем.

— Я тоже набрался, господин капрал, — подхватил Томас, все еще сжимая его руку. — Только по мне незаметно, у меня хмель играет внутри. Да и мудрено было не набраться, ведь мы выпили по пять рюмок писко.

— Ты убедился, что я был прав? — Литума поискал глазами своего помощника и обнаружил, что тот сидит страшно далеко от него, хотя при этом сжимает его руку. — Эти паршивые горцы знали об Альбиносе все, а нас просто водили за нос. Могу поспорить, они знают и где он сейчас.

— Этой ночью я столько выпил, что не смогу даже думать о тебе , — сказал Томасито. — Нет, я ничего не праздную, это господин капрал, он тут попал в уайко, но уцелел. Ты только представь себе, Мерседес, дорогая, что было бы со мной, если бы я остался на посту один и мне некому было бы рассказывать о тебе. Уже из-за одного этого сегодня стоило напиться, любимая.

Его взяли под руки и вели к дверям барака, почти несли на весу, но никто не подталкивал, не торопил его, хотя их было так много, что под напором тел скрипели и трещали деревянные топчаны по обеим сторонам прохода. Прыгающие лучи фонарей на мгновенье выхватывали из темноты лица, наполовину скрытые шарфами, низко натянутыми шерстяными шапочками, железными касками. Литума узнавал их и тут же забывал.

— Этот козел Дионисио дал мне какой-то яд вместо анисовой. — Альбинос хотел разъяриться, но получилось жалобно. — Или эта ведьма донья Адриана подлила мне в рюмку отравы. Меня всего ломает.

Все хранили молчание. Никто не произносил ни слова, но это грозное молчание говорило Литуме о многом. Капрал тяжело дышал, ловя полуоткрытым ртом воздух. Так вот как это было. Все это кривляние, вызывающее поведение, приступы бешенства Альбиноса — все это на самом деле было из-за мерзкого пойла, которое ему наливали в кабаке. Вот почему он нес несусветную чушь и был так взвинчен. И вот почему никто не обращал на него внимания, когда он всех задирал. Ну конечно, конечно, как они могли на него обижаться, если сами привели его в такое состояние. Для них он уже был наполовину мертв, этот Касимиро Уаркая.

— Снаружи, должно быть, собачий холод, — поежился Томас.

— Да нет, терпимо, — отозвался кто-то. — Я только что выходил отлить, так там вроде ничего.

— Это тебя выпивка согревает, приятель.

— И хорошо, что тебя мутит, Уаркая, не почувствуешь ни холода, ничего.

Они его несли, вели, поддерживали, передавали с рук на руки, и Литума быстро потерял его из виду: его поглотила смутно различимая в темноте толпа людей, дожидавшихся у барака. Они переходили с места на место, переговаривались, но как только увидели Альбиноса, замолкли и замерли, так же, подумал Литума, как вдруг замирает толпа у церкви, когда распахиваются двери и выносят Христа, Богородицу, святого покровителя и начинается крестный ход. В холодной ночи, торжественно мерцающей россыпями звезд, в окружении густо темнеющих гор, среди почти невидимых бараков наступила такая глубокая, такая благоговейная тишина, какая, вспомнил Литума детство, наступала раз в году, когда начиналась пасхальная служба. Как же далеко теперь эти мессы и как далеко от него побагровевшее лицо Томасито. Он прислушался и уловил голос Уаркаи, которого все дальше относила от него толпа:

— Я вам не враг и не хочу быть ничьим врагом. Это все яд! Дионисио меня отравил! Дал мне пойло, которое приготовила его жена. Из-за них я нес всю эту белиберду.

— Мы знаем, Уаркая. — Его успокаивали, хлопали по спине. — Не порть себе напрасно кровь, приятель. Мы тебе не враги.

— Мы все тебе благодарны, брат, — сказал кто-то так мягко, что почудилось — женщина.

«Да, да, благодарны», — подхватили другие голоса, и Литума представил, как закивали десятки голов, подтверждая свою благодарность и любовь к Альбиносу. Никто не командовал, но каждый знал, что надо делать, и толпа сразу, как один человек, тронулась в путь; не разговаривая, не перешептываясь, слаженно, слитно, охваченные единым чувством, единым трепетом, они шли по дороге, ведущей в горы. «К заброшенной шахте, к Санта-Рите, — догадался Литума. — Вот куда они направляются». Он слышал, как множество ног шаркает по камням, шлепает по воде, слышал шуршание их одежды и вдруг спохватился, что уже давно не слышит жалоб Альбиноса.

— Что, Касимиро Уаркая уже умер?

— Лучше не разговаривай.

Но другой сосед, слева, едва слышно пояснил:

— Чтобы его приняли хорошо, он должен достичь дна шахты живым.

Они сбросят его в шахту живым, в полном сознании, догадался он. Погруженные в свои мысли, в глубоком молчании они отведут его наверх, крепко держа под руки, подхватывая, когда он споткнется, утешая и подбадривая его, объясняя, что не испытывают к нему никакой ненависти, а, наоборот, ценят и благодарят его за то, что он для них делает; и когда дойдут до зияющего устья и осветят его фонарями, тогда под заунывный свист ветра они попрощаются с Уаркаей, и спихнут его вниз, и услышат удаляющийся вопль и глухой удар в глубине, и поймут, что он разбился о камни на дне шахты, достигнув предназначенного ему места.

— Он уже ничего не чувствует, ничего не соображает, — сказал кто-то, словно озвучив его мысли. — Капрал Литума в нокауте.

Тимотео Фахардо вовсе не был моим первым мужем, мой единственный законный муж — Дионисио. С Тимотео мы просто сошлись. Моя семья на дух не принимала его, да и все в Кенке терпеть его не могли. Хоть он и освободил их от пиштако Сальседо, никто не захотел помочь ему уговорить моего отца, чтобы тот разрешил нам жениться. Напротив, все только подзуживали отца, еще больше натравливали его на Тимотео: «Ты же не позволишь, чтобы твою дочь взял этот черный носатый урод? Знаешь ведь, как говорят: такие — все конокрады». Поэтому нам ничего не оставалось, как сбежать. Мы решили идти в Наккос. Стоя на краю ущелья, откуда видна вся деревня, мы прокляли этих зловредных людей. Больше я никогда не возвращалась в Кенку. И никогда не вернусь туда.

Я не соглашаюсь и не возражаю, я молча смотрю на эти горы и думаю о своем, сомкнув губы. Но не потому, что мне неприятны вопросы. А потому, что прошло много времени. И я уже не знаю точно, были мы счастливы или нет. Наверное, все-таки в первое время были, пока я думала, что ровная жизнь и скука — это и есть счастье. Тимотео нашел работу на шахте Санта-Рита, а я ему стряпала, стирала, и все нас считали мужем и женой. Тогда не как теперь: в Наккосе было много женщин. И когда, случалось, приходил со своими плясунами и помешанными Дионисио, все женщины в поселке тоже начинали сходить с ума. Мужья и отцы, бывало, охаживали их по спинам кнутами и палками, да только они все равно бегали за Дионисио.

Что было в нем такого, в этом толстом пьянчужке, что они позволяли себя охмурять? Слухи, пересуды, окружавшая его тайна, веселый нрав, пророческий дар, оплетенные бутыли ароматного писко из Ики, которые он привозил с собой, а может, его красноречие, в котором никто с ним не мог сравниться. Его знали по всей сьерре, без него не обходилась ни одна ярмарка, ни один храмовый праздник в деревнях вокруг Хунина, Аякучо, Уанкавелики и Апуримака. А точнее сказать — без них. Ведь Дионисио ходил тогда с целой свитой музыкантов и танцоров из Уанкайо и Хунина, которые никогда с ним не расставались. И кроме того, с ним всегда была орава этих помешанных — разнузданных бабенок, днем они готовили еду, а по ночам бесились и вытворяли всякие пакости. И пока эта пестрая шумная гурьба, колотя в барабаны, дуя в кены, бренча на чаранго, не входила, приплясывая и притопывая, в деревню, праздник не начинался. Их приглашали повсюду, вечно они куда-то шли, откуда-то возвращались, словом, несмотря на свою дурную славу, везде были желанными гостями. Из-за чего у них была дурная слава? Якобы они делали всякие гадости, были исчадьями ада. Поджигали церкви, обезглавливали статуи святых и Богородицы, крали новорожденных младенцев. Всё это злые языки. Многие завидовали Дионисио и клеветой мстили ему за популярность.

Когда я увидела его в первый раз, у меня по коже змейками побежал мороз. В то время он продавал здесь вино из больших глиняных кувшинов — тинах. Эти тинахи он привозил на мулах и выставлял на площади Наккоса, она была тогда на том месте, где теперь стоит контора компании. Он положил на козлы доски и рядом приделал вывеску: «Это трактир». И зазывал шахтеров: «Не пейте пива, парни, не пейте канью[1]. Учитесь пить по-настоящему!», «Наслаждайтесь чистым виноградным писко из Ики, с ним вы забудете о заботах и огорчениях, с ним к вам придет радость». Тогда как раз был праздник — День Отечества, тут и там играли музыканты, проходили танцевальные конкурсы, выступали фокусники. Но все эти развлечения не привлекали меня, ноги сами, против моей воли, несли меня к Дионисио, глаза высматривали его в толпе. Хотя тогда он был моложе, но выглядел почти как сейчас. Полноватый, пухловатый, черные-пречерные глаза, вьющиеся волосы и та же походка — чуть подпрыгивая и пришаркивая. Наливая и подавая вино, он пританцовывал, напевал и всех заражал весельем. «А теперь — мумису!» — и все плясали мумису, «Пасильо!» — и все послушно переходили на пасильо, «Танцуем уайнито!» — и все выбивали ногами уайнито, «Змейку!» — и все выстраивались за ним длинным хвостом. Он пел, выкрикивал здравицы, прыгал, скакал, играл на чаранго, на кене, бил в тарелки, колотил по барабану. Целыми часами как заводной, и вот уже весь Наккос превращался в сплошной водоворот. Все, пьяные и счастливые, уже не соображали, кто есть кто, где кончается один и начинается другой, кто человек, а кто животное, кто мужчина, а кто женщина. В тот день был как раз такой праздник, и он вдруг потащил меня танцевать, крепко прижал меня к себе, тискал и мял руками, уперся в живот своим тугим членом и чуть не задушил языком, который извивался у меня во рту, как уж на сковороде. А ночью Тимотео Фахардо избил меня до крови, пинал меня ногами и кричал: «Если бы он тебя позвал, ты пошла бы с ним, ты ведь блядь!»

---

[1] Канья — тростниковая водка (*исп.*).

Он меня не позвал, но если бы позвал, я, наверное, пошла бы с ним, стала еще одной женщиной в его ораве, еще одной помешанной, ходила бы с ними по всем уголкам сьерры, по андийским дорогам, взбиралась на холодные пуны, готовила ему еду, стирала одежду, выполняла бы все его капризы, а по субботам, на ярмарках, веселила бы народ, отпускала соленые шуточки, чтобы понравиться ему еще больше. Рассказывали, что, когда они спускались к побережью запастись провизией и писко, его помешанные лунными ночами танцевали нагишом на пустынных пляжах, у самой кромки воды, а Дионисио вызывал дьявола, одетого в женскую одежду.

Чего только о нем не болтали, какие только были и небылицы — со страхом и восхищением — не рассказывали, на самом деле о его жизни никто ничего точно не знал, все это были только сплетни. Говорили, например, будто его мать сожгла молния во время грозы. Будто его воспитали женщины одной индейской языческой общины в горах Уанта, что в провинции Ика, будто он сошел с ума, когда жил в миссии монахов-доминиканцев, но дьявол, с которым он подписал соглашение, вернул ему разум. Будто приходилось ему жить и в сельве среди индейцев-каннибалов племени чунчо. Будто, бродя по пустынным местам побережья, он открыл для себя писко и с тех пор торгует им по всей сьерре. Будто у него повсюду есть женщины и дети, и он уже один раз умер и снова воскрес, и что он пиштако, муки, колдун, целитель, астролог, волшебник. Не было такой тайны или ужасной вещи, которую не связывали бы с ним. А ему нравилась его дурная слава.

Конечно, он был не просто бродячим торговцем писко, это понимали все; не только руководителем фольклорной группы музыкантов и танцоров, и не только главным актером этой бродячей труппы, и, конечно, не только хозяином кочевой забегаловки. Это было ясно. Но кем же еще? Демоном, ангелом? Богом? Тимотео Фахардо прочитал в моих глазах, что я чувствую к Дионисио, и в ярости набросился на меня. Мужчины ревновали к нему, но все признавали: «Без него праздник не в праздник». И едва он появлялся и раскладывал свой товар, они сбегались к нему, покупали писко, угощали его самого, чтобы только чокнуться с ним. «Вижу, вижу, я вас воспитал, — говорил Дионисио. — Раньше вы травились чичей, пивом, каньей, а теперь пьете напиток, достойный дарохранительниц и серафимов».

Кое-что мне рассказала о нем знакомая женщина из Аякучо. Раньше она была одной из его помешанных, но потом ушла от них. Сюда она приехала уже как жена бригадира на шахте Санта-Рита, это было примерно в то время, когда пиштако выпотрошил Хуана Апасу. Мы с ней подружились, вместе ходили на ручей стирать белье и одежду, и как-то раз я ее спросила, откуда у нее столько шрамов. Тогда-то она мне и рассказала. Долгое время она скиталась по Андам с труппой Дионисио, они спали под открытым небом, где их заставала ночь, ложились прямо друг на друга, чтобы спастись от холода, ходили по ярмаркам, базарам, праздникам и жили за счет щедрости зрителей, которых они веселили. А когда они веселились сами, вдали от чужих глаз, то прямо-таки сходили с ума, встречались со своим зверем, как говорил Дионисио, бесились. Эти сумасшедшие женщины то и дело переходили от любви к драке: то они ласкались — то царапались, то обнимались — то толкались, то целовались — то кусались, и все это не прерывая танца. «А не больно бывало, подружка?» — «Больно бывало потом. А когда музыка гремит, все танцуют, голова идет кругом от веселья — тогда все нипочем. Улетают куда-то заботы, радостно бьется сердце, кажется, что взлетаешь ввысь, чувствуешь себя певчей птицей, дюной, горной вершиной, кондором или прохладной рекой. Танцуя, мы как бы сливались в одно целое, мы любили друг друга и уносились к звездам». — «Если тебе так нравилось, почему ты от них ушла?» — «Потому что у меня начали опухать ноги и я уже не могла повсюду ходить с ними. Нас было много, и мы не всегда умещались в попутный грузовичок, который нас подвозил. Приходилось добираться до места на своих двоих. И так то туда, то сюда. В те времена люди ходили еще без опаски, в горах не было терруков». В общем, эта женщина должна была уйти от них; в конце концов она утешилась тем, что вышла замуж за бригадира из Наккоса

и стала жить здесь. Но она не переставала тосковать о прежней вольной жизни, скучала по бесконечным дорогам, разгульным ночам. Она пела грустные уайнито, вздыхала и шептала: «Ах, как я была счастлива». Воспоминания бередили ей душу.

Ну так вот. Я прямо умирала от любопытства и тревоги после того танца с Дионисио, и, когда он снова пришел в Наккос и спросил, не хочу ли я стать его женой, я тут же согласилась. Шахту тогда уже забросили: кончился металл, а народ дрожал от страха после того, как пиштако Жеребец выпотрошил приятеля Тимотео — Себастьяна. Нет, Дионисио не предлагал мне венчаться у ракитового куста, не зазывал в свою свиту помешанных. Он полюбил меня, когда узнал, как я помогла Тимотео расправиться с пиштако Сальседо в пещерах Кенки. «Тебе на роду написано быть со мной», — уверял он меня. Уже потом звезды и карты подтвердили мне, что он был прав.

Мы поженились в Мукияуйо, там ему устроили большой праздник за то, что он вылечил их юношей от эпидемии дубинита. Ну да, от стоянита. Болезнь напала на них в одно дождливое лето. Над этим, конечно, можно посмеяться, только тем, кто заболел, было не до смеха, они не знали, что им делать. Они открывали глаза с первыми петухами, а он у них уже стоял — набухший, красный, как перец ахи. Они и холодной водой его обливали, и чего только не делали, а он все равно вскакивал, как на пружинке. Трудно было доить коров, работать в поле, он ведь не опадал, а торчал, как таран, или болтался между ног, как язык большого колокола. Привезли священника из монастыря Сан-Антонио в Окопа. Тот отслужил молебен, окурил ладаном. Никакого толку. Они у них все росли да росли, уже стали разрывать ширинки, высовываться наружу. Тут как раз приехал Дионисио. Они рассказали ему о своих бедах, и он тогда организовал веселое шествие с музыкантами, танцорами, похожее на крестный ход, только вместо святого несли большой глиняный член, изготовленный лучшим горшечником Мукияуйо. Оркестр играл военный марш, а девушки украшали скульптуру гирляндами цветов. Так они подошли к реке и, как им наказал Дионисио, погрузили член в воду, а вслед за ним стали окунаться и больные юноши. А когда они вышли на берег, все у них было в порядке: члены съежились до нормальных размеров и висели спокойно, как им положено.

Священник в Мукияуйо сначала не хотел нас венчать: «Он не католик, он язычник, да к тому же дикарь» — и отмахивался от Дионисио, как от нечистой силы. Но потом они пропустили по нескольку рюмочек, священник смягчился и обвенчал нас. Свадьбу играли три дня, танцевали и ели, танцевали и пили, танцевали и танцевали до упаду, забывая обо всем на свете. А ночью второго дня Дионисио взял меня за руку и повел на вершину холма. Там он показал мне на небо и сказал: «Видишь это созвездие? Оно похоже на корону». И я ясно увидела корону среди других звезд. «Да, да, вижу!» — «Это мой свадебный подарок».

Но взять меня он тогда еще не мог. Прежде ему надо было исполнить одно обещание, в местечке, которое называется Янакото, где прошло его детство, это довольно далеко от Мукияуйо, на другом берегу Мантаро, в горах Хауха. Когда он потерял там свою мать — ее сожгла молния, — он не смирился с ее смертью, не признал ее. Он решил во что бы то ни стало найти свою мать и начал искать ее повсюду, уверенный, что где-нибудь встретит. Жил как бродяга, исколесил вдоль и поперек всю сьерру. Как-то раз в Ике он попробовал тамошнее писко и с тех пор начал продавать его и приучать к нему народ в сьерре. И вот однажды ему приснилась его мать: она назначила ему встречу в полночь, во время карнавала, на кладбище Янакото. Обрадовался он и поспешил туда, но кладбищенский сторож — его звали Яранга, он был полупарализованный и с носом, изъеденным утой [1], — сказал, что не пустит Дионисио на кладбище, если тот не спустит перед ним штаны. Долго они спорили и договорились так: Яранга пропускает Дионисио на кладбище, но с условием, что тот не притронется к своей жене после свадьбы, пока не вернется к Яран-

[1] Ута — кожное заболевание, разновидность лейшманиоза (*кечуа*).

ге и не позволит сделать с собой все, что тот захочет. Дионисио вошел на кладбище, встретился со своей матерью, простился с ней, и вот теперь, пятнадцать лет спустя, он должен был выполнить свое обещание.

Мы добирались до Янакото два дня, сначала на грузовике, потом на муле. Пуна уже была покрыта снегом, люди ходили с белыми от холода губами и задубевшими щеками. Кладбище теперь не было огорожено стеной, как его помнил Дионисио, и мы не нашли на нем старого сторожа. Нам рассказали, что Яранга окончательно свихнулся и давно умер.

Дионисио настоял, чтобы ему показали могилу. А ночью, когда в доме, где нас приютили, все уснули, он взял меня за руку и привел на могилу Яранги. Накануне днем он был чем-то озабочен, я видела, как он выстругивал что-то своим ножом из толстой ветки ивы. Оказалось, он выстругал мужской член, вот что. Он смазал его свечным салом, воткнул в могилу Яранги, спустил брюки, сел на него — и взвыл. А потом, не обращая внимания, что все вокруг было занесено снегом, сдернул с меня штаны и опрокинул на землю. Он брал меня и спереди и сзади, много раз. И хотя я не была девственницей, я кричала, думаю, еще сильней, чем он. Такая вот была у нас брачная ночь.

На следующее утро он стал учить меня своей мудрости. У меня обнаружились хорошие способности, я научилась распознавать разные ветры, слышать шум внутри земли, могла говорить с сердцем человека, дотронувшись до его лица. Я думала, что умею танцевать, но он научил меня входить в музыку и впускать музыку в себя — так, что я танцевала под музыку, а она под меня. Я думала, что умею петь, но он научил меня отдаваться песне, следовать ее воле, быть ее служанкой. Малопомалу я научилась читать линии руки, гадать по тому, как упадут на землю брошенные листья коки, находить больное место человека, проводя по его телу живой морской свинкой. Я разъезжала повсюду вместе с ним, время от времени мы спускались на побережье, чтобы обновить запасы писко, выступали на праздниках. Но дороги становились все более опасными, начались убийства, люди закрывались в своих деревнях и волком смотрели на приезжих. Понемногу разбрелись его помешанные, бросили нас и музыканты, разошлись кто куда танцоры. И в один прекрасный день Дионисио сказал: «Настало время и нам пустить корни». Наверное, мы уже постарели. Не знаю, что сталось с Тимотео Фахардо, никогда мне не довелось узнать этого. Что об этом говорили, конечно, мне известно. Пересуды долгие годы следовали за мной как тень. «Это правда, что ты подсыпала ему яд в картофельные оладьи, что ты убила его, чтобы сбежать с этим толстым пьяницей? Его убил этот пьяница, сговорившись с муки? Ты его подарила пиштако? Вы отвели Тимотео на гору, на ваш шабаш, и там помешанные растерзали его? А потом вы его съели, ведь так, ведьма»? Меня уже тогда начали называть ведьмой и доньей.

— Я заставил тебя поволноваться, Карреньо? Не отвечал на твои звонки, не назначал встречу, о которой ты меня просил, — бросил вместо приветствия майор. — Это чтобы ты понял, что ты щенок. И еще я хотел спокойно обдумать, как лучше тебя наказать, сукин ты сын.

— Ага, наконец-то появился знаменитый крестный отец! — воскликнул Литума. — Я давно дожидаюсь его. Он-то меня и интересует больше всего в твоей истории. Рассказывай, рассказывай, Томасито, может, так я скорее забуду о том уайко.

— Да, крестный. — Карреньо потупился. — Конечно, крестный.

Чтобы не встречаться с ним взглядом, толстяк Искариоте уставился в рисовую запеканку с жареным картофелем и яйцами и принялся яростно жевать, запивая ее пивом. Майор был в штатском, с шелковым платком на шее, в черных очках. Его лысый череп смутно поблескивал в полумраке зала, скудно освещенного несколькими люминесцентными лампами. Говоря, он не вынимал изо рта тлевшую сигарету, правая рука покачивала стакан с виски.

— То, что ты убил Борова, я рассматриваю как неуважение ко мне: ведь я послал тебя в Тинго-Марию охранять его. Но больше меня занимает даже не то, что

ты сделал, а причина. Ну-ка расскажи мне сам, из-за чего ты его убил, олух.

— Вы, наверно, и сами знаете из-за чего. Разве Искариоте вам не рассказал?

— Вы сидели в борделе? — с интересом спросил Литума. — С музыкой, с девочками? А твой крестный там вроде как паша?

— Это была дискотека, бар, дом свиданий — все вместе, — пояснил Томас. — Номеров там не было, и мужикам приходилось водить своих ночных бабочек в отель напротив. Крестный, по-моему, совладелец этого заведения. Но я, господин капрал, по правде сказать, ни во что там не вникал, мне было не до этого, у меня тогда душа ушла в пятки.

— Я хочу услышать обо всем от тебя самого, рассукин ты сын! — майор решительно рубанул воздух ладонью.

— Я убил Борова, потому что он избивал ее, ни за что ни про что, просто для своего удовольствия, — еле слышно сказал Томас и низко опустил голову. — Но вы же все знаете, Искариоте вам рассказал.

Майор не засмеялся. Он сидел все с тем же серьезным видом, рассматривая Томасито сквозь черные очки и постукивая о стол стаканом с виски в такт сальсе. Неожиданно он схватил за руку проходившую около стола женщину в пестрой блузке, притянул ее к себе и спросил в упор:

— Тебе понравится, если твои кобели будут тебя бить, да или нет?

— Все, что сделаешь со мной ты, мне понравится, — засмеялась женщина и ущипнула его за усы. — Хочешь, потанцуем?

Майор повернул ее лицом к тацевальной площадке и легонько шлепнул. Потом придвинул голову к замершему Карреньо:

— Женщинам нравится, когда их немного наказывают в постели, сосунок. Ты этого еще не уразумел? — Его лицо выразило отвращение. — Но что больше всего задевает меня в этой истории, так это то, что я положился на такого болвана. Тебя следовало бы убить, и не за Борова, а за твою собственную дурость. Ты хоть раскаиваешься?

— Я очень виноват, что подвел вас, человека, которому мы с мамой стольким обязаны, — пробормотал Карреньо. Но, помолчав немного и собравшись с духом, твердо добавил: — А в том, что я сделал с Боровом, крестный, извините меня, я не раскаиваюсь. Если бы он воскрес, я бы убил его снова.

— Вот как? — удивился майор. — Ты слышишь, что он тут мелет, Искариоте? Тебе не кажется, что он и последнего ума решился? Подумать только, так возненавидеть беднягу Борова, и из-за чего? Только из-за того, что он отвесил пару шлепков своей девке.

— Она не была его девкой, просто знакомая, крестный. — Голос Карреньо звучал теперь просительно. — Не говорите, пожалуйста, о ней так, я вас очень прошу, потому что она моя жена. Вернее, скоро будет женой. Мы с Мерседес женимся.

Майор какое-то время молча смотрел на него, потом расхохотался.

— И тогда у меня душа вернулась на место, господин капрал. По его смеху я понял, что хотя он и поносил меня последними словами, но в душе уже был готов простить.

— Он ведь тебе не просто крестный отец, Томасито? — спросил Литума. — Сдается мне, он твой настоящий отец.

— Я сам себе много раз задавал этот вопрос, господин капрал. Меня с детства мучило подозрение. Но все-таки, кажется, нет. Моя мать проработала служанкой в его доме больше двадцати лет, сначала в Сикуани, потом в Куско. Она одевала, умывала и кормила с ложечки мать крестного, та была инвалидом. А с другой стороны, кто его знает, может, он и впрямь мой отец. Моя старушка никогда не говорила, от кого забеременела.

— Ясно, от него, — сказал Литума. — Ведь он не должен был тебя прощать за то, что ты сделал. Ты мог крепко подвести его, впутать в историю с нарко. А если он тебя после этого простил, значит, он твой отец. Такие вещи можно прощать только детям.

— Согласен, я поступил не очень хорошо по отношению к нему, но я также оказал ему и услугу, — сказал Томас. — Благодаря мне он улучшил свой послужной список, ему даже какую-то медаль повесили на грудь. Он стал известным, все считают, что это он разделался с наркодельцом.

— Судя по тому, как ты влюбился, у этой Мерседес задница должна быть величиной с дом, — все еще смеясь, сказал майор. — Ты ее уже попробовал, Искариоте?

— Нет, не пришлось. Да она уж и не такая особенная, как можно подумать, если послушать Карреньито. Он фантазер и приукрашивает ее. Смугляночка с хорошенькими ножками, вот и все.

— Ты ведь куда лучше разбираешься в еде, чем в женщинах, Толстяк, — тут же отреагировал Карреньо. — Так что ешь свою запеканку и молчи. Не обращайте внимания на его слова, крестный. Мерседес — самая красивая девушка в Перу. Вы-то меня поймете, ведь вам приходилось влюбляться.

— Я никогда не влюбляюсь, просто пользуюсь ими, и поэтому у меня все в порядке, — жестко отрезал майор. — Убить из-за любви, в наше-то время? Да тебя надо в цирке показывать, в клетке, черт возьми. Ну а мне ты позволишь попробовать этот зад, чтобы узнать, стоил ли он того, что ты натворил?

— Мою жену я не одолжу никому, крестный. Даже вам, при всем моем уважении.

— Не думай, что если я тут пошутил немного, значит, я тебя простил, — сказал майор. — Эта твоя выходка может обойтись мне в пару яиц, моих собственных, которыми меня наградил Бог.

— Но ведь вам дали медаль за смерть этого нарко, — еле слышно возразил Карреньо. — Ведь вы стали национальным героем борьбы с наркобизнесом. Разве я причинил вам вред? Признайтесь, крестный, что я принес вам пользу.

— Это я сумел извлечь выгоду из тяжелой ситуации, болван, — усмехнулся майор. — Но как там ни рассуждай, ты меня засветил, у меня еще могут быть крупные неприятности. Если люди Борова захотят отомстить за его смерть, кому достанется — тебе или мне? Кому тогда придется отдуваться? А я даже не знаю, уколет ли тебя совесть, когда меня понесут на кладбище.

— Я бы никогда себе этого не простил, крестный. Если с вами что-нибудь случится, я из-под земли достану того, кто вас тронул, не успокоюсь, пока не рассчитаюсь с ним.

— Ишь как поет, прямо заслушаешься. Ты меня просто до слез довел своей преданностью. — Майор глотнул виски, почмокал, смакуя. И без перехода, не допускающим возражения голосом приказал: — Чтобы мне легче было решить, что с тобой делать, давай-ка приводи сюда эту Мерседес. Прямо сейчас. Хочу собственными глазами увидеть задницу, из-за которой весь сыр-бор разгорелся.

— Эх, черт побери! — вскричал Литума. — Так и вижу перед собой этого извращенца!

— У меня ноги подкосились от страха, — признался Томасито. — Что я мог сделать, что я сделал бы, если бы крестный позволил себе что-нибудь с Мерседес?

— Как что? Выхватил бы пистолет и хлопнул его, как Борова.

— Что мне было делать? — повторил Карреньо, беспокойно заерзав на раскладушке. — Мы же полностью зависели от него. Надо было восстановить избирательскую карточку Мерседес, уладить как-то мои дела. Ведь формально, заметьте, я дезертировал. В общем, положение было хуже не придумаешь.

— Ты думаешь, я его боюсь? — засмеялась Мерседес.

— Нужно принести эту жертву, и тогда мы сможем выбраться отсюда, любовь моя. Надо будет потерпеть каких-нибудь полчаса. Он уже успокаивается, уже начал отпускать шутки. Просто его вдруг разобрало любопытство, и он захотел познакомиться с тобой. Я не позволю ему неуважительно обращаться с тобой, вот увидишь.

— Да я сама могу постоять за себя, Карреньито. — Мерседес поправила при-

ческу, одернула юбку. — Мне не отказывали в уважении ни полковники, ни генералы. Ну как, майор, я выдержала экзамен?

— На отлично, — охрипшим голосом ответил майор. — Садись же, садись сюда. Я вижу, ты сметливая. Тем лучше. Люблю смелых девочек.

— Значит, будем на ты? — спросила Мерседес. — Я думала, мне тоже нужно будет называть вас крестным. Ну что ж, на ты так на ты, родственничек.

— У тебя хорошенькая мордашка, хорошее тело, красивые ножки, признаю, — сказал майор. — Однако этого недостаточно, чтобы превратить человека в убийцу. В тебе должно быть что-то еще, из-за чего мой крестник сразу поднял лапки кверху. Можно узнать, что ты с ним сделала?

— Самое интересное, что я ничего с ним не делала. Я сама была напугана до смерти, не могла понять, что на него нашло, он был как бешеный. Он тебе не рассказывал? Сначала он убил того типа, а потом сказал, что сделал это ради меня, что влюбился в меня. Я не могла поверить, да и сейчас не очень-то верю. Все было так, Карреньито?

— Да, крестный, все было так. Мерседес ни в чем не виновата. Я впутал ее в эту историю. Вы нам поможете? Сделаете ей новое избирательское удостоверение? Мы хотим уехать в Соединенные Штаты и там начать все сначала.

— Нет, ты, должно быть, сделала что-то совсем особенное с этим парнем, смотри, как он влюблен в тебя. — Майор наклонился к Мерседес и взял ее за подбородок. — Чем ты его одурманила, малышка?

— Прошу вас, обращайтесь с ней со всем уважением, — поспешил вмешаться Карреньо. — Ради всего святого, крестный. Даже вам я не могу позволить ничего такого.

— А крестный знал, что Мерседес была твоей первой женщиной? — спросил Литума.

— Ни он и никто другой. Я ни за что бы ему не сказал. Об этом знаем только мы с Мерседес да вы, господин капрал.

— Спасибо за доверие, Томасито.

— Но это было еще ничего. Хуже — когда крестный повел ее танцевать. Я смотрел на них и чувствовал, что внутри все закипает и я вот-вот сорвусь.

— Спокойно, спокойно, не будь идиотом, Карреньито. — Искариоте похлопал его по плечу. — Что тут такого, что они потанцуют и он ее немного потискает? Ведь он тебя так наказывает — ревностью. А в глубине души он уже тебя простил и готов решить все ваши проблемы. Все идет так, как я предсказывал в Уануко. Вот об этом ты и думай.

— Но я думал только о том, что он прижал ее к себе, что его руки блуждают по ее телу. — Голос Томасито задрожал. — Я уже готов был махнуть на все рукой и прервать это похабство.

Но в этот момент майор вернулся с Мерседес к столу. Его разбирал смех:

— Ну, крестник, этой женщине палец в рот не клади. Поздравляю, — он ласково потрепал Томаса по голове. — Я сделал ей чертовски заманчивое предложение, чтобы наставить тебе рога, так она, представь себе, отказалась.

— Я знала, что ты устроишь мне еще один экзамен, поэтому ты и получил от ворот поворот, — сказала Мерседес. — А кроме того, если бы я захотела с кем-нибудь изменить Карреньо, тебя я бы выбрала в последнюю очередь.

— С такой женщиной, как ты, лучше дружить, чем враждовать, — сказал майор. — Что ж, крестник, Мерседес — баба что надо.

— И он нам помог, — вздохнул Томас. — Уже на следующий день Мерседес получила новое избирательское удостоверение. И в тот же вечер укатила.

— Ты хочешь сказать, Томасито, как только она получила документы, она тебя тут же бросила?

— И увезла с собой четыре тысячи долларов, которые я ей подарил, — выдавил из себя помощник Литумы. — Но это были ее деньги, я сам отдал ей их. Мне она оставила письмо, написала то же, что много раз говорила. Что у нее не такие

чувства, как у меня, что у меня со временем все пройдет, короче, обычная песня.

— Так, значит, вот как оно все было, — сказал Литума. — Эх, Томасито.

— Да, господин капрал, — сказал его помощник. — Так оно все и было.

IX

— Его зовут Пол, и у него такая редкая фамилия — Стирмссон, — сказал Литума. — Но все знают его по прозвищу Скарлатина. Он один из тех, кто чудом спасся, когда терруки захватили Эсперансу. Вы не помните этого гринго?

— Такой любопытный, хотел знать все обо всем, — откликнулась донья Адриана. — Лицо ее оставалось равнодушным. — Ходил всегда с тетрадью, вечно что-то в нее записывал. Уже давно не встречала его в этих краях. Так, выходит, он был среди тех, кто спрятался в водонапорной башне?

— Привяжется, бывало, как банный лист, — сплюнул Дионисио. — Он изучал нас, как каких-нибудь животных или растения. Ходил за мной хвостом по всем Андам. Сами по себе мы его не интересовали, просто он хотел описать нас в своей книге. Так он все еще жив, этот прилипала-гринго, Скарлатина?

— Он тоже удивился, когда узнал, что вы живы, — заметил Литума. — Он был уверен, что терруки вас казнили как антиобщественный элемент.

Они разговаривали у дверей погребка под раскаленным добела полуденным солнцем, плавившим оцинкованные крыши уцелевших бараков. Пеоны, орудуя досками, бревнами, ломами, канатами и кирками, растаскивали принесенные уайко камни, они расчищали дорогу, по которой должны были вывезти из поселка сохранившуюся технику. Несмотря на суету вокруг будки, где разместилась контора после того, как прежнее здание снесла лавина, было видно, что Наккос заметно опустел. В нем осталось уже меньше трети работавших недавно пеонов. И они все продолжали уходить, чаще всего по тропе, что поднималась к дороге, ведущей в Уануко. Вот и сейчас Литума рассмотрел на ней трех человек. Они несли на плечах тюки, но шагали быстро, в ногу, будто не чувствуя веса.

— На этот раз они смирились с тем, что нет другого выхода, кроме как уйти отсюда. — Литума кивнул на удаляющиеся фигуры. — Без забастовок, без протестов.

— Поняли, что все бесполезно, — сказал Дионисио без всякого выражения. — Уайко оказался на руку компании. Они давно уже хотели остановить работы. Теперь у них есть хороший предлог.

— Это не предлог, — возразил капрал. — Вы же видите, в каком все состоянии. И как вести дорогу по горе, которая обрушилась и чуть ли не погребла под собой Наккос. Уайко был страшной силы, удивительно еще, что никого не убило.

— Вот это как раз я и пытаюсь вдолбить в тупые индейские головы, — проворчала донья Адриана, презрительно махнув рукой в сторону работающих пеонов. — Мы все могли погибнуть, нас могло раздавить, как тараканов. А они, вместо того чтобы быть благодарными за спасение, опять за свое.

— А как же иначе? От уайко они спаслись, это так, но теперь знают, что работы нет и они будут умирать понемногу от голода. — Дионисио усмехнулся. — Или еще от чего похуже. Ну так и пусть немного подрыгаются, конец-то все равно один.

— Вы, похоже, считаете, что лавина нас не смела потому, что так пожелали апу этих гор? — спросил капрал, ища взгляд доньи Адрианы. — Тогда я тоже должен их благодарить? Ведь я тоже спасся.

Он ожидал, что жена Дионисио злобно буркнет что-нибудь в ответ, но она промолчала, даже не взглянула на него. Мрачно нахмурив брови, она отрешенно смотрела на окружающие поселок остроконечные горы.

— Я говорил об этом со Скарлатиной в Эсперансе, — продолжил капрал после паузы. — Он тоже верит, что горы имеют душу, донья Адриана. Верит, как и вы, в апу, в этих кровожадных духов. А если в это верит такой умный человек, как гринго Скарлатина, который знает все на свете, значит, так оно и есть. Спасибо, что сохранили мне жизнь, сеньоры хунинские апу!

— Нельзя говорить «сеньор апу», — предупредил Дионисио. — Потому что на

кечуа «апу» как раз и обозначает «сеньор». А повторение может показаться им обидным, сеньор капрал.

— Нельзя говорить «сеньор капрал», — в тон ему ответил Литума. — Или «сеньор», или «капрал», а вместе — это уже чересчур. Будто вы хотите меня подколоть. Впрочем, вы ведь всегда посмеиваетесь над людьми.

— Стараюсь не терять чувства юмора, — согласился Дионисио. — Хотя после того, что произошло́, трудно не прийти в отчаянье.

И он принялся насвистывать одну из своих песенок, под которые танцевал по ночам, когда все посетители заведения были пьяны в стельку.

У Литумы вдруг стиснуло сердце: показалось, мелодия приходит откуда-то из глубины веков, доносит дыхание других людей, другого мира, погребенного среди этих каменных глыб. Он прикрыл глаза — и перед ним возник неясный силуэт, пульсирующий в ослепительном солнечном свете..Силуэт постепенно превратился в нескладную фигуру Педрито Тиноко.

— До чего же не хочется карабкаться под этим солнцем на пост! — Он снял фуражку и вытер со лба пот. — Могу я посидеть немного с вами?

Ни трактирщик, ни его жена не ответили. Он примостился на краю скамьи, на которой сидела донья Адриана. Дионисио курил, прислонясь спиной к дверям. Команды и крики пеонов, расчищавших дорогу, слышались то громче, то тише, в зависимости от того, куда дул ветер.

— Этим утром наконец заработало радио компании, теперь я смогу послать сообщение в наше управление в Уанкайо, — снова заговорил капрал. — Хоть бы они ответили поскорее. Не знаю, что нам с помощником здесь теперь делать. Разве что дожидаться, пока нас убьют или мы исчезнем, как бедняга немой. А вы тоже уедете из Наккоса?

— Что нам остается делать? — пожал плечами Дионисио. — Даже индейцы-общинники не хотят больше жить в Наккосе. Молодежь почти вся ушла на побережье или в Уанкайо. Скоро здесь останутся только несколько стариков — дожидаться смерти.

— А после них останутся одни апу, — иронически подхватил Литума. — А также муки и пиштако. И будут они устраивать свои кровавые пиры между собой, по кругу. Верно, донья Адриана? Не смотрите на меня волком. Это просто шутка. Я говорю так, потому что мне не по себе, не могу забыть — вы знаете о чем. Мысли все время возвращаются к пропавшим, и это отравляет мне жизнь.

— Но почему вам так важны эти несчастные? — Дионисио выпустил клуб дыма. — Почему вас меньше беспокоит убийство в Эсперансе, например? Вас привлекает тайна, вот в чем дело, я вам один раз уже сказал это.

— То, что здесь случилось, для меня больше не тайна, — уверенно возразил Литума и посмотрел на донью Адриану, но она опять никак не отреагировала на его взгляд. — Спасибо Скарлатине, позавчера он растолковал мне, что к чему. По правде говоря, я даже жалею, что узнал обо всем. Ведь это такая глупая и такая отвратительная вещь, и больше всего виноваты во всем вы. В первую очередь вы, донья Адриана.

Но и на этот раз донья Адриана не обратила на его слова никакого внимания. Все так же напряженно, сдвинув брови, она всматривалась в горы и, похоже, ничего не слышала, будто мысль, которая ее занимала, была слишком важной, чтобы отвлекаться на мелочи, о которых распространялся Литума.

— Выкурите сигарету и выкиньте все это из головы. — Дионисио протягивал ему пачку сигарет с черным табаком. — Лучше думайте о том, что скоро вы уедете отсюда, может быть, даже вернетесь в ваши родные места и заживете более спокойной жизнью, чем в Наккосе.

Литума вытащил сигарету, сунул ее в рот. Хозяин погребка крутанул колесико старой зажигалки с длинным фитилем, огонь опалил Литуме нос и губы. Он глубоко затянулся, с силой выдохнул и следил, как медленно поднимается облачко дыма в прозрачном, позолоченном полуденным солнцем воздухе.

— Если останусь жив, — голос его звучал глухо, — всегда буду помнить этих троих, где бы я ни оказался. Особенно немого. Он ведь пропал той ночью, когда шел к вам за пивом. Вы меня понимаете?

— Конечно, он вас понимает, господин капрал, — засмеялся его помощник. — Бутылка охлажденного пива из Куско, одна нога здесь — другая там. Ты уверен, что понял, Педрито?

Педрито Тиноко закивал, несколько раз поклонился своими обычными быстрыми поклонами — Литуме он при этом всегда напоминал цыпленка, клюющего маисовые зерна, — взял деньги, поклонился в последний раз, шагнул за дверь и растворился в безлунной ночи.

— Не надо нам было посылать его в такое время, в такую темь, — сказал Литума, выпуская дым изо рта и ноздрей. — А когда увидели, что он задерживается, надо было самим спуститься вниз, выяснить, что случилось, почему он не возвращается. Но тут как раз начался дождь, и нам очень уж не хотелось выходить из дома в такую погоду. Мы с Томасито заговорились и понемногу успокоились.

Несмотря на дождь, немой спускался по склону так быстро, будто у него были лисьи глаза или он помнил тропинку наизусть — где шагнуть пошире, где прыгнуть. Тем не менее до погребка он добрался насквозь промокший. Он постучал в дверь костяшками пальцев, толкнул ее и вошел внутрь. В густой пелене табачного дыма с трудом можно было различить людей. В нос ударил едкий запах пота, алкоголя, сигарет, мочи, испражнений, спермы, блевотины — тошнотворная смесь, от которой у него тут же закружилась голова. Но не отвратительное зловоние, не гробовая тишина, наступившая при его появлении, испугали его, заставили сжаться в комок, ощутить угрозу, почувствовать опасность — он уловил страх, густой, вибрирующий страх, который светился в глазах пеонов, плавал в воздухе, сочился из дощатых стен, стекал со стойки, сквозил в застывших лицах и странных жестах смотревших на него людей. Все лица были обращены к нему, все взгляды скрестились на нем. Не помня себя, Педрито стал часто кланяться.

— Посмотрите-ка, кто пришел, вот кто нам нужен, — нарушила тишину стоявшая за стойкой донья Адриана. — Он послан нам, да, его нам послали, — она говорила хриплым замогильным голосом. — Это он. А что немой, так еще лучше.

— Ну, без спора тут, думаю, не обошлось, — сказал Литума. — Одни, наверное, соглашались: «Пусть будет он», другие возражали: «Нет, только не этот бедняга блаженный». Могу представить, как все это было. Конечно, ему сочувствовали те, кто был меньше пьян. А в это время мы с Томасито, вместо того чтобы искать немого, спали без задних ног. Или нет, скорее всего разговаривали об этой девице. Так что мы тоже соучастники. Не зачинщики, не подстрекатели, как вы, но соучастники. Пассивные соучастники, если выразиться точнее.

Все были очень пьяны, некоторые с трудом стояли на ногах, хватались за стены, цеплялись друг за друга, чтобы не рухнуть на пол, и все продолжали неотрывно смотреть на Тиноко остекленевшими от алкоголя глазами. А тот, оказавшись в центре всеобщего внимания и ясно ощущая какую-то непонятную опасность, все так же стоял у дверей, не решаясь подойти к стойке. Тогда к нему приблизился Дионисио, взял за руку, поцеловал в щеку. Немой немного расслабился и принял из его рук рюмку писко.

— За твое здоровье, немой! — Дионисио чокнулся с ним. — Найди-ка здесь себе пару, смотри, сколько народу.

— Он невинный, чистый, он нездешний, он уже отмечен тем, что случилось в Пампе-Галерас, — перечисляла — нет, читала речитативом, пела донья Адриана. — Рано или поздно его казнят терруки. А если уж ему суждено умереть, так пусть от его смерти будет какой-нибудь прок. Разве вы ничего не стоите? Разве вы не устаете до смерти, ломая спину на строительстве дороги? Не валитесь с ног, приходя в бараки? Неужели это ничего не стоит? Взвесьте все за и против и решайте.

Чем больше писко согревало грудь и щекотало желудок, тем явственнее ощущал Педрито Тиноко, что пол под его вырезанными из автомобильных шин и наде-

тых прямо на босые ноги охотами все больше начинает теплеть и кружиться. Как юла. Когда-то — он уже не помнил, когда и где, — он научился запускать юлу: обматывал шнуром, подбрасывал и резко дергал за конец шнура — юла закручивалась в воздухе, ее разноцветные полосы сливались в одно яркое пятно, и она становилась похожей на зависшего над цветком колибри, потом она взлетала выше, к солнцу, и падала на землю. Острый носик ударялся о каменный бортик оросительной канавы или прыгал по скамейке у ворот, словом, там, куда его направили точный глаз и рука Педрито, и, постепенно выравниваясь, долго еще покачивалась и гудела маленькая веселая юла. А донья Адриана все говорила, пеоны согласно кивали головами. Некоторые протискивались к немому, дотрагивались до него. Их страх испарился. Педрито тоже перестал бояться и уже не чувствовал того смущения, которое испытал, войдя в погребок. Он все еще сжимал в руке деньги, время от времени его вдруг охватывало беспокойство: «Надо возвращаться». Но как было уйти? Едва он делал глоток писко, Дионисио радостно хлопал в ладоши и целовал его в щеку.

— Иудины поцелуи, — заметил Литума. — А я в это время храпел себе или слушал байки Томасито. Вам повезло, Дионисио и донья Адриана. Если бы в тот момент я вошел сюда и увидел, чем вы занимаетесь, вам бы не сдобровать, можете мне поверить.

Он сказал это без злости и сожаления, уже примирившись с потерей. Донья Адриана все так же была занята своими мыслями и не обращала на Литуму внимания. Теперь она смотрела на пеонов, разбиравших завалы на дороге. Дионисио громко расхохотался. Он сидел на корточках. Шерстяной шарф, обмотанный вокруг шеи, придавал ему какой-то нелепый вид. Он явно развлекался, глядя на Литуму, моргая выпуклыми глазами, которые на этот раз были не такие красные, как обычно. Успокоившись, трактирщик сказал:

— Из вас вышел бы хороший сочинитель, капрал. В моей труппе были такие ребята. Когда мы ходили по деревням и по ярмаркам. Танцовщики, музыканты, жонглеры, фокусники, уроды всех мастей и рассказчики. Они всегда имели успех, старики и дети слушали их с открытыми ртами, а когда история подходила к концу, поднимали невероятный шум: «Еще! Еще, пожалуйста!», «Расскажите другую!» С вашей фантазией вы могли бы быть у меня звездой. Под стать донье Адриане, господин капрал.

— Да он не может больше пить, он уже дошел. В него больше не войдет ни капли, — удивленно протянул кто-то.

— Влей в него силой, а начнет блевать — пусть блюет, — крикнул другой. — Главное, чтобы он ничего не чувствовал, забыл, кто он и откуда.

— Кстати о немых: в провинциях Ла-Мар и Аякучо немым дают съесть язык попугая и этим вылечивают от немоты, — сказал Дионисио. — А вы этого наверняка не знали, господин капрал.

— Ты ведь нас простишь, простишь, правда? — Кто-то тихо говорил на кечуа хриплым срывающимся голосом, с трудом выговаривая слова. — Ты станешь нашим святым, мы будем благодарить тебя на праздниках как спасителя Наккоса.

— Дайте ему еще глотнуть, мать вашу, и не тяните кота за хвост. — Голос прозвучал четко и грубо. — Делать так делать!

На этот раз Дионисио играл не на кене, не на флейте, а на рондине. Тонкий металлический звук сверлил мозг немого. Множество рук поддерживало его, не давая упасть. Ноги у него стали тряпичными, плечи — соломенными, живот — как болото с лягушками, а голова — круговерть ярких звезд. Неожиданно вспыхивающие радуги расцвечивали звездную ночь. Если бы у него хватило сил протянуть руку, он мог бы коснуться звезды. Может быть, она такая же мягкая, теплая, нежная, как шея маленькой викуньи. Иногда его горло стискивали рвотные позывы, но желудок был пуст. Он знал, что если вглядится и вытрет затуманивающие взгляд слезы, то в безмерном небе, над заснеженными горами, увидит бегущее к луне стадо викуний.

— Да, время было другое и по многим причинам лучше, чем теперь, — задумчиво добавил Дионисио. — Прежде всего потому, что люди любили развлекаться. Они были такие же бедные, как сейчас, страдали от тех же невзгод. Но здесь, в Андах, люди еще имели то, что потом потеряли: охоту к веселью. Желание жить. А теперь они хоть и двигаются, и говорят, и напиваются, но все равно какие-то полумертвые. Вы не замечали этого, господин капрал?

Были только звезды, погребок исчез. Когда его вынесли оттуда на свежий воздух, холод стал покалывать щеки, кончик носа, руки, ноги, с которых по пути свалились охоты, но внутри, согревая кровь, еще теплился огонек. Больше не била в нос едкая вонь, чистый воздух был напоен ароматом эвкалиптов, запахом сухого маиса, свежестью журчащих ключей. Его несли на руках? Он восседал на троне? Он был святым покровителем праздника? Читал ли отходную священник, стоя у его ног? Или его помянула в своей молитве богомолка, уснувшая у дверей скотобойни в городке Абанкай? Нет. Это был голос доньи Адрианы. И, может, затерялся в толпе мальчик-служка с серебряным колокольчиком в одной руке и кадилом с благовониями в другой. Педрито Тиноко умел кадить, он научился этому в церкви Святой Росарио в те времена, когда его рука умела так ловко запускать юлу, он кадил, и клубы ладана поднимались к лицам святых.

— Даже провожая покойника, народ развлекался: ели, пили, рассказывали истории, — продолжал Дионисио. — Мы часто ходили на похороны, вся наша труппа. Тогда прощание с покойником длилось несколько суток, выпивали до дна две большие бутыли с вином. А теперь, если кто уходит из жизни, с ним прощаются только родственники, притом без всяких обрядов, будто он собака какая. В этом тоже полный упадок, вы согласны, господин капрал?

Процессия поднималась в гору, изредка, нарушая благоговейную тишину, раздавался чей-то вскрик, кто-то всхлипывал. Чего они боялись? О чем плакали? Куда шли? Его сердце вдруг заколотилось, слабость мгновенно улетучилась. Ну конечно! Его вели к его подружкам! Конечно же! Конечно! Викуньи уже ждут, они там, куда его поднимают. Его захлестнула волна радости. Если бы хватило сил, он закричал бы, запрыгал и, не зная, как благодарить за эту встречу, поклонился бы низко-низко, до земли. Его переполняло счастье. Сейчас они навострят уши, чувствуя его приближение, вытянут свои длинные шеи, жадно втянут воздух маленькими влажными носами, их огромные глаза, наверное, уже выискивают его, а когда они уловят его запах, все стадо придет в такое же радостное возбуждение, в котором пребывал он сам. Они бросятся друг к другу, он будет их обнимать, гладить, наконец-то они будут вместе и забудут обо всем на свете, радуясь встрече.

— Кончим с ним поскорее к чертовой матери, — произнес все тот же грубый голос, но уже без прежней уверенности, просительно. Было ясно, что в этом человеке проснулись сомнение и страх. — На воздухе он может прийти в себя, поймет, что с ним делают. Нет, только не это.

— Если бы вы верили в десятую часть всего этого, вы бы давно нас арестовали и отправили в Уанкайо, — перебила его донья Адриана, очнувшись от оцепенения. — Так что хватит рассказывать сказки, капрал.

— Вы и эти суеверные горцы принесли немого в жертву здешним апу. — Капрал поднялся со скамьи. На него вдруг накатила страшная усталость. — Это так же верно, как меня зовут Литума. — Он надел фуражку. — Но кому я смогу доказать это? Мне никто не поверит, и первыми мне не поверят мои начальники. Так что я прикушу язык и буду хранить эту тайну. Разве можно убедить кого-то, что в наше время приносят человеческие жертвы, а?

— Думаю, что нет, — нахмурившись, сказала донья Адриана и прощально помахала рукой.

Я знаю, может показаться странным, что мы осели в Наккосе, а не где-нибудь в другом месте сьерры. Но так уж вышло: когда мы устали от бродячей жизни и почувствовали приближение старости, мы оказались как раз тут. Наккос тогда не

был полузаброшенным поселком, каким он стал потом. И ничто вроде бы не говорило, что дни его сочтены. И хотя шахту Санта-Рита к тому времени уже закрыли, он оставался бойким местом, здесь была крепкая крестьянская община и одна из лучших ярмарок во всей провинции Хунин. По воскресеньям вот на этой самой улице толпились слетевшиеся отовсюду торговцы, индейцы, метисы и даже благородные господа — кабальерос. Здесь покупали и продавали лам, альпак, овец, свиней, прялки, овечью шерсть, стригальные ножницы, маис, ячмень, хину, коку, юбки, шляпы, жилеты, ботинки, инструменты, лампы. Здесь продавали и покупали все, что может понадобиться мужчине или женщине. А женщин, надо сказать, в Наккосе тогда было больше, чем мужчин, можете облизнуться, бобыли. Да и вообще народу было раз в десять больше, чем теперь. Дионисио каждый месяц спускался отсюда к побережью закупать большие бутыли вина. Выручки нам хватало, чтобы нанимать двух погонщиков мулов, которые сами грузили и разгружали товар.

Нам обоим нравилось, что Наккос был вроде перекрестка, здесь постоянно появлялись новые люди, одни поднимались в пуны, другие спускались в сельву, многие держали путь в Уанкайо или направлялись через Наккос на побережье. Здесь мы познакомились, здесь Дионисио влюбился в меня, и здесь у нас все завязалось. Давно уже шли разговоры о дороге, которая заменит тропу для вьючных животных. О ней говорили много лет, прежде чем наконец окончательно решили строить. Жаль, что, когда начались работы, когда здесь появились вы с вашими кайлами, лопатами, отбойными молотками, было уже поздно. Смерть уже выиграла свой бой с жизнью. Такая у этой дороги была судьба — остаться недостроенной. Я-то не обращаю внимания на эти слухи, которые не дают вам спать и заставляют напиваться. То, что работы остановят и всех уволят, я знаю давно — я видела это в своих снах. И я слышала это в биении сердца дерева и камня, я читала об этом по внутренностям пустельги и морской свинки. Наккос обречен на гибель. Так захотели духи, и так будет. Разве только... В который раз я вам повторяю: серьезная болезнь требует серьезных лекарств. Так уж на роду написано тому человеку, это говорит Дионисио, а у него всегда был дар предвиденья. И я, живя с ним, восприняла от него этот дар.

К тому же из-за этих самых гор в Наккосе есть что-то особенное, какая-то волшебная сила. Это тоже повлияло на нас с Дионисио. Нас обоих всегда привлекала опасность. Ведь именно она придает вкус жизни, заставляет ценить ее. Жизнь без опасности — сплошная скука и глупость. Смерть. И пиштако, конечно, появились здесь не случайно, например тот, что выпотрошил Хуана Апасу и Себастьяна. Жеребец, да. Их привлек начавшийся упадок Наккоса и тайная жизнь индейцев уака. В этих горах полно древних могил. Вот почему в этой части Анд столько духов. Вступить с ними в связь нам стоило огромного труда. Благодаря им мы многому научились, даже Дионисио было чему научиться, а ведь он и так чего только не знал. Но прошло много времени, прежде чем я смогла применить эти знания на деле. Например, когда пролетит кондор, распознать, кто это: посланник или просто голодная птица? Теперь-то я различаю их с первого взгляда, можете проверить, если сомневаетесь. Только духи самых мощных гор, снежные вершины которых поднимаются выше облаков, — только они перевоплощаются в кондоров; духи более низких гор превращаются в сокола или пустельгу; ну а духи низких гор и холмов могут обернуться дроздами, и самое большее, на что они способны, — это посеять раздор в какой-нибудь семье. И подношения им требуются самые простые, вроде тех, что индейцы оставляют на перевалах: еда, выпивка.

В старину здесь многое происходило. Я хочу сказать, еще до того, как открыли Санта-Риту. Кто имеет дар предвидения, может видеть прошедшее так же ясно, как будущее, и я увидела, каким был Наккос, когда он еще не назывался Наккосом, и до того, как упадок победил здесь волю к жизни. Раньше жизнь здесь била ключом, ее было много, и смерти поэтому тоже было много. Всего было в избытке — и радости, и страдания, как и должно быть; плохо, когда, как сейчас в Наккосе, да и во всей сьерре, а может быть, и во всем мире, страдание взяло верх и господствует

повсюду, и никто уже не помнит, что такое настоящая радость, наслаждение. Раньше люди не боялись встречаться со злом, они боролись с ним искупительными жертвами. Ведь жизнь и смерть — это как весы, где на обеих чашах лежит одинаковый груз, или как два барана одинаковой силы — они упираются друг в друга рогами, и ни один не может продвинуться вперед, и ни один не хочет отступить.

Что они делали, спрашиваете вы, чтобы смерть не побеждала жизнь? Подтяните-ка животы, стисните желудки, а не то вас, не ровен час, начнет выворачивать. Эта правда не для слабаков в брюках, а для тех, кто хоть и в юбке, да крепок духом. Именно женщины брались за дело. Они, и только они. Брались и доводили его до конца. А мужчина, которого на общем совете выбирали главой праздника на следующий год, загодя начинал дрожать. Он знал, его власть продлится только до конца гулянья, а потом его принесут в жертву. Но он не убегал, не пытался спрятаться, когда праздник, которым он верховодил, приближался к концу, когда заканчивалась длинная череда танцев и пиров. Ничего подобного. Он оставался до конца и гордился тем, что может послужить своей деревне. И умирал как герой, окруженный любовью и уважением. Он и на самом деле был героем. Он много пил, дни и ночи напролет играл на чаранго, или на кене, или на арфе, или на каком-нибудь другом инструменте, плясал, отбивал чечетку, пел, чтобы заглушить тоску, забыться и ничего не чувствовать и отдать свою жизнь без страха и по доброй воле. А в последнюю ночь праздника женщины устраивали за ним охоту, одни только женщины. Такие же пьяные и буйные, как те помешанные в труппе Дионисио. Только этих никто не пытался остановить — ни мужья, ни отцы. Напротив, для них точили ножи и мачете и наставляли: «Ищите его хорошенько, найдете — обложите со всех сторон, кусайте, режьте, пусть прольется кровь, чтобы у нас был спокойный год и хороший урожай». Охотились на него так же, как индейцы охотились на пуму или на оленя, когда в этих краях водились пумы и олени, — устраивали облаву. Он ведь тоже становился для них чем-то вроде дикого зверя. Его окружали со всех сторон, смыкали круг теснее и теснее, пока не схватят его. А через неделю на общем совете выбирали главу следующего праздника. Вот как они покупали счастье и процветание Наккоса. Все это знали, и никто не распускал из-за этого нюни. Бесплатным бывает только упадок, такой, как сейчас, например. Чтобы потерять уверенность в завтрашнем дне, жить в страхе, превратиться в быдло, каким вы становитесь на глазах, — за это и правда ничего не надо платить. Строительство остановилось — и вы останетесь без работы, придут терруки — и устроят вам кровавую баню, обрушится новый уайко — и нас окончательно сотрет с лица земли. Злые духи выйдут из гор и прощальным танцем качарпари отпразднуют конец Наккоса, и слетится столько кондоров, что небо станет черным. Разве что...

Неправда, что Тимотео бросил меня, потому что струсил. Что якобы на следующее утро после праздника он встретил меня у входа в шахту Санта-Рита, а у меня в руках были наплечные украшения, которые носит глава праздника, и Тимотео испугался, что собираются выбрать его, и удрал из Наккоса. Это все пустая болтовня, вроде разговоров о том, что его из-за меня убил Дионисио. Когда в Наккосе устраивали такие ежегодные праздники с жертвоприношением, о которых я вам рассказываю, меня еще не было на этом свете, мой дух еще витал меж звезд, ожидая своей очереди воплотиться в женское тело.

Музыка, как и писко, помогает лучше понять горькую правду. Дионисио всю жизнь старался научить чему-то людей, да только толку от этого мало: большинство затыкает уши, чтобы не слышать. Все, что я знаю о музыке, я знаю от него. Петь уайнито с душой, забывая обо всем, отдаваться ему, растворяться в нем, чувствуя, что сама становишься песней, что не ты ее поешь, а она сама поет твоими устами, — вот путь мудрости. Отбивать лихую чечетку, кружиться, делать фигуры, отдаваться ритму, пока не почувствуешь, что не ты танцуешь уайнито, а уайно танцует твоими ногами, что танец проникает внутрь тебя, движет тебя, а ты только подчиняешься ему, — вот путь мудрости. Ты уже не ты, я больше не я, а все мы

другие, все, кто вокруг. Так душа выходит из тела и отправляется в мир духов. Вот что такое песня и танец. Ну, и вино, конечно. Как говорит Дионисио, когда человек хмелеет, он совершает путешествие к своему зверю, он сбрасывает заботы и открывает свою тайну, находит точку своего равновесия. В остальное время он узник, он как труп в древней могиле или на сегодняшнем кладбище. Всегда раб, всегда чей-то слуга. А когда мы пьем вино, танцуем и поем, среди нас нет ни индейцев, ни метисов, ни благородных господ — кабальерос, ни бедных, ни богатых, ни мужчин, ни женщин. Все различия стираются, и мы превращаемся в духов: индейцы, метисы, благородные господа — кабальерос. Но не каждый способен совершить такое путешествие, когда танцует или пьет вино. Надо иметь особое расположение к этому, надо уметь отбросить гордость и стыд и спуститься с пьедестала, на который ты вскарабкался. Тот, кто не может усыпить свои мысли, не может забыться, избавиться от тщеславия и кичливости, кто не становится ни песней, когда поет, ни танцем, когда танцует, кто не хмелеет, когда напивается, — такой человек не может покинуть свою тюрьму, он не путешествует, не встречает своего зверя, не поднимается до духов. Он не живет, он никчемный живомертвец. Не годится он и для того, чтобы накормить собой горных духов. Им нужны другие люди, те, кто избавились от своего рабства. Многие, сколько ни пьют, не могут захмелеть или не могут раствориться в песне и танце, даже если орут дикими голосами и выбивают каблуками искры. А вот прислужник наших полицейских — совсем другое дело. Хоть он и немой и блаженный, он чувствует музыку. И умеет танцевать, да! Я видела, как он танцует, когда с каким-нибудь поручением спускается с горы или потом поднимается в гору. Он закрывает глаза, уходит в себя, у него меняется шаг, он уже не идет, не бежит, а движется в ритме уайнито, поднимается на носки, подпрыгивает, взмахивает руками. Он слушает уайнито, которое слышит только он, которое поется только для него, и сам поет его беззвучно — оно звучит в его сердце. Он забывает обо всем и улетает, он путешествует, приближается к духам. Терруки не убили его в Пампе-Галерас не случайно: его защитили духи гор. Наверно, они наметили его для какой-то высшей цели. Его они, конечно, встретят с распростертыми объятиями, как после тех праздников встречали других избранных людей, которых им вручали женщины. Вы же, хоть и щеголяете в брюках и имеете яйца, которыми так бахвалитесь, вы бы на их месте обделались со страха. Вы скорее согласитесь остаться без работы, согласитесь, чтобы вас уводили в свою милицию терруки, согласитесь на все что угодно, лишь бы не брать это на себя. Чему же теперь удивляться, если Наккос остался без женщин? Они защищали поселок от злых духов, поддерживали его жизнь и процветание. Понятно, что, как только они ушли, начался упадок Наккоса, у вас же не хватает мужества остановить его. Вы позволите, чтобы жизнь здесь иссякла, чтобы ее вытеснила смерть. Разве только...

— Что касается долларов, я о них нисколько не жалел. Это были ее доллары. — Голос Томаса не допускал возражений. — Но то, что Мерседес уехала и я понял, что никогда больше ее не увижу, что теперь она будет с кем-то другим или другими, — это было страшным ударом, господин капрал. Я не мог пережить это. Мне даже приходила мысль покончить с собой, правду говорю вам. Но не хватило духу.

— Оно и к лучшему, — рассудительно сказал Литума. — Теперь я понимаю тебя, Томасито. Например, почему ты иногда плачешь во сне. Теперь-то мне это понятно. И почему ты всегда говоришь только о ней и не рассказываешь ни о чем другом. А вот чего я никак не могу взять в толк, так это почему ты после того, как Мерседес смоталась несмотря на все, что ты для нее сделал, почему ты все равно ее любишь? На самом деле ты должен бы ненавидеть ее.

— Я ведь горец, господин капрал, не забывайте, — пошутил его помощник. — А у нас знаете как говорят: «Чем больше бьют, тем сильнее любишь», не слыхали такой поговорки? Вполне подходит для моего случая.

— А ты не слыхал, что клин клином вышибают? Вместо того чтобы так убиваться, нужно было найти другую бабу. Сразу забыл бы свою пьюранку.

— Рецепт моего крестного отца, — вспомнил Томас.

— Любовные страданья не терзают сто лет, такого бы никто не выдержал, — утешил его майор. И уже другим тоном распорядился: — А сейчас марш в «Домино» и трахни там эту вертлявую болтушку Лиру или грудастую Селестину. А если хватит пороху, трахни их обеих. Я позвоню, чтобы тебе сделали скидку. И если эта пара горячих задниц не вытрясет у тебя из головы Мерседес, то пусть у меня с мундира снимут один галун.

— Я попробовал выполнить его совет, пошел туда. — Томас вымученно засмеялся. — У меня в тот момент не было своей воли, я ничего не соображал, делал все, что мне говорили. Так вот, я вышел, подхватил на улице какую-то ночную бабочку и повел ее в маленький отель напротив «Домино», хотел проверить, смогу ли я таким образом забыть Мерседес. Но ничего не вышло. Пока эта бабочка ласкала меня, я вспоминал Мерседес, невольно сравнивал с ней эту девчонку. И у меня не встал, господин капрал.

— Ты рассказываешь о себе такие интимные вещи, что мне даже немного неудобно, — смутился Литума. — А ты сам не чувствуешь стыда, когда говоришь, что у тебя не встал, Томасито?

— Я не рассказал бы об этом никому другому, — сказал его помощник. — Только вам. Вам я доверяю даже больше, чем толстяку Искариоте. Вы мне как отец, господин капрал, своего-то я не знал.

— Эта женщина не для тебя, парень. С ней ты, пожалуй, угодишь в какую-нибудь историю еще почище той, — говорил майор. — Это птица высокого полета. Даже Боров был для нее мелковат. Не видел сам, как она задирала нос передо мной, когда ты нас познакомил? Да еще, заноза такая, называла меня родственничком.

— Чтобы иметь такую около себя, чтобы заполучить ее навсегда, я мог бы снова убить или ограбить кого-нибудь. — Голос Карреньо срывался.— Сделать что угодно. А хотите, я скажу вам кое-что еще более интимное? Никогда не буду спать ни с какой другой женщиной. Они меня не интересуют, не существуют для меня. Или Мерседес, или никто.

— Эх, едрена мать! — заметил Литума.

— Сказать тебе правду, поставил бы я этой Мерседес пистон, с большим бы удовольствием, — сипло засмеялся майор. — Кстати, я ей кое-что предложил, когда мы с ней танцевали в «Домино». Вообще-то я хотел испытать ее, я тебе уже рассказывал. И знаешь, что она мне ответила? Она совершенно бесстыдно положила руку мне на ширинку и говорит: «С тобой — ни за какие коврижки, и если ты даже приставишь пистолет мне к груди — все равно нет. Ты не в моем вкусе, родственничек».

На этот раз майор был в форме. Он сидел за небольшим письменным столом в своем кабинете на первом этаже министерства. На столе громоздились высокие стопки бумаг, среди них был втиснут вентилятор, рядом — маленький перуанский флажок. Карреньо в штатской одежде стоял прямо перед портретом президента, который, казалось, ехидно рассматривал его. Майор протирал свои неизменные черные очки, крутил карандаш, играл ножом для бумаг.

— Не говорите таких вещей, крестный. Мне так тяжело слушать это, просто невыносимо.

— Да я тебе рассказываю специально, чтобы ты понял: эта женщина тебе не подходит, — постарался успокоить его майор. — Она наставила бы тебе рога даже со священником или гомосексуалистом. Это самый опасный тип женщин. Тебе повезло, что ты избавился от нее, хоть и не по своей воле. Ну а теперь не будем терять времени. Займемся твоим делом. Надеюсь, ты не забыл, что влип в скверную историю в Тинго-Марии?

— Он определенно твой отец, Томасито, — прошептал Литума. — Точно.

Майор поискал что-то на столе, вытащил из стопки бумаг папку и помахал ею перед носом Карреньо:

— И тебе нелегко будет выпутаться из нее так, чтобы твое личное дело осталось чистым. А если не сможешь, останешься замазанным на всю жизнь. Но я уже

нашел способ, как тебя обелить, мне тут помог один адвокат-крючкотворец. Ты — раскаявшийся дезертир. Сбежал, потом понял, что ошибся, все обдумал, осознал свою вину и теперь вернулся, чтобы просить о прощении. В доказательство своей искренности ты просишься добровольцем в зону, где введено военное положение. Будешь бороться там с подрывными элементами, парень. Подпиши-ка вот здесь.

— Хотелось бы мне познакомиться с твоим крестным отцом! — с восхищением воскликнул Литума. — Что за человек, а, Томасито!

— Твоя просьба удовлетворена, и ты уже получил назначение, — продолжал майор, дуя на подпись Карреньо. — Ты направляешься в Андауайлас в распоряжение лейтенанта Панкорво. Крепкий мужик, между прочим. Проведешь в горах несколько месяцев, годик. Не будешь здесь мозолить глаза, о тебе за это время забудут, и твое личное дело останется в полном порядке. А когда ты уже будешь чистеньким, как пасхальное яичко, я подыщу тебе местечко получше. Не хочешь сказать мне спасибо?

— Толстяк Искариоте тоже меня очень поддержал, — сказал Томас. — Он купил мне билет на автобус до Андауайласа и вообще в те дни не оставлял меня одного, был моей тенью. Сам-то он считал, что от любви можно излечиться хорошей едой, для него ведь смысл жизни в том и состоял, чтобы вкусно поесть, я вам уже рассказывал.

— Пироги со свининой, мясо на шампурах, шкварки со сладким картофелем камоте, рыба горбыль в лимонном соусе, фаршированный сладкий перец, устрицы с плавленым сыром, картофельное пюре по-лимски — с салатом, сыром и маслинами, хорошо охлажденное пиво, — перечислил Искариоте и, небрежно махнув рукой, добавил: — Это только начало. А потом перец ахи с курятиной и белым рисом и вяленая козлятина. А в промежутках, чтобы скоротать время, кисель из кукурузной муки и нуга от доньи Пепы. Так что не вешай нос, Карреньито!

— Да мы не съедим и половины — лопнем.

— Это ты лопнешь. А у меня живот растягивается, как резиновый. Надо уметь жить. Мы еще не успеем дойти до козлятины, как ты уже забудешь свою Мерседес.

— Я не забуду ее никогда, — твердо произнес Карреньо. — Точнее, не хочу забывать. Я ведь даже не знал, что можно быть таким счастливым, господин капрал. Может, оно и к лучшему, что все так вышло. Что счастье оказалось таким коротким. Ведь если бы мы поженились и жили вместе, постепенно начались бы все эти ссоры-раздоры, которые отравляют жизнь супружеским парам. Но у нас этого не было, и у меня остались только самые прекрасные воспоминания.

— Она удрала от тебя с твоими четырьмя тысячами долларов после того, как ты убил из-за нее человека и помог получить новое избирательское удостоверение, — возмутился Литума. — А у тебя распрекрасные воспоминания об этой пьюранке. Ты мазохист, Томасито.

— Я знаю, что ты не позволяешь вмешиваться в свои дела, — неожиданно серьезно сказал Искариоте. Он был весь в поту, его тучное тело колыхалось, когда он тянулся за куском и отправлял его в рот. Сейчас он держал перед собой вилку с рисом и покачивал ею в такт словам. — Но все-таки разреши мне дать дружеский совет. Знаешь, что я сделал бы на твоем месте?

— Что?

— Я бы отомстил. — Искариоте поднес наконец вилку ко рту и принялся пережевывать рис, прикрыв от наслаждения глаза, потом он проглотил его, запил пивом, облизнул толстые губы и только после всего этого продолжил: — Она должна поплатиться за свое свинство.

— Что-что? — поразился Карреньо. — Знаешь, Толстяк, хоть у меня на душе и кошки скребут, но от твоих слов мне хочется смеяться.

— Надо бы ударить ее по самому больному месту. — Искариоте не обратил внимания на его слова. Отдуваясь, он вытащил из кармана большой белый платок с синей каймой, расправил его обеими руками и промокнул лицо. — Скажем, отправить ее за решетку как сообщницу Борова. Это нетрудно сделать, достаточно

подложить донос в следственные материалы. И пока суд да дело, пока все будет раскручиваться, придется ей посидеть в женской тюрьме в Чоррильосе. Она не говорила тебе, что боится попасть в тюрьму? Пусть, пусть посидит, там ей не сладко придется.

— А я ее вызволю оттуда. Приду ночью с лестницей, с веревками. В общем, ты меня заинтересовал, Толстяк.

— В Чоррильосе я могу устроить так, чтобы ее поместили в зону, где держат лесбиянок, — пояснил Искариоте с таким видом, будто речь шла об уже решенном деле. — Вот тогда она узнает, почем фунт лиха, Карреньито. В этой зоне половина женщин сифилитички, и она тоже подцепит там какую-нибудь заразу.

— Это мне нравится уже меньше. Чтобы мою любимую заразили сифилисом? Да я этих лесбиянок своими руками разорву.

— Есть и другой способ. Давай разыщем ее, схватим и доставим в комиссариат полиции в Такоре, там служит один мой хороший знакомый. Пусть ее посадят на ночь в камеру с поножовщиками, наркоманами и прочими подонками. На следующее утро она не сможет вспомнить, как ее зовут.

— А я пойду к ее камере, встану на колени и поклонюсь ей, — улыбнулся Томас. — Она будет моя святая Роза Лимская.

— Вот поэтому она тебя и бросила. — Толстяк Искариоте уже навалился на десерт и говорил с набитым ртом. — Женщинам не нравится такое почитание, Карреньито. Если бы ты с ней обращался как Боров, она стала бы твоей овечкой, не отходила бы от тебя ни на шаг.

— Она мне нравится такая, какая есть — капризная, ветреная, изменчивая. Характер — хуже некуда, а все равно нравится. Несмотря ни на что. Хоть вы мне и не поверите, господин капрал.

— Почему мне не поверить, что ты сумасшедший? — спросил Литума. — Разве здесь вообще есть нормальные люди? Разве терруки не чокнутые? Или Дионисио и его ведьма, разве они не помешанные? Скажешь, не тронулся умом лейтенант Панкорво, который пытал огнем немого, чтобы заставить его говорить? И где ты найдешь таких психопатов, как эти горцы, запуганные потрошителями и апу? А в своем уме те, кто похищает людей, чтобы ублажить всех этих муки и апу? Твое помешательство, по крайней мере, не приносит никому вреда, кроме тебя самого, конечно.

— Только вы, господин капрал, сохранили ясную голову в этом сумасшедшем доме.

— Возможно, поэтому я чувствую себя так неуютно в Наккосе, Томасито.

— Ну хорошо, сдаюсь, не будем мстить Мерседес, пусть живет как хочет, оставляя на своем пути убитых любовников и малахольных обожателей, — сказал толстяк Искариоте. — Хоть этим подниму тебе настроение. Мне будет недоставать тебя, Карреньито, я уже привык работать с тобой. Надеюсь, что там, куда ты едешь, тебе будет хорошо. Смотри, чтобы терруки не пустили тебе кровь. Будь осторожен и пиши.

— И потому жду не дождусь, когда меня отзовут отсюда, — добавил Литума. — Давай-ка поспим немножко, уже светает. А знаешь, Томасито, ведь ты мне рассказал всю свою жизнь. Все остальное я уже знаю. Ты явился в Андауайлас, служил там у лейтенанта Панкорво, потом тебя прислали сюда, ты привел с собой Педрито Тиноко, мы с тобой познакомились. О чем же, черт возьми, мы будем говорить в оставшиеся ночи?

— О Мерседес, о чем же еще, — решительно ответил его помощник.— Я снова буду вам рассказывать о моей любви, с самого начала.

— Едрена мать! — Литума зевнул, раскладушка под ним заскрипела. — Снова с самого начала?

Эпилог

X

Снимая высохшее белье с веревки, протянутой от двери дома к укрепленной мешками с землей ограде, Литума вдруг заметил среди эвкалиптов на противоположном склоне фигуру человека. Литума силился разглядеть ее на фоне багрового шара, медленно закатывающегося за гору. Его глаза слезились, контуры идущего человека теряли ясность и растворялись в вечернем свете, но все-таки он догадался, что это женщина.

«Вот оно, пришли», — пронеслось у него в голове. Он застыл на месте, не в силах пошевелиться, непроизвольно тиская пальцами влажные трусы. Впрочем, нет, какие терруки, ведь она одна, у нее вроде нет оружия, и она, похоже, не знает толком, куда идти. Она озирается, устремляется то в одну сторону, то в другую и никак не может выбрать одно направление. Но тут, заметив Литуму, она вообще остановилась, будто именно его и искала, именно его хотела увидеть. Она стояла неподвижно, и, хотя капрал не мог с такого расстояния видеть выражение ее лица, ему почему-то казалось, что, увидев его у дверей домика, среди болтающейся на веревке одежды, такого, как он есть, — в крагах, хлопчатобумажных брюках, расстегнутой гимнастерке, в фуражке и со «смит-вессоном» в кобуре на боку, — женщина обрадованно улыбнулась. Во всяком случае, не было сомнений что она приветливо махала ему высоко поднятой рукой, словно они были добрые друзья, пришедшие на условленную встречу и издали узнавшие друг друга. Но кто она? Куда идет? Что надо женщине — неиндеанке — здесь, в горах, среди пустынных пун? Что она была неиндеанка, Литума определил сразу: волосы не заплетены в косички, нет ни широкой юбки-польеры, ни шали, ни шляпы, одета в брюки и свитер, сверху куртка или жакет, а в правой руке держит не узелок, а сумку или чемодан. Она все еще махала рукой, но уже нетерпеливо, видно, была недовольна тем, что капрал ей не отвечает. Тогда Литума тоже поднял руку и тоже помахал. Те полчаса или сорок минут, что понадобились женщине, чтобы спуститься со склона противоположной горы и подняться к посту, Литума неотрывно и настороженно следил за каждым ее шагом, энергичными жестами показывая, куда идти, где повернуть, выбирая для нее самый удобный путь, самые надежные и безопасные тропинки, где было меньше риска, что она поскользнется, покатится по склону или сорвется с крутизны; он боялся, что, не зная здешних мест, женщина оступится или споткнется как раз там, где достаточно одного неверного движения, чтобы потерять равновесие и упасть на дно ущелья. Сразу было видно, что прежде ей не приходилось карабкаться по горам. Глядя на нее, Литума вспоминал, что всего несколько месяцев назад, когда он был еще новичком в этих местах, он шагал так же неуклюже, так же спотыкался и падал, как эта женщина, шедшая сейчас к посту.

Когда она стала подниматься к их хижине и уже могла его услышать, он начал кричать ей: «Туда, между этими пузатыми камнями!», «Хватайтесь за траву, она выдержит!», «Не поворачивайте туда, там рыхлая земля, может осыпаться!» А когда до поста оставалось метров пятьдесят, капрал спустился ей навстречу, взял кожаный чемодан и, поддерживая за руку, помог пройти последний отрезок пути.

— Снизу я приняла вас за полицейского Томаса Карреньо, — сказала она, поскользнувшись и освобождаясь из рук подхватившего ее Литумы. — Вот почему я так обрадовалась, когда вас увидела.

— Нет, я не Томас, — ответил он, чувствуя, что говорит глупость, но не в силах сдержать радость. — Но если бы вы знали, как мне приятно слышать пьюранский говор!

— Вы догадались, что я пьюранка? — удивилась она.

— Конечно, я ведь тоже пьюранец. — Литума протянул ей руку. — Из самой что ни на есть Пьюры. Капрал Литума к вашим услугам. Я начальник этого поста. Ну не странно ли, что два пьюранца встречаются в пунах, так далеко от родной земли?

— А Томас Карреньо служит здесь, с вами?

— Он отлучился ненадолго в поселок, скоро вернется.

Женщина облегченно вздохнула, лицо ее просветлело. Они уже подошли к дому, и она рухнула на один из мешков с землей, которые Литума, его помощник и Педрито Тиноко уложили между больших камней.

— Слава богу. — Она тяжело дышала, ее грудь поднималась и опускалась, будто с трудом удерживая готовое выпрыгнуть сердце. — Ведь проделать такой путь напрасно... Автобус из Уанкайо высадил меня очень далеко отсюда. Мне сказали, что до Наккоса не более часа ходьбы, но у меня эта дорога заняла три часа. А что за поселок там внизу? Там пройдет дорога?

— Там она должна была пройти, — сказал Литума. — Но строительство остановлено, так что дороги не будет. Тут несколько дней назад уайко разнес все вдребезги.

Но эта тема ее не интересовала. Она с нетерпением смотрела на склон холма.

— Мы увидим отсюда, как он возвращается?

Не только ее манера говорить, но и жесты, да и вся она казалась ему такой знакомой, такой близкой. «Пьюранки даже пахнут лучше других», — с удовольствием констатировал он.

— Если только раньше не стемнеет, — сказал он вслух. — Солнце здесь в это время садится рано. Видите? Почти уже скрылось. Вы, наверное, падаете от усталости после дороги. Хотите выпить чего-нибудь холодного?

— С удовольствием, а то я умираю от жажды. — Она обвела взглядом жестяные крыши уцелевших бараков, нагромождения камней, развороченный склон. — Отсюда красивый вид.

— Издалека все выглядит красивее, чем вблизи.

Он вошел в комнату и, пока доставал бутылку из ведра, где они держали напитки, спокойно рассмотрел гостью. Она вся была забрызгана грязью, волосы растрепаны, но — настоящая конфетка! Сколько же времени он не видел ни одной хорошенькой женщины? Цвет ее лица, шея, руки вызвали целую вереницу воспоминаний о годах юности в родных краях. А какие глаза, боже ж ты мой! Немного зеленые, немного серые и еще какого-то неуловимого цвета. А этот рот, эти смело очерченные губы. Откуда у него ощущение, что он знал ее раньше, по крайней мере видел? Как бы она выглядела, если бы привела себя в порядок — юбка, туфли на каблуках, в ушах серьги, на губах яркая помада. Как быстро забываются такие вещи, если живешь безвыездно в Наккосе. Да, вполне может быть, что их пути однажды пересеклись, когда он жил в тепле, в цивилизации. У него вдруг екнуло сердце: Мече? Неужели она?

Он вышел с бутылкой содовой, извинился:

— Простите, что у нас нет стаканов. Придется вам пить из бутылки, ничего не поделаешь.

— А с ним все в порядке? — спросила женщина между глотками; струйка воды бежала у нее по шее. — Он не болен?

— У него железное здоровье, с чего бы ему болеть, — успокоил ее Литума. — Он ведь не знал, что вы приедете, правда?

— Я его не предупредила, хотела сделать сюрприз. — Женщина лукаво улыбнулась. — Да и письма, я думала, сюда не доходят.

— Так вы, значит, Мерседес?

— Карреньито вам рассказывал обо мне? — Она живо повернулась к Литуме и взглянула на него с некоторым беспокойством.

— Кое-что, — смущенно признался Литума. — Точнее сказать, болтал как попугай. Ночи напролет — и все о вас. В этих местах, где нечем заняться, человеку только и остается, что изливать душу.

— Он очень сердит на меня?

— Думаю, что нет. Потому что, между нами говоря, по ночам он иногда беседует с вами во сне.

Литума тут же испытал неловкость оттого, что сказал ей об этом. Он суетливо

похлопал себя по карманам, достал и раскурил сигарету и принялся выпускать дым изо рта и ноздрей. Да, это была она, та самая, которую Хосефино проиграл Чунге и которая потом исчезла. Когда он наконец осмелился поднять на нее глаза, она озабоченно всматривалась в склон холма. Было заметно, что она встревожена. «Теперь понятно, Томасито, почему ты так плакал о ней», — вздохнул Литума. Чего только не бывает в этой жизни, будь она неладна.

— Вас здесь только двое?

— Да, и скоро, слава богу и недавнему уайко, мы уйдем отсюда. Больше мы и не смогли бы выдержать. — Он сделал глубокую затяжку. — Пост закрывают. Поселок тоже. Наккос исчезнет. Разве газеты в Лиме не писали об этом уайко? Он разбил здесь всю технику, разрушил насыпь, пустил коту под хвост всю работу за последние шесть месяцев. Меня уайко застал высоко в горах и едва не унес на себе, как на салазках.

Но Мерседес думала о своем.

— Если он разговаривает со мной во сне, значит, не ненавидит меня за то, что я сделала.

— Томасито любит вас несмотря ни на что. Мне никогда еще не доводилось видеть, чтобы так кого-нибудь любили. Клянусь вам.

— Он сам вам это сказал?

— Он дал мне это понять, — деликатно уточнил капрал и искоса взглянул на нее. Она стояла все в той же напряженной позе, не отводя своих серо-зеленых глаз от тропинки, поднимающейся к посту. «Томасито, конечно, таял, когда глядел в эти глаза», — подумал Литума.

— Я тоже его очень люблю, — тихо сказала Мерседес. — Но он еще этого не знает. Я пришла, чтобы сказать ему об этом.

— Это будет самая большая радость в его жизни. Томас не просто любит вас, он болен вами, можете мне поверить.

— Он единственный настоящий мужчина, который мне встретился в жизни, — прошептала Мерседес. — Он обязательно вернется, да?

Они замолчали и оба стали смотреть вниз, в ущелье, откуда должен был появиться Томас. Там уже сгустилась и быстро поднималась вверх темнота, вскоре горы до половины утонули в ней. Похолодало. Литума видел, что Мерседес плотнее укуталась в куртку, подняла воротник, зябко съежилась. Кто он такой, его помощник? Рядовой полицейский, но ради него эта умопомрачительная женщина, не побоявшись трудностей, добралась сюда, на край света, чтобы сказать ему о своей любви. Значит, ты раскаялась, что бросила его? А принесла ли она с собой эти четыре тысячи долларов? Ты потеряешь голову от счастья, Томасито.

— Вы очень смелая, раз пришли сюда одна по пуне от самой дороги. Здесь ведь нет никаких указателей, недолго и заблудиться.

— Я и заблудилась, — засмеялась она. — Мне помогли индейцы. Они не говорят по-испански, и мы объяснялись как глухонемые. Наккос! Наккос! Они смотрели на меня так, будто я явилась с другой планеты. В конце концов до них дошло.

— Но можно было встретить и еще кое-кого, это было бы не так приятно. — Литума швырнул окурок вниз, в ущелье. — Вам не говорили, что в этих местах орудуют терруки?

— Да, верно, мне повезло, — согласилась она. И без перехода заговорила о другом: — Как странно, что вы узнали пьюранский говор. Я думала, что избавилась от него. Я ведь давно уехала из Пьюры, когда еще была совсем пигалицей.

— Пьюранский говор никогда не исчезает полностью. Хоть немного, да остается, — объяснил Литума. — В Пьюре такой красивый выговор, нигде не слышал лучше. Особенно если говорят женщины.

— Могу я здесь умыться и немного привести себя в порядок? Не хочу, чтобы Карреньито застал меня в таком виде.

Литума чуть не сказал ей: «Да вы и так чертовски красивая», но вовремя прикусил язык.

— Да, пожалуйста, какой я дурак, сам не догадался. — Он встал. — У нас есть умывальник, вода, мыло, зеркальце. Конечно, это не ванная комната, не надейтесь, здесь все очень примитивно.

Он повел ее внутрь дома и сконфуженно крякнул, когда увидел, с какой брезгливостью она рассматривает их раскладушки, скомканные одеяла, продавленные чемоданы, на которых они частенько сиживали, и уголок, служивший им туалетной комнатой: разбитый рукомойник над бочкой с водой и маленькое зеркальце, укрепленное на шкафу, где хранилось оружие. Он налил в рукомойник свежей воды, достал новое мыло, принес со двора чистое сухое полотенце и снова вышел из дома, плотно прикрыв за собой дверь. Он сел там же, где они разговаривали с Мерседес, и через несколько минут увидел в уже подступающих к дому сумерках своего помощника. Тот шел, держа карабин в руке, сильно наклонившись вперед, ускоряя шаг на крутых подъемах. Ты даже не можешь представить, какой сюрприз тебя ждет, парень. Это будет самый счастливый день в твоей жизни. Когда Карреньо подошел ближе, капрал заметил, что он улыбается и машет ему листом бумаги. «Радиограмма из Уанкайо», — догадался он и встал ему навстречу. Приказы и инструкции из управления, и, судя по лицу Томасито, хорошие приказы.

— Ни за что не угадаете, куда вас посылают, господин капрал. То есть, я хочу сказать, господин сержант.

— Что? Меня повысили?

— Надеюсь, что это не шутка. Вас переводят с повышением в Санта-Мария-де-Ньева, начальником поста. Поздравляю, господин сержант! — и он протянул Литуме лист бумаги со штампом компании.

В наступившей темноте Литума не мог уже прочитать текст радиограммы, буквы были похожи на паучков, густо усеявших лист бумаги.

— Санта-Мария-де-Ньева? Где это?

— В сельве, в верховьях реки Мараньон, — засмеялся Томас. — Но самое смешное — это куда направляют меня. Попробуйте-ка угадать — и вы умрете от зависти.

— Нет, не говори мне, что в Пьюру, не говори, что тебя направляют на мою родину.

— Именно туда, в комиссариат района Кастилья. Крестный сдержал слово, вытащил меня отсюда даже раньше, чем обещал.

— Сегодня твой день, Томасито. — Литума похлопал его по спине. — Сегодня тебе выпал счастливый билет. С этого дня в твоей жизни начнется счастливая полоса. Я дам тебе рекомендацию, обратишься к моим друзьям, непобедимым. Смотри только, чтобы эти сорвиголовы не сбили тебя с пути истинного.

— Что там за шум? — спросил удивленно Томас, показывая на дом. — Там кто-то ходит.

— К нам пожаловала такая гостья — ты не поверишь своим глазам. Кто-то, кого ты знаешь. Иди — и увидишь, Томасито. А обо мне не думай. Я спущусь сейчас в поселок пропустить рюмку-другую анисовой в компании Дионисио и его ведьмы. И знаешь, пожалуй, я здорово напьюсь. Так что не жди меня, вряд ли я вернусь этой ночью, переночую там, где меня сморит сон, — в трактире или в каком-нибудь бараке. Залью в себя столько, что любое место мне покажется ложем из роз. Увидимся завтра. Давай же, Томасито, иди и приветствуй твою гостью.

— Какой сюрприз, господин капрал, — сказал Дионисио, увидев в дверях Литуму. — Вы еще не уехали из Наккоса?

— Остался специально, чтобы попрощаться с вами и доньей Адрианой,— засмеялся Литума. — Найдется у вас что-нибудь поесть?

— Пресные галеты с вареной колбасой. Зато выпивки — хоть оптом берите.

— И то хорошо, — отозвался Литума. — Я собираюсь провести с вами всю ночь и налакаться до чертиков.

— Ну и ну. — Дионисио улыбался, облокотясь о стойку, его маленькие водянистые глазки с удовольствием оглядывали капрала. — Вы собираетесь набраться

уже во второй раз. В первый-то раз оттого, что натерпелись страху, попав в уайко, а теперь, стало быть, решили напиться просто так? Что ж, никогда не поздно начать жить.

Он налил рюмку писко и поставил ее на стойку около жестяного подноса, на котором лежали ажурные пресные галеты и кружочки колбасы.

Сеньора Адриана подошла поближе, тоже облокотилась о стойку и с обычной своей бесстыдной и холодной прямотой уставилась на капрала. Маленький зал был почти пуст, только у задней стены три посетителя стоя пили пиво из одной бутылки и тихо разговаривали о чем-то. Литума поднял рюмку, пробурчал под нос «Ваше здоровье» и одним глотком осушил ее. Огненный язык лизнул глотку, его передернуло.

— Хорошее писко, верно? — хохотнул Дионисио и торопливо налил вторую рюмку. — А какой аромат, чувствуете? Чистый виноград, господин капрал!

Литума втянул воздух. И правда, в запахе писко, где-то в самой его глубине, он уловил свежесть виноградной лозы, аромат только что срезанного винограда, принесенного в давильню, где его будут топтать умелые ноги икийских виноделов.

— Никогда не забуду этот свинарник, — пробормотал Литума, ни к кому не обращаясь. — И даже в сельве буду вспоминать, что здесь произошло той ночью, когда я перепил и ненадолго отключился...

— Вы опять о пропавших? — прервала его донья Адриана. — Выкиньте наконец это из головы, капрал. Почти все пеоны уже ушли из Наккоса, а те немногие, что здесь остались после уайко и закрытия работ, озабочены теперь совсем другим. Никто больше и не вспоминает об исчезнувших. Забудьте о них и вы и хоть один-единственный раз развейтесь немного.

— Тоскливо пить одному, — вздохнул Литума. — Не составите компанию?

— Это мы всегда с удовольствием, — откликнулся Дионисио, налил себе рюмку и чокнулся с капралом.

— Вы всегда приходили к нам такой мрачный, — снова заговорила донья Адриана. — У вас было такое лицо, будто вы попали в лапы дьявола.

— Будто вы нас боялись, — подхватил Дионисио.

— А я вас боялся, — согласился Литума. — И сейчас боюсь. Потому что в вас есть какая-то тайна, я вас не понимаю. Мне больше нравятся открытые люди. Кстати, донья Адриана, почему я никогда не слышал от вас эти истории о пиштако? Ведь вы рассказывали их всем.

— Если бы почаще приходили сюда, тоже бы их услышали. Вы даже не представляете, сколько потеряли оттого, что держались так официально. — Женщина засмеялась.

— Я на вас не сержусь, хоть вы и говорили о нас бог весть что, — вступил Дионисио. — Я ведь знаю, что это не со зла. Может быть, немного музыки, чтобы оживить это кладбище?

— Кладбище — самое подходящее слово, — закивал головой Литума. — Наккос! Каждый раз, когда я слышу это слово, у меня волосы на голове встают дыбом, едрена мать. Извините за грубость, донья Адриана.

— Можете говорить все, что пожелаете, если это поможет вам встряхнуться, — благодушно разрешила донья Адриана. — Я готова терпеть все что угодно, лишь бы люди были довольны.

Она снова засмеялась неизвестно чему, но в этот момент Дионисио включил радио и громкая музыка заглушила смех. Литума внимательно оглядел ее: несмотря на всклокоченные волосы — настоящая ведьма! — и затрапезный вид, ее лицо действительно еще хранило следы былой красоты. Очевидно, правду говорили люди, в молодости эта баба давала мужикам жару. Но, конечно, не Мерседес, никакого сравнения с пьюранкой, которая в это самое время, наверно, была уже на седьмом небе вместе с его помощником. Так все-таки Мече или нет? Если судить по этим искрящимся, лукавым серо-зеленым глазам, то, безусловно, Мече. Да, глядя на такую женщину, нетрудно понять страдания Томасито.

— А где полицейский Карреньо? — дошел до его сознания вопрос доньи Адрианы.

— Купается в блаженстве, — ответил он. — К нему из Лимы приехала его женщина, и я их оставил на посту одних, пусть у них будет медовый месяц.

— Она добралась до Наккоса одна? Должно быть, смелая женщина, — прокомментировала донья Адриана.

— А вы, я думаю, умираете от зависти, господин капрал, — сказал Дионисио.

— Еще бы, — признался Литума. — Она ведь ко всему прочему настоящая королева красоты.

Хозяин погребка снова наполнил рюмки, на этот раз и для доньи Адрианы тоже. Один из посетителей, пивших пиво в глубине зала, начал подпевать звучавшему по радио уайнито: «Ах, голубка, голубка лесная ...»

— Она пьюранка. — Литума ощутил внутри приятное тепло, теперь все не казалось ему таким серьезным и важным, как раньше. — Достойная представительница пьюранских женщин. Ну и счастливчик ты, Томасито, что тебя направляют в район Кастилья! Ваше здоровье!

Он сделал глоток и взглянул на Дионисио и донью Адриану, те лишь слегка пригубили вино. Похоже, им очень хотелось, чтобы капрал напился допьяна, ведь он и на самом деле за все месяцы пребывания в Наккосе ни разу у них не напивался, а что касается той ночи после уайко, она, как справедливо заметил хозяин погребка, не в счет.

— Сколько же народу осталось в поселке?

— Совсем немного. Только те, кто охраняет технику, да еще несколько лентяев.

— А вы?

— Что нам здесь делать, если все уйдут? Я хоть и старик, но в душе остался бродягой. Смогу работать в любом другом месте.

— Это уж как водится: каблуки не собьешь — работы не найдешь.

— А кто не умеет искать, тех и научить можем, — сказала донья Адриана.

— Может быть, достану где-нибудь медведя, обучу его и снова буду ходить по ярмаркам со своим номером. — Дионисио подпрыгнул и зарычал. — Когда я был молодым, у меня был медведь, он раскладывал карты и задирал девкам юбки.

— Не наткнитесь на терруков, когда будете обходить ярмарки.

— И вам того же желаем, господин капрал.

— Потанцуем, старушка? — Один из трех пеонов, пивших пиво у задней стены, шел к стойке, протягивая руки к донье Адриане. Та, не говоря ни слова, вышла танцевать с ним. Его приятели подошли поближе и принялись хлопать в ладоши в такт уайно.

— Так вы и унесете с собой ваши тайны? — Литума поискал взгляд Дионисио. — Может, попозже, когда мы с вами хорошо выпьем, все-таки расскажете мне, что случилось с теми тремя?

— Было бы недурно хорошо выпить. — Дионисио опять прошелся, косолапя по-медвежьи, тяжело подпрыгнул. — А хорошо выпьем — все забудем. Учитесь вот у них и веселитесь! Ваше здоровье, господин капрал!

Он поднял призывно свою рюмку, и Литума последовал его примеру. Но веселиться в этом подозрительном заведении не очень-то тянуло. Хотя попойки горцев всегда удивляли его своей молчаливостью и даже казались мрачными, сейчас капрал позавидовал Дионисио, его жене, трем пеонам, пившим пиво: достаточно им было сделать несколько глотков — и вот они уже забыли обо всем на свете. Он поднял глаза на танцующую пару: донья Адриана и пеон топтались на месте, при этом пеон был настолько пьян, что не обращал никакого внимания на музыку. С рюмкой в руке Литума подошел к двум другим мужчинам.

— А вы остались, чтобы, уходя, погасить за собой свет в поселке? — обратился он к ним шутливо. — Вы охранники?

— Я механик, а он бурильщик, — ответил ему старший, низенький мужичок с несоразмерно большим лицом, изрезанным глубокими, как шрамы, морщинами.

— Мы уходим завтра, будем искать работу в Уанкайо. А сегодня прощаемся с Наккосом.

— Когда здесь еще была нормальная жизнь, поселок казался красивым, как картинка, — сказал Литума. — А теперь, когда он опустел, завален камнями, когда от многих бараков остались одни развалины, вид у него довольно мрачный, — попытался продолжить беседу капрал. Но в этот момент второй пеон, помоложе, в сером свитере, из-под которого выглядывала темно-синяя рубашка, засмеялся и что-то сказал. Он наблюдал за своим приятелем, танцевавшим с доньей Адрианой: тот был чем-то недоволен и затевал ссору.

— Какого черта ты от меня отодвигаешься? — протестовал он гнусавым голосом и пытался покрепче прижать к себе женщину. — Хочешь сказать, это тебе не нравится? Что с тобой, старушка?

Он был среднего роста, с сильно выдающимся носом и глубоко посаженными бегающими глазками. От алкоголя и возбуждения они горели как угли. На нем был выцветший комбинезон, сверху альпаковый свитер — такие свитера делают индейцы-общинники, а потом спускаются с гор и продают их на ярмарках,— а сверху еще тесный пиджак. Вся эта упаковка сковывала его движения.

— Успокойся и убери руки, иначе не буду танцевать. — Донья Адриана говорила без всякой злобы, слегка отодвинувшись от пеона и поглядывая искоса на Литуму. — Одно дело танцевать и совсем другое — то, что ты хочешь, сукин сын.

Она засмеялась, пеоны, пившие пиво, тоже засмеялись. Хрипло засмеялся за стойкой Дионисио. Но пеон, танцевавший с доньей Адрианой, и не думал смеяться. Он стоял покачиваясь, обратив перекошенное злобой лицо в сторону трактирщика:

— Эй, Дионисио! — Литума увидел на его скривившихся губах зеленоватую пену — наверно, он недавно жевал коку. — Эй, скажи ей, пусть танцует со мной! Почему она не хочет танцевать?

— Она-то как раз хочет танцевать, а вот ты хочешь не танцевать, а лапать ее. — Дионисио снова засмеялся и изобразил медведя. — А это вроде бы не одно и то же, а? Как ты думаешь?

Донья Адриана уже вернулась на свое обычное место около мужа. Облокотясь о стойку и подперев подбородок рукой, она со спокойной холодной полуулыбкой следила за разговором, будто он ее вовсе не касался.

Мужчина вдруг резко прекратил спор, похоже, его пыл уже угас. Спотыкаясь на каждом шагу, он побрел к приятелям, те поспешили подхватить его под руки, чтобы он не грохнулся на пол. Ему протянули бутылку с пивом, он пил его большими глотками. Но глаза его, заметил Литума, по-прежнему горели как угли. А кадык бегал вверх-вниз, словно зверек в клетке. Литума вернулся к стойке и тоже облокотился о нее, став напротив Дионисио и его жены. «Я уже пьян», — пронеслось в голове. Но опьянение было без радости, без душевного подъема, совсем не похожее на то, что он испытывал в Пьюре, сидя со своими братьями-непобедимыми в баре Чунги. Теперь он был уверен, что это она, Мече. «Она, ясно, она». Та самая девчонка, которую прибрал к рукам Хосефино и которую он отдал под залог, чтобы получить деньги на игру в кости, и она потом исчезла — никто больше ее не видел. Сколько же воды утекло с тех пор, мать честная! Он так ушел в воспоминания, что не заметил, как пеон, пытавшийся потискать донью Адриану, подошел к стойке и теперь стоял в позе боксера, злобно глядя на Дионисио.

— А почему я не могу пощупать ее, почему только танцевать? — Пеон бухнул кулаком по стойке. — Почему? Объясни-ка мне, Дионисио!

— Потому что здесь находится представитель власти, — Дионисио указал на Литуму, — а в присутствии представителя власти надо вести себя подобающим образом.

Он вроде бы шутил, но Литума заметил, что за его словами, как всегда, крылись насмешка и подзуживание. Трактирщик с еле уловимым злорадством переводил взгляд с пьяного пеона на капрала.

— Какая еще власть, пошел ты на хрен! — заорал пьяный, не удостоив Литуму взглядом. — Здесь мы все равны. А если кто хочет повыпендриваться, мне на него наплевать! Не ты, что ли, говорил, что вино всех равняет? Так что лучше заткнись.

Дионисио посмотрел на Литуму, как бы желая сказать: «Ну и как вы теперь поступите? Дело-то касается больше вас, чем меня». Донья Адриана тоже ожидала, что он скажет, и другие пеоны, он чувствовал спиной, выжидательно уставились на него.

— Я здесь не как полицейский, а как любой другой клиент, — сказал он. — Ведь поселок уже закрыт, и я не имею никаких служебных обязанностей. Давайте-ка лучше выпьем.

Он поднял рюмку, пьяный пеон скопировал его жест, подняв пустую руку, и с полной серьезностью сказал:

— Ваше здоровье, капрал.

— А ведь я знал эту женщину, которая сейчас с Томасито, когда она была еще совсем пигалицей, — сказал вдруг Литума, сам удивляясь своей откровенности. — Она и тогда, в Пьюре, была красивой, а теперь и вовсе стала красавицей. Если бы ее сейчас увидели Хосефино или Чунга, они бы рты разинули от удивления — до чего хороша!

— Оба вы все врете! — Пьяный пеон снова озлобился, снова грохнул кулаком и угрожающе наклонился к хозяину погребка. —Говорю вам прямо в лицо. Вы тут можете морочить кого угодно, только не меня.

Дионисио нисколько не обиделся, на его физиономии не дрогнул ни один мускул, она осталась такой же оживленной и добродушной, он только перестал изображать медведя. В руке он держал бутылку, из которой все время подливал Литуме. Он неторопливо наполнил еще одну рюмку и протянул ее пьяному пеону:

— Знаешь, чего тебе не хватает, приятель? Глотка чего-нибудь покрепче. Пиво — для тех, кто не умеет толком пить, кто только и может, что накачаться и рыгать. На-ка вот, попробуй этого, почувствуешь вкус винограда.

«Не может того быть, что Мерседес — Мече», — думал Литума. Конечно, он ошибся. Из-за этого писко все перепуталось в голове. Смутно, как сквозь туман, он увидел, что пьяный пеон послушно взял из рук Дионисио рюмку, вдохнул запах писко и, полузакрыв глаза, стал медленно пить его маленькими глотками. Казалось, он наконец утихомирился, но не тут-то было: едва рюмка опустела, он снова рассвирепел:

— Вы вруны, чтобы не сказать чего-нибудь похуже! — рычал он, угрожающе надвигаясь на хозяина погребка. — Кто обещал, что ничего не случится? Но все случилось! Уайко прошел, строительство закрыли, нас всех уволили. Несмотря на все ваши мерзости, здесь стало еще хуже, чем раньше. Нельзя столько времени пудрить людям мозги, а потом делать вид, будто это вас не касается.

Он вдруг задохнулся и замолчал, лицо его исказилось, он с подозрением озирался. Испугался, что наговорил лишнего? Литума взглянул на хозяина погребка. Тот как ни в чем не бывало наполнял рюмки. Донья Адриана вышла из-за стойки, подошла к пьяному пеону и взяла его за руку.

— Идем потанцуем, чтоб прошла твоя злость. Ты же знаешь, что злиться вредно для здоровья.

По радио передавали музыку, но ее едва было слышно из-за постоянных помех. Пеон начал танцевать болеро, прижимаясь всем телом к донье Адриане. Как сквозь туман Литума видел, что он уткнулся носом ей в шею, а его руки гладят ей ягодицы.

— А где остальные? — спросил капрал. — Ну те, что пили пиво тут недавно?

— Минут десять как ушли, — ответил Дионисио. — Не слышали, как хлопнула дверь?

— А вам все равно, что лапают вашу жену? У вас на глазах?

Дионисио пожал плечами.

— Пьяные не соображают, что делают. — Он засмеялся и с удовольствием вдох-

нул запах писко из рюмки. — А вообще-то, велика важность. Подарим ему десять минут счастья. Вы только посмотрите, как он наслаждается. Не завидно?

Пеон почти повис на донье Адриане. Он уже не танцевал, не двигался, только его руки блуждали по плечам, спине, груди и рукам женщины, а рот искал ее губы. Она не останавливала его, ее лицо выражало скуку и легкое отвращение.

— Ну и нажрался. — Литума сплюнул на пол. — Как я могу завидовать этой скотине?

— Животные счастливее нас с вами, господин капрал. — Дионисио засмеялся и опять превратился в медведя. — Они живут, чтобы есть, пить и спариваться. Они ни о чем не размышляют, у них нет забот. Это мы с вами несчастные, нас можно пожалеть. А он сейчас встречается со своим зверем, и посмотрите, как он счастлив.

Капрал подвинулся поближе к трактирщику, положил руку ему на плечо:

— Он упоминал о каких-то мерзостях, которые вы здесь вытворяли. Что он имел в виду? Что вы делали, чтобы предотвратить то, что все равно случилось? — Литума говорил медленно, отчетливо выговаривая каждое слово. — Что здесь было?

— Спросите его самого, господин капрал, — ответил Дионисио, двигаясь медленно и неуклюже, как медведь, выполняющий команды дрессировщика. — Если вы верите тому, что несет этот пьяница, то слушайте его и дальше. Разговорите его — он вам все выложит.

Литума закрыл глаза. В голове все закружилось, и в этот круговорот затянуло Томасито и Мече в тот самый момент, когда они обнимались и любили друг друга.

— Мне уже все равно, — пробормотал он невнятно. — Я уже закрыл лавочку. Мне прислали новое назначение. Уеду в верховья Мараньона и там забуду о сьерре. Я рад, что апу наслали уайко на Наккос. И что остановится строительство дороги. Благодаря апу я могу убраться отсюда. Никогда в жизни не чувствовал себя так погано, как здесь.

— Писко поможет вам узнать всю правду о себе. — Голос хозяина погребка звучал ободряюще. — Так бывает со всеми. Продолжайте, как начали, и скоро вы посетите своего зверя. Кстати, кто он? Ящерица? Или поросенок?

Пьяный пеон что-то крикнул, Литума повернулся в его сторону. То, что он увидел, заставило его вздрогнуть от отвращения. Пеон распахнул свой тесный пиджак, расстегнул ширинку и обеими руками держал свой темный отвердевший член. Демонстрируя его донье Адриане, он заплетающимся языком выкрикивал:

— Полюбуйся, старушка! Стань на колени, сложи руки и скажи ему: «Ты мой бог». Не ломайся, ну!

На Литуму напал приступ смеха. И в то же время он едва сдерживал рвоту, а в голове не переставая проносились мысли о Мерседес. Неужто и впрямь это та самая пьюранка, которую он знал когда-то? Да разве возможны такие совпадения, прости, господи?

Сеньора Адриана повернулась и направилась на свое обычное место. Там она опять облокотилась о стойку и с безразличным видом воззрилась на пьяного пеона с расстегнутой ширинкой. А тот, оказавшись в одиночестве в середине зала, удрученно созерцал свой член.

— Вы тут спрашивали о мерзостях, господин капрал, — сказал Дионисио. — Вот перед вами одна из них, полюбуйтесь. Видели вы что-нибудь мерзопакостнее этого закопченного члена?

Он насмешливо хмыкнул, донья Адриана засмеялась, Литума тоже улыбнулся из вежливости, хотя ему совсем не было смешно. Тошнота снова подступила к горлу — вот-вот его могло вырвать.

— Сейчас я уберу этого хмыря, — сказал он. — Уже поздно, его совсем развезло, он вам не даст покоя всю ночь.

— Обо мне не беспокойтесь, я привык, — сказал Дионисио. — Такие спектакли — часть моей работы.

— Сколько я вам должен? — спросил капрал, потянувшись за бумажником.

— Сегодня все за счет заведения. — Дионисио протянул ему руку. — Я вам не сказал, что мы завтра закрываем его?

— Тогда большое спасибо.

Литума подошел к пьяному, обхватил его за плечи и стал потихоньку подталкивать к двери:

— Пойдем-ка, выйдем на свежий воздух, приятель. Давай, давай.

Тот и не думал противиться. Уже на ходу он быстро застегнул ширинку.

— Конечно, господин капрал, — бормотал он, заваливаясь на бок. Если с людьми говорят по-человечески, люди понимают.

Снаружи их встретила ледяная темнота. Не было ни дождя, ни ветра, как в другие ночи, но температура сильно понизилась, и Литума чувствовал, что у бурильщика зуб на зуб не попадает, он дрожал, съежившись под своими одежками, которые, как смирительная рубашка, сковывали его движения.

— Ты, верно, ночуешь в бараке, уцелевшем от уайко, — сказал Литума, поддерживая его за локоть. — Я тебя провожу, дружище. Давай-ка возьмемся за руки, не то в этой темноте угодим в какую-нибудь яму и сломаем шею.

Они шли медленно, спотыкаясь о камни, толкая друг друга во мраке, который не могли рассеять мириады звезд и узкий серп луны. Неожиданно бурильщик остановился и, схватившись за живот, согнулся пополам.

— Тебя мутит? Поблюй — станет легче. Натужься, чтоб вся дрянь вышла. Я тебе помогу.

Бурильщик, скорчившись, содрогался от приступов рвоты, а Литума, стоя позади, сдавливал ему обеими руками живот, как он это обычно делал в Пьюре с непобедимыми, когда те перебирали в баре Чунги.

— Ты ко мне подкатываешься, — вдруг запротестовал пеон, с трудом выговаривая слова.

— Этого тебе, наверно, хочется, — засмеялся Литума. — Нет, мужчины меня не интересуют, мудак.

— Меня тоже, — промямлил пеон, все еще давясь от приступов рвоты. — Но в Наккосе все становятся гомиками, а то и похуже.

У Литумы забилось сердце: этого пеона тоже что-то грызло, он хотел от чего-то освободиться, искал, кому излить душу.

Бурильщик наконец выпрямился, с облегчением вздохнул.

— Вроде стало лучше. — Он сплюнул. — Собачий холод.

— Пробирает до костей, — согласился Литума. — Пойдем-ка поскорей.

Они снова взялись за руки и, спотыкаясь, с трудом вытаскивая ноги из грязи, побрели дальше, проклиная все на свете. Вскоре в ночной темноте они смогли различить еще более черное пятно — барак. Слышно было, как среди горных вершин свистит ветер, но здесь все было тихо и спокойно. Хмель у Литумы прошел, голова стала ясной, мысли четкими. Он даже забыл о Мерседес и Томасито, которые миловались сейчас там наверху, забыл и о Мече тех давних времен, когда видел ее в маленьком баре неподалеку от стадиона Пьюры. В голове кружились другие мысли и все более отчетливо вырисовывалось решение: «Я должен расколоть его».

— Покурим, приятель? — обратился он к пеону. — Перед сном?

— Вы останетесь здесь? — Бурильщик, похоже, тоже протрезвел.

— Неохота карабкаться вверх в такую пору. А кроме того, не хочу мешать влюбленной парочке. Думаю, в бараке найдется для меня свободная кровать.

— Не кровать, а топчан. Но все матрасы уже унесли.

До Литумы из глубины барака донесся храп. Бурильщик рухнул на первый же топчан справа от двери. Капрал зажег спичку и осмотрелся: рядом стояли еще два пустых топчана. Он сел на ближайший, раскурил две сигареты, протянул одну бурильщику и радушно сказал :

— Нет ничего лучше, как хорошенько затянуться перед сном, уже лежа в постели, когда начинаешь засыпать.

— Я могу хватить лишку, что и говорить, — сказал пеон. — Только я не дурак. — Литума видел, как заметался в темноте огонек сигареты, и ощутил запах дыма, который бурильщик пустил прямо ему в лицо. — Почему вы остались здесь? Что вам от меня надо?

— Узнать, что случилось с теми тремя, — тихо, почти шепотом, ответил Литума, сам удивляясь охватившему его страху: не упустит ли он сейчас последний шанс? — Не для того, чтобы арестовать кого-нибудь. Не для того, чтобы отправить подозреваемого в Уанкайо. Не по службе. А просто из любопытства, друг. Клянусь тебе чем хочешь. Что случилось с Касимиро Уаркаей, с Педрито Тиноко и Медардо Льянтаком, он же Деметрио Чанка? Расскажи мне, пока выкурим по последней сигарете.

— Ни за что на свете, — прохрипел в ответ пеон и шумно задышал. Литума услышал, как он возится на своем топчане. А вдруг сейчас вскочит и бросится вон из барака? Укроется у Дионисио и доньи Адрианы? — Можете меня убить. Можете облить меня бензином и чиркнуть спичку. Можете делать со мной все, что вы делаете с терруками. Все равно ничего не скажу.

— Я тебя и пальцем не трону, что ты, браток. — Литума говорил медленно, всячески подчеркивая дружеское расположение к пеону. — Просто ты мне расскажешь по-приятельски — и я уйду. А завтра ты покинешь Наккос насовсем, и я тоже. Каждый пойдет своей дорогой. И мы с тобой никогда больше не встретимся. Если расскажешь, нам обоим будет легче. Ты вытащишь эту занозу, что сидит у тебя внутри. И я тоже избавлюсь от занозы, что мучила меня все это время. Я даже не знаю, как тебя зовут. Расскажи только, что тут произошло. Чтобы мы оба спали лучше, ты и я, приятель.

Наступило долгое молчание, изредка нарушаемое храпом пеонов, спавших в глубине барака. По тому, как разгорался огонек сигареты, Литума мог следить за жадными затяжками бурильщика. От дыма, который тот выдыхал в его сторону, стало пощипывать ноздри. Литума немного успокоился. Появилась уверенность, что пеон сейчас заговорит.

— Их принесли в жертву апу, ведь так?

— Апу? — Пеон заерзал. Его нервозность передалась капралу, он почувствовал зуд во всем теле.

— Ну, эти духи гор, — принялся он растолковывать, волнуясь все больше. — Эти муки, амару, божки, дьяволы, как их там еще называют, которые живут в горах и навлекают всякие несчастья. Это им приносили жертвы, чтобы они не вызвали уайко? Чтобы пиштако не потрошили пеонов? Так или нет, говори!

— Я не понимаю на кечуа, — просипел бурильщик. — Никогда раньше не слышал таких слов. Апу?

— Нет, ты скажи, им приносили жертвы, чтобы избавиться от уайко и пиштако? — настаивал Литума.

— Медардо был мой земляк, я тоже из Андамарки, — сказал пеон. — Он представлял там администрацию, вот из-за чего он пострадал.

— Ты больше переживаешь за бригадира? — спросил Литума. — Других тебе не так жалко, как земляка. Что ж, это понятно. Я, например, больше всего жалею о немом, о Педрито Тиноко. А вы были друзья, ты и Медардо Льянтак?

— Знали друг друга. Он с женой жил наверху, на склоне горы, они боялись, что терруки пронюхают, что они теперь в Наккосе. Он ведь ускользнул от суда терруков. И знаете как? Спрятался в могилу. Иногда мы разговаривали с ним. Его тут постоянно пугали парни из Аякучо, Абанкая, Уанкавелики. Говорили ему: «Рано или поздно тебя сцапают». Или еще: «Ты тут живешь среди нас, и нам потом от твоих дел не отмазаться. Катись-ка лучше отсюда подобру-поздорову».

— Поэтому его и принесли в жертву? Чтобы не испортить отношения с терруками?

— Не только поэтому, — живо возразил бурильщик. Он часто затягивался и по-прежнему пускал дым в лицо Литуме, было похоже, что он снова захмелел. — Не только поэтому, будь оно все проклято.

— А тогда почему еще?

— Эти суки сказали, что терруки его казнят. А так как все равно надо было выбрать кого-то, то лучше было взять его, ведь смерти ему вроде бы так или иначе не избежать, он у терруков занесен в список.

— То есть ты хочешь сказать, нужно было найти кого-то, кем пожертвовать?

— Но все это был сплошной обман! — все больше негодовал пеон. — Разве мы после этого не остались без работы? И знаете, что они еще говорят?

— Что?

— Что мы не оказали полного уважения и поэтому вызвали недовольство. Эти говнюки сказали, что мы должны сделать кое-что похлеще. Понимаете?

— Прекрасно понимаю, — прошептал Литума. — Только что может быть хлеще, чем убить Альбиноса, или этого твоего бригадира, или беднягу немого ради каких-то апу, которых никто никогда не видел и никто толком не знает, существуют ли они вообще.

— Да убить это было бы еще ничего, — повысил голос бурильщик, и Литума подумал, что те, что спят в глубине барака, могут проснуться и заставить их замолчать. Или подкрадутся на цыпочках и заткнут бурильщику рот. А его самого за то, что он слышал то, что слышал, отведут к заброшенной шахте и сбросят вниз. — Мало ли людей убивают повсюду? Убить — это самое простое. Теперь это такая же пустяковина, как пойти облегчиться, разве не так? Нет, вовсе не убийство та заноза, что мучит здесь людей. Не меня одного, но и многих других, тех, кто ушел. Не убийство, а совсем другое.

— Что другое? — Литума похолодел.

— Этот вкус во рту. — Бурильщик перешел на шепот: — Он не проходит, сколько ни полощи рот. Я и сейчас его чувствую. На языке, на зубах. И даже в горле. И глубже, чувствую его в желудке. Будто только что перестал жевать.

Окурок обжигал Литуме палец. Он кинул его на пол, растоптал. Он понял, что ему сказал пеон, и не хотел знать больше.

— Так, значит, и это тоже. — Он ловил воздух открытым ртом, никак не мог вдохнуть.

— Даже когда я сплю, не могу от него избавиться, — говорил бурильщик. — Только когда пью. Вот почему я запил, стал алкоголиком. А мне нельзя пить, у меня открылась язва. Я испражняюсь с кровью.

Литума хотел вытащить другую сигарету, но руки дрожали, пачка упала. Он искал ее, шаря в темноте руками по сырому полу, усеянному мелкими камушками и обгорелыми спичками.

— Все в этом участвовали, все, и я тоже, хотя и не хотел, но тоже, — зачастил пеон. — Вот что меня мучит, вот от чего меня мутит — эти куски, которые я глотал.

Литума наконец нащупал пачку. Вытащил две сигареты. Сунул одну в рот, подождал, пока перестанут трястись руки. Зажег спичку, молча протянул раскуренную сигарету лежавшему пеону. Смотрел на тлеющий в темноте огонек, морщась время от времени от вонючего дыма.

— И ко всему прочему я боюсь спать, — снова заговорил бурильщик. — Стал трусом, а раньше ничего не боялся. Но что делать со снами? Если не напьюсь, всю ночь меня душат кошмары.

— Ты видишь себя — как ты ешь своего земляка? Это тебе снится?

— Себя-то я редко вижу во сне, — послушно стал объяснять пеон. — Только их. Как я вырезаю им яички, нарезаю ломтиками, пробую на вкус, будто это лакомство. — Литума почувствовал, что пеон снова скорчился, — видно, у него опять начался приступ тошноты. — А когда вижу себя — еще хуже. Эти двое являются ко мне и прямо руками выдирают мне яйца. И поедают их у меня на глазах. Поэтому

уж лучше пить, чем видеть такое. А тут язва, чтоб ее. Да разве это жизнь? Провались все пропадом!

Литума резко поднялся.

— Надеюсь, это у тебя пройдет, приятель. — Он почувствовал головокружение и вынужден был опереться о топчан. — Желаю тебе найти работу там, куда ты идешь. Думаю, тебе будет нелегко. Вряд ли ты все скоро забудешь. И знаешь, что я тебе еще скажу?

— Что?

— Я жалею, что так добивался правды. Лучше бы я остался при своих подозрениях. А теперь я ухожу, а ты поспи. Мне, правда, придется провести ночь под открытым небом, не хочу мешать Томасито. Но я не хочу спать здесь, около тебя и тех пеонов, что там храпят. Не хочу проснуться завтра утром и увидеть твое лицо и разговаривать с тобой как ни в чем не бывало. Пойду на свежий воздух.

Спотыкаясь в темноте, он дошел до двери барака, распахнул ее и вышел наружу. В лицо пахнул ледяной ветер, и как ни был потрясен Литума, он залюбовался великолепным серпом луны и яркими звездами, блистающими в чистом небе над зубчатыми вершинами Анд.

■

ОЛИВ СИНИОР

Рассказы. Стихи

С английского

Вид с террасы

над немым обрывом —
робкое пенье
невинных в неведенье трав.

Рильке. Вынесен на вершины сердца
Перевод А.Карельского

I

Домик появился в одночасье. Как-то мистер Бартон провел два дня в постели, а поутру на третий Маркус по обыкновению выкатил его кресло к столу на террасе, и он тут же увидел домик. Гневу его не было предела. Да и немудрено! Ведь совершилось истинное преступление, святотатство, нечто невиданное и неслыханное!!! На склоне прилепился домик! На *его* склоне! На склоне, что высился над деревней и являлся его взору всякий раз, когда он сидел на террасе. Домик был, разумеется, маленький: футов двадцать на двенадцать, не больше; на длинной стене темнели дверь и одно окошко. Короче, крошечный, кукольный домик. Вроде детского рисунка: стенка, окно, крыша, труба. Такие хибары вырастали вокруг города ежедневно точно грибы – зримое свидетельство бесконтрольности и беззакония, царивших в обществе. Но на его склоне никто не смеет селиться! Никто не смеет торчать тут словно бельмо на глазу! Его собственный дом стоял на пригорке, возвышаясь над долиной и ютившейся в ней деревней, и окрестные холмы открывались ему во всей своей нетронутой красоте. Где-то дальше, конечно, были и дома, вполне приличные дома, но ничто и никогда не застило вид ближних склонов.

Ему даже в голову не приходило, что обиталище человека может обезобразить *его* склон: уж слишком он крут и неприступен. Здесь и деревья-то никакие не приживались, кроме манговых. В засушливые месяцы трава на склоне сгорала на корню, только колючие кустики агавы время от времени расцветали буйной, неукротимой желтизной. На середине склона, прямо перед его террасой росло единственное маломальски примечательное дерево, капок. Из-за волокон его называли по-всякому: и войлочным деревом, и шерстяным. Когда-нибудь, очень не скоро, оно станет огромным и раскидистым; пока же выглядит довольно чахло, как, впрочем, все молодые деревья этой породы. Он наблюдал за ним год за годом: вот чуть подросло, вот сбросило листья к зиме, вот облачилось по весне в яркие зеленые одежды. И вдруг – на тебе! Прямо за деревом, словно под прикрытием его рук-ветвей, кто-то выстроил дом. На *его* склоне. На самом-то деле склон ему не принадлежал, но никому, кроме него,

© Longman Group UK Limited, 1989
© О.Варшавер. Перевод, 1997

нужен и не был. Кто еще вздумает глазеть на голый склон триста шестьдесят пять дней в году двенадцать лет кряду?

Его первый безудержный гнев мгновенно сменился презрением. Какой идиот решил строиться в этом богом забытом месте? Как они будут сюда добираться? В засуху эту хибару слизнет первый же пожар, в сезон дождей смоет первый ливень. И потом, какой смельчак поселил свою семью у подножия шерстяного дерева? Неужели он не боится привидений, что водятся в корнях шерстяных деревьев? Ведь в них свято верят все негры Вест-Индии. Впрочем, нынче возможно всякое. Потому что все пошло прахом – вплоть до старинных обычаев и суеверий, что держались незыблемо несколько сотен лет. Каждый мнит себя Господом Богом, каждый норовит растоптать традиции, правила, вековой уклад... Даже привидений и шерстяных деревьев не боятся. Должно быть, эту хибару выстроил какой-нибудь отпетый курильщик-наркоман, из тех, что призывают негров вернуться в Африку и поклоняться эфиопскому царю. Бесстыднику, верно, понадобилось укромное местечко, чтоб хранить свою травку, – подальше от городской полиции. И ведь прав: какому блюстителю закона придет охота карабкаться на гору и выяснять, кто тут живет и чем промышляет? Да и вообще, разве теперь властям есть до чего-нибудь дело?

Однако, рассмотрев домик попристальнее – не так уж на самом деле и пристально, поскольку со зрением у него было худо, – он поневоле отметил, что выглядит эта постройка аккуратнее, чем любой виденный им прежде дом бедных поселенцев: фундамент крепкий, каменный; доски пригнаны друг к дружке ладно и плотно. Мистер Бартон любил добротные дома и вещи. Он немало гордился своим собственным домом, выстроенным и выдраенным, словно образцовый корабль. Сам он плотничать не умел, но стоял над рабочими с утра до ночи, отслеживая каждую доску, каждый гвоздь. Да это и понятно: мистер Бартон, человек крайне тщательный, превыше всего ставил порядок. Он боготворил стройный, упорядоченный мир, где все идет по заранее предписанным правилам и всему есть свое время и место. И вдруг – этот безумный дом на склоне. Разве ему тут место? Как, в конце концов, они ухитрились поднять на гору балки и доски? Кто выстроил его так быстро – чуть ли не за ночь? И самое главное, кто собирается тут жить?

II

В тот день ответа на последний вопрос он так и не получил, хотя, не имея особенных дел, наблюдал за домиком до позднего вечера. Наутро, едва выехав на террасу, он опять взглянул на соседний склон, на домик, что прочно угнездился на полпути меж деревней и небом, и – там, на пороге, стояла женщина. Она была слишком далеко, не рассмотреть, но показалась ему огромной, какой-то даже первобытной. Ее тело заполняло весь дверной проем. Вот она двинулась, вот махнула рукой. Тут он заметил на склоне, чуть ниже, какое-то шевеление. Дети! Один, два... Три. Крошечные фигурки, различимые лишь благодаря ярким одежкам. Мотаясь и подпрыгивая, точно воздушные шарики на нитках, они спускались вниз по тропе – мимо шерстяного дерева, мимо зарослей, то скрываясь, то появляясь вновь. Наконец они исчезли в манговой роще за деревней. Женщина еще долго стояла на пороге, потом ушла в дом, но дверь оставила открытой. За завтраком, который Маркус подал ему, как обычно, на террасу, мистер Бартон все поглядывал на соседний склон. Но там было тихо. Потом женщина вышла из-за дома, держа что-то перед собой двумя руками, и, когда она начала развешивать вещи на веревке, он сообразил, что это лохань с бельем, и понял даже, что в доме есть грудной ребенок, поскольку и на таком расстоянии было ясно, что развешивает она пеленки и подгузники. Так, значит, младенец, трое детей постарше, мать и, по всей вероятности, отец... И все в таком маленьком домике?!

Вот ведь лихая женщина! В два дня управилась! Только въехала в выросший за ночь дом и вот уже поутру отправляет детей в школу, и наверняка в чистых, отутюженных рубашечках! И самое главное – как она заставила того, кто выстроил ей дом, еще и веревку для белья натянуть, да так быстро?

Он вспомнил – внезапно и остро, поскольку воспоминания эти были редки, – свою первую жену, Марию. Как безропотно ждала она, чтоб он натянул бельевую веревку возле их первого дома, ждала долгие недели, а он возился со своими бумагами, документами, фотографиями, «кабинетом»... В конце концов она кого-то наняла... Да, она была очень порядочная женщина, изысканно воспитанная, немногословная, никогда ни жалобы, ни упрека. Она понимала, что мужчина, за которого она вышла, пробивается наверх и ему недосуг выполнять ее просьбы, его ждут дела поважнее. Она понимала – потому-то он на ней и женился. Он выбрал жену под стать своему положению, своему будущему, как выбирал костюмы, дома, друзей, районы с благопристойными соседями. Эта жена ему подходила. Светлокожая девушка – намного светлее его самого, – достойного, как и он, происхождения: ее отец работал в аптеке в маленьком городке и держал неподалеку ферму, где проживала семья. Мать была учительницей. Родители, конечно, мечтали, чтобы Мария выбрала в мужья не его, а белого солдата из гарнизона, он тоже ухаживал за ней всерьез. Но разве устоят любящие родители перед мольбами единственной дочери? Видно, не судьба ей была улучшить породу, а им – иметь белокожих внуков...

Теща всегда считала его кожу слишком темной, хотя Генри был куда светлее ее собственного мужа. Впрочем, иные достоинства за ним признавались: за дочь сватался молодой, целеустремленный человек, с хорошими перспективами на государственном поприще, поскольку в те времена талантливая цветная молодежь как раз получила возможность расти по службе почти неограниченно. Кстати, его родители были не менее уважаемыми людьми, чем ее, а земли и денег у его семьи было куда больше. Мария, молоденькая, хорошенькая, любила все оттенки бежевого и серого и вообще все мягкие пастельные тона. Она сохранила эту любовь на всю жизнь. Изящная одежда скрашивала ее дни, которые проходили в постоянных попытках ему угодить; угодить же с каждым годом становилось все труднее и труднее. Ее усилия утратили для него всякий смысл достаточно быстро. Она так старалась, а он с утра до вечера пропадал в офисе. Позже, поднявшись по служебной лестнице, став членом важных комитетов и комиссий, он проводил время в клубе, среди таких же амбициозных людей с коричневой кожей, решивших во что бы то ни стало доказать себе и миру, что они не хуже белых, что они достойны занять места тех, кто отправляется «домой», отслужив в колониях по тридцать, а то и сорок лет. А еще они старались доказать, что они лучше черных, поскольку черные уже наступали на пятки и зачастую превосходили их на кортах и площадках для гольфа, в некоторых профессиях и – признаться честно – в умении делать деньги. Только деньги эти делались способами, недостойными коричневых людей, ибо их кумиры, белые люди, так никогда не поступали.

Он уже стоял на нужной ступени, стоял твердо, он был одним из тех, кто останется у кормила, когда белые наконец уйдут. Он и такие, как он, останутся управлять государственными и общественными структурами, они будут врачами, юристами, политиками. Самого мистера Бартона политика удручала. Когда товарищи по клубу толковали о свободе и деколонизации – а случалось это все чаще и чаще, – он лишь кивал, улыбался и спешил удалиться понезаметнее. Ему претили радикальные разговоры. Он, разумеется, понимал, что разговоры эти – знак грядущих перемен, что по иронии судьбы именно он выиграет, соберет жатву с возделанных политиками полей. Но сам он предпочитал жизнь спокойную и скромную, ту, которая даст ему возможность продвигаться все вверх и вверх, чтобы в один прекрасный день не только усесться в кресло белого человека, но и столь же естественно перенять его легкий, свободный стиль, покрой его костюмов, небрежность его шуток, вкус его пищи, короче, ту жизнь, ради которой и родился на свет мистер Бартон. Ведь это единственный путь возвыситься, избавиться от всего, что он так ненавидел в своей стране, в своем народе, в своих родителях: от грубости и панибратства, от шумливости и пестроты, от избыточности в речи и жестах. Как же презирал он своих соотечественников за то, что они покусились на границы между расами, между начальниками и подчиненными, между мужчинами и женщинами. Эти границы священны, и он не преступит их вовеки. Он всегда следовал нерушимым законам, которые сам для себя ус-

тановил, – по образу и подобию тех, чьи обычаи наблюдал всю жизнь и кого почитал людьми воистину высшими. Никто и никогда не смог бы обвинить его в «некорректности».

В те вечера, когда он возвращался с работы или из клуба достаточно рано, его дети не спали, а сидели над тетрадями и учебниками. Дети были его отрадой – все трое светлокожие, с прямыми, совсем не курчавыми волосами (их с Марией брак породу все-таки не испортил); эти дети придутся ко двору и в Нью-Йорке, и в Лондоне, куда он непременно пошлет их учиться; они смышленые, с готовностью слушаются старших, преуспевают в науках, в музыке, в пении, в спортивных состязаниях, в дискуссионных клубах; они всегда в обществе, всегда на виду... И все это безусловная заслуга его жены, ибо она отдавала себя детям ежедневно и ежечасно. Сам он не принимал участия в буднях своего семейства, разве что, если требовалось, порол сыновей. Повод для наказания они давали достаточно редко, но в этих случаях он брал ремень твердой рукой: каждому по справедливости, каждому по заслугам. Осуществлялись наказания по воскресеньям, в единственный день, который он старался проводить дома. Если неотложное дело не гнало его в офис, он шел с семьей в главный англиканский храм, где молились губернатор, высшие чиновники и лучшие люди страны. Он предпочитал именно этот храм, хотя воспитан был в лоне методистской церкви, а жена была пресвитерианкой. После службы они усаживались в недавно приобретенный черный «остин» и катались по городу, по самым модным и людным местам. К их приходу Мира, старая нянька Марии, помогавшая ей по дому с самого дня свадьбы, стряпала плотный воскресный обед. После обеда он любил вздремнуть – до вечерней прохлады. Потом они или шли в гости, или принимали у себя, а после ужина он играл с детьми или слушал, как они поют и музицируют, – при этом он тоже дремал, но с открытыми глазами; он научился этому от своего бывшего босса, англичанина. Главное – успеть вовремя проснуться и громко захлопать в ладоши.

Изредка он возил семью в горы, и они доезжали до той самой деревушки, где он живет теперь. Дальше проезжей дороги просто не было. Они останавливались на берегу ручья и устраивали пикник. Иногда взбирались на пригорок, поросший могучими деревьями, и там наверху, прислонясь к стволу, сняв пиджак, распустив тугой галстук, он слушал радостный щебет детей и мечтал построить тут дом, на этом самом месте, среди гор, против голого каменистого склона, где нет ничего, кроме травы и колючек агавы. Этот склон самой своей наготой отличался от необузданной пышности окружающей природы и являл тот аскетизм, ту чистоту, которых он, мистер Бартон, стремился достигнуть в жизни. Он жаждал порядка, покоя и незыблемой уверенности в завтрашнем дне.

Еще маленьким ребенком в большой и шумной семье он твердо знал, чего именно хочет: отрешиться от всего шумного, агрессивного, от всего, что разрушает все и всяческие границы и тем самым лишает людей уверенности и определенности. Он мечтал найти умиротворение в чем-то далеком, пусть даже чуждом, как горы, что окружают его сейчас. Горы в конце концов и принесли покой, горы и – отъединение от всех вокруг, включая и его собственную семью. Впервые же этот покой объял его благодаря стихам, которые они разбирали и разучивали в школе с миссис Кинг и которые – распознав в мальчике «тонкость натуры» и талант – миссис Кинг побуждала его писать. Это были стихи о нарциссах и меловых скалах Англии, о снегах и безутешных девах, отважных рыцарях и увядающих цветах, о мире незыблемом, имеющем корни, стержень, ценности, которых окружавший его реальный мир был лишен напрочь. Когда он – единственный из всех претендентов! – получил стипендию для учебы в старших классах, мистер Уимпл, учитель английского и сам настоящий англичанин, продолжал поддерживать в нем любовь к английской традиции. После школы он сделался чиновником, и по мере роста по службе ему посчастливилось работать под началом целой череды англичан. Все они ценили в нем «тонкую натуру» и пристрастие к «цивилизованному», то есть английскому. Пристрастие сохранилось в нем навсегда, и в конце концов именно этот голый горный склон, возвышающийся над буйно цветущей долиной, стал для него здесь, в родной стране, воплощением иной, упорядоченной жизни.

Он стал мечтать о доме, глядящем на гору, и мечты были поначалу бесплодны, поскольку заработков его едва хватало на достойную, респектабельную жизнь. Однако он был бережлив и каждый месяц выкраивал хоть немного и клал на особый счет. Потом умер отец, и ему перепало кое-какое наследство. Он тут же все продал и смог купить землю. Об операциях этих он не рассказывал никому, даже жене. Ему доставляло несказанное удовольствие привозить ее на пикник в знакомое место, валяться на травке на собственной земле и знать, что это его тайна. Жена так и умерла, ни о чем не подозревая. Строить дом он начал уже после ее смерти – чтобы заполнить внезапную пустоту выходных дней. Долгое время дом оставался его убежищем по воскресеньям. А выйдя на пенсию, он переселился сюда окончательно.

Теперь он самодовольно сравнивал свой огромный, просторный, крепкий дом с этим идиотским строением на склоне. Сарай, да и только. И женщина в нем живет нелепая! Ну не дура ли? Послушалась мужчину, который вздумал выстроить этот сарай в таком труднодоступном и неплодоносном месте. Ей-то, верно, и невдомек, что ничегошеньки она тут не вырастит: ни дерева, ни кустика, ни цветка. Этот каменистый сланцевый склон будет покрыт только цепкой травой – во веки веков. И вообще, женщина тут долго не задержится, и ей просто не хватит времени что-то вырастить. Первый майский ливень смоет ее хибару со склона, словно ее тут и не было. И он, мистер Бартон, тут же о ней позабудет.

III

Однако хибара устояла. Месяцы превратились в годы; шерстяное дерево становилось все раскидистее; прилепившийся под ним домик все больше затенялся по весне, когда на ветвях появлялись нежно-зеленые листья, но и все более жгучими были опалявшие его лучи, когда дерево оголялось – неизбежно, круг за кругом, год за годом. В будние дни дети спозаранку отправлялись вниз, в школу: всегда чистенькие и наутюженные. И число их росло. В школу теперь ходили четверо, а на веревке по-прежнему сушились пеленки. Что самое удивительное, мужчину он никогда не видел, хотя наблюдал за соседями пристально, каждый день, даже по нескольку раз на дню. Видел он только женщину – на пороге или у бельевой веревки – и детей, шедших гуськом то вниз, то вверх по склону. По вечерам и воскресеньям дети копошились в пыли возле дома. А мужчины не было. Откуда же взялись эти дети? Кто их кормит и поит? Одевает и обувает? Кто платит за школу? И – кто зачинает каждый год по новому ребенку?

Проще всего было бы спросить у Маркуса. Он наверняка знает, что это за люди, почему они здесь поселились, кто отец семейства – калека, больной, затворник? Или, наоборот, путешественник, который скитается где-то за морем и возвращается раз в году? А если б Маркус вдруг не знал, он бы все это с легкостью выяснил. Но мистер Бартон не спросил, не пошел по этому пути, заинтригованный чужой тайной. Тайна померещилась ему с самого начала и со временем стала не чужой, а своей. Домик на склоне, могучая женщина в дверном проеме, цепочка ребятишек, отсутствующий отец – все это стало наваждением, новым, волнующим звеном его мирка, который давно уже сузился до его собственной террасы и дома. Его вселенная имела очень четкие границы...

С тех пор как ушла его вторая жена, Джози (он так и не понял: то ли она его бросила, то ли он вышвырнул ее вон), он жил здесь один, под присмотром Маркуса, преданного Маркуса, с которым не расставался с самого детства. Дети изредка позванивали, но навещать его перестали – после того как он поочередно и неоднократно выказал каждому всю меру своего недовольства и разочарования. А как хорошо все трое начинали! Старший, Раймонд, был красив, умен, даже в университет поступил раньше своих сверстников. Он хотел стать юристом, и отец всячески поддерживал в нем это желание. Он определил Раймонда на практику в лучшую адвокатскую контору, но – началась война, и сын совершил самую большую, самую непростительную ошибку в своей жизни: пошел добровольцем в Королевские военно-воздушные силы. На фронт он не попал, войну закончил в тренировочном лагере под Монреа-

лем, да так и остался в Канаде, решив получить диплом юриста в Макгиллском университете. Женился на канадке и сам совершенно оканадился, потерял всякий интерес к Вест-Индии. После смерти матери он вообще ни разу не приезжал в родные края. А до этого навещал мать в одиночку, без жены и детей. И к себе в гости, в Канаду, тоже не звал. На смертном одре Мария сказала такое, что мистер Бартон не на шутку рассердился на жену – единственный, наверное, раз в их совместной жизни. Она сказала, будто Раймонд не хочет, чтобы его жена и дети знали, что он не из «чисто белой» семьи. Мистер Бартон шумел, кричал, топал ногами, но потом, после ее смерти, все вспоминал эти слова, ворошил их внутри себя, теребил, точно больной зуб. И какое-то горькое чувство подсказывало ему, что жена, возможно, была права.

Марк в детстве тоже блистал, вечно получал стипендии. Теперь он старший преподаватель, читает лекции в университете. Но и он подвел. Хотя иначе, чем Раймонд, совсем иначе. Для отца он теперь отрезанный ломоть. Потому что Марк съездил в Англию и привез оттуда жену – совершенно черную, угольно-черную девицу, даром что она тоже доктор-профессор не разбери пойми чего! Отец разругался с сыном вдрызг, и с тех пор они не разговаривают, вот уже четырнадцать лет.

Дочка. Ни с кем и никогда не был он так близок. Его радость, его спасение от всех разочарований. Хорошенькая, смышленая, послушная. Ах, как жаль, что он пошел у нее на поводу и не отправил учиться подальше, позволил поступить в местный университет. Зачем ей вообще понадобилось учиться? Вышла бы замуж, муж бы ее содержал. Отец считал, что ей надо учиться в заведении мисс Симпсон, на курсах машинописи, как делают все добропорядочные девушки, но ей приспичило стать врачом. А характером она пошла в мать, такая же тихая, но непреклонная: самовольно отправилась на экзамен, блестяще его выдержала, получила стипендию, и родителям оставалось только уступить. Студентам, даже местным, полагалось в те времена жить не дома, а в университете, но все выходные дочь поначалу проводила дома, и отец не мог налюбоваться на милое лицо, нарадоваться ее жизнерадостности и доброжелательности. А как он гордился ее независимостью! И вдруг на четвертом году учебы она совершенно переменилась. (Так он и не понял: вдруг или постепенно, подспудно нарастала в ней эта перемена.) Появлялась дома все реже, а когда появлялась, непременно вступала в перепалку с отцом, перечила ему по любому поводу. Вскоре все открылось: дочь связалась с радикалами. И не только политически. Какую боль испытал он, узнав, что дочь состоит в неприлично близких отношениях с Мартином Хау, да-да, тем самым Хау, что так опозорил свою достойную семью, став известным на всю страну пропагандистом коммунистической заразы. Он значился под номером один во всех разыскных списках: от местной полиции до Скотленд-Ярда и наверняка Интерпола. А дочь... Рассорившись с родителями, разорвав с ними всякие отношения, она переехала к этому Хау и стала с ним жить – невенчанная, без родительского и церковного благословения. Саднящая боль гложет его сердце до сих пор.

В конце концов она, конечно, порвала и с Хау, и с радикалами, стала известным педиатром, вышла замуж – также за врача, очень достойного человека, – родила троих детей, но отец так и не смог ее простить. И винил дочь в ранней смерти матери. Когда он думал о своих детях – а случалось это теперь достаточно редко, – он всегда задавался вопросом: в чем ошиблась, что проглядела их мать? Может, была чересчур мягкой, может, слишком потакала их желаниям? В любом случае виновата она, ведь воспитание детей было ее заботой.

А еще, думая о своей семье, он думал о женщине на склоне и о ее детях. Как она их воспитывает? Думает ли об их будущем? Мечтает ли – как он когда-то, – чтобы дети стали адвокатами, врачами, учителями? Только на что ей рассчитывать? Живет в кукольном домике, в одиночку растит детей, да еще рожает каждый год, точно от Святого Духа... В школу бегали теперь пять детей, а на веревке по-прежнему сохли пеленки.

Больше всего он любил выходные, потому что дети оставались дома и на склоне кипела бурная жизнь. Шерстяное дерево сильно разрослось, и соседи были видны хуже, чем прежде, но все же там постоянно происходило что-то новое. Однажды за кустами вдруг появился еще один домик, совсем крохотный: не то сарай, не то кухня.

И – чудо из чудес – вокруг дома по весне запестрели яркие точки. Россыпь не исчезала, и он вынужден был признать, что это – цветы! А в другой раз, буквально за одну ночь, домик вдруг покрылся слоем неброской желтоватой краски – единственно верной краски для этого склона; сродни траве, которая то багровела, то желтела, то бурела; сродни дереву, которое то зеленело, то вовсе стояло голым. А дети казались такими счастливыми!

Они резвились возле дома, играли с невесть откуда взявшейся собакой, потом она преданно бежала за ними следом по тропе – следом за яркими рубашонками, которые виделись ему издали воздушными шариками на нитках. Они то скрывались, то появлялись вновь, скатывались в долину, а вскоре снова слышался радостный лай – сперва далеко, потом все ближе и громче, – и дети снова появлялись в поле его зрения с разноцветными предметами в руках. Они карабкались по склону, и вот уже он различал пластиковые бутылки с водой... Потом он стал отличать одного мальчика, старшего, в костюмчике цвета хаки; серьезный и подтянутый, он отправлялся теперь в школу один, раньше всех. По субботам все были дома, и ветер порой доносил детские голоса, смех, заливистый лай собаки. Или ему это только мерещилось? Как бы то ни было, от этих звуков ему почему-то делалось очень грустно.

И он все время думал о женщине. Он ни разу не видел, чтобы она спускалась в долину, хотя наверняка спускалась, как же иначе, ведь дверь бывала иногда подолгу закрыта. Но женщину он видел то на пороге, то в окне – она вытряхивала какие-то тряпки, – то у бельевой веревки, когда она развешивала или снимала пеленки, вечные пеленки, день за днем, год за годом. Кто же отец этих детей? Может, он приходит глубокой ночью и уходит на рассвете? Почему его никогда не видно? Впрочем, кто бы ни был этот мужчина, дом и семья держатся на женщине, она вынашивает детей, она их растит, она отправляет их в школу – чистых и наглаженных. Порой она, стоявшая в дверном проеме, напоминала ему мифическое существо, вне возраста и вне времени; такими он запомнил валенсианских рыбачек на картинах Сорольи[1] – огромных, первобытных, мускулистых, слитых с морской стихией, мужеподобных и в то же время прекрасных и величественных. Он видел этих рыбачек в мадридском музее, когда они с Марией в первый раз ездили в Европу. Еще тогда он вдруг подумал: а каково любить такую женщину? Каково распластаться под могучими бедрами, хрустнуть в объятьях сильных рук, задохнуться под необъятными грудями? Такой же представлялась ему любовь с женщиной со склона. Такой же? Ведь он – в отличие от всех своих приятелей и знакомых – так и не познал настоящую черную женщину; сама идея такого совокупления казалась угрозой его упорядоченной вселенной, в ней таилось что-то дикое, неодолимое, чего не вычитать в популярных пособиях и брошюрах.

IV

Поездка в Европу долгое время оставалась пиком его жизни, кульминацией усилий и стремлений. Когда-то белые начальники ездили из колоний «домой». Ныне все цветные государственные чиновники, выбившиеся, как и он, в люди, мечтали об этом путешествии долгие годы. Вот и он мечтал, вынашивал, готовился, но – он не признался бы в этом никому, кроме себя самого, – Англия оказалась все-таки чужой, а не родной страной. Это его опечалило, ведь ему всегда мечталось, что он тоже приедет сюда, как к себе домой. А он вдруг остро ощутил цвет собственной кожи, жесткость волос, услышал свой «колониальный акцент». Многое, чем он гордился там, здесь выглядело банальным, провинциальным и неуместным. А еще его обескуражили капризный климат, серые стены и грязь Лондона, всеобщее безразличие, ледяная учтивость. Он тщательно скрывал разочарование, честно любовался сменой караула у Букингемского дворца, заставлял себя ходить по театрам и кинотеатрам, пытался привыкнуть к подземке. На самом деле им с женой куда больше понравилось на Средиземном море, в Италии и Испании. Здесь они внешне ни от кого не отличались, и, знай они язык, их наверняка принимали бы за местных.

---

[1] Хоакин Соролья (1863—1923) — испанский импрессионист.

И все-таки они были иностранцами. Покупали венецианское стекло в Италии, делфтский фарфор в Голландии, полотна, изображавшие бой быков, в Испании и безделушки на память – повсюду. Много позже, возвращаясь мысленно к этой поездке, он понял, что все они, по традиции ездившие в отпуск «домой в Европу», посещали, как сговорившись, одни и те же достопримечательности, возвращались с одинаковыми воспоминаниями и сувенирами, короче, двигались по наезженной колее, словно боясь оступиться или ошибиться. Ныне воспоминания утекли, как вода, он помнил разве что валенсианских рыбачек. Памятные сувениры тоже исчезли, должно быть, их попросту выбросили в тот короткий период, когда собственная жизнь была ему совершенно неподвластна и он даже согласился перестроить дом. Он был тогда женат на Джози. И по сей день, едва он о ней вспомнит, сердце яростно ускоряет стук, а голову сжимает, словно тисками, от гнева.

Он встретил ее после смерти Марии. У него и в мыслях не было жениться снова. Брак был в его представлении однократной, единовременной выплатой долга, ибо каждый человек имеет обязательства перед родителями и обществом и, если он хочет в этой жизни чего-то добиться, долг необходимо вернуть, иначе тебя сочтут странным или эксцентричным. Ничего особенного, тем более магического, для брака не требуется, дело это самое обыкновенное. Брак, жена, дети – нормальный атрибут цивилизованной жизни. Он на эту жизнь подписался и получил все в одном пакете. У него, мужа, в семье свои обязанности, у жены – свои, и коль скоро стороны выполняют, что предписано, семья существует, как полагается. Перед смертью Марии они уже были так далеки друг от друга и так формально выполняли супружеский долг, что утрата жены не вызвала в нем ни скорби, ни боли. Те стороны его жизни, которые прежде пересекались с жизнью Марии, ничуть не пострадали. Старая Мира, как и прежде, стирала и чистила одежду, стряпала, убирала дом и покупала продукты, ей помогал ее подросший сын Маркус. Постепенно Маркус стал в этом доме всем: привратником, садовником, дворецким, шофером. Хотя мистер Бартон отдавал его учиться ремеслу, Маркус с куда большей сноровкой накрывал на стол и готовил еду, ему явно нравилось водить машину и ухаживать за цветами, и хозяин его всячески поощрял. Он видел в Маркусе прирожденного слугу – преданного, скромного, честного и, самое главное, умеющего держать язык за зубами. Такого слугу надо удержать, не скупясь. Когда Мира совсем одряхлела и уехала в деревню – доживать, Маркус остался в домике на заднем дворе, отделенном от большого дома густыми зарослями китайской розы. Он так естественно принял на себя все обязанности матери, словно занимался этим всю жизнь, словно у него не было другой радости, кроме как являться по первому зову хозяина в любой час дня и ночи (с тех пор как мистера Бартона хватил первый удар, колокольчик в его домике частенько звенел по ночам). И мистер Бартон очень гордился, что они с Маркусом, двое мужчин, так хорошо справляются с хозяйством – безо всякой женской помощи. Помощь требовалась лишь раз в месяц, когда Маркус уезжал в деревню.

Так повелось еще в детстве: они с матерью всегда навещали ее родную деревню, где и поныне проживали бесчисленные тетушки и дядюшки, двоюродные и троюродные братья и сестры и прочие родственники, которым Маркус – кровь из носу – обязан был привезти кучу подарков из «города». Он садился на автобус в пятницу на закате, а возвращался поздно вечером в воскресенье – с «гостинцами» для хозяина, теми немногими национальными кушаньями, которые признавал мистер Бартон: ямсом, кокосами, зеленью и фруктами. А еще Маркус, обыкновенно сдержанный и молчаливый, взахлеб рассказывал новости. Со временем мистер Бартон привык к его ежемесячной воскресной болтовне. Слушал он вполуха, как, впрочем, слушал всех, кроме своих непосредственных начальников. Пускай у Маркуса будет своя жизнь где-то в горах Кларендона. Здесь-то у него жизни нет: что за радость ухаживать за больным хозяином? Ухаживал он идеально: внимательно и расторопно. Стирать и убирать приходила из долины мисс Мэри; он давал ей четкие указания и придирчиво принимал работу. Сам же стоял у плиты, подавал еду, готовил мистеру Бартону коктейль по вечерам и всячески хлопотал вокруг больного: вызывал врачей и следил, чтобы тот вовремя принимал лекарства. С той же любовью и прилежанием он уха-

живал за стареньким «мерседес-бенцем» и иногда, уговорив хозяина, вывозил его на прогулку. Ехал он тогда очень медленно, неспешно, чтоб не растрясти. Раз в неделю он привозил из города гостей: мистера Дэвиса, мистера Фишера и мистера Соломона. Они, такие же, как и хозяин, пенсионеры – бывший юрист и двое крупных чиновников, – играли с мистером Бартоном в бридж. Этот еженедельный бридж был для них почти что единственным развлечением. Маркус подливал им напитки, кормил ужином, а ближе к ночи бережно усаживал обратно в машину и развозил по домам.

Мистер Бартон считал Маркуса своим талисманом или даже сокровищем, хотя сам слуга об этом и не подозревал. Порой хозяин задавался вопросом: ходит ли Маркус в деревню по вечерам? Есть ли у него там друзья? Женщина? А может, мужчина? В конце концов, в характере Маркуса много женского, а в наши дни все возможно... Впрочем, чем бы ни занимался Маркус в свободное время, вел он себя безупречно: ни намека на какую-то иную, вне дома, жизнь. Да мистер Бартон и не размышлял о нем подолгу, поскольку чужие дела никогда не интересовали его глубоко. Главное, Маркус всегда был под рукой, кроме тех двух дней и ночей, что он проводил в Кларендонских горах. Тогда мистеру Бартону приходилось довольствоваться услугами мисс Мэри.

V

Маркус посвятил ему всю жизнь, и мистеру Бартону это льстило: неплохой он, как видно, человек, раз слуга так внимателен и предан. Не стал бы простой человек нянчиться с ним только из-за денег, если б хозяин был самодовольным динозавром – как утверждала дочь – или бессердечным, заносчивым ублюдком и себялюбцем, как утверждала Джози. Впрочем, не слушать же Джози. Она была груба и вульгарна, жаль только, что он понял это слишком поздно. Джози была из тех, кто не хочет знать свое место – вроде шустрых черномазых девиц, какие работают теперь в банках, магазинах, приемных у врачей. Их полным-полно повсюду, и как же они оскорбляются при малейшей попытке поправить их манеры или произношение – поставить их на место! Джози была точно такая же. Только белая.

Самая белая из всех виданных им когда-либо людей. Голубые жилки светились сквозь белейшую, почти прозрачную кожу, на щеках играл легкий румянец, короче – истинная «английская роза». И все в ней было мягким, душистым, искристым, точно утренняя роса: ручки, ножки, тело. Он встретил ее в Англии, куда они с шефом приехали на переговоры о продаже бананов. Она была одной из секретарш, приставленных к их делегации. Его заворожила сияющая белизна кожи и бьющая через край жизнерадостность. Она так мало походила на известных ему женщин, была так очаровательно приветлива со всеми его коллегами, так игриво-кокетлива с шефом, что вся делегация, все шесть человек с разных островов Вест-Индии были буквально покорены. Поэтому мистер Бартон немало поразился, когда на третий день она пригласила его в гости. Он принял приглашение, полагая, что идет в дом, где она живет с родителями, ведь она еще так молода. В итоге он поднялся по грязной лестнице на верхний этаж обшарпанного викторианского дома и попал в некое помещение, разом и спальню, и гостиную, с рукомойником и газовой плиткой в углу и туалетом «через переднюю и дальше по коридору». Все это было для него внове, так как Европу он знал только по гостиницам и в жилых домах никогда не бывал.

Она жизнерадостно защебетала, пытаясь скрасить впечатление, но он был в ужасе. Такая роза и в такой тесноте! Особенный ужас вызвала в нем широченная кровать, занимавшая едва ли не всю комнату. Вскоре, однако, он вполне освоился – благодаря Джози, такой милой и естественной. Он вообще в жизни не встречал более естественного человека. Она непрерывно подливала ему джин и болтала без умолку, все больше на романтические темы. Особенно ее вдохновляла Вест-Индия. Как, должно быть, приятно нежиться круглый год под ласковым солнцем!.. Она расспрашивала его о семье, о детях, о машине и доме, о видах, открывающихся с его террасы. В любом другом он счел бы подобное любопытство назойливым, но только не в ней. Он был слишком очарован, ему слишком льстил интерес благоуханной английской розы.

Готовила она никудышно, обед подгорел, но он был так пьян, что даже не удивился, внезапно очутившись не за столом, а в постели. Во всяком случае, не удивилась какая-то его часть, другая же часть вообще взирала на происходящее словно во сне. Зато ее поведение в постели его совершенно поразило, едва ли не напугало: ведь он ни разу в жизни не изменял жене и до женитьбы тоже не спал ни с одной женщиной. Годы брака не подготовили его к тому, что женщина может отзываться на ласки, получать удовольствие от любви и тем более проявлять инициативу. Он был напуган, вдохновлен, влюблен – мгновенно и по уши, и через десять дней, перед отъездом из Англии, предложил ей руку и сердце. Предложение было принято.

Однако жизнь с Джози с первых же дней превратилась в ад. И этот адский кошмар длился пять лет. Она, безусловно, его любила, была весела и ласкова, но любила одновременно и многих других, обожала сборища и вечеринки, а он беспрестанно мучился подозрениями, ревностью и, главное, собственным бессилием что-либо изменить. Он бранился с женой жестоко и язвительно, но она была единственным живым существом в этом мире, которое, находясь по закону в его власти, оставалось ему неподвластно. Его первая жена, его дети – пока они жили с ним под одной крышей – зависели от него всецело и повиновались ему беспрекословно. Для подчиненных его слово было закон. Даже друзья, те, кого выбрал он и кто выбрал его, подчинялись его сильной, хотя и несколько мрачной личности. Впрочем, он был радушным хозяином и остроумным, пусть даже чуть желчным, собеседником.

Короче, никто и никогда ему не перечил. Кроме Джози. Она вела себя как ей заблагорассудится, смеялась над строгостями и запретами, над попытками ограничить ее свободу, выбрать ей друзей, прочитать ей лекцию о «добропорядочности». Она жила своей жизнью, в свое удовольствие и умела отспорить, отстоять свое право на независимость. Ему же оставалось только сопротивляться, яростно сопротивляться этим, как ему казалось, посягательствам на его мужское достоинство. Как же жестоко они ссорились! Когда он от нее избавился – а ее уход виделся ему именно избавлением, хотя пришлось назначить ей изрядные отступные, – он словно прошел геенну огненную, вернулся назад и решил, что с женщинами покончено навсегда. Так завершился второй в его жизни эпизод (после передряг с дочерью), когда ход событий совершенно вышел из-под его контроля. Но что, скажите на милость, он мог контролировать, если женщины посходили с ума, если им не нужна уверенная, направляющая мужская рука, если они пренебрегают поддержкой и защитой, если они готовы нырять в немереные глубины, в неизвестность?

А вот к женщине на склоне он чувствовал все большую симпатию. Она хотя бы живет как предназначено женщине, как сотворил ее Господь. Впрочем, каким образом у нее это получается – полнейшая загадка. Но она заботится о детях, отправляет их каждое утро в школу, ей некогда расфуфыриваться и бегать задравши хвост. Шерстяное дерево росло вширь и ввысь; домик рядом с ним словно съеживался, а цепочка детей по утрам становилась все длиннее и длиннее.

VI

Он все больше ощущал свой возраст, ощущал, что отпущенное ему на этом свете время истекает... А еще он – со всей определенностью – знал, что шерстяное дерево, домик на склоне, несокрушимая женщина и ее ребятишки пребудут всегда, во веки веков, зато такие, как он, избравшие нетернистый путь, уверовавшие в милости судьбы, задержатся в этом мире ненадолго. Здесь место людям, у которых нет ничего, кроме их жизни, их жизненной силы; только женщина на склоне и другие бедные поселенцы, чьи дома, как грибы, облепили окрестные холмы, имеют будущее. Их энергия неиссякаема, их паруса раздувает попутный ветер, их поддерживают воздушные струи, их хранит прародительница-вселенная. Он вдруг подумал: а где место Маркуса меж этих двух столь различных миров? В своем завещании он оставлял слуге изрядную сумму, достаточную, чтобы обеспечить ему существование скромное, но достойное. Интересно, что станет он делать после смерти Бартона? Сможет ли начать новую, собственную жизнь, свободную от его звонков и приказов? Или уже слиш-

ком поздно? Пока-то он живет жизнью хозяина. Сможет ли он как-то увязать, соединить свои привычки с жизнью естественной, той, что ведет женщина на склоне или его многочисленная деревенская родня?

Мистер Бартон вдруг впервые пожалел, что за долгие годы, проведенные бок о бок с Маркусом, он так и не узнал его по-настоящему. Он принимал его заботу как нечто само собой разумеющееся и не дал себе труда разобраться, чем он живет, что у него за душой. Он все больше думал о Маркусе, о Марии, о своих детях, о жизни вообще, словно приоткрылась доселе неведомая дверца; она открывалась все шире, и он каким-то непостижимым образом знал, что его мысли связаны с женщиной на склоне. Она проникла в его сознание, заставила пересечь невидимую границу и – вопреки самому себе – задуматься, усомниться, предположить возможность иных путей... Он чувствовал, что эти пути существуют, что существует выбор, тот самый выбор, который он отторгал всю сознательную жизнь. Он все острее чувствовал свое одиночество, свою чуждость окружающему бытию, свое неумение установить с ним хоть какую-то связь. А еще он чувствовал, с грустью и горечью, что новое знание пришло к нему слишком поздно. Слишком поздно... И в душе снова нарастала злоба, и он снова смотрел на домик на склоне, как смотрел на него в первые дни, словно на наглого пришельца, вторгшегося в его владения, словно на перекати-поле, которое смоют первые майские ливни.

VII

А ливни в ту весну выдались неописуемые, он таких в жизни не видел: лило две недели кряду, без остановки и без просыху, лило так сильно, что он не мог сидеть на террасе, не мог даже открыть окна. Он ничего не различал в непроглядном тумане и слышал лишь рев вышедшей из берегов речки да гулкий стук в собственной голове. Но домик на склоне пока держался – он это знал, так как, едва дождь чуть-чуть стихал, он выбирался на террасу проверить и каждый раз удивленно различал его под кроной шерстяного дерева. Ему было стыдно отсиживаться в огромном, уютном и крепком доме, который выдержит любые дожди без ущерба и протечки, в то время как мать с ребятишками дрожат в хибарке на безлюдном склоне и их, того и гляди, смоет остервенелым потоком. А потом наступила та ночь, самая страшная – как позднее выяснилось – за последние семьдесят лет, когда он думал, что и его крыша вот-вот рухнет под напором бешеных струй. Он принял все таблетки и снотворное, но спал плохо, поминутно просыпался, причем и сны, и явь полнились для него кошмарами – о несчастной судьбе женщины и ее детей. Он знал, что домику не устоять никаким чудом.

Наконец дожди прекратились, и он увидел, что домик на склоне в самом деле разрушен. Повсюду – в основном под деревом, прибитые к нему потоком, – валялись железки и деревяшки. Где же женщина? Где дети? Грудь его сотрясло что-то похожее на всхлип. Но он овладел собой и позвонил. Он спросит, наконец-то спросит Маркуса про домик на склоне.

— А-а, мисс Вай, – кивнул Маркус. – Так мы ее забрали, сэр, и ее, и ребят, еще с понедельника. Двое здесь, при мне, а остáльные с матерью, на подворье у мисс Айрис.

Спасены! Он возликовал и одновременно услышал Маркуса каким-то другим ухом: сперва тихо, потом все громче, громче, точно барабанный бой. В голове застучало.

— Так ты знаешь эту женщину?

— Конечно, сэр.

— И все время знал? С тех пор, как они тут поселились?

— Да, сэр. Я и помог ей сюда перебраться. Она же из моих краев. Помните, я рассказывал, когда она только переехала? Лет уж семь-восемь назад.

Его предали. Или застали за греховным, постыдным занятием. Все эти годы он думал о женщине незнакомой, безымянно́й, обезличенной и считал, что она, если и вскидывает глаза на его террасу, тоже видит человека совершенно незнакомого. А

теперь вдруг выясняется, что Маркус ее знает. Маркус! Он же никуда не ходит и ни с кем не знаком! Выясняется к тому же, что именно Маркус помог ей построить на склоне эту хибару, этот плевок в лицо его прекрасному дому! Маркус наверняка выболтал ей не только его имя, но и всю подноготную. И Маркус приютил ее детей, они с понедельника живут здесь, под его крышей! Скажи ему Маркус об этом сразу, он бы не тревожился о них попусту. Оказывается, Маркус все знал!

— Так кто же отец всех этих детей? – сердито спросил мистер Бартон. – Почему его никогда не видно?

— Отец-то, сэр, не один. Первенец у ней от Супера. Помните, суперинтендант Аткинс, он тут на станции одно время служил, потому она сюда и переехала. Теперь он в Мобее, но мы его лихом не поминаем. Джейсон, сынок-то его, больно смышленый малый. А Стефани с Рози у ней от мистера Бинса, того, что коммунальным хозяйством заведовал. Винни от солдатика Джейка, сына мисс Айрис. А другие двое мои. Джефрард и Спидвел. Она ведь из моих краев, сэр, сами понимаете...

Мистер Бартон тупо смотрел на Маркуса, словно никак не мог взять в толк его объяснения. На самом деле он ошалел, онемел от гнева. Эта баба ничуть не лучше прочих! Обыкновенная шлюха! Столько мужчин! И – Маркус! Где же они встречались? Он что, ходил к ней? Или она к нему? Сюда? Или Маркус бросал его по ночам, чтобы с нею встретиться? Двое детей! С такими идиотскими именами! Неслыханно! А он ничего не знал. Ничегошеньки. Как ужасно прожить с человеком столько лет и ничего о нем не знать!

Тем временем Маркус, невинно глядя на мистера Бартона, все рассказывал о женщине из родной деревни, об отцах ее ребятишек – вполне приличных людях. Все о детях заботятся, все, кроме оболтуса Джейка, но мамаша солдатика, мисс Айрис, внука не бросит. А как он сам-то спасал их во время ливня! Почитай, вся деревня пришла на подмогу! Ну и смеху было, когда кто-то выронил ночной горшок и он катился, катился, покуда не подпрыгнул и не наделся на голову плотника Паркинса, который как раз лез наверх. Повезло еще, что на нем была фетровая шляпа. А мистер Паркинс-то дьяконом в церкви служит, его на такое посмешище выставлять не пристало. Уж как он рассердился, как рассердился! Сперва-то он просто рассердился, потому что не знал, чем его по голове шарахнуло, а когда узнал – еще больше рассердился, потому что вся деревня смеялась, даже мисс Вай, даром что ее домик тогда почти уже смыло. Маркус рассказывал и сам чуть не помирал со смеху; в своем кругу он считался рассказчиком ничуть не худшим, чем мистер Бартон в своем. Ему казалось, что хозяин разделяет его радость: старик слушал с таким интересом, совсем как по воскресеньям, когда Маркус возвращался из деревни. Бедняга! Как ему, должно быть, скучно! Каких только историй не выдумывал Маркус на обратном пути, в автобусе, чтобы его развлечь. Кто еще с ним поговорит?.. Маркус рассказывал историю мисс Вай с таким воодушевлением, что даже не заметил, что в голове у мистера Бартона что-то словно взорвалось. Словно снова разразился неистовый ливень.

Несколько дней спустя домик опять возник на склоне. Только смотреть на него с террасы было некому.

И бросились врассыпную тики-тики

Как нас ни любили, нам все было мало.

Мюриэл Рьюкисер

Бесцельно бродила она по комнатам, где в темных углах таилась тишина.
Во дворе громко смеялись слуги и собаки остервенело лаяли на кошек.
Но это – во дворе. Снаружи.
Внутри же пелена, покрывавшая все с незапамятных времен, обнимала и ее, на-

веки заточив в королевстве, где не было ни любви, ни ненависти. Ничего тут на самом деле не было. Вечер отличался от дня тем, что зажигали лампы и читали молитвы на сон грядущий. Таков был вечерний ритуал. Тень от нависшего над бассейном хлебного дерева неистово плясала по огромной комнате, по стенам – где голубым, где словно замшелым: это вылупилась из-под краски старая зеленоватая штукатурка. Потом бабушка укладывала ее на огромную кровать с четырьмя резными балясинами под тяжелое ворсистое одеяло и подтыкала его со всех сторон; а она, протянув руку, дотрагивалась до туалетного столика, до следа, который оставил когда-то на крышке ее черный карандаш; столик был полированный, светлый, цвета шампанского, и прохладно-уютный на ощупь.

Только кончится бал и забрезжит рассвет,
И поблекнет на небе звезда... —

запевала бабушка, и ее слабый голос подрагивал, точно перекрученная пружина патефона.

И танцоры уйдут – насовсем, навсегда,
Им уже не плясать никогда... —

подтягивала она бабушке. Они пели всего две песни, вернее, примерно полторы, потому что ни в той, ни в другой не знали всех слов до конца. Обе песни, как утверждала бабушка, остались с войны. С какой же войны? И неужели бабушка сражалась на этой войне? Наверно – да, оттого и голос у нее такой слабый, надтреснутый. Или бабушка говорила, что песни остались с предвоенной поры? Что-то все в голове перепуталось. Другая песня ей нравилась больше: первая была какая-то пресная, а во второй было больше драматизма.

Ты рАс-ска-жИ мо-Ей ма-мА-ше,
Скажи, что й-Я ей-Я люблЮ-Ю-Ю... —

пела она страстно, вкладывая в песню всю душу, пела порою так громко, что объявшая дом пелена спадала и дедушка кричал из гостиной: «Тише!»

Все вечера были одинаковы. Две песни с бабушкой, потом молитва – коленками на холодном полу, потом бабушка подтыкала одеяло, целовала ее и выходила. Иным был только воскресный вечер. Бабушка читала ей тогда из «Воскресной книги живой поэзии», где все стихи были про умерших или умирающих детей. «Ах, мама, последний настал Новый год, что видеть мне суждено...» Эти строчки, самые любимые, звучали по воскресеньям напоследок, и она засыпала в слезах.

Днем жесткие правила относились только к еде, но соблюдались они неукоснительно. После завтрака, примерно через день, приходила мисс Джонс и давала ей уроки. Мисс Джонс боялась бабушку и дедушку, боялась им не угодить, поэтому всегда сообщала им наилучшие новости: девочка прекрасно читает, преуспевает в письме, начинает разбираться в сложении.

Еще было послеобеденное время. День тогда словно замедлялся, все расходились отдыхать, даже кухарка Сайрин, помыв посуду и убрав со стола, удалялась в свою комнату. Бабушка и дедушка тихо похрапывали – каждый в своей спальне. Днем они храпели куда тише, чем ночью. Весь мир затихал. И в хорошую погоду, а погода почти всегда была хорошей, она выбиралась из дома и бежала к пруду.

Пруд был устроен в естественном углублении в дальнем конце сада. Со временем дедушка укрепил его: возвел подпорную стену – низкую, вровень с берегом, – и над глубокой стороной пруда получилась ровная площадка. Потом стена снижалась, закруглялась в обе стороны и сходила на нет у мелководья, образуя удобный вход в воду. Иногда в жару, когда пересыхали прудики на пастбищах, сюда пускали коров. Они забредали с мелкого конца, баламутили и пачкали воду. Но это случалось редко. Обычно же прудом никто не пользовался. Он просто – был. И принадлежал ей.

Должно же ей хоть что-нибудь принадлежать! Другие-то королевства давно разобраны. В доме всем заправляют бабушка и Сайрин; а вне дома всем владеет дедушка: бескрайними пастбищами, скотом, лимонными и мандариновыми рощами, дорожкой, обсаженной душистым перцем, и даже землями мелких фермеров-арендаторов

за полувырубленным лесом. Она видела, как он объезжает свои владения: медленно-медленно, оглядывая все хозяйским глазом... Облака и небо тоже заняты, ими правит Бог. Раньше она подумывала заявить свои права на задний двор, то есть на пятачок между кухней, бассейном, домиком прислуги и аллеей деревьев какао. Но оттуда ее прогнала горничная Пегги. Всегда такая приветливая и услужливая, Пегги завопила не своим голосом, увидев ее на заднем дворе: «Прочь! Белым сюда нельзя! В дом иди! В свой большой дом!» Судя по всему, задним двором владела Пегги.

А вот пруд и склоненные над ним деревья никому, даже дедушке, были не нужны. И она стала королевой. И стала править самыми настоящими подданными: стайками мальков тики-тики и тремя черепахами, которых дедушка называл «Колумб и его дамы». Колумб, как и его великий однофамилец, любил путешествовать и исследовать мир. Хотя пруд и был его родным домом, он время от времени отправлялся в иные края. Случалось это чаще всего в засуху, когда пруд пересыхал и в самой серединке оставался вязкий ил, а вокруг, на бывшем дне, бурела высохшая, растрескавшаяся грязь. Даже стрекозы улетали тогда на поиски более гостеприимного водоема. Дедушка посылал людей чистить пруд, а Колумб и его дамы выбирались на травку и шествовали неспешно и понуро, через два поля, к озеру Димити. В этом озере били ключи, и вода поэтому никогда не иссякала. И все-таки истинным своим домом Колумб считал ее пруд. Едва начинались октябрьские дожди, он и его дамы отправлялись в обратный путь. Черепахи ползли по пастбищам долго и упорно, спотыкаясь и обходя преграды, а она тревожно следила за их маршем по шевелению высокой травы: вот стебли качнулись, примялись, вот – распрямились вновь... Конечно, черепахи путешествовали и в другие времена года, но недалеко и ненадолго. Иногда они просто вылезали на бетонную стену – погреться на солнышке. Чаще же всего Колумб и его дамы скрывались на глубине, и об их присутствии можно было только догадываться – по вдруг взбурлившей от лапы или панциря водной глади. Мальки тики-тики бросались тогда врассыпную.

Тики-тики были настоящими подданными. Они никогда не покидали свою королеву.

Кинешь в воду хлебную крошку – они тут же вынырнут и тучей бросятся на добычу. Кинешь в воду камешек – они метнутся прочь. А если их не трогать, тики-тики будут шустро плавать взад-вперед, бессмысленно и беспорядочно, но не сталкиваясь и даже не дотрагиваясь друг до дружки. Тики-тики были быстрее ласточек.

Сначала она просто робко наблюдала за ними, присев на корточки на мелководье: плавать она не умела и боялась воды. К глубокой стороне пруда она вообще не приближалась: вода там была черная от противных и скользких зеленых водорослей, живших на дне. Там было так глубоко – ничего не разглядеть, даже солнце не пробивало эту толщу, даже тики-тики не откликались на ее зов, если не бросить им крошку.

Однако со временем она полюбила именно этот край пруда. Ее тянуло сюда, потому что подпорная стена была такая ровная и гладкая сверху и даже вполне широкая – идеальная сцена для ее концертов.

Каждый день, едва дом затихал после обеда и дедушка с бабушкой начинали похрапывать в спальнях, она пулей выскакивала из кровати и – на улицу. Она бежала прямиком к пруду и петь начинала еще по дороге. Она знала всего две песни, вернее, полторы и никогда заранее не загадывала, с которой в этот день начнет. Если первой выпевалась «После бала», она медленно и скорбно вальсировала, приближаясь к самой кромке.

Сто разбитых, навеки печальных сердец,
В этой жизни так радостей мало,
В ней разлуки, трам-пам и известный конец.
После бА-А-А-ла, да-да, после бА-А-А-ла...

Заканчивала она обычно на громкой ноте, выделывала ногами замысловатое па и оставалась очень собою довольна. Она могла повторять эту песню сколько угодно, хоть сто раз, могла, словно репетируя, возвращаться к только что пропетой строке или такту. Ко второй песне она приступала не сразу, в перерыве чистила апельсин,

чтоб было чем подманивать тики-тики. Сначала, когда кусочек только падал в воду, тики-тики порскали прочь, потом мгновенно возвращались и снова разочарованно расплывались кто куда. Иногда она пела без слов, просто мурлыкала привычный мотив и кружилась в вальсе по краю пруда.

Вторую песню, «Расскажи моей мамаше», она любила все-таки больше. И возле пруда могла наконец дать полную волю своим чувствам, ведь ни дедушка, ни кто другой не услышит ее из дома и не шикнет, чтоб не шумела.

Ты рАс-ска-жИ мо-Ей ма-мА-ше,
Скажи, что й-Я ей-Я лю-блЮ-Ю-Ю… —

выпевала она старательно и четко. А потом все громче, посылая звук к самым небесам:

Пу-скА-Ай дА-мой не ждЕ-Ет, не чА-Ает,
СегО-Одня к нО-Очи й-Я умрУ-У-У.

Тут подступали самые сладостные и горькие строки. Она набирала побольше воздуха.

Скажи, что блИ-Иже нет и крА-Аше,
Что в мире нет ей-Я-А милей…

Пропев заветный куплет, она глядела на Колумба и его дам — понравилось ли? — и завершала песню на неимоверной торжествующей ноте. После чего раскланивалась под аплодисменты подданных – трех черепах и миллионов тики-тики (слетевшиеся послушать стрекозы в счет не шли, уж слишком прозрачны были их крылья). Каждый раз она давала песне новую трактовку, добавляла новые краски. И длиться это могло хоть до вечера.

Трам-пам-пам-пам, трам-пам-парайра,
Сегодня к но-о-чи я умрУ-У-У.

Иногда она успевала проскользнуть в свою комнату до пробуждения домашних, чаще же ее грубо возвращал к реальности голос посланной за нею Пегги. И она со всех ног бежала к дому, чтобы поспеть на ужин.

Каждый новый день был похож на предыдущий. Завтрак, нудный, тягучий урок с мисс Джонс, затем обед и – послеобеденная прогулка к пруду. Вскоре эта прогулка стала единственным смыслом дня, ради нее и стоило жить. Ничто не могло ее удержать в доме. Внезапная свобода и собственная безраздельная власть над маленьким мирком пруда заворожили ее совершенно. Да и тики-тики с черепахами несомненно радовались ее приходу. Ведь их жизнь тоже тосклива… Ее долг – навещать их каждый день! Она не бросит их на произвол судьбы.

Все больше тянуло ее в густо-зеленые глубины пруда. Иногда – вопреки ожиданиям подданных – она запевала не сразу, а склонялась над темной водой и всматривалась, стараясь проникнуть все глубже и глубже, туда, куда не достает свет, не доплывают тики-тики, до самого дна, до центра земли… Все труднее ей было отрывать взгляд от водной глади, потому что из воды смотрело другое, очень знакомое лицо и тянуло, тянуло к себе… Черты лица были ее, но – быть может, это умирающий мальчик из «Воскресной книги живой поэзии»? Или солдатик, что пишет письмо матери? Каково им там, на той стороне, в ином мире? С каждым разом ее тянуло вглубь все больше; огромных усилий стоило оторваться и не глядеть в пруд, не покидать реальный мир, в котором ива шелестит над головой, а не колышется отражением у ног. Но она наконец отрывалась, смеялась над тики-тики и, точно демонстрируя свою над ними власть, принималась танцевать и петь.

Скажи, что блИ-Иже нет и крА-Аше,
Что в мире нет ей-Я-А милей…

Дни шли. Постепенно игра снова изменилась. Она больше не склонялась над водой, не вглядывалась в черные глубины. Ею овладела отчаянная дерзость. Она кружилась все ближе и ближе к краю, без остановки, без конца, кружилась и кружилась – пока не задохнется и не повалится на траву у берега. Она уже не вкладывала в

песни душу, не выпевала каждое словечко, а, наоборот, тараторила их, точно скороговорку, точно весь мир вокруг заторопился, слетел с тормозов, и ей тоже надо поспеть. И она смеялась, представляя, каково глазеть на нее снизу, каким нелепым кажется ее подданным этот ускоренный, карикатурный танец. А как удивятся все, кто живет в глубине: и девочка с ее лицом, и умирающий в Новый год мальчик, и смертельно раненный солдат, – как удивятся все они, если в один прекрасный день она вот так же закружится да и соскочит прямо в воду и окажется возле них, на другой стороне. Как поразятся ее подданные! Респектабельный Колумб и его дамы. Как же забавно будет – уйти под воду! Чтобы расступились темные водоросли. Чтобы бросились врассыпную тики-тики.

Перевод О.ВАРШАВЕР

Из книги «Садовничая в тропиках»

Недолговечность

Садовничая в тропиках, никогда не знаешь,
что выкопаешь. Часто это кости.
Иногда их видишь после извержения
вулкана — он изрыгает даже твердые, как камни,
черепа. Во всем их величии. Черепа
desapericidos — исчезнувших. В моем же владении —
лишь маленький садик, и я
редко выкапываю скелеты. Последняя находка —
юноша. Он заблудился и пересек
невидимую границу — зашел
на земли враждебного племени.
Я перезахоронила его. Пусть продолжает
расти. Наши кладбища также растут — вширь.
Последнее пополнение — торговец наркотиками,
павший в борьбе с конкурентами.
У него были потрясающие похороны —
ружейный залп из двадцати одного ствола,
наплыв публики, особенно
юных девиц, у которых
яркие блузки, короткие юбки
и еще более короткие жизни.

Нелегальный эмигрант

Если мне не удастся это
плавание без карты,
не говорите детям моим,
что в путь
меня отправили их голодные
глаза.
В конце концов, нет океанов, которых
не пересечь,

© Olive Senior, 1994, 1995
© А.Кудрявицкий. Перевод, 1997

нет бездн, которых
не измерить,
нет немощей, которых
не превозмочь.

Бамбук

Бамбук гордится собой —
он владеет искусством жить долго:

низко склоняясь перед
ветром, дождем, топором и соками почвы,

он втайне посылает
в глубь грязи или меж камней

свои корни — мощные, хваткие —
и завоевывает пространство. Хотя

еще быстрее это делает
его злейший враг — огонь.

Гуава

Нет ничего слаще
плодов гуавы —
честных, простодушных,
щедрых,
пригодных в пищу всем.
Даже червям.

Папайя

Наши матери говорят
о папайе:

Помни: нельзя есть ее в лучших одеждах —
запачкаешься.

Помни: нельзя лезть на дерево, где она растет, —
упадешь.

Помни: нельзя есть ее с семенами —
они прорастут в твоем чреве.

Наши матери знают, что говорят:
сами они украдкой едят ее
с семенами.

Перевод А.КУДРЯВИЦКОГО

■

Поэт и публика — в разводе?

АНРИ ДЕЛЮИ и ЛИЛИАН ЖИРОДОН в редакции «ИЛ»

Вступительная статья и перевод с французского ИРИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ

Когда два французских поэта, Лилиан Жиродон и Анри Делюи, оба выпускающие во Франции поэтические журналы, вошли в гостиную «ИЛ», едва ли не первым вопросом, который не терпелось задать друг другу гостям и хозяевам, был: «Как вы выживаете?». Анри Делюи возглавляет один из самых заметных и интересных парижских журналов «Аксьон поэтик», Лилиан Жиродон — марсельский журнал «Иф». Тираж «Аксьон поэтик» для Франции невероятно высок — три тысячи экземпляров. У «Иф» — четыреста. «Иф» печатается полностью за счет субсидий, «Аксьон поэтик» на три четверти окупается продажей и подпиской, и только один из четырех номеров в год выходит на средства Национального центра книги. Услышав, что тираж нашего журнала в постсоветское время упал с шестизначной цифры до пятизначной, Анри Делюи с саркастической усмешкой заметил, что это только начало.

Фото Т. Пошерстник

Однако его мрачный взгляд на судьбу литературных журналов не мешает ни ему, ни его редколлегии уже больше сорока лет поддерживать довольно бурную жизнь «Аксьон поэтик». По-русски это название звучит как «Поэтическое действие» или, точнее, как «Поэтическая борьба», и журнал действительно все время с чем-нибудь или за что-нибудь борется. Некогда это была борьба за переустройство общественного пространства (с левых позиций) и одновременно пространства поэтического — главным образом, за освобождение его от наследия сюрреализма и от чрезмерной «поэтичности». Отголоски этих битв докатились в свое время и до страниц «ИЛ» — Анри Делюи, который, в отличие от Лилиан Жиродон, в Москве не впервые, рассказывал о них около десяти лет назад, сидя в этой же самой гостиной («ИЛ», 1988, № 12). Теперь, когда общественные страсти поутихли, а в структуре стиха ниспровергать уже, кажется, почти нечего, в центре столкновений оказалось само понятие поэзии: остается ли еще что-то, отличающее «форму-поэзию» от прозы, и если да, то надолго ли хватит. Одни называют сегодняшнюю поэзию «дорогая покойница» — в надежде на ее грядущее возрождение в неких непредсказуемых формах, другие, и в их числе Анри Делюи, отстаивают ее жизнеспособность.

Специальный номер «Аксьон поэтик» (№ 133-134, зима-лето 1993/94) «Исчезнет ли, может ли, должна ли исчезнуть форма-поэзия?» разошелся мгновенно, став сразу чуть ли не библиографической редкостью, — и это при том, что читателей современной поэзии во Франции совсем немного. Видимо, задав такую тему для публичного спора, Анри Делюи нащупал ту

© Ирина Кузнецова. Вступление и перевод, 1997

точку, в которой сошлись интересы поэтов и публики. Очень уж ощутим за рассуждениями о формальных признаках стиха витающий в воздухе вопрос — быть или не быть поэзии. Ибо такое впечатление, что не только «низы (иначе говоря, читатели) не хотят», но и сами поэты не могут существовать в жестких рамках оголенного до предела поэтического языка, из которого все труднее высечь искру поэзии.

Анри Делюи будоражит собратьев по перу во всей Франции, вызывает их на словесные дуэли, дразнит, раззадоривает, не давая поэтической мысли застаиваться. Но государственные границы тесны для его темперамента, и он проводит раз в два года под Парижем Международные бьеннале поэтов, куда сам отбирает и приглашает участников, отправляясь для этого то в Латинскую Америку, то в Индию, то в Россию. Постоянно сопоставляя поэтические традиции разных стран, он затевает в своем журнале дискуссии о переводе и сам переводит с нескольких языков.

Настоящей школы поэтического перевода во Франции никогда не существовало. В переводе не очень-то и нуждались — интерес к иностранной поэзии до недавних пор был невелик. Только перед поколением поэтов, начавших печататься в шестидесятые годы (к ним принадлежит и Анри Делюи), вопрос о переводе встал всерьез: как это делается, какими средствами? Споры не кончаются по сей день. Одни считают, что переводить надо правильным французским языком, не отклоняясь от принятых норм, другие — что при переводе родной язык испытывает шок от столкновения с языком иностранным и переводчик обязан это передать. Например, если переводишь П. Целана, надо «целанизировать» французский, если переводишь Цветаеву, надо его «цветаевизировать».

Сам Анри Делюи, не соглашаясь полностью ни с теми, ни с другими, переводит Ахматову — без рифмы. И твердо убежден, что только так и можно.

— Когда я приезжаю в Москву, — говорит он, — меня за это разносят в пух и прах: «Русский поэт выбрал свой тип версификации, а вы его нарушаете, отказываетесь уважать его выбор. Как же так? Почему?» Ответ очень прост. У русской поэзии совсем другая история. В России даже такие поэты-новаторы, как Хлебников или Маяковский, пользовались рифмами, ассонансами. Но если и мы станем переводить их так же, получится поэзия прошлого века. Мы сломали традиционный стих давным-давно. Сейчас, правда, снова наметился некоторый поворот к рифме, возврат к «правильному» стихосложению, но это не внушает серьезных надежд. Рифма для французского слуха звучит банально, даже пошловато. Так что передавать сегодня русский поэтический текст теми же средствами, какими он создавался, мы не можем. К тому же во французской поэзии нет понятия стопы, у нас силлабическая система стихосложения. И сам дух нашего языка иной, нежели дух языка русского. Для перевода нам надо искать что-то другое, свое. Нельзя повторять структуру русского стихотворения. Я не побоялся полной реконструкции, не побоялся изменить тип письма, чтобы найти какие-то иные эффекты, в основном ритмические, для сохранения главного. Если бы я перевел «Реквием» в рифму, это была бы катастрофа! Получилась бы примитивная, слащавая, никому не интересная вещь. А ведь это великое произведение, самое эмоциональное в XX веке!

Жаль, что мы не смогли увидеть этот перевод: к моменту разговора он был еще не совсем готов. Но сам принцип интерпретации ахматовского текста напомнил лишний раз о нынешней (быть может, временной) утрате былого взаимопонимания между французской поэзией и русской.

И все-таки, наверно, неспроста Анри Делюи так увлекла Ахматова. Переводческая задача совпала здесь отчасти с его собственными поисками, с попытками сделать стих «эмоциональным», сохранив внешнюю простоту формы. Слишком уж много ограничений наложили на свою поэзию борцы с сюрреализмом. Стремясь очистить поэтическую мысль, уйти от раздражавшей их в стихах предшественников «сплошной метафоризации реальности», они устремились в другую крайность. Не только рифма или ее подобия, но и едва ли не все поэтические средства отправились тогда на свалку истории. Табу оказалось так много, что для поэзии осталось место только разве что в пробелах между словами. В этой ситуации каждый искал свои возможности для маневра, но законом все равно была простота, напоминающая иногда простоту телеграфного стиля. Так ли прост для понимания телеграфный стиль — вопрос другой.

Избегая всего, что, видимо, действительно набило французам оскомину, Анри Делюи в отличие от многих все-таки держится за ритмический строй стиха, а иногда даже пользуется метафорами. Несколько лет назад в интервью журналу «Жава» он очертил свое поле поиска так: «Нет поэзии без лиризма, и почти нет сегодня интересной поэзии, которая не накидывала бы узду на лирический порыв. Всякое слово — исповедь, но нет ничего хуже исповеди. Язык поэзии — это не язык в языке, не другой язык, не результат освоения поэтом своего «инструмента». Язык у всех только один — растяжимый, гибкий и в то же время налагающий определенные ограничения. Стихотворение — это особый изгиб нашего общего языка».

Даже в своих стихах Анри Делюи то и дело возвращается к проблемам поэтического

выражения. Эта тема держит его так крепко, что и сидя в гостиной «ИЛ» он продолжает вести с Лилиан Жиродон много лет назад начатый и явно не имеющий конца спор о судьбах поэзии.

— Когда возник журнал «Аксьон поэтик», — рассказывает Делюи, — его девизом — который мы сняли только лет пятнадцать назад, — были слова Лотреамона: «Поэзия должна иметь целью практическую истину». Это означало, что поэзия создана, чтобы вмешиваться в социальные процессы, участвовать в общей борьбе, то есть быть политическим оружием. Времена изменились, и сегодня я считаю, что поэзия не имеет ничего общего с политикой. Однако я убежден, что поэзия говорит нечто и это нечто так или иначе с жизнью общества связано. То есть она все-равно вмешивается, хотя и не прямо, в практическую жизнь. Когда в стране с поэзией плохо, это дурной знак для страны, дурной знак для языка. Язык, не имеющий поэзии, постепенно умирает. Во Франции, однако, поэзия сейчас есть, причем очень интересная.

После кризиса 80-х годов — кризиса мысли, научных идей, лингвистики, психоанализа, политических идеологий, сказавшегося, естественно, и на литературе, — сейчас идет выздоровление. Поэты снова начали с увлечением «теоретизировать» по поводу поэзии, чего уже давно не было. Вышли очень интересные книги: «Поэзия и т.д.: хозяйство» Жака Рубо, две книги Кристиана Прижана «Почему поэты?» и «Против природы» — я даю всего лишь несколько примеров. Ну и, конечно, идут дискуссии на страницах нашего журнала. Мы очень любим публично обсуждать наши разногласия. Как правило, это проблемы техники стиха. Споры идеологические у нас на время кончились. Но это не значит, что за проблемами техники не стоят проблемы мировоззренческие. Основные столкновения в последнее время происходят вокруг различий между поэзией и прозой. Некоторые молодые поэты считают, что видовых различий между ними не существует. Недавно появился новый журнал, которым руководят два самых интересных поэта нового поколения, Оливье Кадьо и Пьер Альфери. Он называется «Ревю де ла литтератюр женераль», в переводе на русский — «Общая литература». Это название программное. В журнале говорится буквально обо всем: об искусстве разведения садов, о том, как подстригать деревья, как прогуливаться и даже как заниматься любовью. Все это как бы тоже литература. Сам я принадлежу к тем, кто считает, что форма-поэзия отвечает какой-то существующей в человеке потребности. Есть определенный угол подхода к языку, который является собственно поэтическим. Некий поэтический механизм срабатывает, даже если поэты этого не хотят. В поэзии, даже в современной, без правил, проступает многое из того, что прозе передать не под силу. У стиха, по моему глубокому убеждению, непременно имеются особая внутренняя структура, ритм, которые отличают его от прозаической фразы. Но Лилиан Жиродон, я знаю, смотрит на это иначе.

— Да, у меня другая позиция. Во-первых, я «диссидентка» «Аксьон поэтик». Три года я работала там в редколлегии, потом ушла и стала выпускать сначала маленький журнал «Банана-Сплит», а теперь — «Иф», вместе с еще тремя бывшими сотрудниками «Аксьон поэтик», тоже восставшими против ее столпов. Но, как всегда в поэзии, это, в общем-то, игра, а не настоящее противостояние. Так вот, если представить себе, что поэзия — это некая комната, в которой раньше чуть ли не каждый мечтал поселиться, то теперь молодые больше в ней жить не хотят. Они считают, что она превратилась в музей, стала нежилой, не приспособленной для повседневного обитания. Я часто привожу в пример моду, опережающую у нас пластические искусства. Давно уже существует тенденция выпускать одежду, в сущности, однополую, в которой понятия «мужское» и «женское» практически сведены на нет. Нечто похожее происходит с поэзией и прозой. Они, как вампиры, пьют друг из друга кровь, поглощают друг друга. Это один из образов современности — такая неидентичность, общий кровоток внутри разных категорий.

В последнее время я редко пишу стихи, больше рассказы, и занимаюсь журналом. Но поэзия хороша тем, что она помогает человеку жить в родном языке, бессознательно впитывать его историю, хранить ее перед натиском фальшивого языка, «языка-мюсли», как называет его Жак Рубо. «Мюсли» — это вроде бы еда, ибо позволяет физиологически выжить, и в то же время не совсем еда, суррогат. А Кристиан Прижан, например, считает, что поэзия помогает противостоять давлению рекламы, что в ней есть нечто подрывное, направленное против общества потребления. Поэзия — это сопротивление унификации, сглаживанию различий. Поэтому она не должна быть слишком понятной, легко воспринимаемой, так как понятное имеет меньшую способность к сопротивлению. И вовсе не сложностью текстов вызван «развод» читателей и поэтов. Анри, конечно, не терпится возразить?

— Да, это очень спорно. Прижан приписывает чисто языковой, в сущности, работе слишком большую взрывную силу. Но книга его все равно очень интересна. А что касается «развода» между поэзией и публикой, то вряд ли о нем можно говорить, ибо между ними никогда не было брака. Во всяком случае, на протяжении последних нескольких веков. Что было до этого, мы просто не знаем. Вполне вероятно, что и трубадуров слушали очень немногие. А уж в новые времена людей, читающих поэзию, всегда было мало. За исключением, разумеется,

таких периодов, как, скажем, нацистская оккупация, когда в поэтической форме высказывалось то, что иначе высказано быть не могло. И не отказ поэтов от традиционной формы оттолкнул от них публику. Могу напомнить, что первое издание «Цветов зла» — это 1857 год! — к концу века все еще лежало на прилавках. Самый знаменитый поэт второй половины прошлого столетия, Верлен, продавал свои сборники в количестве, не превышавшем двух тысяч экземпляров. В 1947 году, когда мне было шестнадцать лет, я еще видел в книжных магазинах «Град скорби», одну из лучших книг Поля Элюара, вышедшую в конце двадцатых годов тиражом 1500 экземпляров! Когда вину за отсутствие публики возлагают на поэта — раз читателей мало, значит, плох поэт, пишет слишком сложно, непонятно для масс, — это ложная постановка проблемы. Сейчас есть множество абсолютно понятных стихов. Того же Жака Рубо, например... Но ни одно из его изданий (включая даже романы, пьесы и переводы) не перешагнуло барьер в 3000 экземпляров.

Вопрос о читателях поэзии следует задавать не поэту. Его следует задавать обществу. Мы делаем свое дело. Мы пишем. Плохо ли, хорошо ли, но пишем.

АНРИ ДЕЛЮИ

Из цикла «ГРАММАТИКА, ЗАГАДОЧНАЯ»

Приходилось подсчитывать издержки письма.
Видеть свет под кустами, осколки потом подбирать.
Изменять точку зренья на стих. Перестраивать
Изломы строки. Сокращать настроенье.
Видеть, как тень подбирается к тени кустов,
Запозданье морозов, осевшую землю, устройство
Правды и фальши. Не путать.
Не ошибаться. И, главное, меньше
Говорить на морском берегу.

* * *

Неисчерпаемый объект влеченья, море.
Оно повисло над землей. — Не замутить
Пейзаж. — Не применять стихи.

•

Под синим небом небо было черным.
Конец определенности. — Жужжанье
Стихов все ближе, громче. — Бегство в стиль.

* * *

Июль перестал быть июлем и не возвращался.
Оставались видны лишь верхушки деревьев.
В этом отказе от тщетных надежд
И от тайных страстей крылась хитрость души,

© Flammarion, 1994

Ускользнуть пожелавшей от собственной логики;
Так отсутствие листьев стало знаком зимы,
Не хватало лишь легкого пафоса,
Чтобы все приукрасить.
Беспокойство рождалось вокруг, ибо что-то не ладилось,
В этом не был никто виноват.

Из поэмы «Ле Гуд»[1]

Дорога. В ней замкнуто море.

•

У порога — отец.

* * *

Воздух часто бывал накален.
Я ходил только этой дорогой.
Я хотел найти правду, которой
Сердце могло бы коснуться —
Как будто само. — Свет затягивал краски
В кружащийся смерч. — И клонился к земле.

•

Я ходил только этой дорогой.
Словно не было больше других.

* * *

Пейзажем заправляло море. — Мне
Предназначалось место рядом с дымкой
Почти прозрачной. — С неба падал свет,
Подбитый пурпуром. — Он лился, колыхаясь
И постепенно голубея. — Разговор
Вчерашний вспоминался все яснее.
А море было голым.

•

Правда, голым.

[1] Деревня на юге Франции, где родился А.Делюи. (*Здесь и далее прим. перев.*)

© Flammarion, 1991

* * *

Там были платаны — по выходным.
Между горами свалок
Серный завод протянулся по берегу
К морю. — Ты рассказывал что-то
О том и о сем. — Стена обвалилась.
Рыжий панцирь обломков темнел на песке.

•

Ты говорил — не спеша — о далеких краях.

* * *

Шел дождь. — Он падал в море.
И море падало. — Смещались верх и низ.
Перевернулось все. — Как будто каждый
Приблизился к тому, о чем он думал.

•

Или к тому, во что, не веря, верил.

* * *

Цветы у моря пахли по-другому.
Стемнело. — Зажигались фонари.
Я думал о тебе. — На берегу Невы,
Где ледоход, мороз, палят из пушки в полдень,
Я думал о тебе. — О шлепанцах твоих
И белой кепке. — И о том, как ты
Себе все это представлял. — Не зная.

•

У церкви, на Неве, холодной ночью.
Над прорубью для мартовских пловцов.

* * *

На этой старой фотографии ты с ведром
Идешь к колодцу. — Больше никогда
Ты не шагнешь ко мне. — Не встретишь на дороге,
Не выйдешь на порог.

•

А я остался здесь.

Из поэмы «Я — не другой»

Памяти Жоржа Батая

А день по-прежнему себе все так же верен,
Он строг, тяжел, он не жалеет свеч,
Он далеко зашел, он выбрал искушенье,
Саморастрату, самоотверженье
В неразберихе, в беспорядке, в смуте
Каких-то страхов и, конечно, дождь...
И мы как будто можем ускользнуть
Из непроглядности и всё прожить сполна,
Что не отнять вовек, — наедине с собою,
В прорыве пут порядка, под дождем.
Как будто в наших силах описать
Все что угодно, что заключено
В границы отчужденья, и бессилья,
И одиночества и что вообще не в счет
Среди миров, на гибель обреченных
По одному, в угаре наших дней.
И тут бы описать воздушное сверканье
Экстаза
и самозабвенья...

ЛИЛИАН ЖИРОДОН

«Креветки —это то, что они едят»[1]

Фрагмент поэмы

Не говори мне как этот
что все женщины — рыжие
их лишь надо слегка подпалить
непокорные хищные и похожие очень
на единственный подлинный Рай
без напитков любви и без миссионеров
тайный или точнее невидимый
ниже пояса и почитаемый низким
его попирают смиряясь
Ад — мостовая
горстка оголодавших людей в бесконечной борьбе
и пустые консервные банки везде у обочин
здесь стихи свои любят как запахи собственных газов
это травля трясучка трясина

[1] Цитата из произведения американской писательницы Гертруды Стайн.

© fourbis, 1994
© Liliane Giraudon,1996

а всего-то и надо
что просто подсчитывать сколько «р» будет в слове «морковь»
сколько белого в слове «подснежник»

Не говори мне не говори чтобы я заткнулась
факс отправить в страну мертвецов
вот соблазн для меня
стихи это зеркало
когда в него смотрится хряк побеждает абстракция
в миниатюрах старинных закрепляли золото кровью
солнце в листьях блестит но совсем не для всех
она говорит что намерена вставить себе обезьяньи зубы
уж лучше бы хвост
с цветом глаз в сочетанье песок
ослепительно белый речной

Спускаться в провалы и ямы вот эпопея
я всю жизнь только это и делала
рыть и землю бросать за плечо
а ноги внизу в неуемном движении
жаль у меня нет копыт
чтобы глубже впечатать их в грязь
И-го-го! в вольном воздухе влажном и терпком
ах милый! смени во мне масло
словно я самолетный мотор

■

НОРМАН МЕЙЛЕР

Портрет Пикассо в юности

Версия биографии

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Перевод с английского А.БОГДАНОВСКОГО

Живопись — это свобода. Когда прыгаешь, можешь и сбить планку. Но если не желаешь рисковать тем, что свернешь себе шею, — какой в тебе прок?! Лучше уж вообще не прыгать. Ты должен растормошить людей. Заставить их воспринимать все на свете совсем по-иному. Ты будешь создавать образы, которые они не примут, внушать им, что они живут в мире, вывернутом наизнанку. В мире, который не сулит спокойствия и не вселяет уверенности. В мире, который совсем не таков, как им представляется.

Пикассо

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тридцать с лишним лет назад, ранней весной 1962 года, я подписал договор с Эмилем Капуйа из «Макмиллана» на биографию Пикассо и восемь блаженных недель провел в библиотеке Музея современного искусства над книгами Зервоса «Пабло Пикассо», выпущенными издательством «Cahiers d'Art». Страница за страницей я штудировал тридцать три обширных тома, разглядывал пятнадцать тысяч репродукций — картины, рисунки, офорты, гравюры, литографии, акварели, наброски.

Это было то же, что за два месяца прочесть всего Шекспира. После погружения на такую глубину трудно сохранить прежнее восприятие действительности. Тридцать три тома Зервоса оказали на меня сильное действие — все лето я сочинял

© 1995, by Norman Meiler
© А.Богдановский. Перевод, 1997

диалоги с воображаемым интервьюером, умудряясь отвечать на вопросы вроде таких: «В чем отличие духа от души?» или «Чем руководствуемся мы, избирая форму?». Эти воображаемые диалоги заполнили последние двести страниц книги, названной «Людоеды и христиане», но в них едва ли было хоть слово о Пикассо. Он раздразнил мою мысль, заставив заглянуть в самые заповедные уголки собственного разума, но к постижению своей жизни не приблизил меня ни на пядь.

Лето шло. Не помню — вернул ли я в «Макмиллан» полученный от них аванс или еще не успел получить его, но, так или иначе, затея наша не удалась. Писать о Пикассо я был не готов. Тем не менее обретенный импульс спустя еще несколько лет был подкреплен одной книгой, которая вызвала у меня двойственное чувство — в чем-то понравилась, а в чем-то показалась вздорной. Это сочетание ощущений от чужой работы идеально, когда нужно приняться за свою собственную. В данном случае речь идет о книге Арианны Стассинопулос Хаффингтон «Пикассо: творец и разрушитель», недостатки которой вызвали лавину критических статей, а достоинства похвал не получили. Читатель в дальнейшем сам увидит, что я не раз и не два ссылаюсь на эту монографию.

Внесли свой вклад и другие авторы: Жозеп Палау-и-Фабре, Роланд Пенроуз, Патрик О'Брайан, Гертруда Стайн, Лео Стайн, Джон Ричардсон, Пьер Кабанн, Жан-Поль Креспель, Даниель-Анри Канвейлер, Макс Жакоб, Роже Шаттюк, Рой Макгрегор-Хэсти, Андре Мальро, Андре Сальмон, Фрэнсис Стигмюллер, Изабель Моно-Фонтэн, Элен Пармелен и Фернанда Оливье — последняя в списке и первая по количеству ссылок на две ее книги.

Поскольку я определил жанр своей работы как «версия биографии», следует, должно быть, пояснить, какой смысл я вкладываю в это понятие. Я не принадлежу ни к одной из существующих научных школ, а потому старался, чтобы книга обладала прежде всего достоинствами произведения литературного, и стремился сделать Пикассо не менее реальным, чем любой персонаж жизни или искусства. Иными словами, истолкование жизни и творчества молодого Пикассо есть мое личное понимание его. На том стою. Это, разумеется, не значит, что я не ознакомился самым внимательным образом с тем, чт ó на протяжении долгой жизни моего героя написали о нем другие исследователи. Особенности предпринятой мною попытки — отсутствие оригинальной концепции, субъективность оценок — предопределили и то, что я цитирую других авторов чаще и пространнее, чем это принято, и готов отстаивать свою правоту. В итоге все определяется и выявляется стилем. Хорош он или дурен, но именно стиль раскрывает характер автора, исследующего тот или иной предмет. Пересказывать других — значит лишить читателя права на часто неосознанное и всегда безотчетное желание вынести критическое суждение, неизменно возникающее у всякого, кому предоставляется возможность более или менее основательного знакомства со стилем пишущего. (Стиль может быть крайне несовершенен, но, приняв в расчет недостатки и слабости автора, мы можем узнать очень много ценного о предмете его исследования — именно такая подспудная «корректировка» происходит, когда мы слушаем, как один человек описывает другого.) Кроме того, в каждой книге есть страницы более или менее удачные, а потому было бы почти преступно в угоду «авторскому единоначалию» ограничиваться лишь кратким резюме интересных или блистательно написанных пассажей. Постижение Пикассо требует, чтобы и личность его, и творчество рассматривались с разных и многих точек зрения, а урезывание высказываний приведет к искажению каждого из этих взглядов.

А как проницательны бывают они, как своеобразны! Работая над этой книгой, я наткнулся на одно из первых изданий монографии Пенроуза «Пикассо: его жизнь и творчество» и обнаружил там целую страницу собственных заметок, написанных мною еще в 1962 году. Мне было приятно, что давние слова созвучны моему теперешнему замыслу до такой степени, что я без труда нашел для них место в рукописи. Мне было отрадно, что какая-то часть моего существа и три десятилетия назад вела ту же мелодию в той же тональности.

Я желаю вам прочесть эту книгу с тем же удовольствием, с каким я ее писал. А автору грех жаловаться на жизнь, если весь свой рабочий день он занимается лишь тем, что переводит глаза с одного творения Пикассо на другое.

НОРМАН МЕЙЛЕР

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Я — король...

1

Пикассо появился на свет в 11.15 вечера 25 октября 1881 года в Малаге. Он не издал свой первый крик и, стало быть, не дышал. Акушерка, предприняв несколько безуспешных попыток оживить его, сдалась и занялась родильницей. Не случись поблизости дяди, доктора Сальвадора Руиса, ребенок бы не выжил. Дон Сальвадор склонился над ново- или скорее мертворожденным и выпустил ему в лицо клуб сигарного дыма. Младенец шевельнулся. Младенец заплакал. Рождение гения свершилось. Свой первый вздох он сделал благодаря тому, что никотин, содержавшийся в дыме, который обжег ему глотку и легкие, стимулировал их работу. Вполне уместно будет заметить, что в атмосфере его творчества едкий табачный дух с тех пор будет присутствовать почти всегда.

В подобных семейных преданиях всегда содержится доля преувеличений. Весьма вероятно, что дон Сальвадор вовсе не оживлял младенца столь варварским способом. Тем не менее история хороша. И многое объясняет. Испанские хирурги, например, раны поддетых на рога тореро предпочитают обрабатывать без анестезии. Они убеждены, что, если плоть претерпела физическое страдание, рана заживет скорее: в представлении о том, что реальность — неотъемлемый элемент лечения, заключена самая суть испанского характера, находящего в этом свое наивысшее выражение. Клуб дыма, выпущенный доном Сальвадором, сыграл роль объективного коррелята. «Просыпайся, детка, — быть может, означало это жгучее дуновение. — Жизнь редко будет баловать тебя более приятными запахами».

Вкратце — хоть, может быть, этого и недостаточно — опишем тех родственников, кто окружал колыбель Пикассо. Его отец, Хосе Руис Бласко, был предпоследним сыном в большой семье, гордившейся аристократическими предками. Один из них,

Хуан де Альмогера, родившийся в Кордове в 1605 году, сделался и архиепископом, и вице-королем, и генерал-капитаном Перу и прославился беспощадным преследованием коррупции, свившей себе гнездо в монастырских обителях[1].

В 1850 году семейство, впрочем, относилось уже к среднему классу, и, отвечая велениям времени, дед Пикассо по отцовской линии занимался производством перчаток. Сыновья его достигли известных профессиональных успехов: один стал врачом, другой — дипломатом невысокого ранга, третий — каноником и настоятелем кафедрального собора. Хосе Руис Бласко, однако, называл себя художником, в молодые годы не надрывался на работе и одно время пользовался репутацией бонвивана.

Голубоглазый, высокий, элегантный, поджарой статью и белокурыми волоса-

[1] *Josep Palau i Fabre*. Picasso: Life and Work of the Early Years 1881—1907. Oxford, 1981, p. 17.

ми напоминавший, по отзывам его малагских друзей, англичанина, он вполне оправдывал понятие «в семье не без урода», умудрившись несколько лет прожить за счет старшего брата — каноника Пабло — и вовсю пользуясь преимуществами своего холостячества. (Он был одним из завсегдатаев в публичном доме высшего разряда, принадлежавшем Лоле Курносой — ее девицы внешне вовсе не напоминали шлюх: вязали, шили или читали вслух, в ожидании клиентов коротая время в гостиной, сделавшей бы честь приличному буржуазному дому.)

Лишь в тридцать семь лет Хосе Руис Бласко принужден был взяться наконец за дело. Он стал преподавать в Школе изящных искусств, а еще через пять лет женился на двадцатипятилетней Марии Пикассо Лопес. По общему убеждению, «маленькая, живая, черноглазая и темноволосая» невеста была ему не ровня — семья Лопесов стояла на другой ступени социальной лестницы. Зато в приданое за Марией он получил ее кипучую энергию, ее рачительность и домовитость, позволявшие разумно распорядиться теми весьма ограниченными средствами, которые давали ее мужу две невысоко оплачиваемые службы: помимо преподавания, он был еще и смотрителем местного музея.

Следом за Марией к Хосе Руису переселился целый выводок — ее вдовая мать, две незамужние сестры, Эладия и Элиодора, и служанка. А потому первенец Марии Пикассо и Хосе Руиса, первым из всех братьев позаботившегося о продолжении рода, рос в плотном окружении пяти женщин, пестовавших его наперебой и находивших отраду в каждом его движении. Таковы были первые придворные будущего короля. При крещении его назвали Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Криспин Криспиано де ла Сантисима Тринидад Руис-и-Пикассо или, короче, Пабло Руис. О том, какие чувства он вызывал решительно у всех, позднее свидетельствовала его мать: «Красоты он был ангельской. А верней — бесовской. От него глаз нельзя было оторвать». И, разумеется, мать говорила ему: «Пойдешь в солдаты служить — станешь генералом, а примешь сан — изберут тебя папой».

В 1900 году, в девятнадцать лет, впервые отправляясь в Париж, он написал свой автопортрет (ныне утерянный) и назвал его «Yo — el Rey», трижды для пущей выразительности повторив эти слова: «Я — король, я — король, я — король». Это помогает нам понять, какое чувство собственной значимости внушило маленькому мальчику обожание окружавших его женщин. Разумеется, королем он оставался лишь среди своих придворных дам, а чуть шагнув за ворота «дворца», сделался беззащитен и уязвим.

Спустя три года после появления на свет Пабло и ровно через три дня после землетрясения, опустошившего Малагу, родилась его младшая сестра Лола. Семейство покинуло свою квартиру на Пласа-де-ла-Мерсед и, воспользовавшись гостеприимством Муньоса Дегрена, самого влиятельного друга (и хозяина) дона Хосе, провело несколько суток в его мастерской, выстроенной на вершине скалистой горы. Два важнейших события навсегда спаялись воедино в душе трехлетнего Пабло: не прошло и семидесяти двух часов, как заколебалась земля под ногами, а его, завернутого в одеяло, вытащили из отчего дома и отнесли туда, где содрогания почвы были не страшны, — и вот его безраздельное господство было поколеблено вторжением новорожденной сестры. Имело значение и то, что это безопасное место принадлежало человеку, который в глазах его родителей был важнейшей персоной. Муньос Дегрен был не только владельцем Школы изящных искусств, но и самым видным живописцем в Малаге. Должно быть, малышу казалось, что нет лучшего укрытия от разбушевавшихся стихий, чем дом первого городского художника.

Разумеется, за этим последуют многие открытия. Трехлетний мальчик мог подумать, что появление на свет младенца есть прямое следствие природного катаклизма. Быть может, большие животы у женщин — это примета землетрясения и рождения? Заслуживает внимания, что в 20-е годы он пишет крупные бесформенные

женские фигуры, а его бабушка по материнской линии, еще жившая тогда у них в доме, была очень тучной и представительной старухой.

В 50-е и 60-е, когда Пикассо, которому шел тогда соответственно восьмой и девятый десяток, полюбил развивать перед журналистами некие раблезианские мотивы, в его интервью начинает часто звучать одна и та же тема — что-то происходит, когда он рисует или пишет. Он творит не в одиночку. Как в учении дзэн, работу за него выполняет «оно»: «Одна линия притягивает другую, и в точке максимального притяжения линии изгибаются навстречу притягивающему их, и форма меняет свой абрис»[1]. В 1964 году, когда ему было уже восемьдесят три, он сделал еще одно заявление, звучащее довольно странно для члена компартии, в которую он только что вступил, и для многолетнего убежденного атеиста. Речь шла о грунтовке холстов, когда он сказал Элен Пармелен: «В этом есть что-то священное. Это именно то слово, которое надо здесь употребить, но ведь его неправильно истолкуют. Надо набраться смелости и сказать, что живопись с ее способностью волновать и трогать нас подобна прикосновению самого Бога... Вот это ближе всего к истине»[2].

Отчего бы нам не допустить забавную мысль, что в 1884 году трехлетнему Пикассо появление на свет человека и катастрофа казались порождением одной и той же силы, которая, существуя отдельно от всего, что повторяется день за днем и что можно с легкостью предвидеть, принадлежала Богу. И не только бедствия были несомненным выражением божественного присутствия — рисунки, выходившие из-под руки мальчика, свидетельствовали об этом присутствии столь же непреложно. И в средоточии Вселенной находился, стало быть, некий источник разрушительной силы, влиявший одновременно и на таинственный процесс творчества. По свидетельству Палау, на которое ссылается в своей книге Пенроуз, семейная легенда гласит: первым словом Пабло было — «пис», второй слог от «lapiz» (карандаш)[3]. А получая его в руки, он владел им с совершенством, непостижимым для младенца, который учится говорить первые слова. Мы можем сделать поправку на умиленное восхищение, охватывавшее «двор» из пяти женщин, когда их обожаемый повелитель в столь раннем возрасте выказывал одаренность. Но стоит вслушаться в отзыв отца, глубоко потрясенного ею. Дон Хосе, художник академического направления, рабски следовавший правилам реалистического правдоподобия, был известен в Малаге своими голубями. Они были не только его излюбленным предметом, но и чем-то вроде «торговой марки». Житель Малаги, желавший украсить свою гостиную писанными маслом изображениями голубей, почти наверняка выбирал одну из картин дона Хосе. Достигнув определенной ступени мастерства и в силу посредственности своего дарования намертво застряв на ней, он, надо думать, испытывал чувства, подобные тем, что обуревают бывшего атлета при виде исключительной одаренности сына в том самом виде спорта, где сам он рекордов не ставил и славы себе не стяжал, — чувство того, что жизненное предназначение его все-таки исполнено. Перед ним открывалось будущее — он мог стать импресарио своего гениального мальчика. В 1966 году Пикассо сказал фотографу Брессаю: «Мои первые работы никогда не могли выставляться среди детских рисунков — в них почти напрочь отсутствовали детская непосредственность и неуклюжесть... Их точность и умелость пугают меня... Мой отец преподавал рисунок, и, думаю, именно он раньше времени направил меня по этой стезе»[4].

Вместе с тем к шести годам мальчик с трудом читал и писал и обнаруживал полнейшую неспособность к арифметике. Он каменел, когда надо было идти в школу. Хайме Сабартес, оставивший о нем проникновенные воспоминания, описывает, как каждое утро служанка за руку тащила бившегося в истерике мальчика по улицам и вталкивала в класс.

---

[1] *William Lieberman*. Matisse: Fifty Years of His Graphic Art. New York, 1956, p. 18.
[2] *Hélène Parmelin*. Picasso dit. Paris, 1966, p. 32.
[3] *Roland Penrose*. Picasso: His Life and Work. London, 1981, p. 18.
[4] *Brassaï*. Picasso and Company. Garden City. N.Y., 1966, p. 86.

Сидя за партой, он не мог сосредоточиться. О чем бы ни шла речь на уроке, он был поглощен только рисованием. Иногда он вставал и подходил к окну, разглядывая прохожих внизу. Он напоминал юного принца, брошенного в общую камеру тюрьмы где-нибудь в захолустье. Дома он был повелителем, а здесь, в комнате, заполненной его сверстниками, мальчика каждое утро ждали новые унижения, и контраст оказался так силен, что породил известную социофобию, от которой Пикассо не избавился до конца жизни. Новая «среда обитания» внушала ему такой ужас, что отец вынужден был перевести мальчика в маленькую частную гимназию Святого Рафаэля, где директорствовал один его приятель. Новый учитель под впечатлением его феноменальных художественных способностей и явного ужаса, испытываемого Пикассо на уроках, разрешал ему выходить из класса и сидеть на кухне с женой, когда она готовила обед пансионерам. Там он оставался и рисовал, пока отец не забирал его домой.

Можно объяснить, почему Пабло совсем не давалась арифметика: он не воспринимал цифры как понятия. Скорее они действовали на него своими очертаниями. Позднее он замечал, что семерка казалась ему перевернутым носом. Хайме Сабартес вспоминает, какие зрительные ассоциации рождались в мозгу Пикассо по дороге из школы: «Я докажу! Они увидят, что я могу сосредоточиться! Я не пропущу ничего! **0** — это маленький глаз голубя! Под ним — грудь, это **6**, а хвост — **3**. Глаза — как **2**, и крылья тоже похожи на двойки...»[1]

Нам легко продолжить этот ряд. Если **0** — это глаз, то **1** может обозначать фигуру человека в отдалении, а **2** — фигуру мужчины или женщины, преклонившую колени для молитвы. Если «положить» цифру **3** на бок, она станет похожа на груди или ягодицы — какой повод для мальчишеского ликования! Неудивительно, что Пабло не мог сосредоточиться на уроках! **4** напоминает лодку под парусом, **5** — фаллос и яички, **6** — бурдюк, из которого пьют вино любители боя быков, **7** — уже знакомый нам нос, **8** — увенчанное головой туловище, принадлежащее, быть может, его тучной бабушке, а **9** походит на цветок на изогнутом стебле.

Разумеется, это наши произвольные допущения. Но какие бы ассоциации ни вызывали у Пикассо цифры, они жили в его голове как образы и формы, теряя, следовательно, первоначальное значение. Так или иначе, он рисовал непрерывно. И стоит задуматься над тем, каким маленьким чудом были выводимые на листе бумаги линии. Возникающее под карандашом лицо могло перенести Пикассо во внешний мир — этот процесс сродни тому удивлению, которое испытывает любой ребенок, когда произнесенное им слово утоляет его голод или спасает от холода. Образы и линии, выходящие из-под карандаша, были для Пикассо столь же реальны, как и слова, а потому можно верить, что «картинки» давали эффект такой же простой и прямой, как сказанное слово, — и то и другое творило волшебство: сущий пустяк производил ошеломительное действие. И будет совершенно естественно предположить: рисуя, Пикассо пролагал себе путь через царство тех сил, что способны породить землетрясение или ребенка. И при этом он чувствовал себя в относительной безопасности. Спустя полвека он скажет Роланду Пенроузу, что едва ли не прежде всего остального начал изображать спирали. А в Испании продаются чурро — жаренные в масле витые крендельки. Подумать только, как просто — нарисовать то, что тебе хочется, и тотчас получить желаемое от матери или теток. Это ли не волшебство!

Когда Пабло было шесть лет, родилась его вторая сестра, Консепсьон (Конча), а семейство вынуждено было переехать на север Испании, в Ла-Корунью, из-за стесненных обстоятельств — муниципальный музей Малаги, который держал дона Хосе в должности смотрителя, выплачивая ему жалованье, бывшее для него главной статьей дохода, закрылся.

И там, в Ла-Корунье, мальчик, который цепенел от ужаса перед школой, стал, если судить по его интервью, опубликованному лишь в 1982 году, более мужествен-

---

[1] *Jaime Sabartés.* Picasso: An Intimate Portrait. London, 1949, p. 39.

ным. Он сделался среди сверстников заводилой и коноводом. Что ж, это вполне возможно. Одна из тайн мальчишества — «вырастание» из тех страхов, которые всего лишь несколько лет назад казались вечными. Сомнительно, что он вправду стрелял из дробовика по кошкам и вместе с ватагой других одиннадцатилетних мальчишек дразнил выпускаемых быков. Скорее его талант и умение рисовать вызвали восхищение сверстников. Но если ему перемена местожительства пошла на пользу, то родители его, всю жизнь прожившие в Малаге, а теперь лишившиеся корней, на новом месте тосковали.

10 января 1895 года семилетняя Кончита умерла от дифтерии. На тринадцатом году жизни Пикассо перенес душевную травму, сказавшуюся на том навязчивом переживании, от которого он так страдал впоследствии. Чтобы скрыть от маленькой Кончиты тяжесть ее состояния, было решено отпраздновать Рождество как всегда, хотя вся семья знала, что прикованная к постели девочка больна смертельно. Ее тринадцатилетний брат дал самому Господу Богу обет — мы можем лишь догадываться о степени отчаяния и благородной решимости, подтолкнувших его к этому шагу: если Кончита выживет, он никогда больше не возьмет в руки карандаши или кисти.

От Джона Ричардсона мы знаем, что через шестьдесят лет Пикассо рассказал об этом обете Жаклин Рок, своей второй и последней жене[1]. А несколькими годами раньше он поведал Франсуазе Жило о том, с какой тоской следил он за угасанием сестры:

...он разрывался между желанием спасти ее и мечтой о ее смерти, которая позволила бы ему реализовать свой талант. Когда же Кончита умерла, он поверил в то, что Бог есть зло, а судьба — враждебна. В то же время он был убежден, что именно двойственность его ощущений позволила Богу отнять у Кончиты жизнь. Непомерность вины — это другая сторона его веры в дарованную ему огромную власть, власть влиять на события окружающей действительности. И ко всему этому примешивалась какая-то первобытная убежденность в том, что смерть маленькой сестры, точно магический выкуп, позволит ему стать художником и, забыв о последствиях, откликаться на зов той силы, которою он был наделен» [2].

Арианна Стассинопулос Хаффингтон, быть может, все же преувеличивает значение этого эпизода: тринадцатилетнему мальчику, пусть даже гениально одаренному, рановато считать Бога воплощением зла. Но в том случае, если Жаклин Рок и Франсуазе Жило Пикассо сказал правду, обет он принес неслыханный, и только святой не мучился бы потом от сознания, что талант — слишком большая жертва, и только наделенный небесными добродетелями ребенок не взялся бы тайком за карандаш и бумагу, даже если рядом испускала дух его сестра.

Нам известно одно: Пикассо таил эту историю на протяжении шести десятилетий. Это заставляет нас думать о том, что он нарушил свой обет. Почему бы иначе после смерти Кончиты ему чувствовать себя клятвопреступником?! Бог ведь не только Вседержитель, но и Судия, без сомнения заметивший данную и невыполненную клятву.

Для дона Хосе смерть дочери стала тяжким ударом. Он и без того был угнетен тремя с половиной годами, проведенными в Ла-Корунье. Каждый день, пройдя несколько кварталов от школы, где он учил детей рисованию, до дома, он подолгу стоял у окна, рассматривая скатывающиеся по стеклу дождевые капли. Компания друзей и родичей осталась под ясным и теплым небом Малаги, а в этом холодном северном краю он был совсем один, точно на необитаемом острове, вокруг которого бушевала зимняя Атлантика. Некому даже было сбывать своих голубей. В Малаге он любил водить сына на корриду, и, как пишет Хаффингтон, «однажды маль-

---

[1] *John Richardson*. A Life of Picasso. Vol.1, 1881—1906. New York, 1991, p. 49.
[2] *Arianna Stassinopoulos Huffington*. Picasso: Creator and Destroyer. New York, 1988, p. 30.

чик так пленился костюмом тореро, что поднял рев и не успокаивался до тех пор, пока ему не удалось потрогать расшитую золотыми позументами ткань»[1]. Сам Пикассо в позднейшем интервью вспоминает, как, усевшись к тореро на колени, он в полнейшем упоении любовался им.

Да, яркий наряд тореро способен вызвать восторг, и дон Хосе умел доставлять сыну минуты такой безыскусной радости. Здесь, в Ла-Корунье, его окружали темноволосая маленькая жена, темноволосый маленький сын и темноволосая маленькая дочь. Кончита, обещавшая стать рослой и белокурой, умерла. Он горевал по ней. По «легенде Пикассо», не без помощи Хайме Сабартеса так мощно пущенной в ход сорок и пятьдесят лет спустя, нам внушают, что дон Хосе забросил живопись, а свои кисти подарил сыну, уже выказывавшему к этому времени более чем многообещающее дарование. Но в интервью, взятом Пьером Кабанном у Мануэля Пальяреса, которому вскоре предстоит сделаться лучшим барселонским другом Пикассо, утверждается, что имеются картины дона Хосе, датированные более поздним временем. Сам Пикассо лет сорок спустя рассказывал эту историю с другим подтекстом — весьма вероятно, мальчик пришел к выводу, что ему больше нечего почерпнуть из представлений своего отца о том, что такое искусство и техника живописи.

Но вскоре, однако, пришел конец этой тягостной изоляции. Некий преподаватель Барселонской школы изящных искусств возымел желание переехать в Ла-Корунью. И семья Руисов смогла перебраться в Барселону. Они пустились в путь, понимая не только все значение того, что меняют провинциальное захолустье на центр художественной жизни страны, но и что везут с собой сына, исключительно одаренного для своих лет. Портрет маслом, запечатлевший «Тетю Пепу», Пикассо написал, когда семья, путешествуя морем из Ла-Коруньи в Барселону, сделала остановку в Малаге. Он производит такое впечатление и говорит о таком таланте четырнадцатилетнего художника, что мы понимаем, почему он не мог не нарушить свой обет.

2

Барселона была фактической столицей мирового анархизма. Жестко структурированное общество средневековой Каталонии с начала XVIII века переживало полнейший упадок. На смену прежним сословиям, определявшим это общество, пришли — по крайней мере, на верхние его этажи — новые классы, но для всей страны они оставались чужеродными элементами. Они были подобны войскам какого-то оккупационного корпуса...[2]

Барселона стала местом формирования Пикассо. И в его самооценку вошли новые элементы: он видел себя авантюристом, человеком вне закона, конкистадором, готовым к художественным битвам не объявленной пока войны. Если еще в Ла-Корунье он подчеркнул в своей латинской грамматике фразы, иллюстрирующие значение глагола «latrocinor» (разбойничать, грабить, пиратствовать), — «Я — пират, я морской разбойник», — то в Барселоне он уже не витал в облаках. Его товарищи по Школе изящных искусств, которые в глазах подростка были анархистами, безумцами, дикарями, очень скоро оказались обыкновенными студентами, такими же, как он, представителями среднего класса. Однако все они испытывали чувство собственного высокого предназначения или, верней сказать, были обуяны им. Задыхаясь в затхлом буржуазном мире, который буквально требовал, чтобы его перевернули вверх дном, они были отравлены сознанием, что, кроме них, сделать это некому. С сентября 1895 года, когда семья Руисов обосновалась в Барселоне, Пабло, бывая наездами в Малаге, Мадриде и Орте-де-Эбро, прожил там пять лет; там прошло его отрочество — бурное, пугающее и очень многое определившее

---

[1] *Stassinopoulos Huffington*, op. cit., p. 24.
[2] *Palau*, op. cit., p. 81.

в его жизни. Пикассо, как мы увидим, был натурой глубоко противоречивой, но спасительная сила ума позволяла ему двигаться в двух противоположных направлениях. В свои барселонские годы он погрузился в исследование религии и секса.

Разумеется, сначала была религия. Семья Пикассо, и без того чрезвычайно богобоязненная, все еще оплакивала смерть Кончиты. Дон Сальвадор (тот самый, что сигарным дымом оживил новорожденного Пабло) был среди родни не только самым богатым, но и самым набожным. Он и его деньги должны были укрепить дух племянника, вступившего на новую стезю. Как раз в это время объявили конкурс, победителя которого ждал значительный денежный приз, и дон Хосе всячески поощрял сына завершить большую картину, названную «Первое причастие». Сам он позировал для отца конфирмуемой — ее Пабло писал со своей сестры Лолы, а сын одного из его приятелей стал моделью для мальчика, прислуживающего у алтаря. Стоит отметить, что четырнадцатилетний художник не только раскрыл индивидуальность каждого персонажа, но и тщательно выписал паникадило, напрестольный покров и цветы. В его жизнь стали со всеми своими неотъемлемыми элементами входить предметы — они говорили с ним так же внятно и были такими же живыми, как и его модели. И потому чувствительность, столь присущая католицизму, на этом полотне еще более усилена подобным первобытным отношением к таинственной сути неодушевленных предметов.

Все это очевидно. Он мог бы припеваючи жить и писать картины на религиозные темы... Мог бы, будь он готов развиваться как художник в одном избранном направлении. Но мы знаем, сколько противоречий уживалось в нем, а потому нас не должно удивлять, что в четырнадцать-пятнадцать лет Пабло много времени проводил в Китайском квартале (Barrio Chino), где помещались барселонские публичные дома.

«Легенда Пикассо» гласит, что он с отрочества был наделен необыкновенным магнетизмом, оказывавшим воздействие даже на проституток, к которым он ходил. К шестнадцати годам, продолжает легенда, он знал о сексе больше, чем узнаёт обыкновенный мужчина за всю жизнь. Разумеется, Пикассо льстил такой образ, и вот уж от такой славы он отказываться в старости не собирался, но все это выглядит сомнительно. И прежде всего потому, что возникает один вопрос: где он брал деньги?

Ричардсон предполагает, что, быть может, его «угощали» студенты-однокашники, или же мальчишеское обаяние Пабло так действовало на материнское чувство барселонских «девиц», что они не брали с него денег.

С этим предположением можно было бы согласиться, но тотчас хочется спросить о количестве женщин, любивших Пикассо в Китайском квартале. При его умении делать мгновенные рисунки он мог, конечно, вызвать восторг проститутки или расплатиться с нею моментальным портретом, а потому поход в бордель должен был стать для юного студента художественного училища не из ряда вон выходящим событием, а делом обычным и привычным. В 1948 году, спустя полстолетия с лишним после того, как Пикассо впервые пришел в Китайский квартал, было видно, что этой части Барселоны изменения почти не коснулись. На узеньких улочках впритык стоят старые дома, и американскому туристу друзья-республиканцы (желая привести пример социальных язв, порожденных режимом Франко) как особую достопримечательность показывают самый знаменитый публичный дом. Там, в просторной, почти пустой комнате футов 60—70 длиной, на невысоком помосте прогуливаются сорок или даже больше женщин в лифчиках и трусиках, каждая из которых во всеуслышание рассказывает нескольким сотням посетителей о том, какого рода «специальные услуги» она может предложить. Предполагаемые клиенты курят так дружно, словно задались целью поставить дымовую завесу между своим спросом и обрушивающимся на них многоголосым и громогласным предложением. В атмосфере этой «залы» становится ясен смысл выражения «хоть топор вешай».

Примерно каждые полминуты соблазнение совершается. Женщина спрыгивает с помоста и, взяв клиента за руку, торопливо подводит его к зарешеченному окну.

Там он получает квитанцию, причем в трех экземплярах: один остается в заведении, второй получает девица, третий он волен взять себе. Затем, по-прежнему рука об руку, они поднимаются по лестнице, примерно посередине разделенной чем-то вроде балюстрады надвое, чтобы потоки, идущие вверх и вниз, двигались каждый по «своей полосе». Обслужив клиента и простившись с ним, женщина спускается и вновь занимает свое место на подиуме. Табачный дым клубится подобием грозовых туч. Шел 1948 год, симпатии к республиканцам были велики, и все же с трудом верилось, что виноват во всем этом непотребстве генералиссимус Франко, и только он один. Неповторимая атмосфера подобного, не знающего простоев и остановок, предприятия обладала властью переносить нас на сто лет назад.

И что же — если верить легенде, то получается, что с нашим героем, с этим, по слову поэта, «нежным баловнем мамаши», которого служанка за ручку тащила по утрам в школу, всего за восемь лет произошли такие разительные превращения, что он стал феноменом ранней половой зрелости и завсегдатаем дома терпимости? Пикассо еще только предстояло сделаться общепризнанным гением метаморфоз, а пока... представьте-ка его себе в четырнадцать-пятнадцать лет — годного и готового к действию. Мне возразят, что он захаживал в бордель в компании своего друга и сокурсника Мануэля Пальяреса, человека рослого и физически очень крепкого, который был при нем чем-то вроде телохранителя.

Этому флегматичному парню из крестьянской семьи, у которой хватило средств послать его из маленькой деревушки учиться в Барселону, было в ту пору уже двадцать, но он полностью подпал под власть четырнадцатилетнего мальчика, чей мольберт в натурном классе стоял рядом с его собственным. Давая в 1972 году интервью Пьеру Кабанну, девяностошестилетний Пальярес вспоминал их юношескую дружбу, и, будем надеяться, вспоминал точно:

Он был очень сильной личностью ... и привлекал к себе других — почти все были старше его на пять-шесть лет, — и превосходил их... он все схватывал на лету, хотя вроде бы пропускал слова профессоров мимо ушей. Отсутствие врожденной художественной культуры заменялось у него неуемной любознательностью... он все усваивал мгновенно и запоминал надолго... Он был во всем не похож на всех нас. Иногда бывал очень оживлен и возбужден, а иногда из него слова было не вытянуть... Был вспыльчив, но так же быстро успокаивался... Будучи совершенно уверен в своем превосходстве над всеми нами, он никогда не демонстрировал его... Временами впадал в глубокую меланхолию — его словно одолевали печальные думы, и тогда лицо его как бы затуманивалось, а глаза темнели. В пятнадцать лет он ни словами, ни поступками не напоминал мальчика этого возраста. Он был удивительно зрелым человеком[1].

Относящийся к этому времени автопортрет Пикассо свидетельствует о том, что сам он оценивал себя значительно сдержанней.

Двадцатилетний Пальярес и четырнадцатилетний Пикассо вместе гуляли по улице Рамблас. Вместе делали наброски. Вместе сидели в кафе. Если Пикассо в самом деле так регулярно наведывался в квартал «красных фонарей», как потом вспоминал об этом, то Пальярес, очевидно, расходы брал на себя. В благодарность Пабло настоял, чтобы его родители каждое воскресенье приглашали приятеля на обед. Вскоре дон Хосе и донья Мария пришли к выводу, что в целом влияние нового друга — зрелого, мощного мужчины — на их впечатлительного мальчика можно счесть благотворным. Пальярес заменил ему несуществующего старшего брата. Впрочем, каждый из них поодиночке вовсе не заботился о том, чтобы выглядеть взрослей: Пикассо вспоминает, как они с Пальяресом залезли на крышу и сбросили на землю монету на невидимой черной ниточке. Когда кто-нибудь из прохожих наклонялся подобрать ее, они за ниточку отдергивали дукат. Такая вот мальчишеская потеха. Случалось им и обстреливать прохожих камешками. На барселонском карнавале в феврале 1897 года оба они появились в женских платьях, и Пальярес так разжег чув-

[1] *Pierre Cabanne*. Pablo Picasso: His Life and Times. New York, 1977, p. 33.

ства одного из поклонников, что сумел избавиться от чересчур настойчивых домогательств, лишь сбив его с ног ударом кулака. Есть дружба, которая жива только благодаря общим воспоминаниям. В девяносто лет Пальярес каждое лето гостил у Пикассо в Мугене.

Первые свои барселонские годы Пикассо усердно работал. В 1896 году «Первое причастие» экспонировалось на Выставке изящных искусств, и рядом висели работы таких известных в то время испанских художников, как Рамон Касас и Сантьяго Русиньоль. Другая его картина, «Наука и милосердие», удостоилась похвального отзыва на Мадридской художественной выставке.

Дон Хосе снова послужил сыну моделью. «Всякий раз, когда я рисую мужчину, — позднее говорил Пикассо, — я думаю о своем отце. Для меня мужчиной на всю жизнь остался дон Хосе»[1].

По этому поводу в книге Макгрегора-Хэсти «Женщины Пикассо» приводится следующий анекдот, приписываемый предположительно Тристану Тцара, который, по его словам, с 20-х годов в течение трех десятилетий был очень близок с Пикассо, а для Макгрегора-Хэсти являлся «сущим кладезем», из которого он и черпал «легенды и предания о Пикассо задолго до того, как решил писать свою книгу»[2].

Макгрегор-Хэсти, рассказывая об этом периоде, сообщает, что Пикассо, перед тем как переехать из Барселоны в Мадрид,

...нашел способ потерять невинность. Он уже давно заприметил девушку, подававшую вино в баре, над которым находилась его студия. Она была высокая и тонкая и, хоть и не обладала теми пышными формами, которые так влекут снедаемых желанием юнцов, своим грубоватым юмором смешила Пикассо. Позднее она рассказала: однажды это веселье кончилось тем, что он «повалил ее на бочку и сделался мужчиной». А потом, через несколько дней, глядя на ее тщедушное тело и рыжие волосы, он сказал приятелю: «Ее <...> — все равно что отца родного» [3].

Во всей истории внимания заслуживает лишь финал. Тристан Тцара был, как известно, сюрреалистом, а значит, для него история вымышленная нисколько не тускнела в сравнении с реальным происшествием. Главное — чтобы можно было лишний раз пнуть буржуазную истину. И тем не менее ценность этого рассказа — если она вообще имеется — в том, что он позволяет понять, чем было подготовлено последовавшее вскоре решение Пикассо подписывать свои полотна другим именем. Пабло Руису еще предстояло сделаться П.Руисом Пикассо, затем — П.Р. Пикассо и, наконец, в 1901 году — Пабло Пикассо, что, должно быть, сильно опечалило и задело дона Хосе. Однако новое имя лучше «ложилось на слух» и сулило, что под ним скрывается художник более своеобразный и яркий, чем тот, который носил обыденное имя Пабло Руис.

В 1943 году Пикассо говорил Брассаю: «...уверен, что меня сильней всего прельстило удвоенное «с», редкое в испанском языке... А вы замечали, что «сс» имеется и в фамилиях Пуссен, Матисс, Руссо?»[4]

Во всяком случае на переломе века, когда испанцы еще гордились принадлежностью к мужскому полу не меньше, чем кровью, предпочесть материнскую фамилию «родовому имени» было событием неординарным. Пикассо, уходя от самоидентификации (уход этот парадоксальным образом способствовал еще более глубокому осознанию себя как личности), руководствовался еще и тем, что принадлежал к тому же средиземноморскому этническому типу, что и низкорослая, чернявая, ширококостая донья Мария, «которая, когда садилась на стул, не доставала ногами до полу»[5].

---

[1] *Brassaï,* op. cit., p. 56.
[2] *Roy MacGregor-Hastie.* Picasso's Women. Harpenden, 1988. Посвящение Тристану Тцара на титульном листе.
[3] Там же, с. 24.
[4] *Cabanne,* op. cit., p. 38.
[5] *Stassinopoulos Huffington*, op. cit., p. 37.

«Наука и милосердие» (1897).

Впрочем, до перемены имени должно было пройти еще несколько лет. А в 1897 году дон Хосе гордился картиной «Наука и милосердие», сыгравшей скромную, но несомненно положительную роль в становлении сына как художника. Сабартес замечает, что хотя некий мадридский художественный критик и насмехался над тем, как выписана рука больной женщины, уверяя, что «доктор щупает пульс у перчатки», однако Почетный диплом, полученный племянником, привел в восторг дона Сальвадора, «женатого теперь на аристократке безупречного происхождения и жившего на Аламеде — самом фешенебельном проспекте Малаги» [1].

В 1897 году дон Хосе, перед тем как со всем семейством и с картиной отправиться в родной город навестить брата, выставил полотно на продажу, причем по несуразно высокой цене (полторы тысячи песет, половина годового жалованья дона Хосе), но никто ее не купил. Тогда полотно решили подарить дяде, и тот, польщенный и тронутый, повесил его на видном месте. Наука и милосердие! Не это ли девиз всякого хорошего врача?! Дон Себастьян, обсудив с братом будущность юного художника, решил принять участие в его судьбе и послать учиться в Мадрид, в Королевскую академию художеств. Он сам обошел всех малагских родичей, и каждый внес свою лепту в покрытие грядущих расходов.

Ничего путного, однако, из этого не вышло. Должно быть, дон Сальвадор внимательней вгляделся в картину и обнаружил, что, возможно, она и отлично выстроена композиционно, и проникнута истинно христианскими чувствами, но содержит детали, которые можно счесть крамольными: в этой убогой и нищей комнате совершенно не место зеркалу, висящему в изголовье кровати тяжко больной женщины. Духовное начало вытесняется плотским при взгляде на эту пышную резную раму, вызывающую слишком назойливые и прямые ассоциации с барочным изображением женского лона. В наши дни подобная визуальная метафора не осталась бы незамеченной и неоткомментированной, но в те времена Пикассо мог твердо рас-

[1] *Palau*, op. cit., p. 117.

считывать на непреложность того обстоятельства, что родственники его не станут вычленять предмет из окружающего контекста — зеркало есть зеркало, и мало ли на что оно может быть похоже? Зеркало живет в картине вопиющим противоречием ее сюжету и символическим предвестием будущих тем Пикассо.

В Мадриде он не прижился. Оказавшись там в одиночестве и вдруг лишившись того постоянного пыла, с которым семья хлопотала о его карьере художника, он с разочарованием обнаружил, что обучение в Королевской академии еще больше, чем в Барселонской школе, сковано догматами академизма. Не понравилось Пикассо и то, как Муньос Дегрен, друг и бывший патрон отца, а ныне один из ведущих преподавателей, намерен опекать и воспитывать сына. «Нелады начались с первого дня. Муньос Дегрен рассчитывал увидеть того самого маленького мальчика, который делал наброски в порту Малаги, а вместо этого перед ним предстал молодой человек, уверенный в себе, в силе своей личности и масштабе своего дарования. Достичь взаимопонимания им не удалось, и так Пабло впервые заявил о своей независимости. Дегрену нравился сын старого друга, он оценил его талант и был достаточно умен, чтобы списать свою неудачу на чисто андалусскую гордыню Пикассо. Позднее он не без горечи замечал: «Если бы я был способен помочь ему, из него мог бы выработаться отличный художник натуральной школы — не хуже меня»[1].

На самом же деле Муньос Дегрен посылал дону Хосе письма, в которых подробно живописал то, как его Пабло, на которого возлагалось столько надежд, отлынивает от занятий, пропускает лекции, бьет баклуши и вообще явно тяготеет к богемной жизни. Стало это известно и дону Сальвадору, и тот лишил племянника своих милостей. Пикассо, живший теперь лишь на те крохи, которые могли присылать ему родители, обнаружил, что снять мастерскую ему не по средствам. Пришлось ограничиться работой на пленэре. Быть может, именно все это: житье в нетопленой комнате, одиночество в большом городе, где не было близких друзей, зарисовки «на ходу», в блокноте — и внушило ему убежденность, что можно существовать и так — по-богемному, не заботясь о завтрашнем дне. Позднее, в Париже, это умение ему весьма пригодится.

Весной 1898 года он заболел и слег. У него оказалась скарлатина. Выздоровев, но еще не совсем оправясь от болезни, он уехал в Барселону — и обнаружил, что там идет брожение весьма неприятного свойства. Война, которую Испания затеяла для подавления вспыхнувшей на Кубе революции, приняла катастрофический оборот: у берегов Гаваны был потоплен американский линкор «Мэн», и стало ясно, что вот-вот будут открыты боевые действия против Соединенных Штатов. Это означало, что прежние правила призыва на военную службу теряют силу. Пальярес, спасаясь от солдатчины, решил вернуться в родную глухомань, в деревушку Орта-де-Эбро, затерянную в горах на границе Арагона и Кастилии, и переждать лихолетье там.

Пикассо присоединился к нему и провел с ним полгода. Мемуаристы оставили красочные описания этого периода.

Каждый вечер, окончив свой дневной «урок», Пикассо встречался со своим другом Пальяресом, который обычно писал этюды на придорожной мельнице, принадлежавшей его семье. Пикассо любил смотреть, как вертятся в воздухе ее крылья. Иногда он, помогая своему другу, брался за какую-нибудь работу по дому — укладывал сено или в зимние вечера пек пирожки с сушеными фигами. Позднее он сам рассказывал мне, что проводил много времени в деревенской кузнице, глядя, как раздувают мехи, бросают на наковальню раскаленный кусок железа и бьют по нему молотом, придавая нужную форму, как подковывают лошадей. По целой груде набросков и эскизов, сделанных в Орте-де-Эбро, видно, что он питал такой же интерес и к другим видам крестьянского труда, и когда впоследствии он заявлял: «Всему, что я знаю, я научился в деревне у Пальяреса», эта фраза означала, что он расценивал прямой контакт с

[1] *Cabanne,* op. cit., pp. 40—41.

деревенской жизнью и деревенскими жителями как некое посвящение. И дело было даже не в том, что умение стряпать и другие навыки пригодились ему не раз и в Барселоне, и в Париже, — нет, это отразилось потом в языке его пластических композиций, в тяготении к материалам, которые ранее отвергались как неподходящие, — бумаге, картону, веревкам, гвоздям, ткани и пр.[1].

Глаз Пикассо был орудием его интеллекта, и орудием могучим. Глаз проникал не только в самую суть того, как живут люди в сельскохозяйственной общине, но и постигал, сколько усердного труда и рвения нужно, чтобы прокормить себя. Даже путь из Барселоны в Орту-де-Эбро превращается в некое путевое священнодействие.

На поезде они доехали до Тортосы, где их встречал брат Пальяреса. Они навьючили на мула свои этюдники, холсты, ящики с красками, чемоданы и двинулись в путь сначала по цветущей долине Эбро, мимо апельсиновых рощ... а потом свернули к югу через горы... поднимаясь все выше и выше, попадая в сьерру, где и воздух был другой, и растительность была совсем другая — земляничные деревья, розмарин, тимьян, альпийская фиалка... а вокруг простирались сосновые леса, над которыми торчали нагие макушки гор... Там стояло несколько убогих деревушек, окруженных клочками пашен, а потом хижины стали попадаться поодиночке... дорога становилась все уже, пока через пятнадцать миль не сменилась тропой, на которой не смогли бы разминуться два мула. Она вилась по дну глубокого, облюбованного грифами ущелья, куда не заглядывало солнце, и разрывалась надвое быстрой речкой, которую надо было переходить вброд.

Для человека, никогда не выходившего за городские ворота и не прошедшего за всю жизнь пешком не то что двадцати, а и пяти миль, подобное путешествие, даже налегке, ибо всю кладь взвалили на мула, было ошеломительным вступлением в новый мир...[2]

Спустя несколько дней Пальярес и Пикассо, снова прихватив с собой съестные припасы, холсты и краски, отправились на этюды еще выше в горы и разбили бивак в подобии естественного грота, который образовывал, нависая над горным потоком, стремительно низвергавшимся вниз, огромный валун.

Художников мог видеть лишь случайно забредший в эти места браконьер, а потому они вели первобытный образ жизни: расписали свою пещеру, ходили голыми, спали на огромных охапках свежего сена и купались в струях водопада[3].

Арианна Стассинопулос Хаффингтон на основании неопубликованных мемуаров Франсуазы Жило добавляет в этот пейзаж фигуру цыганенка,

который был на два года младше Пабло. Он научил его понимать щебет птиц, движение звезд высоко над головой, объяснил, как установить нерасторжимый союз с природой — с деревьями, животными и с тем, чего глаз не видит. Они вместе следили за ежедневно повторявшимся чудом восхода солнца и вместе подолгу бродили по крутым горным тропам. Они крепко подружились и ни в пещере, ни возвращаясь в деревню не расставались... Пальярес утверждает, что по окрестностям Орты разгуливал с Пабло именно он, а по словам Пикассо, однажды по какому-то поводу упомянувшего об этой пламенной дружбе, неразлучным его спутником был этот цыганский паренек. «Пальярес был человеком приземленным», — добавлял Пикассо. А цыганенок [по контрасту] казался горожанину воплощением свободы и неведомого, внушающего священный трепет мира. Чтобы скрепить свой союз, они по старинному обычаю взяли нож, с которым цыганенок не расставался, сделали на запястьях надрезы и перемешали выступившую кровь. Однако и в этом Эдеме не обошлось без

[1] *Palau*, op. cit., p. 151.
[2] *Patrick O'Brian*. Pablo Ruiz Picasso. New York, 1976, pp. 57—58.
[3] *Geneviève Laporte*. Sunshine at Midnight. London, 1975, p. 26.

своего змия — мира за пределами Орты. Цыганенок понял это первым и реагировал так, как и должен был, — бурно и решительно. Выхватив нож, он кричал с той же страстью, которую за много веков и пластов цивилизации до него испытывал Патрокл к Ахиллу: «Я слишком люблю тебя! Я должен уйти! А иначе мне придется убить тебя, потому что ты не цыган!» ...Оттого, что Пикассо принадлежал к чуждому племени, цыганская любовь, не становясь слабее, давила цыганенку на плечи бременем столь тяжким, что в ту же ночь он ушел навсегда, ранив чувства Пикассо и загнав его в глухой тупик[1].

Книга миссис Хаффингтон в большей своей части вполне пригодна для чтения, но вышеприведенный пассаж как раз показывает, что не этому бы перу браться за описание любви и яростной страсти.

Тем не менее совершенно не исключено, что в юности у Пикассо было несколько гомосексуальных опытов. Ричардсон, с жаром отстаивающий его гетеросексуальную святость, бросает на это весь свой заслуженный авторитет:

Погонщик мулов представлен Стассинопулос Хаффингтон в неправильном свете. Без всяких на то оснований она обвиняет Пикассо в том, что «пылкая дружба» переросла в настоящее любовное чувство, в любовь в полном смысле слова. Она утверждает, что цыганский мальчик «был на два года моложе Пикассо и тоже увлекался живописью». Пальярес, самый надежный свидетель, говорит, что тому было не больше 10, и с этим согласуются сделанные Пикассо рисунки [2].

Никогда не будет известно, стала ли эта пещера местом гомосексуальной идиллии, или это был лишь очередной этап мужания, но Пикассо за эти полгода в деревне получил свою долю «первобытных ощущений». А кроме того, вскоре ему предстояло узнать, что такое смерть в глуши, и узнал он об этом больше, чем хотелось бы.

Ричардсон и Патрик О'Брайан упоминают, что Пикассо стал очевидцем примитивного вскрытия, которому были подвергнуты тела деревенской старухи и ее внучки, погибших, по всей вероятности, от удара молнии. Чтобы окончательно исключить иные варианты, обеих решено было вскрыть. Процедура проходила в духе фильма «Франкенштейн»: прямо на кладбище, в двух шагах от разрытой могилы, под каким-то навесом, почти впотьмах — при свете одного-единственного фонаря. В этой «готической» атмосфере кладбищенский сторож, орудуя пилой, чтобы добраться до мозга, разъял череп девушки пополам — от макушки до шеи, причем не выпускал изо рта сигары (окровавленной, как добавляют очевидцы) во все время процедуры. Пикассо скоро стало дурно, и он принужден был покинуть место действия. Патрик О'Брайан, приводя этот факт, приходит к выводу, что вид разъятого на части лица так сильно поразил Пикассо, что и много лет спустя он снова и снова варьировал эту тему. Ричардсона подобная версия приводит в ужас — он уверяет, что двойные профили и расколотые головы имеют не патологоанатомическое, а чисто художественное происхождение[3].

«Стоящая женщина», деталь (1958).

---

[1] *Stassinopoulos Huffington*, op. cit., p. 41—42.
[2] *Richardson*, op. cit., p. 492.
[1] Там же, с. 106.

Но согласиться с этим трудно — стоит лишь вспомнить, какая свирепая цепкость присуща его взгляду. Убедясь, что изуродованное лицо выразительнее всего свидетельствует о смерти, Пикассо, очевидно, понял, что так же точно следует очерчивать и характер персонажа. Пройдет лет тридцать, прежде чем на сделанном им портрете профиль модели встретится с половинным изображением ее лица анфас, но затем этот ужас будет присутствовать на его полотнах в течение нескольких десятилетий. И бесспорен, по крайней мере, шок, который получает зритель при взгляде на эти двоящиеся ракурсы. Портреты воздействуют на нас противоречивостью своей двойной сути — нас переполняет чувство их власти над нами и нашего собственного ужаса. А если и уподоблять его творчество вскрытию, то он и в самом деле клал модель на мраморный стол в анатомическом театре своего постижения, ибо, помимо всего прочего, Пикассо был и следователем по «особо тяжким»: любая аномалия в душевном мире того, чей портрет он писал, не оставалась незамеченной и, когда художнику приходила охота произвести духовную аутопсию, становилась предметом изображения.

3

В декабре 1898 года Испания потеряла Кубу и Филиппины. По престижу монархии был нанесен тяжелый удар.

Пьер Кабанн дает выразительное описание Барселоны, куда Пикассо вернулся в начале 1899 года:

...город, полный контрастов, упоенно ловящий в дуновении северного ветра благоухание идей Новалиса и Ницше, приходящий в восторг от Сезара Франка, остающийся, несмотря на своих анархистов — смутьянов и эстетов, а также набожных промышленников и добропорядочных буржуа, ужасающе бедным и утопающим в грязи: печально знаменитый Китайский квартал кишит тысячами нищих, вместе с разного рода проститутками, убийцами, грабителями, беглыми и прочей сомнительной публикой — всеми теми, кто пропитывал собой огромную массу беспощадно эксплуатируемых рабочих, к которым прибавились еще и больные и раненые репатрианты с навек теперь потерянной Кубы, и все это скопище всеми забытых людей представляет собой отличный горючий материал для огня восстания[1].

Должно быть, именно в это время зародилась в душе Пикассо симпатия к обездоленным, но ей пришлось бороться с его вполне осязаемым честолюбием. И он, уже отринув приукрашивание действительности, необходимое для коммерческого успеха, не находил себе достойного поприща и в известном смысле был душевно дезориентирован. В семнадцать лет он, без сомнения, не был патриотом и от души презирал рассыпающуюся империю и самодовольных буржуа, столь скверно управлявших ею, — и следствием этого стало отчуждение от родителей. Он принимал от них и обожание, и помощь, но не испытывал к ним и к миру, в котором они жили, никакого интереса, делая, быть может, единственное исключение для весьма скромных административных дарований дона Хосе. Пикассо уже отказался идти тем путем, который предлагал ему отец, то есть принимать участие в государственных выставках, получать призы и награды, что впоследствии привело бы его на профессорскую кафедру в какой-нибудь художественной школе, а та, в свою очередь, дала бы новые заказы на портреты. Вместе с известностью росли бы и гонорары, и он мог бы стать преуспевающим портретистом вроде того же Муньоса Дегрена. Однако подобное развитие событий не вселяло в душу юного художника ни малейшего энтузиазма.

Прибавьте к этому и тот заметный холодок отчуждения, который он, андалусец, ощущал в Каталонии (примерно так чувствует себя пуэрториканец в Нью-Йор-

[1] *Cabanne,* op. cit., p. 46.

ке). Сабартес писал: «Среди барселонцев «моего круга» слово «андалусец» неизменно сопровождалось презрительной гримасой — «штаны в обтяжку, короткие куртки, круглые кóрдовские шляпы, петушиные бои и коррида... — фу!»[1] Если и было среди испанцев племя, которое культивировало весь комплекс мужских доблестей, объединяемых понятием «мачизм», то это, конечно, андалусцы — изысканные и утонченные северяне считали их слишком рьяными католиками, слишком большими реакционерами, слишком истовыми приверженцами авторитарной власти. Спустя сорок лет именно они составят костяк Фаланги. (Поднятый генералом Франко мятеж был поддержан прежде всего в Андалусии.) Каталонцы, говорящие на языке, который отличается от испанского не меньше, чем португальский, тщеславились своим древним происхождением и аристократической чистотой крови.

Попав впервые в Барселону, Пикассо с трудом понимал ее жителей, и в студенческую среду его приняли лишь благодаря яркому дарованию и вопреки тому, что он был уроженцем Малаги. Проведя полгода с Пальяресом в Орте-де-Эбро, где в ходу был только каталонский, он, конечно, бегло заговорил на нем. Кроме того, он самоопределил свой новый статус, объявив себя каталонцем. Все это смягчало отчуждение, но в глубине души Пикассо чувствовал, вероятно, что обвел новых земляков вокруг пальца.

Еще большие сложности порождало сочетание исключительного ума с необразованностью. Вращаясь в среде нигилистически настроенных, но культурных студентов, принадлежавших к среднему классу, он вряд ли способен был поддерживать шедшие за столиками кафе беседы о модернизме и Art Nouveau, о Jugendstil[2] и Sezession[3], о немецких экспрессионистах, о новых полотнах Эдварда Мунка и Тулуз-Лотрека. Однако первая заповедь анархизма, провозглашенная когда-то Бакуниным: «Страсть к разрушению — созидательна», — охотно принималась всеми, и едва ли оставался Пикассо равнодушен к формуле Ницше (за которую позже так рьяно ухватился Гитлер): «Я — сам себе судьба и определяю условия существования для вечности».

С особенной жадностью впитывал он постулаты «модернизма», который в 1899 году в Барселоне олицетворял собой не одно какое-либо направление в искусстве, а жгучую жажду перемен. Модернист в тогдашнем понимании этого слова должен был действовать как живописец, скульптор, плакатист, драматург и художественный критик, актер, фокусник, акробат, архитектор, декоратор, владелец кафе и — это было непременным условием — импресарио. К этому можно было добавить навыки и дарования террориста. Никакой жанровой иерархии: станковая живопись ничем не лучше плаката, ибо в делении искусства на «высокое» и «низкое» таится леденящая, мертвящая, парализующая и подавляющая сила. Свобода же несовместима с ранжиром.

Барселонским трубадуром модернизма был художник Сантьяго Русиньоль, который еще за три года до того, как семейство Пикассо перебралось в Малагу, изложил свои взгляды на искусство в двух манифестах, обнародованных соответственно в 1893 и 1894 годах:

Наша цель — перевести вечные истины на язык дикого парадокса; извлечь жизнь из ненормального, сверхъестественного, бешеного, выразить ужас рационального сознания при взгляде на петушиный бой.[4]

На щите модернистов было начертано: «Предпочтительней быть полоумным символистом и даже совсем безумным декадентом, чем смиренно-благоразумным обывателем»[5].

---

[1] *Sabartés*, op. cit., p. 17.
[2] Стиль модерн (начало XX в.) (*нем.*).
[3] Название ряда объединений немецких и австрийских художников конца XIX — начала XX в. (*нем*).
[4] *Richardson*, op. cit., p. 113.
[5] Там же.

«Сабартес» (1960).

В 1899-м штаб-квартирой барселонских модернистов сделалось заведение «Els Quatre Gats» («Четыре кота»), где под одной крышей разместились ресторан, кафе и бар. Это был центр притяжения для высокой барселонской богемы: там едва ли не каждый вечер встречались те, кто составлял ядро модернизма, — уже стяжавшие себе известность Русиньоль, Рамон Касас, Исидро Нонель, Рикард Канальс и Мигель Утрилло (отец Мориса).

Поскольку все они были лет на десять старше Пикассо, он пил с ними меньше, чем со своими сверстниками, среди которых был и его новый друг Хайме Сабартес — через 35 лет этот человек станет его секретарем, его наперсником и официальным хранителем его легенды.

Характер Сабартеса, каким он предстает на портрете, сделанном Пикассо углем и акварелью в 1900 году, вскоре после их знакомства, отлично передавала его наружность (или же мы судим о его внутреннем мире по свойственному Пикассо мастерству создания образов?). Он писал:

Каждый день после обеда мы встречались в «Четырех котах», а оттуда я провожал его в студию. Этот порядок был заведен раз и навсегда. Иногда мы расставались у лестницы, иногда, если он приглашал, я поднимался с ним, а если просил остаться — оставался. Порою, принимаясь за работу, он хотел, чтобы я был рядом, ибо в этом случае мог не отвлекаться на мысли обо мне, которые не давали бы ему покоя, останься он в одиночестве[1].

Сабартес считал, что прочие друзья Пикассо годны лишь на то, чтобы шляться вместе с ними по злачным местам Барселоны, но с тем же успехом можно предположить, что главным достоинством Сабартеса в глазах нового друга было постоянное наличие денег в кармане.

Кроме того, он был рабски предан Пикассо, который и в девятнадцать лет не оставался нечувствителен к лести. В своей книге «Пикассо: портреты и память», опубликованной лет через сорок после описываемых событий, Сабартес предлагает читателям совершить верховую прогулку на резвой лошадке Гиперболе:

...это было, когда я впервые пришел к нему в мастерскую на улице Эскудиттер Бланк. Был полдень. Голова моя шла кругом от всего, что я увидел там на листах бумаги и в блокнотах... Он не сводил с меня пристального взгляда, что только усиливало мою растерянность. Подойдя к нему, чтобы попрощаться, я, завороженный магической силой, исходившей от этого человека, его колдовской властью, сулившей волшебные дары удивления и надежды, чуть было не отвесил ему низкий поклон[2].

Однако откровеннее Пикассо был с другим своим приятелем, Карлесом Касагемасом, о котором Сабартес, как нетрудно догадаться, отзывается не слишком одобрительно. Вглядываясь в портрет юного эстета, сделанный в том же 1900 году, возьмем на себя смелость предположить, что мало найдется карикатур, которые

[1] *Sabartés,* op. cit., p. 86.
[2] *Sabartés.* Picasso: Portraits et souvenirs. Paris, 1946, p. 26.

раскрывали бы характер персонажа убедительней, чем этот беглый рисунок тушью и акварелью. Пикассо испытывал несомненное влияние Обри Бердслея, скончавшегося за год до этого в возрасте двадцати шести лет, но сколь же благотворно это влияние, если в результате на свет появляется такой чудесный портрет!

«Касагемас-денди» (1900).

Касагемас, младший ребенок в состоятельной и благополучной семье, был избалован до такой степени, что это уже выходило за рамки самого понятия избалованности. Он не только не знал удержу своим прихотям, но и считал их столь законными, что завел с родной племянницей роман, платонический характер которого объяснялся исключительно последствиями невоздержанности Карлеса — слишком пагубно сказалось на его мужественности пристрастие к морфину и алкоголю. Кроме того, он увлекался анархическими идеями, считал себя декадентом и был сторонником независимости Каталонии. Во флигеле обширного родительского дома на Каррера-Нон-де-ла-Рамбла разместился штаб этого движения. Там же находилась и «студия» Касагемаса, где он не только работал вместе с Пикассо, но и устраивал по воскресеньям приемы.

Это были многолюдные сборища, непременные участники которых — братья Ревентос и де Сото, Видаль Вентоса, Пальярес и, разумеется, Пикассо — осуществляли, проводили в жизнь кое-какие идеи, выбранные наугад. Развлекались они и тем, что погружали свои рисунки в кипяток, а потом «поджаривали», любуясь причудливыми результатами[1].

На протяжении полутора лет Касагемас и Пикассо были почти неразлучны — расставались они на более или менее продолжительный срок лишь у дверей публичного дома, куда первый под предлогом того, что он «под дозой [морфина]», пьян или, напротив, слишком трезв, неизменно отказывался сопровождать второго. Принято считать, что такое поведение доказывает не только импотенцию Касагемаса, но и то, что это было трагедией для него. Помимо прочего, он обожал огнестрельное оружие и знал толк в стрельбе, а потому рядом с другом Пикассо всегда чувствовал себя под надежной защитой и в полной безопасности. Кроме того, у него водились деньги — вскоре они сняли пустую квартиру на верхнем этаже идущего на снос дома в старой части города, на проспекте Реформы. Улицы по соседству были заполнены нищими — и, быть может, они пригодились Пикассо потом, когда пришло время «голубого периода». Когда Касагемас снял квартиру, Пабло занялся «внутренним убранством» и, расписав стены, изобразил все то, чего там не хватало: огромную кровать, ломящийся от роскошной снеди стол и даже лакея и горничную (с преувеличенно пышной грудью), которые ожидали распоряжений своих новых хозяев[2].

Восемь лет спустя, в Париже, на банкете в «Бато-Лавуар», устроенном Пикассо в честь Анри Руссо, Таможенник скажет ему: «Мы с тобой — величайшие ху-

---

[1] *Cabanne,* op. cit., p. 50.
[2] *Palau,* op. cit., p. 182.

дожники нашего времени, ты работаешь в египетском стиле, я — в современном»[1]. Это интересное замечание: гробницы фараонов изнутри тоже украшены изображениями еды и мебели, для того, по всей видимости, чтобы усопшие и в загробной жизни были сыты и чувствовали себя уютно.

В этот период Пикассо, как и полагалось барселонскому модернисту, зарабатывал себе на пропитание театральными плакатами, журнальными иллюстрациями, делал углем, карандашом и пастелью портреты друзей и многое другое.

Денег, однако, эти труды приносили мало. Карандашные портреты продавались всего по нескольку песет за штуку, а эскизы к плакатам так и остались эскизами. С другой стороны, он, несомненно, был в восторге, узнав, что полотно «Последние мгновения», на которое он возлагал большие надежды, надежды эти оправдало — оно попало в испанский павильон Всемирной выставки в Париже, открывшейся в мае 1900 года. Честь немалая. Выставка была не только исполинской мировой ярмаркой, но и неким апофеозом нового века, вместе с которым, по всем приметам, должна была наступить эра неслыханного прогресса.

Очень жаль, что впоследствии Пикассо «записал» эту картину, использовав огромный холст для другой работы. Художник, которому суждено было выразить вывихи и ужасающие метаморфозы надвигающегося бурного столетия, даже не сфотографировал полотно, висевшее в испанском павильоне.

Разумеется, теперь он, Касагемас и Пальярес носились с идеей уехать в Париж — только там, по их мнению, можно было развить свой талант и встретить настоящих художников. Да и как можно было претендовать на достойное место в Барселоне, если ты не пожил за границей?

Дело было за малым: надо было убедить родителей дать денег на поездку. Нам нетрудно представить себе, какие горячие споры развернулись по этому вопросу. Если донья Мария верила в божественную одаренность Пабло, то дон Хосе предпочел бы, чтобы он продолжил образование в Барселоне или в Мадриде, где мог бы воспользоваться его крепкими многолетними связями. Пренебречь ими было то же, что разорвать их. Эта логика была квинтэссенцией подсознательной убежденности буржуа в том, что искусство — штука рискованная и человек, занимающийся им, балансирует на грани криминала, так что благоразумней будет приручить талант и обезопасить его от любых случайностей.

Однако дону Хосе не удалось добиться своего. В конце концов он сдался, ибо лучше, чем кто-либо другой, знал, как талантлив его сын. Впоследствии Пикассо говорил Сабартесу:

Отец согласился оплатить поездку. Вместе с матерью он пришел пожелать мне счастливого пути, а когда вернулся домой, в кармане у него оставалось лишь несколько песет. Им предстояло еще как-то дожить до конца месяца. Все это мать рассказала мне много позже[2].

Непросто было уговорить и родителей Касагемаса — они тоже понимали незаурядность своего сына, но решающую роль сыграл иной мотив, который подспудно звучит в тех семьях, где есть «трудные дети»: «Быть может, и неплохо будет отправить его с глаз долой». Очевидно, Касагемас-отец внял доводам Пикассо о том, что Париж пойдет дикарю на пользу, и денег на дорогу и прожитье дал.

Перед отъездом из Барселоны Пикассо написал автопортрет, на котором слова «Я — король» тройным нимбом окружают его голову. В нем было 5 футов 3 дюйма росту (160 см), и он был очень молод. Впрочем, то же самое можно было сказать и про девятнадцатилетнего Наполеона. Обоих ждал и принял Париж.

Палау-и-Фабре так описывает приготовления к отъезду:

Пикассо и Касагемас сшили себе одинаковые костюмы из черного вельвета... Услышав об этом от родителей Пикассо, Пальярес моментально заказал себе такой

---

[1] *Penrose,* op. cit., p. 138.
[2] *Sabartés.* Picasso: An Intimate Portrait, p. 46.

же точно. Много лет спустя он говорил мне о нем так: «Пиджак очень свободный, с круглым воротом, застегивающимся у самой шеи и закрывающим жилет, а в безвыходной ситуации — и отсутствие сорочки. Брюки — из того же материала, узкие, матросского фасона, с клапаном на двух пуговицах [1].

Теперь пора покорять столицу мира, империю утонченного вкуса!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Париж

1

К концу столетия Монмартр чем-то напоминал Нижний Ист-Сайд сегодняшнего Нью-Йорка. Обитателей тогда и теперь подстерегали схожие опасности. Хватало и хулиганов, особенно опасных для женщин — в Париже таких называли «апаши», — и проституток. Монмартр перестраивали — на месте ферм и ветряных мельниц, которые десятилетием раньше очаровывали Ван Гога, ложился булыжник парижских мостовых.

Пикассо, хоть и не говорил по-французски, едва ли чувствовал себя на новом месте одиноко — вокруг было много земляков-каталонцев. Они с Касагемасом поселились на улице Габриэль, в студии вернувшегося в Барселону Исидро Нонеля, и Пикассо с жаром и рвением принялся за работу, вдохновленный глядящими со стен музеев и галерей полотнами Коро, Курбе, Домье, Давида, Делакруа, Энгра, Мане и легиона импрессионистов. Вместе с Касасом и Утрилло он посетил Всемирную выставку и полюбовался «Последними мгновениями».

Ему только что исполнилось девятнадцать. Его обуревала жажда творчества, он ходил по улице Лаффит, по галереям, где выставлялись представители авангарда. Имена владельцев этих галерей — Дюран-Рюэль, Бернхайм-младший, Амбруаз Воллар — теперь прогремели на весь мир. Повсюду он видел образцы искусства, которым хотел бы следовать в собственном творчестве. Его озарения не облекались в слова, но изгиб линии (ничем не отличающийся от поворота фразы) в восхищавших его работах других художников стимулировал его интеллект, углубляя постижение новых истин.

Ему в высокой степени был присущ дух состязания. Получая импульс от другого художника, он перенимал и усваивал его манеру, воспроизводил ее и так глубоко погружался в чужой стиль, что обретал возможность глядеть на мир как бы чужими глазами. И в самом деле, до начала «голубого периода» нельзя говорить о стиле Пикассо. Он очень талантлив и столь же переимчив. Попробовав и сменив на протяжении всей своей творческой жизни больше стилей, чем любой другой художник, он служит самым убедительным примером того, почему нельзя обучать одаренную личность на основании незыблемых принципов. Сколько учителей на этом этапе испытывали искушение сказать ему: «Ты должен искать свой собственный стиль».

Но время для этого еще не настало. Прежде чем приступить к попыткам воссоздать мир, сначала надо было воспринять и усвоить его. «Именно в Париже я понял, — говорил он, — каким великим художником был Тулуз-Лотрек», — и доказательством этого суждения служит соперничающее с мастером полотно «Ле Мулен де ла Галетт».

Как доминируют на этом холсте фигуры женщин! Как они очаровательны, кокетливы, уверены в себе, доверчивы друг к другу, хотя в их сплоченности есть и

---

[1] *Palau,* op. cit., p. 199.

некая зловещая нота. Мы видим теперь, что Париж уже наложил свой отпечаток на характер Пикассо — он ощущается в том, какой свободой веет от этих утонченных француженок, от изящества их мертвой хватки и умения «вить из мужчины веревки». По сравнению с барселонскими шлюхами это была целая неизведанная вселенная. И он смотрел на них с вожделением и с глубочайшим уважением девятнадцатилетнего начинающего укротителя. Париж сам по себе был возбуждающим средством.

Касагемас писал одному из друзей:

На бульваре Клиши полно сумасшедших заведений — «Le N éant», «Le Ciel», «L'Enfer», «La Fin du Monde», «Le Cabaret des Arts», «Le Cabaret de Bruant»[1] *и множество других, лишенных и капли очарования, но зато безумно дорогих. Наши «Четыре кота» здесь были бы настоящими золотыми копями... Здесь нет ничего даже отдаленно напоминающего их. Здесь все полно фальшивой пышности и мишурного блеска, все сделано из картона и папье-маше и посыпано опилками... «Мулен де ла Галетт» потерял своеобразие, а вход в «Мулен Руж» стоит три, а в иные дни — и пять франков. То же и с театрами: за билеты на самые дешевые места дерут не меньше франка*[2].

Пикассо по протекции Нонеля был представлен одному тридцатилетнему каталонцу, занявшемуся в Париже торговлей картинами. Его звали Пер Маниак, и он уплатил Пикассо сотню франков за три пастели, изображавшие бой быков, после чего тут же перепродал их своей коллеге Берте Вейль в полтора раза дороже. Столь удачная сделка плюс отмечаемая многими биографами «слабость Маниака к молодым людям» привели к тому, что, полностью пленившись Пикассо, он предложил ему 150 франков ежемесячно при условии, что художник будет отдавать все, что сделает, ему.

Маниак познакомил Пикассо с Бертой Вейль, чья дерзкая отвага и всегдашняя готовность поддержать молодых художников превратили принадлежащую ей картинную галерею в доме №25 по улице Виктор-Массе во влиятельный центр художественной жизни Парижа. За глаза эту маленькую, кругленькую женщину называли «мамаша Вейль» или «старуха Вейль», хотя она была молода и отличалась чрезвычайно живым характером. Когда однажды она в заранее условленный с Маниаком час приехала на улицу Габриэль смотреть работы Пикассо, ей не открыли, как она ни стучала в дверь. В гневе она удалилась, отыскала Маниака, у которого имелся ключ от мастерской Пикассо, и вместе с ним вернулась на улицу Габриэль. Они вошли в комнату и обнаружили Пикассо в постели вместе с Маноло [3].

Было ли там что-нибудь на самом деле, или они решили разыграть мадам Вейль, так и осталось невыясненным. В своей книге «Бац! Прямо в глаз!» Берта Вейль пишет, что Маноло был каталонским скульптором, жившим в ту пору в Париже, но Ричардсон считает, что в тот день на улице Габриэль был не он, а Касагемас. Вполне вероятно, что эту роль мог сыграть и Мануэль Пальярес, присоединившийся к друзьям в Париже (благо и у него теперь имелся такой же, как у них, черный вельветовый костюм).

Мне он рассказывал, что по приезде в Париж никто его не встретил на вокзале, хотя о дне и часе своего прибытия он сообщил заблаговременно. Ему пришлось на фиакре добираться до улицы Габриэль, где он обнаружил троих друзей в обществе трех натурщиц, — вся компания тотчас принялась обнимать и целовать его. В эту минуту появился почтальон с его письмом из Барселоны. После этого они отправились за-

---

[1] «Ничто», «Небо», «Ад», «Конец света», «Кабаре искусств», «Кабаре Брюана» (*франц.*).
[2] Письмо от 25 октября 1990 г. В кн.: A Picasso Antology (*Marilyn McCully,* ed.). London, 1981, p. 28.
[3] *Stassinopoulos Huffington*, op. cit., p. 53.

втракать, а потом — в Лувр. Ночью пришлось устраивать Пальяресу место для ночлега.[1]

Касагемас, Пальярес и Пикассо делили кров и ложе с тремя француженками, которые называли себя натурщицами — и имели на то известные основания. Все три, переходя от одного к другому, по очереди были возлюбленными Канальса, Нонеля и еще многих других каталонских художников и, быть может, позировали им. Это были Жермен Гаргалло, ее сестра Антуанетта и их подруга Одетта — последняя завязала близкие отношения с Пикассо, хотя не говорила по-испански, а он в ту пору — по-французски. Касагемас потерял голову из-за Жермен, а на долю Пальяреса досталась Антуанетта. По этому поводу Касагемас шутил в письмах к Рамону Ревентосу:

Париж, 11 ноября 1900 г.

Семейная жизнь — это истинный рай. С новой недели — а начинается она завтра — мы намерены заполнить нашу жизнь миром, спокойствием, трудами и всем прочим, что придает человеку душевную бодрость и телесные силы. Решение это было принято на общем совете с участием дам. Мы пришли к выводу, что слишком долго валяемся в постели, нерегулярно питаемся и вообще ведем неправильный образ жизни. Прибавь к этому хрипоту, постигшую Одетту, одну из наших дам, имеющую похвальное обыкновение всякий вечер напиваться допьяна. Итак, решено ложиться спать не позднее полуночи, а завтрак оканчивать к часу дня. После чего мы посвятим себя усердным занятиям живописью, а женщины — женским делам, то есть будут шить, прибираться, целовать нас и благосклонно принимать наши ласки. Это ли не Эдем? Это ли не Аркадия?

Твой Карлес[2]

На самом же деле положение Касагемаса было весьма незавидно. «Любовь» в мастерской на улице Габриэль часто превращалась в массовое действо, и унижение, которого пытался избегать Касагемас, никогда не принимая участия в походах в бордель, теперь настигло его. Едва ли он обладал безотказной мужественностью, способной выдержать испытания оргией, а Жермен была весьма сластолюбива. Ее фотография, сделанная в 1900 году, не раскрывает полностью натуры этой женщины, но ее губы невольно обращают на себя внимание.

И Касагемас, поневоле принимая участие в этих групповых забавах, испытывал, должно быть, одновременно и возбуждение, и страдание из-за своей несостоятельности, и невероятную ревность, и острейшую гомосексуальную панику. Впервые в жизни деля ложе с женщиной и постоянно оказываясь способным на более чем умеренные «ла́ски», он переживал свое бессилие до такой степени болезненно, что встревоженный его душевным состоянием Пикассо пришел к мысли о необходимости увезти его назад в Барселону. Нас не должно удивлять, что Пикассо решил прервать свое пребывание в Париже как раз в тот момент, когда дела его пошли так успешно, — он боялся полиции. Среди его земляков-каталонцев было много анархистов, находившихся у французских властей «на учете и замечании». Пикассо, чья подпись тоже стояла под манифестом весьма подстрекательского характера, сумел избежать неприятностей с полицией лишь благодаря заступничеству одного из клиентов Маниака, купившего его работы. Этот клиент, преуспевающий парижанин по имени Оливье Сенсер, был человеком влиятельным. Однако вскоре Пикассо все же решил прервать свое пребывание в Париже. Подпись под манифестом усилила и без того свойственную ему тревожность, усугубленную явными сексуальными излишествами и доставшимся в наследство от католического воспитания сознанием своей греховности. Прибавьте к этому страх за Касагемаса, оконча-

---

[1] *Palau,* op. cit., pp. 203—204.
[2] Письмо от 11 ноября 1900 г. В кн.: A Picasso Antology, p. 31.

тельно лишившегося душевного равновесия. Всего этого хватило с лихвой, чтобы Пикассо впал в состояние паники. Ну и наконец, он обещал родителям к Рождеству быть дома.

Уговорить Касагемаса вернуться было далеко не просто. Он относился к Жермен как к своей невесте — и при этом было не важно, что она постоянно издевалась над его бессилием. На свете нет никого романтичнее, чем импотент, мечтающий о сексуальной славе. Он был готов на все ради своей новой и пылкой fiancée — в том числе и на то, чтобы пугать ее разговорами о самоубийстве: да, он импотент, но отваги у него побольше, чем у любого полноценного мужчины. Он пойдет на смерть во имя принципа, идеи, страсти. Для обитателей студии на улице Габриэль все это было мучительно. Вдобавок Пальярес, несмотря на свою флегматичность, опасался местных апашей (а они давно уже заприметили его крупную фигуру) и заявил, что один с призраками былых оргий он в доме не останется. И подыскал себе другое жилье, а Пикассо с Касагемасом за несколько дней до рождественского сочельника были уже в Барселоне. Так окончилось первое путешествие в Париж.

Сразу после Рождества Пикассо увез Касагемаса в Малагу, надеясь, что андалусское солнце посреди зимы подлечит его расшатавшиеся нервы. Весьма вероятно, Пикассо, устыдясь, что так перетрусил из-за возможных неприятностей с парижской полицией, решил шокировать свою буржуазную родню. Так или иначе, они приехали в Малагу «в тех же самых черных вельветовых костюмах, некогда сшитых в Барселоне, но за несколько бурных месяцев богемной жизни в Париже обтрепавшихся почти до неприличия, и сделали попытку остановиться в гостинице (или меблированных комнатах) «Три нации» на улице Касас Кемадас. Вид у друзей, очевидно, был до того непрезентабельным, что хозяйка поначалу отказала им. Пикассо пришлось просить помощи у тетки, Марии де ла Пас Руис Бласко, жившей в том же доме, дабы та подтвердила, что они — не какие-нибудь прохо-димцы»[1].

Пикассо же, помимо всего прочего, «носил на часовой цепочке не брелок и не романтический медальон с миниатюрой возлюбленной или прядью ее волос, а жука. Эту моду ввели в Париже в обиход театральные художники «Art Nouveau» вроде Вольфера. И когда дон Сальвадор увидел, что племянник появляется в столь экстравагантном обличье и не носит траур по недавно скончавшейся тетушке Пепе, он прежде всего дал ему адрес портного и велел немедленно сшить траурный наряд. К тому времени, когда заказ был выполнен, ситуация сделалась непереносимой»[2].

В качестве ответного хода Пикассо возобновил знакомство с Лолой Курносой, той самой хозяйкой публичного дома, что некогда привечала его отца. На юге Испании следование традиции столь же приветствуется на путях порока, сколь и на стезе добродетели.

А Касагемас тем временем не находил себе места от печальных дум об оставшейся в одиночестве Жермен и о том, как его сластолюбивая подруга свое одиночество использует. По рисунку, сделанному Пикассо за год до этого, можно составить себе представление о том, как выглядел в Малаге его измученный страстью друг.

Вполне вероятно, что у Пикассо было много хлопот с ним: Касагемас требовал, чтобы ему уделяли время, и немалое. Он сделался так беспокоен, чтобы не сказать буен, что Пикассо, должно быть, не знал, как совладать с ним. Пришлось обратиться за помощью к дяде, дону Сальвадору, чтобы дал денег на возвращение в Барселону.

Там они и расстались навсегда. В Барселоне Касагемаса еще сильнее обуяла жажда видеть свою Жермен — он писал ей теперь дважды в день, умоляя выйти за него замуж. Наконец он заявил, что отправляется в Париж сам. На это Жермен от-

---

[1] *Palau,* op. cit., p. 210.
[2] Там же, с.212.

ветила, что намерена вернуться к мужу, которого оставила когда-то ради веселой и разгульной жизни. Бывший супруг согласился предоставить ей временное убежище.

Касагемас же все еще питал какие-то надежды. 16 февраля 1901 года он вновь объявился в Париже в новом, хорошо сшитом костюме зеленого бархата. Жермен встретила его на вокзале, чтобы объявить, что никогда не будет его женой. Наутро, в воскресенье, Касагемас сообщил, что едет домой, и пригласил Одетту, Пальяреса, Жермен и еще нескольких друзей на «отвальную» в ближайший ресторанчик. Днем он писал прощальные записки. За обедом казался в приподнятом настроении, обычная его угнетенность исчезла. Он даже произнес спич по-французски и сказал, что оставляет Жермен письмо.

Без названия (1900).

...Позднее все присутствующие говорили, что с этого момента не могут точно восстановить ход событий. Очевидно, вместо письма Касагемас вытащил из кармана пистолет. Жермен отпрянула и спряталась за широкую спину Пальяреса, который внезапно увидел наведенное на него дуло и едва успел отвести его в сторону. Касагемас крикнул Жермен: «Voilà pour toi!» («Вот тебе!» или «Получай!»). Пальярес услышал оглушительный грохот и увидел, как рука Жермен, которой та цеплялась за его стул, постепенно разжимается и соскальзывает вниз. В следующее мгновение женщина неподвижно лежала на полу.

Касагемас, решив, что возмездие свершилось, со словами «Et voilà pour moi!» («А это — мне!») выстрелил себе в голову и, согнувшись, рухнул на стул.

Другие посетители ресторана в панике бросились к выходу, но уже через минуту подоспевшая полиция загнала их обратно. Касагемаса первым вынесли из ресторана в ближайшую аптеку, а оттуда в «Опиталь Биша», где он скончался в половине двенадцатого ночи.

Рыдающая Жермен поднялась на ноги и принялась обнимать и целовать Пальяреса, умоляя простить ее за все, что она сделала. Свою роль в этом трагифарсе она сыграла безупречно и до конца.

Она и Одетта отвели Пальяреса, которому пороховыми газами обожгло глаз, так что он почти ничего не видел, в аптеку, а оттуда — в квартиру Одетты, где уложили на исполинскую кровать хозяйки...[1]

Пикассо узнал о происшествии лишь несколько дней спустя — он в это время снова находился в Мадриде. «Новость ошеломила всех, кто входил в этот круг, но сильней всего она потрясла Пикассо»[2].

Теме самоубийства еще предстояло мощно прозвучать и с необыкновенной силой раскрыться в его творчестве, и минет еще много месяцев, прежде чем доминирующим цветом его палитры станет темно-синий. Единственным непосредственным откликом на трагедию была его реплика о том, что есть некий разряд женщин, которые умеют удивительно много требовать и так мало отдавать взамен. Быть может, он пытался увидеть происходящее глазами Касагемаса.

---

[1] *Palau,* op. cit., p. 213.
[2] Там же.

Без названия («Обнаженные женщины в чулках») (1960).

Эту тему продолжила написанная в Мадриде «Карлица-танцовщица». Она, как и все созданные Пикассо женские образы, исполнена женской силы. Но он уже подчеркивает, как дорого может обойтись секс. Дорого будет стоить тебе наслаждение женщиной, словно говорят эти картины, по крайней мере, такими женщинами, как те, кто предстает на этих холстах натурами, цельными в своей низости, лишенными, даже если они карлицы, и намека на слабость.

А в Мадриде, где его настигло ужасное известие о гибели друга, Пикассо, несмотря на печальный опыт первого визита, вновь оказался благодаря тому, что начал работать со своим новым другом Франсиско де Асисом Солером, затеявшим журнал под названием «Арте ховен» («Новое искусство») и заказавшим Пикассо иллюстрации. Солер же «в свою очередь приехал в Мадрид по делам, связанным с тем, что его отец изобрел «электрический пояс», излечивавший, если верить проспектам, все заболевания печени, почек и кишечника, а также возвращавший мужскую силу» [1].

Журнал был обречен на провал с самого начала. Деньги на рекламу поступали только от пресловутого пояса — и больше ниоткуда. А поездка в Мадрид служит примером того, сколько ролей готов был исполнять Пикассо в этот период своей жизни. Его смятение было глубоко, его честолюбие неутолимо, его вкусы еще не успели устояться. Два рисунка, сделанные за год до этого еще в Барселоне, дают нам ключ к пониманию обуревавших его противоречий. Даже в девятнадцать лет он мог в полной мере предъявить все богатство обеих частей своей раздвоенной личности.

Надежда покорить Мадрид с помощью «Арте ховен» не сбылась. Новый журнал мало чем ему помог. Столичные жители оказались негостеприимны. А тем временем Пер Маниак из Парижа настойчиво требовал погасить кредит — он исправно высылал Пикассо 150 франков в месяц, но не получал рисунков. А они были ему очень нужны — он сумел договориться о выставке в галерее Амбруаза Воллара.

Несколько номеров «Арте ховен» все же вышли, но смесь анархических идей, литературных новаций и маньеристских рисунков, которыми они были заполнены,

---

[1] *Palau,* op. cit., p. 214.

не встретила сочувственного отклика ни в Мадриде, ни в Барселоне. Самая же неприязненная реакция последовала от дона Сальвадора, который на просьбу оказать финансовое содействие ответил так:

Объясни ты мне, ради всего святого, о чем ты думаешь, какую цель преследуешь? И за кого ты меня принимаешь? Не этого ждали мы от тебя. Что за идеи! С кем ты дружишь!.. По этой дорожке далеко можно зайти...[1]

Тем не менее Пикассо был захвачен новыми ощущениями: неужели это он, тот самый мальчик, который с грехом пополам выучился читать и писать, издает теперь журнал, призванный вести и направлять испанскую интеллигенцию?!

Ну а когда «Арте ховен» прогорел окончательно, Пикассо поспешил в Барселону — надо было приготовить работы для устраиваемой Маниаком выставки. За две недели он сделал серии морских пейзажей, сцен боя быков и кабаре и написал маслом портрет своей сестры Лолы. Экономя деньги, он писал на старых холстах, поверх прежних картин, и это определило новую для него технику импасто — когда краски накладываются густым слоем. Две недели неустанных трудов — и он снова был готов к встрече с Парижем.

2

Во время своего второго и рокового приезда в Париж Касагемас останавливался в мастерской Пальяреса в доме №130 по бульвару Клиши. Там и обосновался теперь Пикассо. Пальярес гостил у родителей в Орте-де-Эбро, и Пикассо предложил своему маршану Маниаку поселиться вместе. Представьте, что актер предложит подобное своему агенту. Маниак желал взять на себя большую часть платы за квартиру и поселиться в меньшей из двух комнаток. Он был, что называется, одержим Пикассо — его талантом, его личностью и теми коммерческими возможностями, которые открывались при сотрудничестве с ним.

А Пикассо, как ни потрясен он был гибелью Касагемаса, работал много и очень продуктивно. Приехав из Барселоны с двадцатью рисунками, он, чтобы не упустить выгодное предложение владельца картинной галереи Амбруаза Воллара, всего за месяц сделал еще сорок. Разумеется, это был редкостный шанс и для Маниака. В качестве посредника между Волларом и Пикассо он, почти не рискуя, мог сорвать недурной куш. С выставки в галерее Воллара на улице Лаффит началась когда-то слава Ренуара, Дега, Сислея, Писарро и Гогена. Воллар еще больше укрепил свою известность, когда выдвинул в первые ряды Сезанна, устроив в 1895 году его первую большую выставку, а в 1899-м — вторую; именно на том, как успешно и искусно добивался он признания для Сезанна, зиждилась и его репутация. Попасть в такую блистательную компанию было бы для Пикассо, не достигшего и двадцати лет, головокружительной удачей, и она свидетельствовала также о том, что глубинной основой его натуры было сочетание отваги чисто художественной с известной дерзостью в отношениях с людьми. Все еще переживая тяжелое потрясение от самоубийства друга, он не колеблясь приехал в ту самую комнату, где Касагемас провел с Пальяресом свои последние часы. Более того — Пикассо с ходу завел роман с Жермен. Впрочем, в этом тесном дружеском кругу свобода нравов граничила почти с кровосмешением. Каталонский скульптор Мануэль Мартинес-и-Юге — тот самый Маноло, который тоже присутствовал на прощальном обеде, окончившемся стрельбой, очень скоро вступил в связь с Жермен. Теперь он вынужден был уступить Пикассо место в ее сердце и постели. Неделю примерно он ревновал, а потом еще крепче подружился со своим счастливым соперником, и эта преемственность сделала их неразлучными. Позднее Фернанда Оливье, первая «настоящая»

[1] *Sabartés,* op. cit., pp. 45—46.

любовница Пикассо, описывала Маноло как «воплощенную богему, человека добродушного и беспечного, вечно ищущего, с кем бы переспать, где бы пообедать, у кого бы «перехватить песету-другую», обладающего острым глазом и безошибочным нюхом на возможный розыгрыш или интригу, сулящую удовольствие или заработок. Он был типичнейшим испанцем — маленький, с черными-черными глазами на смуглом лице, обрамленном иссиня-черными волосами. К удовольствию видеть его неизменно примешивалась у друзей легкая настороженность»[1].

Ричардсон добавляет к этой характеристике: «Он был еще величайшим вралем, мог пошарить по карманам и «передернуть» за картами и вообще особой чистоплотностью не отличался»[2]. Биограф вспоминает, как Маноло, за какой-то проступок наказанный отцом, генералом испанской армии, ударился в слезы, а потом в порыве чистосердечного раскаяния обнял отца, попросил у него прощения — и при этом вытащил у того часы. Спасаясь от военной службы, он время от времени сбегал во Францию.

Он был, вероятно, единственным человеком, которому Пикассо позволял насмехаться над собой, критиковать себя, противоречить себе. Маноло сыграл с ним дьявольскую шутку, выдав «маленького Пабло», обреченного из-за незнания языка на молчание, за свою переодетую в мужское платье дочь. Негодующие крики жертвы потонули в общем смехе и рукоплесканиях. Впрочем, не один Маноло находил в облике юного и выглядевшего еще моложе своих лет Пикассо девические черты. Каталонский скульптор Майоль, в мастерской которого Пикассо бывал в это время, так описал его: «Тоненький, субтильного сложения, он очень напоминал девушку...»[3].

И вот теперь, совершая подобие инцеста, он обладает телом Жермен, той самой Жермен, которой наслаждался его закадычный друг Маноло со дня гибели Касагемаса. И, оскверняя возлюбленную самоубийцы, он словно присваивал себе физические останки Касагемаса, а по еще более тайной логике, он освящал утраченную любовь мертвеца. Не эти ли сложности вызывали столь острое восприятие кровосмешения? И долго ли сможет он переносить близкое соседство святотатства и освящения?

Пикассо, кроме того, привольно чувствовал себя на полосе «ничейной земли» между гомо- и гетеросексуальностью. Был ли он по-настоящему близок с Касагемасом, балансировали ли их забавы на зыбкой грани, или, напротив, он, следуя строгим андалусским понятиям о мачизме, определил для себя, что за эту грань не перейдет никогда, — все это не так важно, как то, что Пикассо был погружен в гомосексуальные переживания. Бог знает, чего ему стоило обладание номинальной вдовой Касагемаса, но он добился этого. И так же как копирование других мастеров — и даже подписи на холсте — позволяло ему глубже проникнуть в строй их мыслей и образов, так теперь он восполнял потерю друга, отыскивая его присутствие в теле женщины, избранной тем в жены.

И если в подобных поисках он становился сексуальным господином покойного Касагемаса и — предположим крайний и наихудший вариант — похитителем его загробных романтических надежд, это все равно было актом любви и даже имело некий очистительный характер, ибо, совокупляясь с Жермен, он скорее вызывал дух самоубийцы, а не отгонял его.

При этом он переживал невиданный творческий подъем. К двадцати работам, с которыми он приехал в Париж, за считанные недели прибавилось еще сорок, необходимых для предстоящей выставки. Многое создавалось в спешке, и среди новых полотен ни одно не отмечено каким-то особым взглядом на мир, но все они были живыми, смелыми, яркими, чувственными и пленительными и должны были пользоваться успехом (и спросом). Ни присутствия Касагемаса, ни предвестия «голубого периода» в них нет и следа.

---

[1] *Fernande Olivier*. Picasso and His Friends. New York, 1965, p. 30.
[2] *Richardson*, op. cit., p. 209.
[3] Там же, с. 210.

Маниак, у которого не было собственной галереи, все больше брал на себя обязанности и функции агента: он посоветовал Пикассо написать портрет Гюстава Кокийо и «предложить его модели» [1]. Кокийо, художественный критик, охотно дававший свое перо напрокат, написал в преддверии выставки восторженную статью о Пикассо и, мало того, пользуясь своими обширными связями, поместил ее в газете «Журналь» за неделю до открытия выставки.

Этот совсем юный испанский художник, так недавно оказавшийся среди нас, — пламенный певец современности... Перед нами — новый мастер цветовой аранжировки, тяготеющий к ослепительно ярким тонам красного, синего, зеленого и желтого... С первого взгляда видно, что П.Р.Пикассо хочет увидеть и запечатлеть все... Вот хотя бы вереница его уличных женщин — свеженьких и увядших... Мы видим их в кафе, в театре, даже в постели... Девиц высшего разряда художник пишет в обольстительных розово-перламутровых тонах, тогда как воровки и убийцы лежат, ожидая свои жертвы или уже доведя их до изнеможения, на каких-то угрюмых чердаках... На его полотнах предстают перед нами веселые и лукавые девочки в развевающихся от неистовых танцев юбках... оживленные дансинги, кафе-концерты и заполненные возбужденной толпой трибуны ипподрома... бешеный канкан в «Мулен Руж», где девицы, высоко вскинувшие ноги, в вихре взметенных юбок кажутся пришпиленными к холсту диковинными бабочками...

Таково в настоящее время творчество Пабло Руиса Пикассо — художника, пишущего сутки напролет... [2]

В качестве гонорара Кокийо получил собственный портрет маслом, выдержанный в черно-белых тонах с резкими вкраплениями красного и желтого. Это было настоящее и пристальное исследование продажности. Кокийо, очевидно, одобрил свое изображение, но Пикассо ни на йоту не верил в его объективность.

Другой критик — Жорж Фэйе, печатавшийся под псевдонимом Фелисьен Фагю, — относился к своим писаниям честнее и ответственнее. Он опубликовал в престижном «Ревю бланш» весьма благожелательную, но предостерегающую статью.

Пикассо пишет — и пишет прекрасно; и то, как высоко ценит он фактуру, звучит убедительно. Подобно всем «чистым» живописцам, он любит цвет сам по себе, и каждое «вещество» на его холстах обладает собственным цветом. Кроме того, его влечет любой предмет, и любой может стать предметом изображения: вот в вазе яростно распускают свои лепестки цветы, а воздух вокруг них насыщен как бы танцующим светом; вот на зелени беговой дорожки или на залитой солнцем арене цирка вспыхивают разноцветные искорки — это зрители; вот обнаженные тела женщин, а вот, уже после того, как они были выставлены напоказ и измучены, художник увидел их сквозь податливую многоцветную ткань...

И с той предельной полнотой, что и изображаемый предмет, он использует в своем творчестве разные языки — и жаргонные выражения, и слова с затемненным смыслом, и фразу, одолжечную у приятеля. Не говоря уж о великих, оказавших на него влияние, нетрудно указать множество непосредственных предшественников — Делакруа, Мане (особенно его испанские темы) и Моне, Ван Гог, Писарро, Тулуз-Лотрек, Дега, Форен, быть может, Ропс... Все эти увлечения мимолетны; он покидает их с той же легкостью, с какой воспринимает: он, несомненно, находится в состоянии спешки — столь лихорадочной, что еще не успел выработать свой собственный, неповторимый стиль, и личность его определяется именно этой торопливостью, этими по-юношески спонтанными порывами (это ли не счастье — на двадцатом году жизни писать по три картины в день?!). Главная опасность исходит именно от того, как стремительно он работает, — она, эта стремительность, легко может привести его к эффектной виртуозности и к легкому успеху. Но есть разница между процессом творчества и тем, чтобы результатом явилось что-нибудь стоящее.

---

[1] *Stassinopoulos Huffington*, op. cit., p. 57.
[2] *Gustav Coquiot.* La vie artistique: Pablo Ruiz Picasso. Le Journal, Paris, 17.06.1901.

Отличие такое же, как между неистовством и энергией. Подмена одного другим в данном случае будет особенно прискорбна[1].

Критик, как видим, не скупился на похвалы, но попал в самое больное место — Пикассо и сам спрашивал себя: «Неужели я никогда не разовью собственный стиль?» При том, что у него едва ли не впервые в жизни завелись кое-какие, хоть и небольшие, деньги, что половина полотен продалась и что выставка имела успех, последовавшие за нею месяцы он провел в мрачных размышлениях.

Тем временем Сабартес, приехавший в Париж, поселился в противоположном его конце — на Монпарнасе. Дружба их зиждилась прежде всего на разговорах, а потому, увлекшись беседой, они проделывали многомильные прогулки по ночному городу. Когда один приходил к другому, хозяин шел провожать гостя до дому, а потом гость возвращался с хозяином к тому месту, откуда начался путь. От Монмартра до Монпарнаса довольно далеко, но Пикассо, очевидно, унимал такими маршами снедавшую его тревогу. Биографы так и не сумели прояснить характер его отношений с Маниаком. Арианна Стассинопулос Хаффингтон считает, что тот был педерастом, Палау-и-Фабре называет его «паршивой овцой в стаде благопристойной семьи»[2]; Ричардсон тоже говорит, хотя и не очень решительно, о его противоестественных наклонностях. По общему мнению, Маниак был активным гомосексуалистом, а Пикассо, боясь его, хотел, но не мог от него освободиться. Все это достаточно туманно, но свидетели, наблюдавшие в это время за Пикассо, сходятся на том, что он не любил оставаться с Маниаком наедине, а потому предпочитал чуть ли не на всю ночь уходить из дому.

Интересно, что в созданных в это самое время портрете Маниака и автопортрете прослеживаются черты несомненного сходства (взять хотя бы смещенную ось симметрии, непомерную длину соответственно правого и левого плеча). Поскольку изображенный на автопортрете выглядит много старше своих девятнадцати лет, так ли уж праздно звучит вопрос, не оказала ли их сексуальная связь воздействия на внешность обоих, усилив их подобие?

Словно в противовес всем тем брызжущим *joie de vivre*[3] работам, которые Пикассо сделал для галереи Воллара, спустя несколько месяцев после выставки он написал маслом совершенно невероятный портрет мертвого Касагемаса. Этот небольшой (11x15 дюймов) холст вправе называться его первой значительной работой, и сам художник испытывал к нему особые чувства, ибо показал лишь очень немногим друзьям.

Впервые его полотно ведет нас к постижению более глубокому, чем было бы по силам нам самим и чем позволило бы сделать даже самое хорошее знакомство с творчеством других художников. Пикассо наконец заговорил своим голосом. Можно доказать, что от этой картины идет прямой путь развития на следующие десять лет — к «голубому периоду» и к необозримым эстетическим пространствам кубизма. Пикассо вступил в мир визуальных подобий.

Берусь подкрепить это заявление. Линия, проведенная художником, равнозначна произнесенному слову, как сложенные определенным образом пальцы свидетельствуют о сведенной судорогой руке, а очертания мышц бедра — о напряженном усилии. Форма — это тоже язык, а следовательно, и в ней допустимы «зрительные каламбуры», то есть визуальные эквиваленты и визуальные замены. И хотя не имеет значения, в какую именно словесную форму будет облечено то или это, художники на протяжении веков, изображая нечто необычное, убеждались, что выглядит это «нечто» как любая другая вещь. Лепестки цветка, какими они предстали сардоническому взору семидесятитрехлетнего Пикассо, к тому времени уже разуверившегося в человеке, в космосе и в природе, могут быть восприняты как целая гроздь стиснутых ладоней.

---

[1] *Félicien Fagus*. La Revue Blanche, 15.07.1901.
[2] *Palau*, op. cit., pp. 211—212.
[3] Радость жизни (*франц.*).

«Портрет Пера Маниака» (1901).

«Автопортрет» (1901).

Было ли это шуткой или «визуальным каламбуром», но он обнаружил, что смутное и отдаленное сходство пламени свечи и влагалища должно быть выявлено и подчеркнуто, поскольку именно оно в конечном счете погубило Касагемаса. Отметим, что и Ричардсон тоже увидел в этом образе «возбужденное женское лоно»[1]. Разумеется, свеча при этом не перестает быть свечой, в этом символе полюса вожделения и скорби, сходясь, говорят друг за друга. В пламени свечи воплощено и горе матери Касагемаса, бдящей над его гробом, и печаль самого художника — ведь это он год назад убедил ее отпустить сына в Париж.

С другой стороны, образ свечи/лона не только говорит о скорбящей матери, но определяет в картине незримое присутствие Жермен Гаргалло. И лишний раз доказывает, что каждый настоящий художник — это философ, больше склонный говорить — пусть даже беззвучно — с другими художниками, чем с людьми, находящимися за пределами мира его живописи. И потому Пикассо не видит препятствий к тому, чтобы сказать: через эту дверь мы не только приходим в мир, но иногда и покидаем его. Лоно не только дарит нам жизнь, но и грозит гибелью. Возлюбленная губит нас, мать оплакивает. Если это всего лишь точка зрения юного испанца, он лично убежден, что язык природы, свидетельствующей о похороненных в ее бездонной глубине тайнах, поддается расшифровке лишь ключом формы.

Следом за первым был создан и второй портрет Касагемаса. Пикассо, словно одержимый тем, как ясна и очевидна оказалась граница между жизнью и смертью, пишет теперь маслом на картоне. «Касагемас в гробу» (28x23 дюйма) выдержан в синих тонах и по стилю примыкает к портрету, запечатлевшему Сабартеса.

Как сказал сам Сабартес, сводя воедино свою близорукость и суетность, из-за которой он не носил очки:

Когда я пришел к Пикассо, холст стоял лицом к стене. Он поставил его на подрамник, я глянул — и остолбенел. Я увидел себя таким, как он «схватил» меня в кафе, в одно из мимолетных мгновений моего житейского странствия. Разглядывая себя самого на полотне, я понял, что именно вдохновило моего друга — это был весь спектр

[1] *Richardson*, op. cit., p. 211.

моего одиночества, увиденный извне. Взгляд устремлен во тьму, которую он не в силах пронизать, мысль бродит неведомо где, а глаза близоруки, и потому мысль не опережает взгляд. Они соединяются и вместе пропадают в пустоте[1].

Да, начался «голубой период». «Портрет поэта Сабартеса» возвестил об этом. В течение нескольких лет картины Пикассо будут дышать на грани пустоты, существуя в полуночном вакууме, где едва-едва теплится жизнь. Пикассо входит в самую беспросветную и длительную свою депрессию.

Отныне и надолго самоубийство Касагемаса будет застилать ему взор. Сексуальные мотивы исчезают из его творчества, а страх сквозит в каждом движении кисти. Можно только предполагать, что это страх наказания. Пикассо чувствует себя соучастником преступления — он не только завлек друга из Малаги в Париж, но и совершил прелюбодеяние с его фактической вдовой. Осознать смысл первых произведений «голубого периода» трудно, если не принять во внимание, что Пикассо медленно и с большим трудом освобождался от страха, родившегося от чувства его виновности и ответственности за гибель Касагемаса.

«Голова мертвого Касагемаса» (1901).

Уныние усиливалось еще и оттого, что Маниак был настроен против перемен в его творчестве. Ту же позицию занимал и Воллар. Пикассо сделал себе имя как юный феномен, полотна которого могли внести в любую гостиную струю тепла, жизненной силы, мощной сексуальной энергии. Теперь же в его картинах слышался отзвук бесконечной нищеты мира. Воллар новое направление не принял полностью; Маниак глумился над ним, и Пикассо решил вернуться в Барселону. Следует отметить, что денег у него больше не было. Промотал ли он их? Истратил ли на лечение сифилиса? Ответа на этот вопрос нет, а он, между прочим, мог бы объяснить и его безденежье, и его угнетенное состояние, и вдруг проявившийся интерес к женской тюрьме Сен-Лазар, где проститутки проходили курс лечения той же болезни.

И ему снова пришлось написать отцу с просьбой о вспомоществовании. А покуда дон Хосе собирался с мыслями, Маниак усилил нажим.

Время шло. Сабартес проникся душевным состоянием Пикассо и описал, как однажды они поздно ночью возвращались в его мастерскую, с трепетом ожидая найти там Маниака.

Вечером мы вышли вместе, поднялись на площадь Равиньян, где помещалось ателье Дурио, но пробыли там недолго — Пикассо хотел поскорее попасть домой: он ждал письма или перевода. Мы шли рядом, как дети, которых впереди ждет неведомая опасность. Когда Пикассо открыл дверь, страх исчез. На полу валялось письмо от дона Хосе. На кровати лицом вниз лежал Маниак. Он был одет и говорил сам с собой, словно в бреду: «Письмо! Письмо!»

Пикассо неприязненно посмотрел на него, скривился и, все так же молча, провел меня в мастерскую. Зачем? Мы — все трое — несомненно, думали об одном и том же. Потом он обвел взглядом стены, пол и потолок, и мы опять вышли на улицу. Было совершенно ясно, что больше он здесь работать не в состоянии. Он нуждался в перемене обстановки[2].

---

[1] *Sabartés*, op. cit., p. 63.
[2] Там же, с. 80—82.

Спустя несколько дней он сел в поезд до Барселоны. Автопортрет, сделанный перед самым отъездом из Парижа, не вяжется со словами скульптора Майоля, находившего в его внешности что-то девичье.

3

Пикассо вернулся в Испанию в январе 1902-го, пробыл там до конца года, на несколько месяцев съездил в Париж, а потом снова, уже до весны 1904-го, оставался в Барселоне. Страдая от безденежья, от депрессии, ссорясь с родителями, терзаясь страхами, он все глубже погружался в «голубой период». И если раньше его упрекали за то, что пишет в двадцати позаимствованных у других манерах, то ныне, после гибели Касагемаса, он исповедовал простой принцип: «На моей палитре — только синий» — цвет глубочайшей подавленности и угнетенности. Неудивительно, что другие художники не претендовали на территорию, где обитать мог он один.

Кто может определить истинное значение этого художественного «вступления во власть»? Вполне вероятно, что один мощный стиль «голубого периода», которым он владел в течение нескольких лет, дал ему силы в последующие семь десятилетий овладеть множеством иных стилей, и надо со всей решительностью заявить, что каждый из них мог бы определить все творчество любого другого, даже очень крупного художника. Разумеется, Пикассо уплатил «духовную подать» своему первому стилю: в начале «голубого периода» он пережил очень серьезную депрессию и был на грани самоубийства.

В «голубом периоде» депрессия хлестала из него, как кровь из перебитой артерии. Он страдал от собственных горестных дум, и парадокс состоял в том, что эти мрачные работы можно оценить также и как выплеск чувств — чувств достаточно сильных и нежных, чтобы в грядущие десятилетия принести художнику неслыханную популярность.

Стоит ли говорить, что Пикассо не только яростно нападал на неправедно устроенный мир, но что «голубой период» был поднят с самого дна его сексуальных страхов? В иные, более благополучные времена он всегда готов был отстаивать истинность легенды о себе как о ненасытном сексуальном чудовище, как о желанном госте и неизменно удачливом партнере барселонских и парижских проституток и натурщиц. И вроде бы не вызывает сомнения, что секс «с младых ногтей» был любимейшим его занятием (и в самом деле — кто еще из художников может сравниться с ним в умении ухватывать и передавать самый вид и запах похоти?), однако образ его будет искажен, если представлять Пикассо неким воплощением вирильности, неутомимым, исполнительным и безотказным самцом. Разнообразие его автопортретов ясно говорит о том, что сам-то он знал: в нем уживаются и сила и слабость. Юношеское утверждение своей мужественности выглядит порой как поиски сексуального «я». Но при этом один рисунок за другим внятно напоминают о мужском бессилии, о подавляющей власти женского плотского начала. Даже набухшие лепестки цветов на его полотнах словно исходят похотью.

И женщин он изображает воплощением грозной и неодолимой силы. И как не поверить тому, что в эти годы он видит в них, в женщинах, предвестниц смертельной угрозы, первопричину беды, постигшей Касагемаса.

Вот портрет Жермен Гаргалло во фригийском колпаке, который обязательно полагалось носить содержавшимся в тюрьме Сен-Лазар проституткам, больным сифилисом. Это возвращает нас к предположению о том, что Пикассо страдал венерическим заболеванием, а лечение сифилиса в эпоху, когда еще не был изобретен пенициллин, было столь мучительным, что кого угодно могло подвигнуть на «голубой период» творчества.

Венерическая болезнь способна была породить подобие сексуальной мании. Именно в это время он написал на полях рисунка, изображавшего ню: «Cuando ten-

«Автопортрет» (1903).

gas ganas a joder, jode» («Хочешь бабу — бери»)[1] — изречение, которое многие биографы склонны трактовать как девиз и жизненный принцип вечно сексуально озабоченного и неразборчивого Пикассо. Но можно истолковать это и как попытку найти «предусмотренную законом меру воздействия». Когда страдающий венерической болезнью мужчина испытывает желание (а желание это должно быть нестерпимо острым, ибо воспаление еще и стимулирует его), сам собой возникает вопрос: не есть ли он двойное зло? Не следует забывать, что Пикассо далеко еще не отрешился от католицизма, в котором был воспитан, — достаточно взглянуть на его карикатурный карандашный автопортрет в виде обезьяны (1903), чтобы понять, каким он видел себя, когда его охватывало любострастие. В автопортрете он не польстил себе, но и недовольства собой в нем не чувствуется. «Только настоящий мужчина может быть таким распутником», — как бы говорит он.

Вместе с тем рисунки из его блокнота наводят на подозрение, что в эти годы он подолгу страдал импотенцией.

Можно ли представить себе, какую реакцию у публики в 1903 году вызвала бы графическая серия «Распятие», где голова Христа одновременно и головка клитора?! Одного этого достаточно, чтобы юный художник, оцепенев, навсегда перестал исследовать философию формы. Быть может, так оно и было. Нельзя счесть случайностью то, что фигуры мужчин на рисунках этой поры лишены гениталий. Одним из истоков глубочайшей депрессии времен «голубого периода» было осознание того, что художественные озарения ведут его ко все более и более опасным открытиям. Быть может, он спрашивал себя: «Что, если у меня не хватит отваги стать таким художником, как мне хочется?» И по контрасту с подчеркнуто могучими женщинами, которых он изображает, мужчины выглядят беспомощными.

Даже его пары, застывшие в объятии, лишены сексуальности.

Подобные настроения доминировали в творчестве Пикассо с 1902 до начала 1904 года, и в это время Сабартес, сам назначивший себя при нем Санчо Пансой, становится не только его оруженосцем, но и подлинным наперсником. И неудивительно, что о «голубом периоде» он знает все, — переживающий тяжкую депрессию Пикассо еще сильнее нуждается теперь в покладистом и кротком друге. В 1902 году, когда Сабартес последовал за Пикассо в Париж, он с радостью убедился, что его творчество идет в прежнем русле.

Я увидел немного, но этого было достаточно. Картины Пикассо продолжали нести те же «голубые черты», связывавшие его идеи с моими и напоминавшие мне времена, проведенные в Париже почти бок о бок. И если бы я увидел, что он пошел другой дорогой, то подумал бы, наверно, что он сделал это намеренно — чтобы отрешиться от того, что еще так недавно роднило нас[2].

Помимо личных причин, мраку, царившему в душе Пикассо, способствовало и то, что происходило вокруг него — в мире. Обстановка в Барселоне накалялась. И анархисты и консерваторы готовились к боям; барселонские трущобы были печально знамениты на всю Европу чудовищными условиями жизни; все чаще происходили стачки и забастовки; рабочие демонстрации расстреливали на улицах.

---

[1] *Richardson*, op. cit., p. 244.
[2] *Sabartés*, op. cit., p. 85.

Пикассо не примыкал ни к социалистам, ни к анархистам, но вопиющая нищета, обступавшая его со всех сторон, усиливала печаль, которую он переносил на свои полотна. Нельзя забывать о том, с какой пророческой отчетливостью угадывал он возможное развитие событий. Социальная несправедливость в Европе на переломе века обладала для него осязаемой конкретностью проказы или землетрясения, и какой другой художник оставил нам столь же потрясающие образы жертв холокоста — притом что половина этих жертв еще не появилась на свет?! Написанные в 1903 году «Слепой нищий» и «Старый еврей» могут служить символами года 1944-го в Освенциме.

«Небесное видение (Распятие)» (1903).

А личные его обстоятельства в это время хоть и не были так безнадежны, как тональность картин, но оставались сложны и противоречивы. Искусство, даже если оно предъявляет к художнику самые непомерные требования, способно иногда освободить его от навязчивой идеи: в душе Пикассо не всегда царил такой беспросветный мрак, как на его полотнах «голубого периода». В это самое время он создал тушью и акварелью рисунок, который при всей сомнительности сюжета может считаться образцом стилевого изящества при воплощении малоприятной темы: изображенная на нем проститутка взирает на менструальную кровь в биде с той же скорбью, с какой музыкант разглядывал бы лопнувшую струну своей гитары. Но не будем раньше времени говорить о гитарах. Пикассо пока еще находится лишь на подступах к попыткам разгадать секреты и открыть тайники Господа Бога — попыткам, которые он снова и снова будет предпринимать на протяжении всей своей жизни. Пока он лишь инстинктивно сознает, что схожие между собой предметы могут иметь и скрытое родство в самой своей природе. Форма для него так же внятна, как звук — для всех остальных.

Может показаться, что мы развели по поводу одного случайного наброска слишком глубокую философию, но тем не менее это так. Монументальность его искусства приведет потом к тому, что все труднее будет наткнуться на такую вот беглую и мимолетную зарисовку, которая и в самом деле не несла в себе глубокой философии.

И все же в 1902—1903 годах он угнетен и подавлен.

А поскольку человеку с раздразненным самолюбием свойственно замыкаться в себе, Пикассо, наверно, был всерьез задет новой критической статьей Фелисьена Фагю о молодых испанских художниках и в том числе о нем самом:

Они еще не выдвинули из своей среды великого человека, завоевателя... демиурга, который придаст бесконечной Вселенной форму... Кто из них — время приспело! — станет новым Эль Греко? [1]

25 октября 1902 года Пикассо достиг призывного возраста. Мы уже привыкли к тому, что в его характере причудливо перемешаны отвага и трусость, а потому нас не удивит, что предстоящая воинская служба внушала ему ужас не меньший,

[1] *Félicien Fagus.* La Revue Blanche, Paris. September, 1902.

чем когда-то в детстве — гимназия. Как страдала, должно быть, его гордость, когда пришлось обращаться к дону Сальвадору с просьбой внести залог, дававший право на отсрочку. Или «припасть к стопам» дяди он попросил мать?

Известно, что Пикассо откупился от солдатчины: он сам говорил мне, что дядя Сальвадор, фактический глава семьи, снабдил его необходимыми двумя тысячами песет[1].

Итак, этот вопрос был решен. Теперь он собирался в третий раз штурмовать бастионы Парижа. Ему только что исполнился двадцать один год. Впереди были три самых скверных месяца его жизни.

4

Не заладилось с самого начала. Большая часть сбережений ушла на билет от Барселоны до Парижа. Затем в качестве первого шага он принес свою новую работу в галерею Дюран-Рюэля — и получил отказ. Нет сведений о том, предлагал ли он ее Амбруазу Воллару и если да, то что услышал в ответ. «Голубой период» не вдохновлял маршанов. К концу недели иссякли деньги, и Пикассо вынужден был поселиться в мансарде «Отель дю Марок» на улице Сены вместе со скульптором по имени Ахеро. Чердак был так мал, скошенный потолок так низок, что приходилось ложиться на кровать, чтобы дать соседу пройти к двери. Кроме того, там было грязно и темно.

Спасаясь от холода, он ходил в Лувр. Нищета, которую он изображал на своих полотнах, теперь вошла в его жизнь. С трех лет, с памятного малагского землетрясения, Пикассо верил в теорию катастроф: все в истории идет своим чередом, пока не стрясется большая беда. И то, что ему неожиданно не удалось продать свои работы, как в кошмарном сне явило извращенную власть моды. И страх выйти из моды не давал ему покоя до конца его дней, и не было среди них ни одного дня — как бы ни был он знаменит и благополучен, — когда бы он в отношении творческом и финансовом чувствовал себя в безопасности.

Позднее он назовет свое житье в «Отель дю Марок» чудовищным. Сабартес приводит цитату из его письма к Максу Жакобу:

Я тоже думаю о нашей нищей юности, и мне становится грустно, когда я с отвращением вспоминаю тех испанцев на улице Сены,

— и от себя добавляет:

Отвращение к испанцам на улице Сены проистекало от невозможности переварить кое-какие нелепые происшествия... Пикассо отказывался сообщать подробности, не желая копаться в грязи, с которой ему и так пришлось иметь дело в пору долгого проживания в «Отель дю Марок»[2].

Палау-и-Фабре пишет:

У Пикассо остались пренеприятные воспоминания о группе каталонцев, живших там же... Это заставляет меня предположить, что в один прекрасный день они пригласили его и Ахеро разделить с ними трапезу или сами явились к ним в мансарду, желая устроить вечеринку, которая переросла в самую бесстыдную оргию [3].

---

[1] *Palau*, op. cit., p. 310.
[2] *Sabartés*, op. cit., p. 91.
[3] *Palau*, op. cit., p. 315.

Вряд ли кому-нибудь понравится делить с другим мужчиной маленькую комнатку, где и повернуться негде, проходить по коридорам захудалой гостиницы, постояльцы которой только и мечтают об оргиях. Особенно если ты беден и возможных клиентов интересует не столько твое творчество, сколько твое тело. Слишком красноречива, пожалуй, его запечатленная на автопортрете отнюдь не победительная и ничем не прикрашенная нагота: щуплый, слабый, явно находящийся в упадке человек дает обет... В чем? Не в том ли, что он не вступит на стезю однополой любви? Действительно, велик соблазн слишком многое увидеть в этом рисунке.

«Автопортрет. Обнаженный» (1902—1903).

Спасение явилось в образе еще одного гомосексуалиста — Макса Жакоба, с которым Пикассо познакомился в свой прошлый приезд в Париж, в 1901 году. В душе Жакоба это знакомство родило романтическую страсть, по накалу не уступавшую поклонению Сабартеса. Разумеется, обиняков и околичностей здесь было гораздо меньше. Арианна Стассинопулос Хаффингтон дает подробное описание первой встречи:

Максу в это время было двадцать пять лет. В Париж он приехал за три года до этого из Бретани с намерением сделаться поэтом и художником. Пикассо посоветовал ему «держаться поэзии», и Жакоб в значительной степени прислушался к пожеланию того, кого он называл «мой мальчик». Поначалу они объяснялись чуть ли не на пальцах. «Пикассо так же слабо владел французским, как я — испанским, — вспоминал он впоследствии об их первой встрече в мастерской на бульваре Клиши. — Но мы поглядели друг на друга и обменялись крепким рукопожатием». Они мгновенно нашли общий язык...[1]

«А потом до утра пользовались чем-то вроде азбуки глухонемых», — продолжает Жакоб[2]. Позднее он опишет Пикассо как «очень красивого человека, лицо которого словно выточено из слоновой кости, а сияющие глаза под спускающейся на низкий лоб иссиня-черной челкой казались больше, чем теперь»[3].

Но вернемся к Хаффингтон:

Этот низкорослый, до времени облысевший интеллектуал, для которого монокль в глазу был таким же атрибутом чувственности, как для женщины — пояс с подвязками, уже успел приобрести к этому времени известность в полусвете поэтов и художников, где он чувствовал себя словно рыба в воде. Он способствовал первым шагам одних, поддерживал других, но ни к кому не питал любви такой глубокой и безоговорочной, как к Пикассо. Жакоб, всю жизнь мучимый влечением к мужчинам, называл гомосексуализм «несчастным случаем позорного свойства, прорехой на платье человечества»[4].

Вскоре Пикассо перебрался к нему на улицу Вольтера, 13, где Жакоб снимал

---

[1] *Stassinopoulos Huffington*, op. cit., p. 58.
[2] *Jacob*. Souvenirs sur Picasso contés Max Jacob. Cahiers d'Art, Paris, 1927, № 6.
[3] *Cabanne*, op. cit., p. 76.
[4] *Stassinopoulos Huffington*, op. cit., p. 58.

комнату более просторную, чем мансарда в «Отель дю Марок», и начал приобретать познания во французской словесности.

Пикассо многим обязан Жакобу, многое почерпнул у него, многому научился, в том числе и умению говорить по-французски, но истинным призванием его нового друга было приобщать к тайнам поэзии. Можно предположить, что метафора действовала на Пикассо сильнее, чем логика. Разум с его прямыми проспектами, с его неприятием болот, топей и чащоб всегда оставался ему чужд. Разум, то есть здравый смысл, казался ему тактическим приемом, который используют люди, чтобы уменьшить его, Пикассо, силу. Разум, простирающийся от максим дона Хосе о том, как художнику добиться славы и денег, до требования «вести себя в обществе прилично», подкрепленного угрозой пулеметов, метафору исключает за ненадобностью. Но лишь с ее помощью можно возобладать над пространством и временем.

Итак, они поселились вместе. Мы никогда не узнаем, стали ли они любовниками. Есть сведения, что они вынашивали план совместного самоубийства. «Пикассо, наверно, еще не забыл, как мы с ним однажды смотрели вниз с балкона нашего пятого этажа», — писал Жакоб позднее [1].

Они перегнулись через перила, и тут в голове у обоих мелькнула одна и та же мысль — разом положить конец всему. Но — лишь на мгновенье. «Нельзя думать об этом», — сказал Пикассо так резко, словно хотел этой встряской вывести и себя, и друга из гибельного транса [2].

В 1921 году вышла книга Жакоба «Le Roi de Boetie»[3], где содержались откровения, схожие с вышеприведенным. Они-то, быть может, и стали причиной враждебности, которую Пикассо стал позднее испытывать к поэту. Меньше всего на свете ему хотелось бы, чтобы кто-либо еще брался за рычаг, приводящий в действие механизм его легенды.

Тем не менее Жакоб был способен на поразительные прозрения. Он нюхал эфир, употреблял и другие снадобья, дарующие опьянение, и, несомненно, далеко увел Пикассо по дороге оккультизма. Он разбирался в хиромантии, умел гадать на картах Таро и составлять гороскопы. А поскольку Бог, катастрофы и язык формы были для Пикассо выразителями иного, надреального мира, каждый день, проведенный под одной крышей с Максом Жакобом, обогащал его чем-то новым.

Однако год шел к концу, он мерз в холодном Париже, а в родительском доме в Барселоне было, наверно, тепло. Снова просить денег у отца он не мог, но, к счастью, сумел продать «Женщину у моря» — одну из лучших своих картин «голубого периода», написанную еще в Испании и привезенную в Париж.

Найти покупателей на остальные вещи Пикассо не сумел и вынужден был отдать их на хранение своему каталонскому другу Рамону Пишо, подводя плачевный итог трем самым тяжким своим месяцам в Париже.

Пятнадцать месяцев он проведет в Испании — за это время будут созданы лучшие произведения «голубого периода». Однако первые несколько дней на родине вряд ли можно назвать мирными — сорок лет спустя Женевьева Лапорт так описывала его возвращение:

Однажды я узнала, что Пикассо, измучившись от своей нищей жизни в Париже, вернулся под отчий кров. Приехал он вечером и, утомленный долгой дорогой, сразу лег спать. Наутро, когда он еще не проснулся, мать вычистила его одежду и башмаки, так что, поднявшись, он обнаружил, что «отряс с ног прах» Парижа. Мне он сказал, что это вызвало у него такое бешенство, что он довел мать до слез [4].

---

[1] *Jacob*, op. cit., p. 202.
[2] *Stassinopoulos Huffington*, op. cit., p. 69.
[3] «Король Боетии» *(франц.)*.
[4] *Laporte*, op. cit., p. 19.

И бешенство это наводит на размышления. Логично предположить, что для полководца, проснувшегося утром в день генерального сражения, небезразлично и существенно, какую ногу — правую или левую — сунет он в брючину сначала. Силы судьбы могут воздействовать на исход и избрать своим орудием этого военачальника. Очевидно, что Пикассо был не чужд подобной психологии, самой ранней и архаической формой которой является — не будем забывать об этом — суеверие. Мы воздействуем на психологическую реальность, и в этом смысле «дурной глаз» для иных столь же психологически реален, как и наши новейшие взгляды на то, что действуем мы на самом деле по подсказке «я», «сверх-я» и «оно» — а троица эта становится не больше и не меньше, как самой известной в двадцатом веке психологической реальностью, то есть нашим собственным «набором» суеверий. Пикассо отнюдь не трудно было поверить, что все, соприкасающееся с его телом или растущее на нем, обладает собственной ценностью. От Сабартеса мы знаем, что он не расставался даже с обрезками ногтей и в это самое время, в 1903 году, расписывая белые стены его квартиры на Каррер-дель-Консуладо, вывел на них такую надпись: «Волосы с моей головы, даже отделясь от меня, — так же божественны, как и я сам»[1].

И как же при этом не приписывать парижской пыли особых свойств? Спустя несколько лет он увлечется африканскими масками, обладающими свойствами изгонять нечистую силу. У племен народности банту распространена вера в «кунту» — особый дух, присущий каждому человеку и каждому неодушевленному предмету. Красивая женщина и красивое одеяние — это не просто сумма двух слагаемых, а скорей уж произведение: «кунту» одежды способен гармонично ужиться с «кунту» женщины и многократно усилить эффект. Хоть парижские маршаны на сей раз и отвергли Пикассо, но на его башмаках еще оставалась магическая пыль Парижа. Надо полагать, именно в этом ключе он рассматривал себя и не мог не верить, вспоминая, какая магическая сила водит его пальцами, сжимающими карандаш, в свое божественное происхождение (не стоит забывать о безмерности его тщеславия).

Если бы он полностью отдался во власть этого представления, то сошел бы с ума. Но если бы в какой-то определенной степени не уверовал в это, то нечем было бы объяснить феномен человека, который в скором времени решится порвать с миром видимостей.

Сабартес оставил интересное описание его «творческого процесса»:

Я снимал маленькую квартирку в угловом доме, стоявшем в самой узкой части улицы Каррер-дель-Консуладо, — старом доме с крутыми лестницами, на которых гуляли сквозняки. У меня были две комнатки и кухня... Стены были выбелены, пол покрыт необожженным кирпичом, потолок поддерживали массивные балки... Я выбрал ее потому, что мне понравился живописно-обшарпанный вид квартиры, а продутые ветрами лестницы напоминали колокольню.

Спустя несколько дней Пикассо явился расписывать стены... мы были с ним вдвоем: он принялся за работу, едва переступив порог... Как всегда, когда он был одержим жаждой творчества, он отключился от всего, что окружало его, и одновременно принялся впитывать образы, словно витавшие перед ним в воздухе, — он боялся, как бы кто-нибудь не спугнул их. Он не отводил глаз от белой стены и ничего, казалось, не видел и не слышал. Можно было подумать, что некая таинственная сила водит его кистью, заставляя ее следовать за световым лучом, заметным ему одному. Кончик кисти скользил по стене, не отрываясь от нее, и оставляемая им линия была будто не проведена чьей-то волей, а сама собой проступала изнутри...

Напротив окна он изобразил полуголого мавра, повешенного на ветке... Ноги его напряжены, слегка выставлены вперед, одна боса, а с кончиков пальцев другой, образуя со ступней прямой угол, спадает расшитая мягкая туфля. Это чудо равновесия показывало, что бьющийся в предсмертных конвульсиях мавр еще жив... А внизу юная,

---

[1] *Lydia Gasman*. Mystery, Magic and Love in Picasso, 1925—1938: Picasso and the Surrealist Poets. Ann Arbor, 1981, p. 521.

«Жизнь» (1903).

совершенно обнаженная чета предавалась в присутствии казнимого страстным любовным играм.

Подняв кисть, Пикассо отвел глаза от стены и сказал: «В следующий раз я продолжу» [1].

Он и вправду был необыкновенно продуктивен в этот период, длившийся больше года, — одно полотно следовало за другим, хотя продать не удавалось почти ничего. Спустя несколько десятилетий все происходило наоборот, а цены были выше,

чем на произведения любого другого художника нашего века. И это чередование спроса и предложения либо вообще освобождает Пикассо от чувства вины за свое богатство, либо доставляет ему еще большую радость[2].

Следует добавить, что властное влияние, под которое подпадают все глядящие на эти полотна, отчасти объясняется депрессией художника, его великой скорбью. Если Пикассо был глубоко убежден в том, насколько больше и дальше других художников он видит, то жизнь его должна была превратиться в исполнение некой священной миссии, своеобразный крестовый поход. Но страсть ко всему материальному, обыденному, даже ничтожно-обывательскому вкупе с жаждой признания и славы, занимавшая столь значительное место в его душе, вовсе не отражается на холстах «голубого периода».

В этом есть ирония судьбы. Предположим, что работы эти не покупались в годы их создания потому, что люди, глядевшие на них, были еще недостаточно богаты. «Голубой период» обращается к глубочайшим противоречиям тех очень богатых людей, которые постоянно были душевно угнетены и никогда не могли выйти из депрессивного состояния. Как могли они не быть несчастны? Богатство разжигает жадность и подталкивает к предательству всякого, кто находится «при дворе» магната; честные отношения пожираются бесчестными аппетитами; богач зачастую живет во мраке и тяжко страдает от одиночества. Чувство вины, неразлучное с богатством, гнетет душу богача так же сильно, как бремя нищеты давит на согнутые спины «голубых» пикассовских нищих и сирот; и баснословно богатый коллекционер чувствует свое родство с бедняком на холсте столь же непреложно, как и свою вину. И могущество «голубого периода», его власть над людьми основывается на том, что бедность есть не просто отражение каких-то временных и преходящих условий жизни — нет, она всеохватна и универсальна, как сама жизнь. И это делает богатство более приятным! И по этой логике бедность и богатство — неразлучные партнеры друг друга. Следовательно, «голубой период» принесет коммерческий успех, когда достаточно богатые коллекционеры наткнутся на эти холсты. И совершенно не важно, что Пикассо к этому времени будет более чем прочно укоренен в художественную действительность и что его более позднее творчество гораздо труднее поддается пониманию. Тем больше чести коллекционеру, разыскавшему ранние работы великого и почти непостижимого гения. Но несомненно, что той неисцелимой душевной горечью, перерождавшейся зачастую в мстительность и так больно ранившей и унижавшей окружающих, он обязан парадоксальности ситуации: полотна, принесшие ему самые большие деньги, создавались в самые горькие и самые тяжкие дни его жизни.

---

[1] *Sabartés*, op. cit., pp. 93—94.
[2] *Richardson*, op. cit., p. 269.

А какие это были полотна, можно видеть хотя бы на примере «Сводни».

«Анхель Фернандес де Сото с женщиной» (1902—1903).

Важно отметить, что «Жизнь» — самая темная по смыслу и сильней всего проникнутая личным отношением картина этого периода — празднует возвращение его покойного друга из небытия, хотя бы в качестве модели. Пикассо жил тогда дома, но, избегая конфликтов с отцом, работал в той самой барселонской мастерской, которую снимал когда-то пополам с Касагемасом, и на стенах ее еще оставались сделанные за три года до этого изображения пышнотелых служанок.

И снова он входил в запредельную реальность, которая всерьез могла бы поколебать душевное равновесие среднего человека. Если Пикассо и обладал нормальным уважением к разрушительной работе смерти, если он на примере Касагемаса увидел воочию следы творимого ею опустошения, то тем не менее умудрился извлечь пользу из собственного страха. Это сродни тому, как завзятый курильщик, затягиваясь сигаретой, соображает быстрее и отчетливее, — многие из нас наделены тем типом мозга, который реагирует на угрозу или ущерб «я» ускорением своей деятельности. А поскольку каждая затяжка — это крошечная ранка, наносимая нашим легким, разум приобретает привычку компенсировать цепь «бесконечно малых» травм ускорением мыслительного процесса.

Вот так же и Пикассо, должно быть, входил в подобные «договорные» отношения со снедавшим его ужасом. Он сумел ужиться с ним при условии, что тот будет поступать к нему в душу, как табачный дым в легкие, — отмеренными дозами. Они-то и будут побуждать его к работе, которая изгонит из души это чувство. Страх, в малых количествах «сочившийся» со стен мастерской Касагемаса и невольно «усваиваемый» Пикассо, придавал особую виртуозность его кисти.

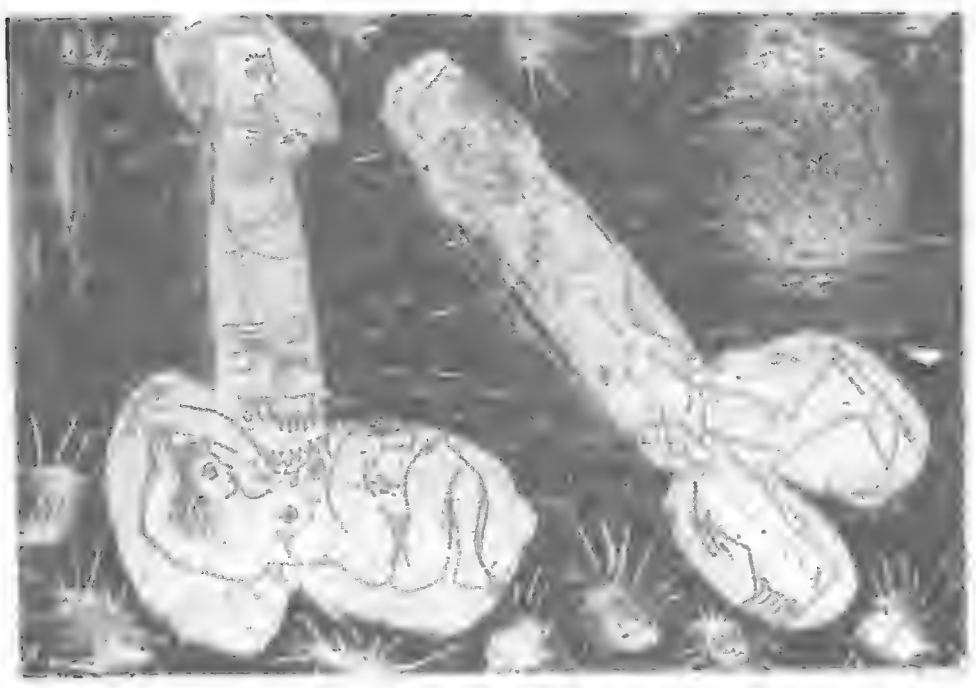
Его интерес к сексуальности остается весьма напряженным независимо от собственной потенции. В середине «голубого периода» эротические рисунки отмечены печатью такой выразительности, что, займись он исключительно порнографией, сумел бы обеспечить себе безбедное житье. Надо иметь в виду, что Пикассо не мог работать, не двигаясь одновременно в нескольких направлениях, и потому удовольствие от созерцания древней как мир сексуальной игры он обессмертил в рисунке тушью и акварелью, изображающем его друга Анхеля де Сото и сделанном в конце 1902 или в начале 1903 года, то есть не меньше чем за год до «Сводни».

Без названия (1903).

Весь 1903 год он готовился к возвращению в Париж. Существует наводящий ужас эротический рисунок на картоне, свидетельствующий о том, как раздроблена была его сексуальность, — этот Приап, изображенный достаточно условно, сияет от счастья, но в его мошонку художник помес-

тил униженную женщину. И вывод однозначен: Пикассо показывает нам, где таятся корни женственности у мужчины.

Такое «распределение ролей» между фаллосом и яичками, воплощающими соответственно мужское и женское начала, время от времени вновь будет возникать в его творчестве — например, на ксилогравюре, созданной в 1966 году, то есть спустя шестьдесят три года. Неудивительно, что она гораздо более замысловата и тоньше разработана, чем рисунок 1903 года: нам теперь предлагают два типа мужских гениталий — в сердцевине одних лежит раскинувшаяся в томном вожделении женщина, в других находится пара тяжелых ступней, столь же готовых обрушиться на тебя, как и изображенная в головке члена голова. (Ироническое восприятие действительности у позднего Пикассо всегда наготове, и потому оба фаллоса, различные роли которых очерчены так явно, окружены некими субстанциями, оказывающимися при ближайшем рассмотрении не чем иным, как лобковыми вшами.)



Без названия (13 ноября 1963).

Эта работа 1966 года — возвращение к теме, начатой в 1903-м, когда томящийся в Барселоне Пикассо мечтал о Париже с его свободными нравами и сексуальной терпимостью. Тогда он еще и не подозревал, что покинет Испанию навсегда. Ему еще предстоит бывать там наездами, но он, сам, быть может, лишь смутно предчувствуя это, готовился к разлуке с отчизной. Не знал он — в отличие от нас — и того, что его первый настоящий роман тоже начнется там, в Париже, и что, пока роман этот будет длиться, и мужское и женское в его натуре станет ему яснее и понятнее.

Ранней весной 1904 года он узнал, что его приятель, скульптор Пако Дурио, отказывается от своей мастерской, расположенной в весьма своеобразном месте — «Бато-Лавуар». Итак, впервые за все эти годы у Пикассо появится в Париже пристанище и дом, который он сможет считать своим собственным.

(*Окончание следует*)

СОЛЬ НЕБА В ХАЗАРСКОМ ГОРШКЕ

Милорад Павич. Хазарский словарь. Киев, София, 1996.

Литературная мистификация — самый, казалось бы, легкодоступный, но и самый коварный аллюр Пегаса (самонадеянный и неумелый наездник весьма рискует свернуть себе шею), однако же — и самый благодарный: того, кому удастся обротать норовистого скакуна паутинной уздой мистификации, он прямиком возносит на Парнас — безропотно и безвозвратно. Ведь в данном случае, помимо разумеющегося исключительного дара сочинительства, сводимого в палящий фокус врожденной языковой интуицией, необходимо обостреннейшей, требуется столь же изощренный вкус, болезненно чуткое, бережное и цепкое осязание самой ткани истории, исчерпывающая осведомленность на предмет рабочего материала — не только всех подводных камней ремесла, но и всех реалий, всего реквизита воспроизводимой эпохи как органичного звена в их цепи. Поэтому настоящие удачи в этом жанре столь же редки, сколь драгоценны.

Ярчайший в этом смысле образчик — роман Милорада Павича «Хазарский словарь». Ценителям и знатокам «большой литературы» нет нужды напоминать, как совсем недавно буквально по рукам, исчезая из библиотек и катастрофически ветшая, отправился мартовекий номер журнала «Иностранная литература» 1991 года с публикацией фрагментов романа, провозглашенного критикой «первым романом XXI века», в срочном порядке переведенного на десятки языков и стяжавшего автору реноме соискателя Нобелевской премии. Естественно поэтому желание убедиться в справедливости столь, может быть, неумеренно восторженной оценки, оставив за собой право на более сдержанную. И однако же знакомство с книгой в полном ее объеме обещает, судя по всему, превзойти все ожидания даже самых требовательных и капризных читателей, не оставив на сей раз сомнений: в мировую литературу пришел еще один настоящий мастер, вписавший в ее летопись редкую по красоте страницу.

В основу романа положено некое историческое событие, зафиксированное в многочисленных источниках и столь же достоверное, сколь таинственное, обросшее множеством легенд, домыслов, гипотез, — так называемая «хазарская полемика», закончившаяся обращением в новую веру целого народа, к настоящему времени почти исчезнувшего с лица земли. Уцелевшие разноречивые свидетельства сходятся в одном: примерно в конце IX века (точная дата неизвестна) ко двору хазарского кагана были приглашены миссионеры от трех различных религий — иудейской, мусульманской и христианской, — с тем чтобы каждый из них попытался растолковать кагану некий его сон, после чего каган со всеми своими подданными примет религию того, чье толкование окажется наиболее убедительным. Эта явная парафраза известных библейских эпизодов весьма, однако, разнится от них самим контекстом развернувшегося спора, его крайней изощренностью, метафизической многозначностью, насыщенностью философской проблематикой, так что по ходу столкновения с ошеломляюще самобытной хазарской культурой каждая из встретившихся в этом споре религий, теряясь в выси поэтического мышления, незаметно переходит на роль по отношению к нему чисто служебную.

В полемике также принимает участие загадочная фигура — некто принцесса Атех, возглавлявшая в хазарском царстве секту избранных из числа священнослужителей — так называемых «ловцов снов», посвятивших себя их поиску, чтению, отбору и классификации. Это-то культивируемое среди них искусство и составляет, в качестве эссенции утерянной хазарской культуры, не только сюжетную линию, но и саму ткань романа, созданного по прообразу тех «словарей снов», которые собирались на протяжении столетий и каждым из оказавшихся причас-

---

«Хазарский словарь» выходит в свет также в Санкт-Петербургском издательстве «Азбука» в возобновляемой серии «Библиотека журнала «Иностранная литература».

тными к этой истории. За пределами первоначально опубликованных в русском переводе фрагментов остался главный компонент романа, его перводвигатель — миф об Адаме в преломлении каждой из участвовавших в полемике религий, представители которых подают собственную версию этого мифа, лежащего, по их свидетельству, в основании религии хазарской — а именно вероучения «ловцов снов». Согласно верованию хазар, предвечный Адам, именуемый мусульманами Адамом Рухани, иудеями — Адамом Кадмоном, а в христианской, видимо еретической, версии — «Адамом, братом Христовым», — не только праотец, но и универсальный прообраз всего человечества, всех его неисчислимых судеб, слагающих тело Адама, сущее от века и сотканное из материи сновидения. Поэтому цель «ловцов снов» — по крупицам выловленных частных сновидений, пополняющих их «словари» как карты тела Адама, воссоздать и воплотить его на земле, тем самым достигнув всеобщего спасения — конца истории. Этой целью фатально предопределена судьба тех причастных к «хазарской полемике», которым известна ее подоплека, ее истинный смысл: в сновидческой погоне за ним и создается «Хазарский словарь» в трех составивших его версиях: христианской, мусульманской и иудейской — в книгах «Красной», «Зеленой» и «Желтой». В качестве их главных персонажей в эту погоню невольно вовлечены с каждой из трех сторон: во-первых, непосредственные участники «хазарской полемики»; во-вторых, ее хронисты; в-третьих, переводчики уцелевших хроник; в-четвертых, сами коллекционеры сведений для «словаря» — его авторы-сновидцы; в-пятых, сопутствующие им демоны — на каждого по одному из преисподних христианской, мусульманской и иудейской. Перипетии их судеб в последовательности столетий вплоть до нынешнего в свою очередь пополняют состав «словаря», образуя единый поток из мистического детектива, метафизического ребуса, ученой монографии и любовного романа, обильно уснащенный многоразличнейшими легендами, мифами, притчами, преданиями, анекдотами вплоть до богословских и научных справок.

Итак, следуя образной стилистике романа, составившую его ткань фабулу можно уподобить плети или косичке, сплетенной из трех мировых религий, трех культур вокруг нити-лейтмотива — культуры и истории хазарского народа как сновидения, в которое вовлечена история человечества в целом, которая, в свою очередь, и есть миф об Адаме Рухани, или, по известному афоризму, изнанка ковра, чья лицевая сторона открывается лишь в потустороннем мире, издали постигаемом в сновидениях. Иными словами, последовательное осмысление всего необъятного целого, которое распахивается перед умственным взором читателя, приводит к тому неизбежному выводу, что речь в романе идет ни много ни мало о *мировой культуре*, самой судьбе человечества, отраженной, как в прозрачных цветных зеркалах, в трех книгах «словаря». В фокусе этого трельяжа — центральная фигура романа, которая и определяет его тематическую, стилистическую и образную специфику как найденный одним из персонажей «хазарский ключ» к каждой культуре. Это скрытая за этимологическим казусом АТЕХ, некогда слагавшая изысканнейшие стихи принцесса, павшая жертвой несчастной любви и в наказание обреченная на бессмертие, а ныне, к концу романа, безвестная официантка в стамбульском отеле, которая становится свидетельницей развязки этой пролегающей сквозь века детективной фабулы — на том самом месте, где некогда прозвучало обещание доказать через три столетия истинность христианской веры; фабулы, где главное действующее лицо — сам «Хазарский словарь», символизирующий судьбу мировой культуры с ее неизменной спутницей — принцессой Атех, то есть самой душой человечества, душой каждого, которая и есть поэзия в чистом виде, обреченная без пола, без памяти, без имени скитаться без конца, из века в век по сновидческим в литературе перепутьям языка и бытия, где не осталось даже грусти — «не больше, чем передается от одной собаки к другой, когда они слышат, как дети подражают лаю».

Чтобы понять оценку «словаря» как «первого романа XXI века», уже этого скомканного пересказа хватило бы, может быть, многим — но не автору. Всей составившей роман немыслимой фантасмагории дается, в классических традициях мистификации и верности ее канонам, «разумное объяснение», замыкающее заведомо сказочное повествование на само себя *как на реальность* и этим самым *совпадающее с нею*. В конце романа дано приложение — макабрическая, в духе гоголевского сказочного цикла, покаянная исповедь одного из ранее упоминавшихся мельком участников описанных событий, из которой мы узнаем, что весь «словарь» в том виде, в каком он дошел до его первого издателя и через него до нас,

уцелел лишь благодаря феноменальной памяти, посланной кающемуся во искупление греха сочинительства.

Однако, конечно, главная особенность и бесспорное достоинство романа — его совершенно фантастический, буквально завораживающий язык, благодаря которому «Хазарский словарь» более всего напоминает неохватную мозаику из метафор, переходящих в фабулу, сливающихся с нею и в итоге составляющих ее, столь необычных и выразительных, неожиданных и точных, что читателя с мало-мальски поэтическим чутьем то и дело разбирает от восхищения невольный смех; мозаику, каждая блестка которой рикошетом отражается во всех трех составивших роман книгах-версиях, озаряясь по ходу его прочтения единым светом невыразимо прекрасного целого. Такому видению мира как нельзя более соответствует избранная автором «энциклопедическая» форма повествования, позволяющая, по совету автора, читать с любой страницы в любой конец, убеждаясь при этом, что роман не может никогда надоесть — с каждым перечитыванием в нем открывается все большая глубина, все более ясная, звенящая красота, все более немыслимая завершенность.

Трудно представить более счастливую возможность ближайшего знакомства с еще (увы) малоизвестной в России историей и культурой нынешней Сербии, в данном случае — с отраженным и сконцентрированным в романе Павича колоссальным культурным ареалом, очерченным пером автора от Гибралтара до Каспия, от Киева до Каира, от Дамаска до Вены и Регенсбурга, где под знаком канувшего во мрак столетий Хазарского царства сошлись в писательской кухне сокровища трех культур, трех империй — Византийской, Оттоманской и Австро-Венгерской, брошенные в «балканский котел» на треножнике «Рим — Иерусалим — Константинополь». Для русского читателя — потомка тех «русов», которые из Царьграда же получили веру, культуру, историю, — такая возможность тем более отрадна, что в определяющем удельный вес романа главном его измерении «Хазарский словарь» является своеобразной одой, благодарственным гимном родоначальникам славянской письменности св. Кириллу и Мефодию, которым посвящены в романе, может быть, самые прекрасные, невыразимо горькие, поэтичные и светлые страницы.

Ошеломляющий замысел, невероятное богатство и изысканность использованного материала, безупречная культура, великолепная свобода и виртуозность исполнения, а в них и через них — непостижимое чудо и бездонная горечь конкретного человеческого бытия как мировой истории, отраженной в каждом, в скрещении обреченности и спасения, потерянности и свободы, Промысла и нелепости, праха и Божества, веры и отчаяния, сводимых, если угодно, всего лишь к простодушно-увеселительному, ничего, в сущности, не значащему анекдоту, — таков этот неслыханный роман или, точнее, поэма ослепительной красоты, столь безнадежно совершенной, что остается разве лишь выучить ее наизусть. Не потому ли и предваряет ее, в виде предостережения, своеобразная эпитафия, смысл которой становится вполне ясен лишь на последней странице: «Здесь лежит читатель, который никогда не откроет эту книгу. Здесь он спит вечным сном».

М.ДОБРОВОЛЬСКИЙ

НА СТЫКЕ ДВУХ КУЛЬТУР

Friedrich Fiedler. Aus der Literatenwelt: Charakterzüge und Urteile; Tagebuch. Hrsg. von Konstantin Asadowski. Göttingen, Wallstein Verlag, 1996.

Фридрих Фидлер. Из мира литераторов. Изд. подготовил Константин Азадовский.

Федор Федорович (или Фридрих Фридрихович) Фидлер был вполне благополучным интеллигентным русским немцем, который с привычной основательностью и прилежностью учил петербургских гимназистов немецкому языку и запоминался своим ученикам изрядной строгостью (с особенным трепетом вспоминал его уроки Николай Гумилев, который остался на второй год в четвертом классе из-за двоек по иностранным языкам, в том числе и по немецкому). Воспоминания о таких людях, как правило, уходят довольно быстро. Невыдающегося учителя, пусть даже еще и автора столь же невыдающихся литературных произведений, помнят несколько лет после его смерти, и лишь некоторым замечательным выпадает долгая слава в потомстве. И Фидлера бы забыли очень скоро, если бы не его деятельность совсем другого плана.

На протяжении многих лет он собирал материалы о жизни и творчестве русских литераторов, открыл дома небольшой му-

зей, о котором не раз писали в газетах и журналах, издал книгу «Первые литературные шаги», до сих пор используемую литературоведами в повседневной работе, оставил ряд воспоминаний. Но лишь постепенно открывается еще одна его ипостась — автора дневников, охватывающих период с февраля 1888 по февраль 1917 года.

После его смерти в марте 1917-го дневники попали в рукописный отдел Пушкинского дома и так там и хранятся. Вел их Фидлер по-немецки, предпочитал писать готическим почерком, и потому усердных читателей нашлось немного. Нужна была истинная и серьезная заинтересованность, чтобы прочитать все записи с начала до конца и осознать, что перед тобой лежит уникальный памятник, относящийся в одно и то же время к русской и немецкой культурам, возникающий на первых порах из привычки пунктуально (как эта пунктуальность важна для свидетеля!) записывать факты, слухи, предположения, рассказы, относящиеся к литературе.

Фидлер не был завсегдатаем сред Вячеслава Иванова и заседаний Цеха поэтов, Академии стиха и Религиозно-философских собраний, но в разной обстановке он так или иначе сталкивался со многими русскими и немецкими литераторами, от заведомых традиционалистов до крайних (по его, фидлеровским, меркам) новаторов. Трудно найти имя петербургского литератора, которое не попадало бы на страницы этого дневника, причем чаще всего — в неожиданном ракурсе. Значительно ограниченнее были контакты с писателями австрийскими, немецкими, датскими, как с приезжавшими в Петербург, так и встреченными во время поездок за границу, хотя сведения и о них представляют интерес для историков западных литератур.

Но более всего привлекает в дневниках Фидлера, что они явственно показывают то переплетение разных литератур и культур, свидетелем которого он был. Живое общение с Горьким и популярнейшим в начале века Петером Альтенбергом, Сологубом и Рильке, Случевским и Георгом Эберсом, Вяч.Ивановым и Германом Бангом, а также многими-многими другими (именной указатель к тому занимает около семидесяти страниц убористого шрифта) дает тот срез культуры, который не восполним никакими другими документами. Воочию видишь, что русская литература питалась не только своими собственными интенциями, не только строилась на притяжениях к текстам европейских писателей и отталкивалась от них, но что она была окружена плотным культурным слоем, где немецкий субстрат занимал более чем значительное место.

И в этих связях весьма существенно, что строились они не каким-то волевым усилием выдающегося автора, а повседневным общением людей самого разного уровня, понимавших себя как часть единого процесса, с равной силой чувствующегося в России и в Европе. Это не было умышленно, а создавалось естественно, как дыхание. Воздух такого общения не менее важен для России конца прошлого и начала нынешнего века, чем воздух символизма, о котором писал когда-то Ходасевич в почти уже классических своих статьях и воспоминаниях. Вот только один и далеко не самый выразительный пассаж: летом 1912 года Фидлер провел три недели за границей и по возвращении записал свои впечатления. Среди них — наблюдения об известности Гейне в современной Германии, рассказ о встрече с Н.Минским и Л.Вилькиной в Париже (и среди разговоров — сообщение о взаимной влюбленности Ахматовой и Георгия Чулкова), а в Берлине — с популярнейшим публицистом Григорием Петровым; записи о беседах с полузабытыми немецкими писателями Максимилианом Берном, Вильгельмом Гольдшмидтом, Иоганном Шлафом, доносящие весьма любопытную информацию об их контактах с Россией. Все эти, казалось бы, мелкие подробности литературной жизни несут большой смысл, ибо в них раскрывается не та гордая культура начала века, которая нам преимущественно знакома, а мозаичная, многомерная, увиденная из той близи, где Брусянин или Червинский живут на равных правах с Сологубом и Вячеславом Великолепным. И притом немецкая культура неразрывно переплеталась с русской.

«Опалы» Франца Блея печатали не только переводы русских писателей, но и рисунки Сомова, да ведь и прославленная «Книга маркизы» впервые появилась в Германии. Иоганнес фон Гюнтер и Вольфганг Грегер, Александр Элиасберг и Бруно фон Хайзелер (намеренно называю только известных и пробовавших свои силы в серьезных трудах, а не рядовой беллетристике) переводили книги русских поэтов и прозаиков на немецкий почти одновременно с появлением оригиналов, а то и вообще по рукописям. Можно предположить, что такая ситуация, а не только экономические или со-

циальные причины определила столь значительный расцвет русской эмиграции в послереволюционном Берлине, когда в последний раз близость культур дала обильные плоды. А дальше — веймарская Германия и нэп, потом гитлеризм параллельно сталинизму, потом раздел на оккупационные зоны и Стена... И уже не воздухом становилась связь России и Германии, а перекличкой на воздушных путях немногих людей, хранивших воспоминания о выдающемся прошлом. И уже не согласный хор, а отдельные голоса становились различимы.

Среди них голос Константина Азадовского — один из самых заметных. Азадовскому принадлежат книга о Рильке в России, деятельнейшее участие в публикации трехсторонней переписки Рильке, Цветаевой и Пастернака, специальная книга о Рильке и Цветаевой, а вот теперь публикация дневников Фидлера.

Время от времени небольшие их фрагменты, свидетельствующие о биографиях разных русских писателей (Горький, Блок, Вяч.Иванов, Гумилев, Есенин, Клюев и др.), появлялись в русских журналах и академических изданиях; естественно — в русских переводах. Теперь перед нами специальный том, представляющий не выборку материалов о том или ином авторе, а весь обширный комплекс, и не в переводе, а в оригинале.

При этом составитель воспользовался своим правом полагаться на то, что его потенциальным читателям уже известны публикации предшествующие, и не включил в новейшее издание достаточно многое. То же самое можно сказать относительно подробности и тщательности комментария, который обладает способностью разрастаться в умелых руках К. Азадовского до очень значительного объема, но здесь ограничен задачами книги, приспособленной для чтения, а не для нужд специалистов.

Правда, отчасти эти функции комментария вобрал в себя уже упоминавшийся именной указатель, где не просто названы присутствующие в дневнике лица, но указаны даты их жизни и даны краткие определения места и роли в культуре. Читатель может поверить рецензенту, что составление такого указателя стоит многого.

Таким образом, перед нами издание, необходимое исследователю, чрезвычайно привлекательное для среднего немецкоязычного читателя, интересующегося биографиями русских и немецких литераторов, и, наконец, очевидно становящееся чрезвычайно существенным фактом в истории русско-немецких литературных отношений. Остается пожалеть лишь об одном: русский вариант этого дневника решительно необходим, и очень хотелось бы, чтобы нашлись издатели для этой будущей книги. В ней могли бы быть подробнее представлены записи о менее известных немецкому читателю (а для русского слуха небезразличных) авторах, очевидцем жизни которых Фидлер был, но непременно должна быть сохранена та удивительная атмосфера, которая существует в нынешнем варианте.

Н.БОГОМОЛОВ

РАСТЕРЯЕВА УЛИЦА В СЕРЕДИНЕ ЕВРОПЫ

Tar Sándor. A mi utcánk. Budapest, Magvető — AB-Beszélő, 1995.

Шандор Тар. Наша улица.

Чтобы сразу обозначить акценты, начну с несколько, может быть, рискованного утверждения: если бы литературная социография в Венгрии не сыграла той большой роли, какую она сыграла, то игра все равно стоила свеч, потому что в конце концов появилась такая книга, как «Наша улица».

А может быть, ничего особенно рискованного в таком утверждении нет. Социография и в 30-е годы, и в 60—70-е была событием скорее общественным, даже политическим, чем литературным. Она открывала обществу глаза на реальные условия жизни таких классов, слоев, профессиональных, территориальных, национальных групп, о которых общество не знало и не очень хотело знать. Она повышала уровень информированности этого общества, делала более полными его знания о самом себе. (Становилось ли оно от этого более зрелым, разумным?.. Хм... Возможно. Во всяком случае, рост осведомленности всегда должен быть во благо, а не во вред.) Что же касается литературной роли социографии... Долгое время венгерские писатели, вслед за Йожефом Дарвашем, и литературоведы (в том числе и советские, включая автора этих строк), вслед за венгерскими писателями, доказывали: социография — особый *литературный* жанр, синтезирующий документальность и художественность. Но сейчас, когда необходимость в защите социографии (вернее, того непредвзятого взгляда на ре-

альность, который утверждала социография) отпала, нельзя, видимо, не сказать со всей откровенностью: социография являлась литературой в той мере, в какой она была художественной. И если Д. Ийеш, написав свой «Народ пусты», создал образец высокохудожественной литературы, этот факт вовсе не отменяет другого: в Венгрии было написано целое море объемных, трудночитаемых, иногда просто скучных, хотя да, правдивых, подчас очень смелых книг, которые редко выходят за рамки социологического исследования. К литературе такие вещи (в том числе и едва ли не вся знаменитая серия «Открытие Венгрии») имеют отношение лишь в том смысле, что создавались известными писателями и написаны литературным, то есть правильным, выразительным, в какой-то мере и образным языком; но подобное может встретиться и в научной, научно-популярной, даже, теоретически, в канцелярской «литературе».

И тем не менее социография стала в Венгрии мощным фактором если и не собственно литературы, то литературного сознания: она воспитывала чувство гражданской ответственности писателя перед народом, перед низами общества; повышала, можно сказать, степень *народности* литературы. И в тех случаях, когда народность соединялась с художественностью, рождались выдающиеся, без скидок, *литературные* произведения. В этом смысле ситуация в венгерской литературе напоминает русскую: на волне движения литературы к народу возникали крупные в литературном отношении феномены вроде очерков Глеба Успенского или, в советское время, Валентина Овечкина. Конечно, гражданственность для писателя это как бы внелитературная черта; есть она у писателя или нет, в конце концов его личное дело. Многие нынешние корифеи постмодернизма вычеркнули ее из списка литературных достоинств. Но лично мне до сих пор импонирует, если писатель болеет за народ, сострадает жертвам произвола и глупости, даже если они как бы обусловлены историческими обстоятельствами. Поэтому меня очень затронула книга Шандора Тара «Наша улица».

Совпадение, видимо, случайное: эта книга даже своим названием напоминает «Нравы Растеряевой улицы» Г.Успенского. И не только названием: многими особенностями стиля, художественного подхода, авторской позиции. Но есть и огромное различие: Растеряева улица — факт российского прошлого; о нынешних Растеряевых улицах русские художники слова писать не спешат... Что же касается Кривой улицы, которая оживает перед нами на страницах книги Шандора Тара, то она существует реально, даже если и под другим именем, но такая же, а может, и еще более грязная, изрытая, пьяная и несчастная, в любом населенном пункте сегодняшней Венгрии, судорожно пытающейся избавиться от наследия социализма и попасть, пробраться, вползти в цивилизованный, стабильный, благополучный западный мир.

Мне было вовсе не удивительно узнать из «Нового венгерского литературного лексикона» (1994), что за спиной у Шандора Тара почти двадцать лет работы в области социографии. В частности, там сообщается интересный факт: в 1976 году Ш.Тар получил первую премию в объявленном журналом «Мозго вилаг» конкурсе на лучшее социографическое произведение — он писал в нем о венграх, работающих по контракту в ГДР. Но, сообщает «Лексикон», «журнал не смог опубликовать его работу». (Интересно, что́ Тар обнаружил в жизни венгерских рабочих, откомандированных в ГДР, если этого не решился обнародовать один из самых свободомыслящих журналов либеральной кадаровской Венгрии?) Другие произведения Тара в этом жанре тоже посвящены рабочим, условиям их труда и быта, уже не за рубежом, а, так сказать, в родных пенатах.

Собственно говоря, «Наша улица» — как бы продолжение сквозной темы, интересующей писателя. Обитатели Кривой улицы — те же самые рабочие, те же люди, которые три-четыре десятилетия назад, в период коллективизации, лишившись земли, скота, а главное, веры в возможность прокормиться хлеборобством, хлынули в город, на заводы и рудники. Следом за ними покидала село молодежь, ища возможность устроить свою жизнь более или менее по-человечески. Большинство этих людей успели получить профессию, но не успели окончательно оторваться от деревни, пустить корни в городе: после смены они возвращались к себе, здесь у них были семьи, здесь они затевали строительство нового, по-городскому обставленного, с телевизором и холодильником, дома. Но в один прекрасный день социализм рухнул, пришла приватизация, промышленные предприятия сокращали производство и штат, и первыми жертвами перемен стали опять же они, деревенские. Кривая улица чуть ли не сплошь заселена такими людьми с обрубленной судьбой, не знающими, куда приложить

свои руки и силы, давно отвыкшими от сельского труда, живущими на пенсию или пособие по безработице. И застроена эта улица незаконченными домами, в которых кое-как приспособлена для жилья кухня или какая-нибудь каморка, а остальное стоит без крыши, без полов, без отопления. Незавершенная стройка, несбывшиеся планы, сломанные жизни, разрушившиеся семьи; все это можно выдержать разве что в состоянии беспамятства, беспамятство же, слава богу, в нашем мире доступно любому смертному. И обитатели Кривой улицы с рассвета спешат в корчму, чтобы как можно скорее накачаться вином, палинкой, пивом, и старательно поддерживают себя в таком состоянии целый день. Один из персонажей, Янчи Хесс, чем-то напоминающий деда Щукаря, доходчиво объясняет ситуацию местному священнику: «Коли бы тут все взяли бы да вдруг протрезвели, вы, батюшка, не поспевали бы нас хоронить. Все бы скопом под поезд легли, в колодец попрыгали аль повесились. Очень уж жизнь горька...»

В небольших, четырех- пятистраничных главках, из которых состоит книга, перед читателем проходит галерея чудаков, трудяг, бездельников, мечтателей, ипохондриков, скаредов, альтруистов, людей общительных и нелюдимых, благородных и коварных. Короче говоря, разных, как на любой улице любого села или города, и все-таки одинаковых, потому что одинаково обиженных судьбой. Точнее, не столько судьбой, сколько политикой, историей, которая на протяжении жизни одного поколения ломала их, не давая возможности спокойно жить и работать на благо себе и другим. Эти люди и в условиях социализма держались по-разному, находя свой стиль, свой способ существования в соответствии с особенностями натуры и моральными принципами. Например, Шани Харап, человек маленького роста, но огромных амбиций, всегда держал себя с начальством независимо, а однажды при свидетелях плюнул директору в лицо, по каковой причине и был уволен лишь одним из последних: еще подумают, что это расправа за критику. А Лаци Вереш, наоборот, пытался вступить в партию, стал членом рабочей гвардии, где оказался едва ли не в одиночестве среди завотделами и бухгалтеров, терпя ехидство и помыкательство. Но попасть в привилегированный класс, в касту «чистых» не удалось ни тому, ни другому: они для этого не созданы. По-разному реагируют они и на нынешнюю свою неприкаянность, находят выход своей невостребованной энергии. Кто-то злится, кто-то бунтует, кто-то тратит силы на нелепые выходки, кто-то просто, без затей, пьет. Скажем, мастер на все руки, сильный и талантливый самородок Дороги от нечего делать приучил свою лошадь к пиву, и та теперь с любого маршрута сворачивает к корчме. Дороги тиранит свою жену, которая даже ночевать вынуждена на чердаке, возле теплой трубы. Береш же, законченный алкоголик, трогательно ухаживает за парализованной женой, сохраняя, как последнюю ниточку связи с жизнью, былую любовь к ней. Но всем им, и озлобленным человеконенавистникам, и душевным, ласковым людям, одинаково бесприютно в этом мире, и даже пожаловаться на свою жизнь они могут разве что акации, стоящей неподалеку от корчмы; дереву этому они даже имя человеческое дали — Бела.

Мне не пришлось читать прежние вещи Шандора Тара; но что касается этой — здесь очень наглядно проявляется то дополнительное, никогда в полной мере не поддающееся выражению качество, которое, когда оно есть, и превращает социографию в литературу (а когда его нет, то ни имя автора, ни острота темы положения не изменят). Во-первых, это, конечно, тонкое искусство создания из штрихов, деталей, кратких реплик полнокровных, ярких характеров, каждый из которых не похож на другие и по-своему интересен, по-своему трогателен. Во-вторых, такое редкое, встречающееся у немногих мастеров качество, как умение органично, без натяжек сочетать трагическое и комическое; это тот самый «смех сквозь слезы», который присущ был творчеству Гоголя и до которого в лучшие моменты поднимался, из писателей XX века, М.Шолохов. В-третьих, тоже органическая, не усвоенная, не заимствованная способность придавать каким-либо, как будто случайным, деталям глубокое, символическое значение. Пример такого рода — канава, которую бесконечно долго и без особой необходимости роют на Кривой улице, чтобы проложить водопровод.

Художественность, литературность получает выражение и в композиции книги. На первый взгляд тут ничего хитрого нет: главка идет за главкой, портрет за портретом. Но простую эту цепочку объединяют в сложное целое некоторые сквозные персонажи. Это прежде всего корчмарка, тетушка Пирошка, которая и вином торгует в кредит (правда, не в убыток себе), и умеет дать полезный или, во всяком случае, успо-

коительный совет, и прекратить драку, и отправить домой упившегося клиента. Но еще в большей мере роль такого связующего звена свойственна местному священнику, отцу Мартону, который пишет историю деревни и везде, в той же канаве например, ищет, без всякого результата, следы древней культуры. В священнике очень мало того благолепия, которое, в согласии с литературными канонами, должно быть ему присуще. Он тоже человек, не нашедший себя; любовь к ближнему не дана ему так же, как не дана удача в раскопках. Часто, глядя на окружающих его забулдыг, он думает кощунственно: «Этих? Бог? По образу и подобию своему?..»

Благодаря всем этим особенностям и становится «Наша улица» не просто точным и объективным описанием жизни рабочих, выброшенных обстоятельствами обратно в деревню, но *художественным* осмыслением, распространенной метафорой исторического момента в Венгрии, да и, пожалуй, в нашем несчастном регионе в целом, регионе, народу которого все никак не удается жить, трудиться, любить, строить, воспитывать детей, умирать достойно, в согласии с естественными человеческими и природными законами.

Ю.ГУСЕВ

■

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС (JOYCE CAROL OATES; род. в 1938 г.) — американская писательница, романист, новеллист, эссеист. Наиболее известные ее произведения: романы «Сад радостей земных» («A Garden of Earthly Delights», 1967, рус. пер. 1973), «Их жизни» («Them», 1969; Национальная книжная премия), «Делай со мной что хочешь» («Do With Me What You Will», 1973, рус. пер. 1983), «Убийцы» («The Assassins», 1975), «Тайны Уинтерторна» («Mysteries of Winterthurn», 1984), «Ангел света» («Angel of Light», 1981, рус. пер. 1987), «Американские аппетиты» («American Appetites», 1989), «Фосфоресцирующий свет» («Fox Fire», 1993), «Семья Малвэни» («We Were the Mulvaneys», 1996); сборники рассказов «Любовный круг» («The Wheel of Love», 1970; рассказы из этого сборника печатались в «ИЛ», 1973, № 12), «Браки и измены» («Marriages and Infidelities», 1972; в «ИЛ» напечатан рассказ «Священный брак», 1983, № 9), книги статей и эссе «На грани невозможного...» («The Edge of Impossibility», 1972), «Новое небо и новая земля» («New Heaven, New Earth», 1974). Дж.К.Оутс — лауреат многих конкурсов короткого рассказа имени О.Генри.
Повесть «Черная вода» печатается по изданию 1992 года («Black Water». New York, Penguin Books).

МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА (MARIO VARGAS LLOSA; род. в 1936 г.) — перуанский писатель, лауреат многих литературных премий. Автор романов «Город и псы» («La ciudad y los perros», 1963; рус. пер. 1965), «Зеленый Дом» («La casa verde», 1965; удостоен Международной премии имени Ромуло Гальегоса; рус. пер. 1971), «Разговор в «Кафедрале» («Conversación en la Catedral», 1969), «Тетушка Хулия и писака» («La tía Julia y el escribidor», 1977; рус. пер. «ИЛ», 1979, № 11), «Война конца света» («La guerra del fin del mundo», 1981); повестей «Щенки» («Los cachorros», 1967, рус. пер. 1973), «Кто убил Паломино Молеро?» («Quién mató a Palomino Molero?», рус. пер. Библиотека «ИЛ», 1989) и др. произведений.
Роман «Литума в Андах» издан в Испании в 1993 году («Lituma en los Andes». Barcelona, Editorial Planeta).

ОЛИВ СИНИОР (OLIVE SENIOR; род. в 1941 г. на Ямайке) начинала литературную деятельность как журналист на родине и в Канаде. Ее первый поэтический сборник «Разговор дерев» («Talking of Trees», 1986) был опубликован на Ямайке в 1985 г. В последующие годы изданы еще две книги стихов и три сборника рассказов, среди них «Летняя молния» («Summer Lightning», 1986; премия писателей Содружества), «Распознаватель сердец» («The Discerner of Hearts», 1995). Ее перу принадлежат также книги критических и публицистических работ «Азбука наследия Ямайки» («A-Z of Jamaican Heritage», 1984), «Жизнь женщин Карибского бассейна» («Working Miracles: Women's Lives in the English-Speaking Caribbean», 1991). В «ИЛ» печатались ее рассказы (1987, № 6).
Публикуемые рассказы взяты из книги «Прибытие женщины-змеи» («Arrival of the Snake-Woman and Other Stories». Harlow, Longman Group, 1989), стихи — из сборника «Садовничая в тропиках» («Gardening in the Tropics». Newcastle, Bloodaxe Books, 1995).

АНРИ ДЕЛЮИ (HENRI DELUY; род. в 1931 г.) — французский поэт, главный редактор парижского поэтического журнала «Аксьон поэтик» («Action poétique»), директор Международного бьеннале поэтов в Валь-де-Марн. Начал печататься в 60-х годах. Автор поэтических сборников: «Тысячи» («Les mille», 1980), «Двадцать четыре часа любви в июле, потом в августе» («Vingt-quatre heures d'amour en juillet, puis en août», 1987), «Первые сюиты» («Premières suites», 1991) и др., составитель антологий современной французской поэзии, переводчик стихов Пессоа, Кавафиса, Ахматовой, Цветаевой.
Публикуемые стихи взяты из книг «Первые сюиты» (Paris, Flammarion, 1991), «Плотская любовь» («L'amour charnel». Paris, Flammarion, 1994) и «Я — не другой» («Je ne suis pas un autre». Paris, Fourbis, 1994).

ЛИЛИАН ЖИРОДОН (LILIANE GIRAUDON; род. в 1946 г.) — французская писательница, поэтесса, редактор поэтического журнала «Иф» («If»), лауреат премии имени Ги де Мопассана (1990). Автор книг «Я хожу или засыпаю» («Je marche ou je m'endors», 1982), «Какой сегодня день» («Quel jour sommes-nous», 1985), «Паллакш, Паллакш» («Pallaksch, Pallaksch», 1990), «Животные всегда занимаются любовью одинаково» («Les animaux font toujours l'amour de la même manière», 1995) и др. Составитель антологии современной женской поэзии.
Публикуемый фрагмент поэмы «Креветки — это то, что они едят» («Les crustacés sont ce qu'ils mangent») взят из журнала «Аксьон поэтик» («Action poétique», № 144, automne 1996).

НОРМАН МЕЙЛЕР (NORMAN MAILER; род. в 1923 г.) — американский писатель, поэт, критик, публицист. Автор романов «Нагие и мертвые» («The Naked and the Dead», 1948; рус. пер. 1971), «Варварский берег» («Barbary Shore», 1951), «Олений парк» («The

Deer Park», 1955), «Американская мечта» («An American Dream», 1965; рус. пер. 1993), «Из пламени на Луну» («Of a Fire on the Moon», 1971), «Песнь палача» («The Executioner's Song», 1979). Широкую известность получили его романы-репортажи «Армии ночи» («The Armies in the Night», 1968), «Майами и осада Чикаго» («Miami and the Siege of Chicago»; рус. пер. фрагментов книги в «ИЛ», 1971, № 1,2), «Бой» («The Fight», 1975; сокр. пер. напечатан в «ИЛ», 1978, № 10). Перу Н.Мейлера принадлежит также сборник стихов «Смерть дамам и прочие катастрофы» («Deaths for the Ladies and Other Disasters», 1962). В последние годы вышли романы «Призрак Харлота» («Harlot's Ghost», 1991), «История Освальда» («Oswald's Tale: An American», 1995) и др.
Книга «Портрет Пикассо в юности» издана в США в 1995 году («Portrait of Picasso as a Young Man». New York, The Atlantic Monthly Press).

■Переводчики:

БЕРНАЦКАЯ ВАЛЕРИЯ ИВАНОВНА — литературный критик и переводчик с английского, кандидат филологических наук. Автор книги «Четыре десятилетия американской драмы» и статей по американской и английской литературам. В ее переводе публиковались пьесы «Крошка Алиса» Э. Олби, «Московское золото» Г. Брентона и Т. Али, «Отсутствующие друзья» А. Эйкборна, «Жизнь в театре» Д. Мэмета, роман «Другая страна» Дж. Болдуина, повесть «Туманная земля» А. Конан Дойла, рассказы Г. Лавкрафта, У.Фолкнера, А.Азимова и др.

ВАННИКОВ ЮРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ (род. в 1931 г.) — лингвист и литературовед, кандидат филологических наук, переводчик с испанского. В его переводе издавались романы «Хозяин Агиляр» Э. Аморима, «Кораблекрушения» А. Нуньеса Кабесы де Вака, повести «Полковнику никто не пишет» Г. Гарсиа Маркеса, «Это было, когда...» Х. К. Онетти (рус. пер. «ИЛ», 1991, № 4), «Первые голоса. Мифы, легенды, пророчества» Эдуардо Галеано (рус. пер. «ИЛ», 1992, № 8-9), эссе Х. Л. Борхеса, рассказы М. Бенедетти, Х. Риччи, М. Арреги и др.

ВАРШАВЕР ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА — переводчик с английского. В ее переводе издавались романы «Мы живем в замке» Ш. Джексон, «Бессмертник» Б. Плейн, пьесы «Слуги и снег» А. Мердок, «Отражения» Т. Стоппарда (совместно с Т. Тульчинской), рассказы Б. Маламуда, У. Сарояна, К. Маккаллерс, Т. О'Брайена. В «ИЛ» напечатаны документальная повесть «Кокаиновые короли» Гая Гульотты и Джеффа Лина (1991, № 3), пьеса «Аркадия» Тома Стоппарда (1996, № 2) и др.

КУДРЯВИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИСАЕВИЧ (род. в 1954 г.) — поэт, переводчик с английского. Автор книг стихов «Звезды и звуки», «Поле вечных историй», «Стихи между строк» и др. В его переводе изданы романы «Джослин» Дж. Голсуорси, «История куклы-непоседы» Э. Гарднера, «Вилла на холме» С. Моэма, рассказы С. Моэма из цикла «Эшенден» («ИЛ», 1992, № 7).
В «ИЛ» публиковались переводы стихов Д. Энрайта (1992, № 7), Р. Олдингтона (1995, № 9), Э. Стивенсон (1996, № 3), Ч.Симика (1996, № 10).

КУЗНЕЦОВА ИРИНА ИСАЕВНА — переводчик с французского. В ее переводе публиковались стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А.Боске, романы «Стелло, или Синие демоны» А. де Виньи, «Пыль над городом» А. Ланжевена, «Терраса Бернардини» С. Пру, «Конец Ангела» С. Г. Колетт, главы романа «Первый человек» А. Камю («ИЛ», 1995, № 5), «Нечаев вернулся» Х. Семпруна («ИЛ», 1996, № 11; совместно с Г.Зингером), пьесы «Осадное положение» А. Камю («ИЛ», 1990, № 10), «Бескорыстный убийца» Э. Ионеско (Библиотека «ИЛ», 1990), «Ужин» Жан-Клода Брисвиля («ИЛ», 1993, № 5; пьеса поставлена Московским Художественным академическим театром им. А.П.Чехова).

БОГДАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1952 г.) — переводчик с испанского, португальского, английского языков, кандидат искусствоведения; в его переводе изданы романы «Лавка чудес», «Пальмовая ветвь», «Капитаны песка» и «Исчезновение святой» («ИЛ», 1990, № 1,2) Жоржи Амаду; «Война конца света» и повести «Кто убил Паломино Молеро?» (Библиотека «ИЛ», 1989) Марио Варгаса Льосы и «Ты боишься крови?» Серхио Рамиреса, «Луна доктора Фауста» Франсиско Эррера Луке, стихи Фернандо Пессоа, Фернандо Наморы, Машадо де Ассиза и др. произведения.

■

ИНДЕКС 70394

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ НОМЕРНЫЕ АЛЬБОМЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА "FRANCO MARIA RICCI" (ИТАЛИЯ)

Серии **"ИЗБРАННЫЕ"**, **"ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ"**, **"ВЕЛИКОЛЕПИЕ, ПОКОЙ И НАСЛАЖДЕНИЕ..."** собрали на своих страницах художественные сокровища из недоступных прежде частных собраний и музейных запасников. Благодаря строго ограниченному тиражу - от 1 000 до 5 000 экземпляров - эти великолепно изданные альбомы уже сегодня становятся библиографической редкостью. На территории бывшего СССР для распространения предназначено не более 100 альбомов каждого наименования.

Серия **"ИЗБРАННЫЕ"**: *"Апокалипсис"; "Эрте"; "Девочки Кэрролла"; "Средоточия любви"; "Тамара де Лемпицка"; Арчимбольдо"; "Айседора Дункан"; "Китай"; "Codex Seraphinianus"; "Реликвия"; "Больдини"; "Вильдт"; "Александр Серебряков"; "Хэкерт".*

Изысканные альбомы этой серии по-новому открывают мир искусства, мир художественных образов прошедших времен. Здесь представлены замечательные произведения живописи, редкие фотографии, уникальные манускрипты, драгоценные церковные реликвии. Иллюстрации сопровождают тексты известных писателей и комментарии экспертов-искусствоведов.

Серия **"ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ"**: *"Дворец Пизани Моретта"; "Декоративная керамика"; "Золотые печати"; "Муха в изобразительном искусстве"; "Дворец Ка'Дарио"; "Индия раджей"; "Парма и Франция"; "Сарды-щеголи"; "Зала дворца Монтечиторио"; "Дамы Фонтенбло"; "Королевский театр Сан-Карло"; "Магдалина в изобразительном искусстве"; "Гольф"; "Венини"; "Витербо: счастливые встречи"; "Рим: счастливые встречи"; "Божественные "Бугатти"; "Прекрасная Генуя"*

Тематический диапазон этой серии поистине безграничен - на страницах альбомов предстают яркие ритуальные костюмы индийских раджей и строгая элегантность автомобилей "Бугатти", нежная красота живописных воплощений Марии Магдалины и эксцентричные архитектурные формы дворца Ка'Дарио, золотые печати из тайного архива Ватикана и декоративная керамика Европы и исламского Востока.

Серия **"ВЕЛИКОЛЕПИЕ, ПОКОЙ И НАСЛАЖДЕНИЕ..."**: *"Валентино"; "Армани"; "Рене Грюо"; "Жанна Ланвен"; "Сальваторе Феррагамо"; "Жан Шлюмберже"; "Театр Версаче"; "Роберто Капуччи"*

Утонченный и чарующий мир предстает в изданиях этой серии, посвященной творчеству великих кутюрье: Валентино, Армани, Версаче и др. Ювелирные украшения, модная одежда, образцы декоративного искусства, театральные костюмы запечатлены в рисунках, эскизах, набросках. Комплект этих великолепных томов являет собой энциклопедию моды XX столетия.

АОЗТ **"МИР ЗНАНИЙ"**: Россия, 107392, Москва, а/я 14; тел.: (095) 962-0735, 962-0779; факс: (095) 962-0197

ISSN 0130-6545 ★Иностранная литература», 1997, №3, 1 — 256.